

SÖREN KIRKEGAARD

Enten— Eller
Et Livs Fragment

Kjøbenhavn, 1843



СЁРЕН КИРКЕГОР

наслаждение И ДОЛГ

Перевод с датского
ПЕТРА ГАНЗЕНА

Иллюстрации
МАТВЕЯ ВАЙСБЕРГА

Издание третье

AirLand
Киев — 1994

СОДЕРЖАНИЕ

НАСЛАЖДЕНИЕ И ДОЛГ

Предисловие переводчика
к первому изданию

9

АФОРИЗМЫ ЭСТЕТИКА

13

ДНЕВНИК ОБОЛЬСТИТЕЛЯ

45

ГАРМОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ЭТИЧЕСКИХ НАЧАЛ

225

ПРИЛОЖЕНИЯ

Лев Шестов

Киркегард — религиозный философ

423

Пауль Тиллих

Киркегор как экзистенциальный мыслитель

Перевод Т. Вевюрко

452

Комментарии

Составили И. Булкина и А. Мокроусов

457

Библиография

494

наслаждение И ДОЛГ



Предисловие переводчика к первому изданию

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ три произведения: «Афоризмы Эстетика»*, «Дневник Обольстителя», «Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал»** датского писателя Сёрена Киркегора взяты из его замечательного сочинения «*Одно из двух*», состоящего из двух частей, прямо противоположных между собой по содержанию; первая часть — чисто эстетического, а вторая — строго этического характера. Названное сочинение вышло в 1843 году под псевдонимом *Виктор Эремит*, но в предисловии было сказано, что последний является лишь издателем, а не автором, так как все статьи, составляющие предлагаемое сочинение, найдены им в бумагах одного приятеля и принадлежат, как видно, перу двух разных лиц, из которых одно — эстетик — дало материал для первой части, а другое — этик — для второй.

«Одно из двух» — сочинение настолько оригинальное как по замыслу, так и по исполнению, что мы считаем нужным дать здесь хотя бы краткие сведения о самой личности автора и его воззрениях.

*

Сёрен Киркегор родился в 1813 году в Копенгагене; 17-ти лет от роду он был уже студентом, через 10 лет — кандидатом богословия, а в 1841 году получил степень магистра философии за диссертацию «Об иронии». Побывав затем несколько раз в Германии для ознакомления с немецкой философией, он вернулся в Копенгаген, где и про-

* Напечатано в «Вестнике Европы» в Майской книжке 1886 года; ныне же являются во вновь обработанном переводе. — Прим. перев.

** Напечатано в «Северном вестнике», в Сентябрьской, Ноябрьской и Декабрьской книжках 1885 г. и также переработано. — Прим. перев.

жил всю остальную жизнь (он умер 42-х лет, в 1855 году), неутомимо работая над своими литературными трудами, составившими, по выражению Брандеса, «целую литературу в литературе» и создавшими ему славу гениальнейшего писателя Дании.

Университетские годы Киркегора совпали со временем владычества над умами философии Гегеля, и юноша Киркегор, вслед за своими современниками, тоже увлекся обещаниями «системы, ведущей в обетованную страну человечества». Но отвлеченные истины гегелевского учения ненадолго удовлетворили Киркегора, уже успевшего вынести глубокие впечатления из своей недолгой жизни. Попытавшись применить к ней новое учение, он не замедлил убедиться в его несостоятельности. Тогда все силы могучей диалектики Киркегора направились к тому, чтобы выяснить и доказать бессилие философии относительно разъяснения загадок жизни и правил, которыми человек должен в ней руководиться. Стремление же философии Гегеля согласовать веру и знание окончательно возмутило Киркегора и стало предметом его уничтожающей критики. В то время, как философы утверждали, что принцип противоположности уже утратил свое значение и, созерцая прошедшее, старались примирить противоположности в высшем единстве мысли, Киркегор, имея в виду настоящее, ставит их рядом перед каждым индивидуумом как предметы выбора: «или то, или другое», «одно из двух»... Глубокое знание человеческой души указало ему путь, по которому следовало идти к намеченной им цели. По его мнению, век наш, воображая, что живет не только этической, но даже и религиозной жизнью, на самом деле лишь блуждал в ложных эстетико-философских взглядах на жизнь. Чтобы вывести людей из их заблуждения, Киркегор счел нужным начать с разъяснения самых элементарных понятий о жизни, в которых в его время, как и вообще во все времена и эпохи человечества, царила величайшая путаница. Этим и объясняется, что автор такого глубоко религиозного направления, каким был в сущности Киркегор, начал свою деятельность с произведения, относящегося к области эстетики и этики. На Киркегора нельзя смотреть как на мыслителя, бывшего сначала эстетиком, а затем через этику дошедшего до религии; напротив, он с самого начала глубоко религиозен и лишь надевает на себя различные маски, чтобы врасплох поймать своих современников в ложных воззрениях на жизнь, объяснить им их заблуждения и затем привести их к истинному эстетико-религиозному взгляду на жизнь. С этой именно целью написано «Одно из двух», состоящее, как уже сказано выше, из двух прямо противоположных друг другу по характеру частей. Связующим звеном между обеими частями служит мысль автора, высказываемая им во второй части от лица этика: культ наслаждения ведет чело-

века к разочарованию, нравственному переутомлению и отчаянию; спасти от всего этого может только выбор противоположного серьезного и строгого отношения к жизни, благодаря которому она и получает высший смысл, не только не лишаящий ее красоты, но, наоборот, придающий ей действительную внутреннюю красоту.

*

В виду того, что «Афоризмы Эстетика» и «Дневник Обольстителя» — отдельные статьи первой, а «Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал» — одна из статей второй части, наметим вкратце общее содержание обеих частей.

Все восемь статей первой части проникнуты мировоззрением эстетика, признающего один культ красоты и наслаждения, и бросающегося, отыскивая их, во все стороны. Ни одна из прекрасных, интересных сторон жизни не ускользает от него; музыка (статья «Моцартовский Дон Жуан»), поэзия и театр (статья «Софокл и Шекспир»), любовь и женщины («Дневник Обольстителя») — все служит ему материалом.

«Афоризмы эстетика», справедливо считающиеся жемчужинами датской литературы, служат как бы прелюдией ко всей первой части, отражая в себе различные, быстро сменяющиеся в душе эстетика настроения. «Дневник...» же дает понятие о самых попытках эстетика жить исключительно эстетической жизнью.

Вторая часть является выражением взглядов строгого этика, жреца культа нравственности и долга, и состоит из трех статей: «О браке»; «Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал»; «О греховности человеческой».

Помещаемая здесь вторая из них является полнейшим контрастом «Дневнику Обольстителя», так как содержит систематическую с точки зрения логики и нравственности проверку мирозерцания эстетика. Главное значение этой статьи, так же, как и всей вообще литературной деятельности Киркегора, в том, что автор заставляет читателя не только объективно проследить обмен мыслей между двумя последователями различных направлений в жизни, но также принять в их споре личное участие, согласиться с необходимостью «выбора» и проникнуться сознанием той ответственности, какую этот выбор на них налагает.

[Петр Ганзен]





афоризмы эстетика

*Grandeur, savoir, renommée,
Amitié, plaisir et bien
Tout n'est que vent, que fumée:
Pour mieux dire, tout n'est rien.**

ЧТО такое поэт? — Несчастный, переживающий тяжкие душевные муки; вопли и стоны превращаются на его устах в дивную музыку. Его участь можно сравнить с участью людей, которых сжигали заживо на медленном огне в медном быке Фалариса^{**}: жертвы не могли потрясти слуха тирана своими воплями, звучащими для него сладкой музыкой.

И люди толпятся вокруг поэта, повторяя: «Пой, пой еще!», иначе говоря — пусть душа твоя терзается муками, лишь бы вопль, исходящий из твоих уст, по-прежнему волновал и услаждал нас своей дивной гармонией.

Требование толпы поддерживают и критики: это верно, так и должно быть по законам эстетики! Критик, впрочем, — тот же поэт, только в сердце его нет таких страданий, а на устах — музыки. Оттого, по-моему, лучше быть пастухом, понятым своим стадом, чем поэтом, ложно понятым людьми!

* Величие, мудрость, громкое имя,
Дружба, удовольствия и добродетель —
Не что иное, как ветер, как дым,
Иными словами, — ничто (франц.).

** Фаларис, тиран Агригентский, родом с Крита, или скорее из Агригента, захватил власть в 568 г. до Р. Х. Медный бык его, в котором сжигались живые человеческие жертвы, был изобретен скульптором Периллом. Изобретатель и был сожжен первым в своем изобретении. — **Прим. перев.**

* * *

Я предпочитаю разговаривать с детьми — есть, по крайней мере, надежда, что из них выйдут разумные существа, — тогда как те, которые считают себя таковыми... увы!

* * *

Какие люди странные! Никогда не пользуясь присвоенной им свободой в одной области, они во что бы то ни стало требуют её в другой: им дана свобода мысли, так нет, подавай им свободу слова!

* * *

Ничего не хочется... Ехать не хочется — слишком сильное движение; пешком идти не хочется — устанешь; лечь? — придется валяться попусту или снова вставать, а ни того, ни другого не хочется... Словом, ничего не хочется.

* * *

Есть насекомые, умирающие вслед за оплодотворением. Так и наши радости: момент самого полного наслаждения — и их уже нет!

* * *

Полезный совет писателям: следует набрасывать свои размышления как придется и прямо отдавать в печать; при чтении же корректуры могут появиться и хо-

рошие мысли. Итак, те, у кого до сих пор не хватало храбрости выступить в печати, — смелее! Не следует пренебрегать и опечатками; блеснуть остроумием, — хотя бы только и благодаря опечаткам, — по меньшей мере, законное право писателя! ...



Главное несовершенство человеческой природы состоит в том, что цели наших желаний — всегда в противоположном. Можно привести такую массу примеров, что и психологу будет над чем поломать себе голову. Так, ипохондрик особенно чуток к юмору, сластолюбец охотно говорит об идиллии, развратник о морали, скептик о религии. Да и святость постигается не иначе, как в грехе.



Кроме многочисленных знакомых, у меня есть один друг — грусть. Среди шумного веселья и в часы усердной работы он вдруг отзывает меня, увлекает в свое уединение, и я иду за ним, хотя, в сущности, и не двигаюсь с места. Никогда сердце мое не имело более верного друга — мудрено ли, что я принадлежу ему всем сердцем!



Какую бесконечную грусть испытываешь при виде человека, совершенно одинокого на свете! На днях я видел такую бедную девушку, — она шла на конфирмацию одна-одинешенька!

* * *

Есть болтливое резонерство, которое по своей нескончаемости и в смысле значения для истории сходно со списком необозримых египетских родословных.

* * *

Старость, как известно, осуществляет мечты юности; пример — Свифт: в молодости он построил дом для умалишенных, а на старости лет и сам поселился в нем.

* * *

Можно просто испугаться того, с каким мрачным глубокомыслием открывали в старину англичане двусмысленность в основе смеха. Вот что говорит, например, д-р Гартли: «Смех при появлении у детей есть начинающийся плач, вызванный болью, или сразу подавленное и повторяющееся через короткие промежутки выражение чувства боли»... Что, если все на свете было бы лишь одним недоразумением, если бы смех был, в сущности, плачем!

* * *

Корнелий Непот рассказывает, как один начальник большого кавалерийского отряда, запертый неприятелем в крепости, приказывал ежедневно бить лошадей кнутом, чтобы они не захворали от продолжительной стоянки и бездействия...

Я тоже теперь живу как осажденный, и, чтобы не пострадать от продолжительного бездействия, плачу, плачу, пока не устану.

* * *

Сдается мне, я представляю собой нечто в роде шахматной фигуры, о которой противник говорит: заперта!

* * *

*Алладин** производит на нас такое освежающее впечатление именно потому, что мы видим в этой пьесе детски гениальную смелость самых причудливых желаний. А многие ли в наше время дерзают действительно пожелать, потребовать что-либо, обращаясь к природе: или, как благовоспитанное дитя, с просьбой «пожалуйста», или с бешенством отчаяния? В наше время много толкуют о том, что человек создан по образу и подобию Божию, но много ли найдется людей, которые, сознавая это, принимают по отношению к жизни тон повелителя? Не похожи ли мы все на Нурредина, низко кланяющегося духу, опасаясь потребовать слишком много или слишком мало? Не низводим ли мы каждое великое требование наше к болезненному созерцанию собственного я? Вместо того, чтобы предъявлять требования жизни, мы предъявляем их себе... к этому нас, впрочем, готовят и дрессируют!

* * *

Громадная неувядаемая мощь древней народной поэзии в том и состоит, что в ней есть сила желаний. Желания же нашего времени только греховны и пошлы, у нас все сводится к желанию поживиться за счет ближнего. Народная поэзия превосходно сознает, что у ближнего нет того, чего она жаждет, и поэтому, если иной раз и предъявляет какое-нибудь грешное желание, то оно до

* Драма Эленшлегера Сюжет взят из «Тысячи и одной ночи». — Прим. перев.

того величественно, до того вопиет к небу, что заставляет содрогнуться. Эта поэзия не торгуется в своих требованиях с холодными соображениями трезвого рассудка. До сих пор, например, Дон Жуан проходит перед нами на сцене со своими «1003 любовницами», — и никто не осмелится улыбнуться, — уже из одного уважения к преданию. А вздумай поэт создать что-либо подобное в наше время, его, наверное, осмеют.



Предание говорит, что Пармениск потерял способность смеяться в трофонийской пещере, но снова приобрел ее на острове Делос, увидав уродливый обрубок, считавшийся изображением богини Лето. Нечто в роде этого было и со мной.

В ранней юности я было разучился смеяться в трофонийской пещере; возмужав, я взглянул на жизнь открытыми глазами, засмеялся и с тех пор не перестаю... Я понял, что значение жизни сводится к «теплому местечку»; что цель жизни — чин статского или иного советника; истинный смысл и желание любви — женитьба на богатой; блаженство дружбы — денежная поддержка; истина — лишь то, что признается большинством, восторженность — способность произнести спич; храбрость — риск подвергнуться десятирублевому штрафу; сердечность — послеобеденное пожелание «на здоровье»; набожность — ежегодное говение... Я взглянул на жизнь и засмеялся.



Чем я связан? Из чего была цепь, которою сковали волка Фенриса? Из шума кошачьих шагов, из бород жен-

щин, из корней гор, из дыхания рыб, из слюны птиц. И я скован цепью из мрачных фантазий, тревожных грез, беспокойных дум, жутких предчувствий и безотчетных страхов. Цепь эта «упруга, легка как шелк, растяжима до бесконечности, и ее нельзя разорвать».

* * *

Я, может быть, и постигну истину, но до познания блаженства душевного мне еще далеко. Что же мне делать? Скажут: «займись делом». Каким? Чем мне заняться? Разве оповещать человечество о своей грусти, стараясь представить новые доказательства печального ничтожества человеческой жизни? Или открывать какие-нибудь новые, еще не известные доселе, темные стороны жизни? Этим я мог бы, пожалуй, стяжать себе редкую награду: прославиться, наподобие астронома, открывшего новые пятна на Юпитере. Предпочитаю, однако, молчать.

* * *

Удивительная вещь: во всех возрастах жизни человек занят одним и тем же, трудится над разрешением одной и той же проблемы и не только не двигается с места, а скорее даже идет назад. Еще пятнадцатилетним мальчиком я преважно написал школьное сочинение на тему «Доказательства бытия Бога, бессмертия души, необходимости веры и действительности чуда». На выпускном экзамене мне опять пришлось писать о бессмертии души, и мое сочинение удостоилось особого одобрения; несколько позже я получил даже премию за другое сочинение на ту же тему. Кто поверит, что после такого многообещающего начала я к двадцати пяти годам от роду дошел до того, что не мог привести ни одного доказа-

тельства в пользу бессмертия души! Особенно памятно мне, что одно из моих сочинений на упомянутую тему было прочитано учителем вслух и расхвалено как за мысли, так и за слог. ... Увы! Сочинение это я давно куда-то забросил! Какая жалость! Может быть, оно рассеяло бы теперь мои сомнения. Вот мой совет родителям, начальникам и учителям: следует внушить детям хранить все написанные ими в пятнадцатилетнем возрасте сочинения на родном языке. Дать такой совет — единственное, что я могу сделать для блага человечества.

* * *

Как человеческая натура всегда верна себе! С какой природной гениальностью дает нам иногда маленький ребенок живую картину сложных житейских отношений. Так забавно было сегодня смотреть на маленького Людвига. Он сидел на своем высоком креслице и предовольно посматривал вокруг. По комнате прошла его няня Мария. «Мария!» — кричит он. «Что, Людвиг?» — ласково отвечает она и подходит к нему, а он, слегка наклонивши головку на бок и глядя на нее своими большими лукавыми глазенками, прехладнокровно заявляет: «Не ту Марию, другую!»... А мы как поступаем? — Взываем ко всему человечеству, а когда люди приветливо идут нам навстречу, мы восклицаем: «Не ту Марию!»...

* * *

Моя жизнь — вечная ночь... Умирая, я мог бы воскликнуть, как Ахиллес:

*Du bist vollbracht,
Nachtwache meines Daseins!**

* Ты завершилась,
Ночная стража моего бытия! (нем.).

* * *

Моя жизнь совершенно бессмысленна. Когда я перебираю в памяти различные ее эпохи, мне невольно хочется сравнить ее с немецким словом «*Schnur*», обозначающим, как известно, во-первых — шнурок, во-вторых — эпоху. Недоставало только, чтобы оно обозначало еще: в-третьих — верблюда, а в-четвертых — швабру.

* * *

Право, я похож на Люнебургскую свинью. Мышление — моя страсть. Я отлично умею искать трюфели для других, сам не получая от того ни малейшего удовольствия. Я подымаю носом вопросы и проблемы, но все, что я могу сделать с ними — это перебросить их через голову.

* * *

Как, однако, скука... ужасно скучна! Более верного или сильного определения я не знаю: равное выражается лишь равным. Если бы нашлось выражение более сильное, оно бы нарушило эту всеподавляющую косность. Я лежу пластом, ничего не делаю. Куда ни погляжу — везде пустота: живу в пустоте, дышу пустотой. И даже боли не ощущаю. Прометею хоть коршун печень клевал, на Локи хоть яд беспрерывно капал, — все же было хоть какое-нибудь разнообразие, хоть и однообразное. Для меня же и страдание потеряло свою сладость. Посулите мне все блага или все муки земные — я не повернусь даже на другой бок ради получения одних или во избежание других. Я медленно умираю. Что может развлечь меня? Вот если бы я увидал верность, восторжествовавшую над всеми испытаниями, увлече-

ние, все преодолевшее, веру,двигающую горы, если б я видел торжество мысли, примиряющее конечное с бесконечным... Но ядовитое сомнение разрушает все. Моя душа подобна Мертвому морю, через которое не перелететь ни одной птице, — достигнув середины, она бесsilьно падает в объятия смерти.

* * *

Сопротивляться — бесполезно. Нога моя скользит. Жизнь моя все-таки остается жизнью поэта. Можно ли представить себе более злосчастное положение? Я отмечен, судьба смеется надо мной, показывая мне, как все мои попытки к сопротивлению превращаются в поэтические моменты. Я могу описать надежду с такой жизненной правдой, что всякий, «надеющийся и верующий» в жизнь, узнает себя в моем описании, а оно все-таки — ложь: я создал его лишь по воспоминаниям.

* * *

Несоразмерность в построении моего тела состоит в том, что у меня, как у новоголландского зайца, слишком короткие передние ноги и слишком длинные задние. На месте я вообще сижу спокойно, но чуть двинусь с места, движение это проявляется громадным прыжком к ужасу всех, кто связан со мной узами родства или дружбы.

* * *

Удивительно! С каким страхом цепляется человек за жизнь, одинаково боясь и утратить, ее и удержать за собою. Иногда мне приходит мысль сделать решительный

шаг, перед которым все мои прежние эксперименты окажутся детской забавой: хочу пуститься в неведомый путь великих открытий. Кораблю, спускаемому с верфи в море, салютуют выстрелами, так же хотел бы я отсалютовать и себе самому. А между тем... Мужества, что ли, не хватает у меня? Хоть бы кирпич свалился мне на голову и пришиб меня до смерти, — все был бы исход!

* * *

Зачем я не родился в бедной семье, зачем не умер ребенком? Отец положил бы меня в гробик, взял его под мышку, снес ранним воскресным утром на кладбище и сам бы закопал в могилку, пробормотав несколько слов, ему одному понятных... Лишь счастливой древности могла прийти мысль изображать младенцев в Элизиуме, оплакивающими свою преждевременную смерть.

* * *

Я никогда не был веселым в душе, а между тем веселье как будто всегда сопутствует мне, вокруг меня словно всегда порхают невидимые для других, легкие гении веселья, любуясь которыми, глаза мои сияют радостью. И вот люди завидуют мне, когда я прохожу мимо них счастливый и веселый, как полубог, а я хохочу, — я презираю людей и мщу им. Я никогда не унижался до того, чтобы пожелать обидеть кого-нибудь фактически, нанести действительное оскорбление, но всегда умел повернуть дело так, что люди, вступавшие со мной в сношения, выносили впечатление какой-то обиды. Слыша, как хвалят других за честность и верность, я хохочу. Я никогда не был жестокосердым, но именно в минуты наисильнейшего сердечного волнения я принимал самый

холодный и бесчувственный вид. Слыша, как перевозносятся других за доброе сердце, любят за нежные глубокие чувства, я хохочу. Видя ненависть и презрение ко мне со стороны людей, слыша их проклятия моей холодности и бессердечию, я хохочу, потому что, презираю людей и мщу им; я хохочу — и моя злоба удовлетворяется. Вот если бы этим добрым людям удалось довести меня до того, чтобы я провинился фактически, поступил несправедливо, — тогда я был бы побежден.

* * *

Вино больше не веселит моего сердца: малая доза вызывает у меня грустное настроение, большая — меланхолию. Моя душа немощна и бессильна; напрасно я вонзаю в нее шпоры страсти, она изнемогла и не воспрянет более в царственном прыжке. Я вконец утратил иллюзии. Напрасно пытаюсь я отдаться крылатой радости: она не в силах поднять мой дух, вернее, он сам не в силах подняться; а, бывало, при одном веянии ее крыл я чувствовал себя так легко, свежо и бодро. Бывало, еду по лесу верхом, тихим шагом, а чудится — лечу на крыльях ветра; ныне же — конь весь в пене, готов рухнуть оземь, а все кажется, что я не двигаюсь с места!

Я одинок, я всегда был одинок; я покинут не людьми, — это меня не огорчило бы, — а гениями веселья. Бывало, они окружали меня со всех сторон, всюду отыскивали себе товарищей, везде ловили для меня случай; сонмы веселых эльфов толпились вокруг меня, как вокруг пьяного шаловливые школьники, и я улыбался им. Душа моя утратила самое понятие о возможности. Если бы мне предложили пожелать чего-нибудь, я пожелал бы не богатства, не власти, а — страстной веры в возможность, взора, вечно юного, вечно горящего, повсюду видящего возможность... Наслаждение разочаровывает, возмож-

ность — никогда. Где найдется вино, такое душистое, пенное, опьяняющее, как «возможность»?

* * *

Звуки проникают и туда, куда не проникают солнечные лучи. Комната у меня темная, мрачная; высокая каменная стена против окна почти совсем заслоняет дневной свет. Слышатся звуки музыки... Должно быть, из соседнего двора... Вероятно, бродячий музыкант... Какой же это инструмент? Камышевая свирель? Что я слышу! Менуэт из *Дон Жуана*! Умчите же меня, могучие, полные звуки, к танцам, к шумному веселью, к женщинам! Аптекарь что-то толчет в ступе, кухарка выскребает кастрюлю, конюх выколачивает о мостовую скребницу. Но звуки музыки принадлежат мне одному, увлекают лишь одного меня! О, благодарю тебя, благодарю, кто бы ты ни был! Душа моя так оживлена, так полна восторгом!

* * *

Семга сама по себе вещь очень вкусная, но в большом количестве она вредна для желудка, как и всякая тяжелая пища. Поэтому-то однажды во время большого улова семги возле Гамбурга полиция запретила домохозяевам кормить прислугу семгой больше одного раза в неделю. Вот бы вышел такой же приказ — относительно сентиментальности!

* * *

Солнце весело и ласково заглядывает в мое жилище; в соседней комнате открыто окно. На улице тихо, — послеобеденная воскресная пора. Я слышу, как поет жаво-

ронок под окном красивой девушки на соседнем дворе. Из какой-то дальней улицы доносится выкрикивание разносчика рыбы. В воздухе разлита такая теплота, а город будто весь вымер... Мне вспоминается моя молодость, моя первая любовь, когда я так грустил. Теперь я грущу лишь по той первой грусти. Что такое юность? — Сон... Что такое любовь? — Сновидение...

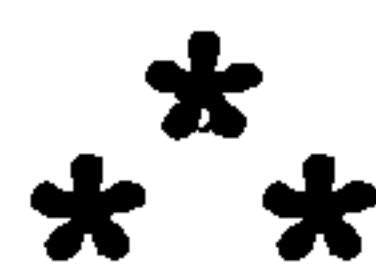
* * *

Моя печаль — моя крепость; она расположена на вершине горного хребта среди облаков, как гнездо орла; никто не может овладеть ею. Оттуда я делаю набеги в действительную жизнь, хватаю добычу, приношу домой и тку из нее картину для украшения стен моей башни. Я живу там отшельником. Все пережитое я погружаю в купель забвения вечных воспоминаний; все конечное забыто и стерто. Я, как седой старец, сижу здесь в глубокой задумчивости и тихо, почти шепотом, объясняю себе картины. Меня слушает ребенок, хотя он и помнит все сам без моих рассказов.

* * *

Со мной случилось внезапное чудо: я вдруг очутился на седьмом небе, перед сонмом богов. В знак особой милости мне было предоставлено право пожелать чего-нибудь. «Хочешь, — спросил Меркурий, — молодости, красоты, власти, долгой жизни или любви первой красавицы в свете, или какую-нибудь другую усладу из нашего хлама, — выбирай, но что-нибудь одно»... После минутного раздумья я обратился к богам со следующими словами: «Почтенные современники! Я выбираю право всегда смеяться последним». Ни один из богов не ответил

ни слова, но все засмеялись, из чего я заключил, что, во-первых, просьба моя уважена, а во-вторых, что боги обладают тактом: было бы ведь некстати серьезно ответить мне: «Да будет по-твоему»!



Какое-то неопределенно-грустное настроение овладело мной при виде бедняка, медленно пробирающегося по улице в потертом светло-зеленом с желтым отливом сюртуке. Мне было жаль его, но особенно взволновал меня цвет его сюртука, так живо напомнивший мне мои первые ребяческие попытки в благородном искусстве живописи: этот цвет, как нарочно, представлял мое любимое сочетание красок. Не грустно ли в самом деле, что в жизни совсем не приходится встречать этой краски, о которой до сих пор я вспоминаю с таким удовольствием? Все находят ее резкой, неприятной, годной разве для размалевки грошевых игрушек. Если мне и случается натолкнуться на нее, то, как на грех, всегда при какой-нибудь грустной встрече, в роде упомянутой. Это всегда сумасшедший или другой несчастный, словом, человек, чувствующий себя лишним на белом свете и не признаваемый людьми за собрата. ... А я-то всех своих героев окрашивал в этот незабвенный желто-зеленый цвет! Не общая ли это участь радужных красок нашего детства? Не становятся ли мало-помалу цвета этой эпохи жизни слишком яркими, резкими для нашего утомленного глаза?



Право, у меня хватило бы мужества сомневаться во всем, бороться со всеми, но я не осмеливаюсь познать,

усвоить что-либо, овладеть чем бы то ни было. Многие жалуются, что жизнь чересчур прозаична, что она не похожа на роман, где случай всегда вывозит. Я тоже недоволен, что жизнь — не роман, где приходится бороться с жестокосердыми отцами, колдунами и привидениями и освободить очарованных принцесс. Все эти враги вместе взятые — ничто в сравнении с теми бледными, бескровными, но живучими ночными призраками, с которыми я борюсь, хотя сам же вызвал их к жизни.

* * *

Двери счастья отворяются, к сожалению, не внутрь — тогда их можно было бы растворить бурным напором, — а изнутри, и потому ничего не поделаешь!

* * *

Моя душа, моя мысль бесплодны, и все же их терзают непрерывные бессмысленные, полные желания родовые муки. Неужели же мне никогда не сообщится дар духа, который бы развязал мой язык, неужели я навеки осужден лепетать?

Мне нужен голос пронзительный, как взор Линцея, поражающий ужасом, как вздох гигантов, неистощимый, как звуки природы, насмешливый, как порыв внезапно хлестнувшего в лицо дождем ветра, злой, как бездушное глумление эха, с диапазоном от *basso profundo* до самых нежных, чарующих грудных звуков, со всеми переходами от благоговейного шепота до дикого вопля отчаяния. Вот что нужно мне, чтобы облегчить душу и высказать все, что томит ее, потрясти диафрагму и любви и злобы... Но голос мой хрипл, как крик чайки, и беззвучен, как благословение на устах немого.

* * *

Самая прекрасная пора жизни — пора первой любви: каждое свидание, каждый взгляд приносят какую-нибудь новую радость.

* * *

Мой взгляд на жизнь лишен всякого смысла, — мне кажется, что какой-то злой дух надел мне на нос очки, одно стекло которых увеличивает все до чудовищных размеров, а другое до такой же степени уменьшает.

* * *

Скептик — *μεμαστιγόμενος**: он, как спущенный волчок, может некоторое время вертеться на острие, но утвердиться на месте он не в состоянии.

* * *

Смешнее всего суесться, т. е. принадлежать к числу тех людей на свете, о которых говорится: кто быстро ест, быстро работает. Когда я вижу, что такому деловому господину в самую решительную минуту сядет на нос муха, или у него перед носом разведут мост, или на него свалится с крыши черепица — я хохочу от души. Да и можно ли удержаться от смеха? И чего ради люди суеются? Не напоминают ли они женщину, которая, за-суевшись во время пожара в доме, спасла щипцы для углей? — Точно они спасут больше из великого пожара жизни!

* Буквально: «бичуемый» (греч) — волчок, юла, запускаемая с помощью хлыста или прута Ср. укр. «навіжений».

* * *

У меня вообще не хватает терпения жить... Я не вижу, как растет трава,— а раз я не вижу этого, я и совсем не желаю смотреть! Мои воззрения похожи на размышления странствующего схоластика, пролетевшего поле жизни сломя голову... Говорят: Творец насыщает желудок прежде глаз — я этого не замечаю. Мой взор давно пресыщен жизнью, а сам я все-таки голоден...

* * *

Спрашивайте меня о чем угодно, только не о причинах. Молодой девушке извиняют, если она не может привести причин на том основании, что она-де, живет чувством. Со мной не то: у меня обыкновенно бывает так много одна другой противоречащих причин, что по этой причине я и не могу сослаться ни на одну причину. Что же касается отношения между причиной и следствием, то и тут, если не ошибаюсь, что-то неладно. То громадная причина имеет самые ничтожные последствия, а то и вовсе никаких — какая-нибудь вздорная ничтожная причина ведет к колоссальным последствиям.

* * *

Жизнь превратилась для меня в горький напиток, а мне еще приходится принимать его медленно, по счету, как капли ...

* * *

Следует отдать справедливость так называемым невинным радостям жизни; в них лишь один недостаток:

они слишком уж невинны. К тому же и пользоваться-то ими приходится донельзя умеренно... Я еще понимаю, если мне предписывает диету доктор, — можно некоторое время воздерживаться от известных блюд... но соблюдать диету в диете — это уж чересчур!

* * *

Никто не возвращается из царства мертвых... — никто не является на свет без слез... — никто не спрашивает, когда хочешь явиться... — никто не справляется, когда желаешь уйти...

* * *

Говорят: время летит, жизнь идет вперед и т. п. Не замечаю. И время стоит, и я стою. Все планы, которые выбрасывает мой ум, не идут в ход, а возвращаются ко мне; хочу плюнуть — плюю себе в лицо.

* * *

На что я гожусь? — Ни на что, или на все что угодно. Редкая способность! — сумеют ли оценить ее? Кто знает, находят ли себе место служанки, которые публикуются в качестве «одной прислуги» или, в случае надобности, в качестве «чего угодно»?

* * *

Ни одной беременной женщине не придут в голову такие причудливые и нетерпеливые желания, какие появляются у меня. Они относятся то к самым ничтож-

ным, то к самым возвышенным предметам, но все равно отражают мгновенный страстный порыв души. Сейчас, например, мне хотелось бы тарелку размазни! Мне вспоминаются школьные годы,— нам всегда подавали ее по средам. Помню, какая она была гладкая и нежная, как улыбалось мне таявшее в ней масло, какой горячий пар шел от нее, как я бывал голоден и с каким нетерпением ожидал позволения приняться за нее! Вот бы теперь тарелку такой размазни! Я готов дать за нее свое первородство,— даже больше!



Никогда не следует падать духом. «Когда беды и несчастья обрушиваются на человека самым жестоким образом, в облаках появляется спасительная рука», — так сказал недавно за вечерней господин пастор.

Я частенько бываю под открытым небом, однако ни разу не видал ничего такого. Несколько дней тому назад мне, правда, показалось нечто подобное, но и это была не рука, а что-то похожее на простертую из облаков руку. Я подумал: жаль, что нет тут нашего пастора, а то он решил бы, не на это ли явление он тогда намекал. Размышления мои прервал какой-то прохожий. «Вы видите этот смерч? — начал он, указывая на облачную руку. — Его в наших местах редко увидишь, а случается, он уносит с собой целые дома!»... О-о! Так это — смерч! И я со всех ног пустился домой. Как на моем месте поступил бы господин пастор? ...



Пусть другие жалуются, что наше время дурно, — я недоволен им за то, что оно ничтожно, совершенно лишено страсти. Мысли современного человека жидки и

непрочны, как кружева, а сами люди жалки, как кружевницы. Людские помыслы слишком ничтожны даже для того, чтобы назваться греховными. Червяку еще, пожалуй, можно бы вменить в грех такие помыслы, но человеку, созданному по образу Бога! ... Желания людские степенны и вялы, страсти спят — люди только «исполняют свои обязанности» и то, как торгоши-евреи, позволяющие себе немножко поурезать червонец. Они думают, что как бы Всевидящее Око ни следило за ними, авось все-таки им удастся урвать малую толику... Гадко! Вот почему душа моя постоянно обращается к Ветхому завету и Шекспиру... Там, по крайней мере, чувствуется, что говорят люди, — там ненавидят, там любят, убивают своего врага и проклинаят его потомство во всех поколениях ... там — грешат!

* * *

Маг Вергилий велел изрубить себя в куски, бросить в котел и варить в продолжение восьми дней — посредством этого процесса он должен был вновь стать молодым. Чтобы чужой глаз не мог заглянуть в волшебный котел до срока, он приставил караульного. Тот однако сам не выдержал искушения и — Вергилий в виде младенца с плачем исчез навсегда! Я тоже слишком рано, кажется, заглянул в котел жизни и исторического развития и вследствие этого, вероятно, не пойду дальше младенчества.

* * *

Я делю свое время так: одну половину сплю, другую — грежу. Во сне я не вижу никаких сновидений, и это хорошо, потому что уметь спать — высшая гениальность.

* * *

Быть вполне человеком — все-таки выше всего... У меня на ногах появились мозоли — значит шаг вперед.

* * *

В результате моей жизни получится «ничто» — она представляет собой одно настроение, один колорит; выйдет, таким образом, нечто вроде картины художника, которому поручили изобразить переход евреев через Красное море: он покрыл все полотно красной краской, поясняя, что евреи перешли, а египтяне утонули.

* * *

Что ни говорите, а человеческое достоинство признается еще в природе. Желая отогнать птиц от плодовых деревьев, ставят чучело, и даже отдаленного сходства этого пугала с человеком достаточно для того, чтобы внушить уважение.

* * *

Лучшим доказательством ничтожества жизни являются примеры, приводимые в доказательство ее величия.

* * *

Пошлая судьба! Напрасно ты, как старая развратница, замазываешь свои морщины белилами, напрасно звенишь своими шутовскими бубенчиками. Надоела ты мне! Все то же да то же, все *idem per idem*, никакого разнообра-

разия — все одно и то же разогретое вчерашнее блюдо. Придите хоть вы, сон и смерть, одни вы, ничего не обещающая, все исполняете!

* * *

Для того, чтобы любовь имела какое-нибудь значение, первое проявление ее должно быть озарено луной, как и Апис, чтобы стать настоящим Аписом, при рождении своем должен быть озарен луной. Корова, разрешившаяся Аписом, тоже должна быть озарена луной в момент зачатия?

* * *

Большинство так усердно гонится за наслаждениями, что обгоняет их. Люди в этом случае напоминают карлика, сторожившего похищенную принцессу: однажды он прилег вздремнуть после обеда, а когда проснулся, принцессы и след простыл. Он спешит надеть свои семимильные сапоги — и одним шагом далеко обгоняет ее.

* * *

Как жизнь пуста, ничтожна! Хоронят человека: провозжают гроб до могилы, бросают в нее горсть земли: туда едут в карете и возвращаются в карете; утешают себя тем, что еще долгая жизнь впереди.

А что такое, в сущности, семь-десять лет? Отчего бы не покончить сразу, не остаться на кладбище всем, бросив жребий: на чью долю выпадет несчастье быть последним и бросить последнюю горсть земли на могилу последнего усопшего?

* * *

Душа моя угнетена, подавлена каким-то мрачным, тяжелым предчувствием... мысль не в состоянии унести ее от земной юдоли в свободный эфир... И даже выйдя из оцепенения, она продолжает тяготеть к земле и низко стелется над ее поверхностью, как птица перед грозой.

* * *

Женщины! Что в них? Красота их исчезает, как сон, как вчерашний день. Верность их... Да в том-то и дело! Они или легкомысленны (что меня перестало интересовать), или верны. Одна из них еще могла бы, пожалуй, увлечь, заинтересовать меня... как редкость, но не больше, — ведь окажись она верной в истинном смысле слова, я стал бы жертвой собственного эксперимента: мне пришлось бы тоже посвятить ей всю свою жизнь, а не выдержи она — опять старая история!

* * *

Я слышу два знакомые удара смычка! И это здесь на улице! Да уж не лишился ли я рассудка? Или слух мой, влюбленный в музыку Моцарта, сам обманывает себя? Или милосердные боги, из сострадания ко мне, как нищему, сидящему у врат храма, даровали мне ухо, способное слышать им же самим воссозданные звуки? Я слышу эти два звука... и ничего больше. Как в бессмертной увертюре, они всплывают из-под низких аккордов хора-ла, так и теперь они ясно выделяются из уличного шума и гама со всей неожиданностью откровения. Однако, это должно быть где-нибудь близко... Вот раздались веселые, манящие к танцам звуки... — А! Так это вам обязан я наслаждением, бедные бродячие артисты! Один из

них, лет семнадцати, одет в зеленый сюртук с большими костяными пуговицами. Сюртук ему не по росту. Скрипка прижата к подбородку; фуражка сдвинута на брови; на руке перчатка без пальцев, ладони посинели от холода. Другой, постарше, в шинели. Оба слепые. Маленькая девочка, должно быть, поводырь, стоит возле, спрятав руки под платок. Мало-помалу вокруг музыкантов образовался целый кружок поклонников их музыки: почтальон с сумкой, мальчик, кухарка, двое мастеровых дая. Щегольские барские экипажи с шумом катили мимо, грохот ломовых телег почти заглушал звуки музыки. Знаете ли вы, бедные музыканты, что в этих звуках все прелести жизни? Не похож ли этот случай на свидание?

* * *

За кулисами загорелось. Клоун выскочил предупредить публику. Решили, что он шутит, и давай аплодировать. Он повторяет — еще более неистовый восторг. Сдается мне, пробьет час, и мир рухнет при общем восторге умников, воображающих, что и это — буффонада.

* * *

В чем вообще смысл жизни? — Людей, собственно, можно разделить на два класса: один должен работать, чтобы поддержать жизнь, другой не нуждается в этом. Но не в работе же людей первого класса смысл жизни! Если допустить это, выйдет колоссальное противоречие: постоянное добывание условий станет ответом на вопрос о значении того, что этим обуславливается! Жизнь другого класса тоже не имеет никакого иного смысла, кроме потребления готовых условий. Сказать же, что смысл жизни в смерти — вновь, кажется, противоречие...

* * *

Сущность наслаждения заключается не в предмете наслаждения, а в представлении о наслаждении. Если б я имел в услужении сказочного духа и приказал ему доставить мне стакан воды, а он принес бокал лучшего в мире вина, я бы прогнал его и не позволил являться на глаза, пока он не поймет, что сущность наслаждения не в наслаждении чем-либо, а в исполнении желания.

* * *

Да, я не господин своей судьбы, а лишь нить, вплетенная в общую ткань жизни! Но если я и не могу ткать сам, то могу обрезать нить.

* * *

Все должно совершаться в безмолвной тишине, — в ней таится обоготворяющая сила.

Слова:

*«Mit einem Kind, dass göttlich, wenn Du schweigst,
Doch menschlich, wenn Du das Geheimnitz zeigst»**,

можно применить не только к судьбе ребенка Психеи.

* * *

Я, по-видимому, осужден пережить всевозможные душевные настроения, чтобы набраться опыта. И вот я ежеминутно попадаю в положение ребенка, которого учат искусству плавания посреди океана. Я кричу (этому меня научили греки, у которых вообще можно научиться все-

* Дитя то — Божество, пока безмолвен ты,
Но — человек, коли залог нарушишь немоты (нем.). — Пер. М. Белорусца.

му чисто человеческому), хотя на меня и наложен пояс, — я не вижу палки, за которую меня поддерживают над водой. Приобретать опыт таким образом — страшно.

* * *

По-моему, нет ничего пагубнее воспоминаний. Если какие-нибудь житейские обстоятельства или отношения переходят у меня в воспоминания, значит самые отношения уже покончены.

Говорят, разлука обновляет любовь. Это правда, но лишь в поэтическом смысле. Жить воспоминаниями — нельзя и представить себе ничего выше этой жизни: никакая действительность не может так удовлетворить, наполнить человека, как воспоминание; в воспоминании есть такая «действительность», какой никогда не имеет самое действительность. Когда я вспоминаю какие-нибудь житейские отношения, они уже достояние вечности и временного значения не имеют.

* * *

Философские учения о жизни зачастую так же обманывают, как вывески с надписью: «Стирка белья» на толкучке. Вздумай кто явиться сюда с бельем, он будет сильно разочарован, — вывеска выставлена для продажи.

* * *

Если кому следовало бы вести дневник, так это мне, особенно для памяти. Время спустя, я часто забываю, что побудило меня к тому или иному поступку — и не только тогда, когда речь идет о пустяках, но даже в самых

серьезных случаях жизни. Если же мне иногда и удастся впоследствии припомнить причину, то она обыкновенно кажется мне такой странной, что я просто отказываюсь признать ее. А имей я привычку записывать все, подобное сомнение было бы устранено.

Да, причина вообще странная штука: если душа моя взволнована страстью, причина вырастает в колоссальную необходимость, могущую поколебать вселенную; в спокойном же состоянии духа я отношусь к ней свысока. Я уже давно задумываюсь над причиной, по которой я отказался от адъюнктуры. Теперь мне думается, что я был бы как раз на своем месте в этой должности. Сегодня же меня озарила мысль, что это именно и было причиной моего отказа: если бы я занял эту должность, мне бы уже не на что было рассчитывать впереди, я мог лишь все проиграть и ничего не выиграть в будущем. Оттого я предпочел искать счастья в труппе странствующих актеров: у меня нет таланта, следовательно, я могу надеяться на счастье и у меня все впереди.

* * *

Надо быть очень наивным, чтоб решиться прибегать к шуму и крику. Будто судьба человека изменится от того! Нет, лучше уж примириться с ней, взять ее, какова она есть, не мудрствуя лукаво.

В дни молодости, заказывая бифштекс в ресторане, я всегда напоминал слуге: «Смотри же, хороший кусок и не слишком жирный». Но слуга ведь мог и не расслышать моих слов, не говоря уже о том, что он бы мог просто не обратить на них внимания. Кроме того, мои слова должны были еще проникнуть на кухню, дойти до ушей повара... Положим однако, что все это удалось, — ведь и тогда могло оказаться, что нет ни одного хорошего куска на кухне! ... Теперь уж я не кричу.

* * *

Чувства гуманности и филантропические стремления распространяются все более и более. — В Лейпциге образовалось общество, поставившее себе задачей: из сострадания к печальной кончине старых лошадей... есть их.

* * *

Лучший мой друг — эхо, а почему? — Потому, что я люблю свою грусть, а оно не отнимает ее у меня. У меня лишь один поверенный — ночная тишина...
Почему? — Потому что она
нема...



ДНЕВНИК ОБОЛЬСТИТЕЛЯ

*Sua passion' predominante
e la giovin principiante*
Don Giovanni, № 4. Aria*

СОБИРАЯСЬ ради личного своего интереса снять точную копию с бумаг, с которыми я познакомился так неожиданно и которые произвели на меня такое сильное, волнующее впечатление, я не могу отделаться от какого-то невольного смущения и страха. Впечатления первой минуты открытия выступают передо мной с прежней силой. Приятель мой уехал куда-то на несколько дней, оставил, против обыкновения, свой письменный стол открытым, и все, что в нем находилось, было, таким образом, в моем полном распоряжении. Обстоятельство это, конечно, несколько не оправдывает моего поступка, да и напрасно оправдываться, но я все-таки прибавлю еще, что один из ящичков, полный бумаг, был слегка выдвинут, и в нем на самом верху лежала большая тетрадь в красивом переплете; на верхней корочке переплета был приклеен билетик с надписью, сделанной рукой моего приятеля: *Commentarius perpetuus** №4*. Напрасно также с моей стороны оправдывать себя и тем обстоятельством, что книга лежала как раз этой стороной переплета кверху, — ведь если бы меня не соблазнило оригинальное и заманчивое заглавие тетради, я, быть может, и устоял, или, по крайней мере, постарался устоять против искушения ознакомиться с ее содержанием... А заглавие было действительно заманчиво и не столько само по

* Преобладающей его страстью были молоденькие девушки (итал.).

** Последовательные заметки (лат.).

себе, сколько по соотношению с остальными окружающими бумагами. Стоило мне бросить на них беглый взгляд, и я уже знал, вернее, угадал их содержание: эротические наброски, намеки на различные отношения и, наконец, черновые письма особого рода; несколько позже мне пришлось познакомиться с ними в окончательной, тонко рассчитанной и художественно выполненной небрежной форме. Теперь, когда коварная душа этого безнравственного человека стала для меня уже открытой книгой, мною (если я вновь представлю себя мысленно перед тем раскрытым ящиком) овладевает чувство полицейского, неожиданно обнаружившего приют подделывателя ассигнаций: отпирая ящики, он находит кучу бумажек — пробы различного шрифта, образчик виньетки, подпись кассира, строки, писанные справа налево... Он сознает, что попал на верный след, и смешанное чувство радости, некоторого страха и, наконец, удивления наполняет его душу. Между мной и полицейским, однако, та разница, что у меня нет ни привычки к подобным открытиям, ни права делать их; я в описываемом случае стоял совершенно на незаконной почве, потому и чувствовал себя несколько иначе: мысли спутались, слова куда-то затерялись... Первое впечатление слишком озадачило меня, а размышление еще не вступило в свои права. Обыкновенно, чем больше развита у человека способность мыслить и соображать, тем быстрее и искуснее мысли его подбираются к предмету, осматривают его со всех сторон и затем вполне им овладевают. Развитое соображение, как паспортист для иностранцев, настолько уже освоилось с самыми разнообразными, причудливыми типами, что его нелегко поставить в тупик. Как ни развиты, однако, у меня соображение и мышление, признаюсь, что в первую минуту я положительно растерялся и даже побледнел и от неожиданности открытия, и от мысли: а вдруг он сейчас вернется и застанет меня в этом положении, перед раскрытым ящиком?! ... Да, нечистая совесть может — таки внести в жизнь некоторый интерес и оживление!

Судя по заглавию найденной тетради, я принял было ее за собрание различных эскизов, тем более, что знал, как серьезно относится мой приятель ко всякому предпринятому им литературному труду. Оказалось, что я ошибся, и это был аккуратно веденный дневник. Не зная еще содержания этого

дневника и опираясь на свое прежнее знакомство с его автором, я не мог согласиться с заглавием на тетради, — я не находил, чтобы жизнь моего приятеля особенно нуждалась в комментариях, — зато теперь я не могу отрицать, что заглавие было выбрано с большим вкусом. Оно вполне гармонирует с содержанием дневника. Вся жизнь моего приятеля представляла, как оказалось, ряд попыток осуществить свою мечту — жить исключительно эстетической жизнью (и так как у него в высшей степени была развита способность находить интересное в жизни, то он и пользовался ею), а затем поэтически воспроизводить пережитое на бумаге. Строго исторического или просто эпического характера предлагаемый дневник не носит, содержание его скорее условное, чем положительное. Без сомнения, приятель мой записывал события уже после того, как они совершались, иногда, может быть, даже спустя очень долгое время, тем не менее самый рассказ так жив и драматичен, что события как бы совершаются перед нами въявь. Я не думаю, чтобы приятель мой, ведя дневник, имел в виду какую-нибудь постороннюю цель: как в целом, так и в частностях дневник этот не допускает возможности видеть в нем поэму, предназначенную для печати, и, по-видимому, имел для автора исключительно личное значение. Но во всяком случае автор не имел бы причин и бояться издать его, — большинство собственных имен, встречающихся в нем, так странны, что невольно является сомнение в их исторической верности. Я имею основание думать, что только первое собственное имя действующих лиц оставлялось автором без изменения, для того, чтобы сам он впоследствии мог знать, о ком идет речь, а всякий посторонний был бы обманут фамилией. Это заметил я, по крайней мере, относительно Корделии, девушки, на которой сосредоточен главный интерес дневника и которую я знал лично. Настоящая фамилия ее не имела ничего общего с той, которую она носит в дневнике.

Объяснение поэтического характера дневника найти нетрудно. Поэтическая натура моего приятеля была недостаточно богата или, если хотите, недостаточно бедна, чтобы отличить поэзию от действительности. Напротив, он сам вносил поэзию в окружающую его действительность и, насладившись, уносил ее обратно в виде поэтических воспоминаний и

размышлений. В этом заключалось для него двойное наслаждение: в первом случае он сам отдавался упоению эстетического, во втором — он эстетически наслаждался своей личностью; в первом — он лично эгоистически наслаждался этой, им же самым опозитизированной действительностью, во втором — личное «я» как бы стусшеывалось: наслаждаясь каким-нибудь положением, он смотрел на себя как-то со стороны и наслаждался видом самого себя в этом положении. Словом, вся жизнь его была рассчитана на одно наслаждение, и хотя в первом случае действительность была для него необходима как повод, момент, во втором — она совершенно исчезала в поэзии. Плодом наслаждения второго рода является таким образом сам дневник, а плодом первого — настроение, в котором он велся, объясняющее также его поэтический характер, — именно благодаря этой двойственности, которая проходила через всю жизнь автора, у него и не было недостатка в поэтическом материале.

Мир, в котором мы живем, вмещает в себя еще другой мир, далекий и туманный, находящийся с первым в таком же соотношении, в каком находится с обыкновенной сценической обстановкой, — волшебная, изображаемая иногда в театре среди этой обыкновенной, и отделенная от нее тонким облаком флера. Сквозь флер, как сквозь туман, виднеется словно бы другой мир, воздушный, эфирный, иного качества и состава, нежели действительный. Многие люди, живущие материально в действительном мире, принадлежат, в сущности, не этому миру, а тому, другому. Причиной подобного исчезновения человеческой личности в мире действительности может быть как избыток жизненных сил, так и известная болезненность натуры.

На последнюю причину можно указать, имея в виду моего приятеля, которого я так долго знал, не зная его в сущности. Не принадлежа действительному миру, он тем не менее постоянно вращался в нем, но при этом даже в те минуты, когда почти всецело отдавался ему и телом и душой, оставался как-то вне его, точно скользя лишь по его поверхности. Что же именно влекло его за пределы действительности? Не добро и не зло, — последнего я не могу сказать даже теперь. Он про-

сто страдал *exacerbatio cerebri*^{*}, и действительность как-то не действовала на него, самое большее — моментально; в ней не находилось достаточно сильных раздражающих стимулов для него, его натура была слишком крепка, но в этой-то излишней крепости и скрывалась его болезнь. Как только действительность теряла свои возбуждающие стимулы, он становился слабым и беспомощным, что и сам признавал в минуты отрезвления, и в чем лежало главное зло.

Героиню дневника, Корделию, я, как уже сказал, знал лично; были ли еще жертвы этого соблазнителя, я наверное не знаю, но это, пожалуй, можно заключить из дневника, в котором вообще так ярко обрисовывается личность автора. Духовная сторона, преобладающая в его натуре, не допускала его довольствоваться низменной ролью обыкновенного обольстителя, — это было бы слишком грубо для его тонко развитой организации; нет, в этой игре он был настоящим виртуозом. Из дневника видно, что конечной целью его настойчивых желаний был иногда только поклон или улыбка, так как в них именно, по его мнению, была особая прелесть данного женского существа. Случалось таким образом, что он увлекал девушку, в сущности совсем не желая обладать ею в прямом смысле этого слова. В таких случаях он продолжал вести свою игру лишь до того момента, когда девушка была наконец готова принести ему в жертву все. Видя, что такой момент наступил, он круто обрывал отношения. Благодаря его блестящим дарованиям и почти демоническому умению вести свою игру, подобные победы давались ему очень легко, даже без малейшего шага к интимному сближению с его стороны: ни слова любви, ни признания, не говоря уже о клятвах и обещаниях. Тем не менее, победа была полная, и несчастная страдала тем более, что в своих воспоминаниях она не могла отыскать ни малейшей точки, на которую могла бы опереться. Она как будто попадала в какой-то заколдованный круговорот: бешеный вихрь подхватывал ее мысли, чувства, упреки себе, ему, прощение, надежда, сомнения — все кружилось, путалось в ее мозгу и сердце. Иногда ей казалось даже, что все

* Помрачение рассудка (лат)

случившееся с ней было лишь бредом, фантазией — так, в сущности, не действительны были их отношения друг к другу. Она не могла даже облегчить душу, поверить свою тайну кому-нибудь: ей нечего было поверять. Сон, мечту можно еще передать другому словами, но случившееся с ней в действительности мгновенно таяло, обращалось в ничто, как только она хотела воплотить его в словах и образах; да, оно исчезло, но в то же время продолжало давить ее тяжким бременем. Горе такой жертвы было не сильным, но естественным горем обманутых и покинутых девушек: она не могла облегчить своего переполненного сердца ни ненавистью, ни прощением. Посторонний глаз не мог уловить в ней никакого видимого изменения, она продолжала жить по-прежнему, доброе имя ее оставалось незапятнанным, но все ее существо как бы перерождалось, непонятно для нее самой, невидимо для других. Ей не нанесено было никакой видимой раны, жизнь ее не была грубо надломлена чужой рукой, но как-то загадочно уходила вовнутрь, замыкалась в самой себе. Словом, ни следа, ни повода, чтобы кто-нибудь мог увидеть в ней жертву, а в нем обольстителя; в этом отношении он был чист от всяких обвинений. Как уже сказано, он жил слишком отвлеченной жизнью, умом и воображением, чтобы быть обольстителем в обыкновенном смысле этого слова, но ему случалось предаваться и чувственности. Это доказывает его история с Корделией. В ней он является фактическим обольстителем, но и здесь личное участие его настолько неясно, что никакое доказательство не мыслимо, и даже сама несчастная девушка иногда как бы сомневается: кто из них виноват? Женщина была для него лишь возбуждающим средством; надобность миновала, и он бросал ее, как дерево сбрасывает с себя отзеленевшую листву: он возрождался — она увядала.

Но что же творилось при этом в его собственной душе? Я думаю, что, запутывая, вводя в заблуждение других, он кончит тем, что запутается окончательно и сам. Ведь если возмутительно направить заблудившегося путника на неверную дорогу и покинуть его там, то во сколько же раз возмутительнее ввести человека в заблуждение уже не относительно внешних явлений, а относительно его самого? Заблудившийся путник имеет по крайней мере надежду как-нибудь выбраться: мест-

ность перед ним меняется, и каждое новое изменение порождает новую надежду. Но человек, заблудившийся в самом себе, скоро замечает, что попал в какой-то круговорот, из которого нет выхода; мысли и чувства в нем мешаются, и он в отчаянии перестает, наконец, сам понимать себя. Однако и это все — ничто в сравнении с положением самого хитреца, потерявшего в конце концов нить и запутавшегося в своем собственном лабиринте. Совесть его пробуждается, и он тщетно призывает на помощь свое остроумие. Как поднятая лисица, мечется он в своей норе, ища одного из бесчисленных выходов, оставленных на всякий случай; вот ему мерещится издалека луч дневного света, он кидается туда и что же? — Это лишь новый вход! Вместо того чтобы выбраться, он таким образом постоянно возвращается в себя самого. Такого человека нельзя назвать вполне преступным, — он сам был обманут своими интригами; но тем ужаснее его наказание. Что значит угрызения совести преступника в сравнении с таким сознательным безумием. Наказание, постигающее его, чисто эстетическое, и выражение «совесть его пробуждается» слишком, если можно так выразиться, «этично», чтобы пояснить его душевное состояние. Чувство, овладевающее им, не совесть, а скорее нечто вроде высшего, уточненного самосознания, которое в сущности не мучит его обвинениями, но лишь поддерживает его душу в вечно бодрствующем беспокойном состоянии, не давая ему забыться и постоянно побуждая метаться в новых бесплодных поисках. Нельзя также вполне применить, сюда выражение «безумие»: вечно сменяющееся богатое разнообразие мыслей не допускает его душу застыть в неподвижной бесконечности безумия.

Но бедная Корделия! Не скоро отдохнет ее измученное сердце в безмолвном покое забвения. Тысячи различных беспрерывно сменяющихся друг друга, чувств волнуют и терзают ее. Вот она готова успокоиться, забыть, простить своему обольстителю все... но вдруг, как молния, сверкает в ее голове мысль, что не он виноват, а она: ведь она сама возвратила ему кольцо, ее гордость требовала нарушения всяких обязательств! ... Мучительное раскаяние томит ее; минута — и самообвинение сменяется новым обвинением: это он лукаво вдохнул в нее свой план! ... О, как она ненавидит его, прокли-

нает! ... И вслед затем она вновь упрекает себя: разве смеет ненавидеть и проклипать она, сама не менее виновная! Страдания Корделии еще увеличиваются сознанием, что это он пробудил в ней тысячеголосое размышление, развил ее эстетически настолько, что она уже не может больше прислушиваться к одному только голосу, но слышит их все сразу, и они наполняют ее слух, звучат в нем самыми разнообразными тонами и переливами и заполняют ее душу. Вспоминая об этом, она забывает весь его грех и вину, — она помнит лишь одни прекрасные мгновения, она упоена этими воспоминаниями... В неестественном возбуждении сердца и фантазии она воспроизводит мысленно его внешний образ до того живо, что прозревает и его внутреннее содержание своим, как бы ясновидящим оком. В эти минуты она понимает его в чисто эстетическом смысле, не видя в нем ни преступного, но и ни безукоризненно честного человека. Этот взгляд сквозит и в ее письме ко мне:

«Иногда, — пишет она, — он жил до такой степени отвлеченной жизнью, что становился как бы бесплотным, и я не существовала для него как женщина. Иногда же он был так необузданно страстен, так полон желаний, что я почти трепетала перед ним. То я становилась будто чужой для него, то он весь отдавался мне. Обвивая его руками, я иногда чувствовала вдруг, что все как-то непонятно изменяется, и — я “обнимаю облако”. Это выражение я знала прежде, чем узнала Йоханнеса, но только он научил меня понимать его тайный смысл. Этого выражения я никогда не забуду, как не забуду и его, — ведь каждая моя мысль дышит им одним. Я всегда любила музыку, — он был чудный инструмент, всегда взволнованный, всегда полный звучания... Но ни один инструмент не обладает таким объемом и богатством звуков, — он вмещал в себя выражение всех чувств, всех настроений. Ничто не казалось ему слишком недостижимым, ни перед чем бы он не отступил. В его голосе звучали то порывы урагана, то едва слышимый шелест листьев. Ни одно из моих слов не оставалось без впечатления на его чуткую душу, но достигали ли они своей цели — я не знаю, потому что никогда не могла уловить, какое именно действие они производили. Упоенная и очарованная, я жадно внимала этой музыке, вызванной мною и в то же время вполне произвольной. Ее дивная гармония бесконечно увлекала мою взволнованную душу! ...»

Да, ужасны были последствия для нее! Но еще ужаснее будут они, когда-нибудь для него: даже меня, лицо совсем по-

стороннее, охватывает невольный трепет, едва я подумаю об этой драме. Я чувствую себя увлеченным в это царство туманной фантазии, в этот призрачный мир, где каждую минуту вздрагиваешь, испуганный собственной тенью. Напрасно стараюсь я оторвать свои мысли от этой таинственной истории, — я продолжаю мысленно следовать за ее развитием, как немой, но грозный свидетель. Да, Йоханнес окутал все глубокой, непроницаемой тайной, но возникла новая тайна, о существовании которой он и не подозревает: именно то, что я приподнял таинственную завесу его тайны, хотя и незаконным путем... Не раз я думал заговорить с ним об этом, но к чему? Он или решительно отказался бы от всего, уверяя, что весь дневник — лишь поэтический набросок, плод его собственной фантазии, или взял бы с меня слово молчать, — на что имел полное право, ввиду способа, употребленного мною для раскрытия тайны. Правда, — ничто не приносит с собой столько соблазна и проклятий, как тайна!

Я получил от Корделии целую пачку его писем; думаю, однако, что в ней были не все: она сама намекнула мне однажды, что уничтожила некоторые. Я снял с них копии и также внес их в дневник. Мне было довольно трудно разместить их в надлежащем порядке, так как они не помечены числами; впрочем, это все равно ничуть не облегчило бы задачи: в самом дневнике, по мере его развития, все реже и реже встречаются указания на день и число. Указания эти становятся как будто лишними, настолько знаменательным делается само содержание дневника; оно, несмотря на свою фактическую подкладку, становится почти идеей. Помогло же мне несколько то, что я еще раньше заметил в разных местах дневника слова, смысл которых оставался для меня неясным до тех пор, пока я не прочел писем. Последние, как я увидел, представляли собой как бы разработку тех вскользь брошенных слов и намеков, которые остановили мое внимание. Благодаря этому обстоятельству затруднения с размещением писем в дневнике исчезли, и я не впал в ошибки, которые иначе были бы неизбежны, поскольку я не знал, как часто следовали эти письма одно за другим. Оказалось, что иногда Корделия получала их по несколько в один день. Я, конечно, разместил бы их более равномерно, ничего не зная о той

страстной энергии, с которой Йоханнес пользовался этим, как и всяким вообще, средством, чтобы разжигать чувство Корделии, не давая ей опомниться.

В дневнике, кроме подробной истории отношений с Корделией, встречается также несколько маленьких эпизодов эстетического характера, отмеченных на полях; эти эпизоды, не имеющие никакого отношения к главному предмету повествования, объяснили мне, между прочим, смысл любимого выражения моего приятеля, которое я понимал прежде совсем иначе: «Рыбаку нужно на всякий случай забрасывать маленькие удочки и на сторону». В дневниках прежних лет такие, как он сам называет их, *actions in distans** попадались наверно чаще, но здесь он признается, что Корделия слишком овладела его воображением, чтобы оставить ему время хорошенько осматриваться кругом.

Вскоре после своего разрыва с Корделией, он получил от нее несколько писем, но возвратил их нераспечатанными. Корделия сама распечатала их и передала мне вместе с полученными от него. Она никогда не говорила со мной об их содержании, но когда разговор касался ее отношения к Йоханнесу, цитировала обыкновенно маленькое стихотворение, принадлежащее, если не ошибаюсь, Гёте — имевшее в ее устах каждый раз новое значение, соответствующее душевному настроению в данную минуту:

Gehe,
Verschmahe
Die Treue, —
Die Rene
Kommt nach**.

Я думаю, что будет нелишним и вполне уместным поместить здесь и ее письма.

* Воздействия на расстоянии (лат.)

** Убегай,
Презирай,
Любовь губя, —
Раскаянье
Настигнет тебя (нем.).

*

Йоханнес!

Я не называю тебя: «мой Йоханнес», я знаю теперь, что ты никогда не принадлежал мне, и я жестоко наказана за то, что осмелилась когда-то лелеять эту мысль в моем сердце... И все же ты мой, — мой обольститель, мой враг, мой убийца, мое горе, мое разочарование, мое отчаяние! Повторяю: ты мой и я твоя! Твоя! — пусть это слово, прежде ласкавшее твою гордость, прозвучит теперь проклятием над твоей головой, вечным проклятием! Не думай, что я стану преследовать тебя, вооружаться кинжалом, чтобы вызвать твои насмешки; нет, беги куда хочешь — я все-таки твоя, люби сотни других — я твоя, даже в смертный час я останусь твоя! Сам язык моего письма к тебе должен доказать тебе, что я — твоя! Ты осмелился обмануть меня своей любовью так, что стал для меня всем, что я сочла бы счастьем быть даже рабыней твоей — и я остаюсь твоей навеки!

Я твоя, твоя, твое проклятие!

Твоя Корделия.

*

Йоханнес!

Был богатый человек, у него было очень много мелкого и крупного скота; была бедная девушка, у нее была лишь одна овечка, которая ела из рук и пила из ее чаши. Ты был богатый человек, богатый всеми благами жизни; я была бедная девушка, у меня была лишь любовь моя. Ты взял ее, наслаждался ею... ты принес в жертву своим страстям единственное, чем владела я; сам ты не пожертвовал ничем! Был богатый человек, у него было очень много мелкого и крупного скота; была бедная девушка, у нее было лишь сердце, полное любви!

Твоя Корделия.

*

Йоханнес!

Неужели нет надежды? Неужели твоя любовь ко мне никогда не воскреснет? Ведь я знаю, что ты любил меня когда-то, хотя и не знаю, почему я уверена в этом. Буду ждать, как бы медленно ни тянулось время, буду ждать, ждать... ты устанешь любить других, и

твоя любовь ко мне восстанет из своей могилы, вспыхнет прежним огнем! Как буду я любить тебя, боготворить!... как прежде, о, Йоханнес, неужели это бессердечное, холодное равнодушие и есть твое истинное существо? Неужели твое богатое сердце, твоя пылкая любовь были лишь ложью? Неужели ты играл только роль, а теперь, теперь — вновь стал самим собою... Йоханнес, прости, что я все еще люблю тебя... я знаю, что любовь моя для тебя — бремя, но ведь настанет же опять минута, ты вернешься к твоей Корделии, — слушай этот молящий призыв — твоей Корделии.

Твоя Корделия.

*

Если Корделия и не обладала таким богатством внутреннего содержания, каким она восхищалась в Йоханнесе, то во всяком случае ее душевные струны не лишены были чуткой гармонии. Ее разнообразные переливы ясно звучат в каждом письме, хотя в них и не достаёт до известной степени ясности изложения. Особенно это заметно во втором из них, — где мысль останавливается, так сказать, на полуслове, и где есть что-то недосказанное, а сам смысл скорее угадывается, чем понимается. Но это именно и придает ему, по-моему, такой трогательный оттенок.

4 Апреля

Осторожнее, моя прелестная незнакомка! Осторожнее! Выходить из кареты не так-то легко, как кажется, часто это бывает очень даже решительным шагом. Я мог бы указать вам в этом случае на новеллу Тика. В ней рассказывается, как одна отважная дама, слезая с лошади так запуталась в платье и сделала такой шаг, что он решил все ее будущее. К тому же подножки у кареты устроены так скверно, что волей-неволей приходится отказаться от всякой мысли о грации и рискнуть на отчаянный прыжок прямо в объятия кучера или лакея. Славно живется этим господам! Право, я думаю сыскать себе подобное место в доме, где есть молоденькие барышни; лакей ведь так легко иногда становится поверенным этих очаровательных созданий! Однако, ради Бога, не прыгайте, умоляю вас, не прыгайте! А! Вот так, так, это лучше всего, — спускайте осторожно ваши ножки и не стесняйтесь приподнять платье: теперь уже сумерки, никто не увидит, и я не помешаю вам; я только встану вон под тем фонарем, вы не увидите меня, а стало быть, вам нечего и стесняться. — Стесняешься ведь обыкновенно лишь настолько, насколько бываешь видим, а считаешь себя видимым не в большей степени, чем сам это видишь. И так, ради слуги, который пожалуй не в состоянии выдержать сильного прыжка, ради вашего прелестного платья, изящной кружевной накидки, ради меня самого наконец — пусть ваша маленькая ножка, стройность которой уже успела восхитить меня, выглянет на белый свет. Положитесь на нее, она наверно сыщет себе опору. Не пугайтесь, если вам покажется, что она скользит... спускайте поскорее и другую, вы ничуть не рискуете. Кто же может быть так жесток, что оставит ее в этом

опасном положении? Кто не поспешит полюбоваться таким прекрасным явлением и помочь ей? Или вы боитесь, может быть, кого-нибудь постороннего? Ведь не слуги же и не меня, надеюсь. Я уже видел эту очаровательную ножку, и так как я в некотором роде естествоиспытатель, то на основании положений Кювье вывел известное заключение. Итак, смелее! Право, страх только увеличивает вашу красоту... т. е., собственно говоря, страх красив вовсе не сам по себе, а лишь в соединении с преодолевающей его энергией. Ну вот! Посмотрите, как твердо стоит теперь эта крошечная ножка! Я уже не раз имел случай заметить, что девушки с маленькими ножками держатся тверже и уверенней, чем большеногие. Вот тебе раз! Кто бы это мог подумать? Казалось бы, опыт создал правило, что гораздо безопаснее выходить из кареты медленно и осторожно, чем выпрыгивать: меньше риска разорвать платье — и вдруг?! Да, оказывается, что молодым девушкам вообще опасно ездить в карете, — в конце концов, пожалуй, совсем останешься в ней. Делать нечего, кружева ваши испорчены! Что за беда, впрочем, ведь никто ничего не видал. Правда, у фонаря появляется какая-то темная фигура, укутанная до самого подбородка... Свет падает вам прямо в глаза, и вы не можете угадать, откуда она появилась; она равняется с вами в ту минуту, как вы готовы войти в подъезд. Взгляд, брошенный сбоку, как молния, обжигает вас: вы краснеете, грудь ваша волнуется, дыхание прерывается, в глазах мелькает гнев, гордое презрение... какая-то мольба... дрожит слезинка, то и другое я могу отнести к себе... И я еще вдобавок настолько жесток, что... Какой № этого дома? А-а! Это «Базар модных вещей»! Может быть, это дерзость с моей стороны, очаровательная незнакомка, но я лишь следую за моей путеводной звездочкой. Она уже забыла о своем маленьком приключении, и немудрено: в семнадцать лет каждая безделушка так радуется и приковывает внимание. Она не замечает меня, я стою

у другого конца прилавка. На боковой стене висит зеркало; она о нем не думает, но оно-то о ней думает! Оно схватывает ее образ, как преданный и верный раб, схватывающий малейшее изменение в чертах лица своей госпожи. И, как раб же, оно может лишь воспринять, но не обнять ее образ. Бедное зеркало! Оно не может даже ревниво затаить в себе этот образ, спрятать его от глаз света, оно должно выдавать его другим, как вот сейчас мне, например. Что, если бы человек был так создан? Вот была бы мука! А ведь есть на свете люди без всякого внутреннего содержания, живущие лишь заимствованным у других. Эти люди схватывают лишь внешнее впечатление, а не самую сущность предмета, и при первом же дыхании действительной жизни слабый след этот стирается в их душе, как в зеркале образ нашей красавицы, вздумай она хоть одним дыханием открыть ему свое сердце. Что, если бы внутреннее око человека не обладало даром сохранять впечатления? Ведь тогда, пожалуй, пришлось бы всегда держаться в некотором расстоянии от красоты: внешним своим оком человек не может воспринимать того, что слишком близко к нему, что покоится в его объятиях. К счастью, внутреннему оку не нужно удалять от себя любимого образа, чтобы вновь вызвать его перед собою, даже тогда, когда уста сливаются с устами! Но как она прелестна! Несчастное зеркало! Хорошо, что ревность тебе незнакома. Ее личико строго овальной формы; головка слегка наклонена над прилавком, отчего гордый и чистый лоб без малейшей обрисовки умственных органов, кажется выше и больше; темные волны волос легко облегают его. Все личико похоже на спелый персик: полно-округленная линия, прозрачная и бархатистая кожа, — бархатистость ее я ощущаю взглядом. Глаза ее... да, ведь я еще не видал их; они прикрыты шелковыми ресницами, слегка загнутыми на концах Пусть бережется их стрел всякий, кто захочет встретить ее взор! Чистота и невинность

этой наклоненной головки делают ее похожей на мадонну. Но ее взгляд не выражает сосредоточенного созерцания: роскошь и разнообразие рассматриваемых ею вещей бросают свой отблеск на ее лицо, играя на нем всевозможными оттенками. Вот она снимает перчатку, чтобы показать зеркалу — и мне — свою ручку античной формы и снежной белизны. На ней нет никаких украшений... даже гладкого золотого кольца на четвертом пальце — браво! Она поднимает глаза... Как изменилось ее лицо! И тем не менее оно то же, что и прежде, только лоб стал как будто не так высок, овал лица не так правилен, зато в выражении появилось больше жизни. Она очень живо и весело болтает с приказчиком... Вот она выбрала одну, две, три вещи, берет четвертую, рассматривает ее... А! она опять опустила глаза, спрашивает о цене, осторожно кладет вещь на прилавок и прикрывает ее перчаткой... Это уже пахнет секретом! Подарок кому-нибудь... другу сердца? Но ведь она еще не обручена! Увы! есть много необрученных и все ж имеющих друзей сердца! Не оставить ли ее в покое? Зачем мешать невинному удовольствию?.. Барышня собирается платить... оказывается, она забыла кошелек! Вот теперь она вероятно говорит свой адрес, но я не хочу подслушивать: зачем лишать себя удовольствия нечаянной встречи? Уж когда-нибудь я встречу ее и, конечно, сразу узнаю. Она меня, вероятно, тоже: мой взгляд не скоро забудешь. А может быть, я и сам буду застигнут врасплох этой встречей. Ничего, потом наступит ее очередь! Если же она не узнает меня — я сразу замечу это и найду случай опять обжечь ее таким же взглядом, тогда ручаюсь, что вспомнит!

Только больше терпения, не надо жадничать — наслаждение следует глотать по капелькам. Красавица отмечена и не уйдет.

5-20

Вот это мне нравится? Одна, вечером на Эстергаде*? Не беспокойтесь, впрочем, я не такого дурного мнения о вас и совсем не думаю, что вы пустились гулять одна-одинешенька. Да и не настолько я неопытен, чтобы при обозрении поля действия мне сразу не кинулась в глаза эта солидная фигура в темной ливрее, так важно шагающая в некотором отдалении от вас. Но зачем же вы так спешите? Разумеется, не затем, чтобы вернуться домой поскорее; вернее, что этот усиленный темп сердца и ножек происходит от нетерпеливого волнения и какого-то сладкого трепета, охватывающего вас. Ах, как приятно гулять так одной, с лакеем позади! ... Да, нам шестнадцать лет, — мы довольно начитаны... романами. Случайно проходя мимо комнаты братьев, мы поймали заманчивое словечко об Эстергаде. Потом мы шмыгнули несколько раз уже нарочно, чтобы узнать побольше, — не удалось! А ведь надо же в самом деле такой большой, совсем взрослой девушке набраться более обстоятельных сведений о том, что делается на белом свете! Вот если бы уйти из дома одной, без этого лакея позади! Куда! ... Что скажут папаша с мамашей? Хоть бы уж с лакеем! Да и то, какой предлог придумать для такой прогулки? Так трудно сообразиться со временем! Когда идешь в гости — это чересчур рано, ведь товарищ брата Августа сказал, что всего интереснее бывает часов в десять, одиннадцать... Когда же возвращаешься назад — поздно, да еще всегда навяжут тебе в провожатые какого-нибудь кавалера! Вот в четверг вечером, когда едешь из театра, было бы очень удобно, но опять беда: сидишь в карете с тетей и полдюжиной кузин! Вот если бы ехать одной, тогда стоит только спустить стекло и — любуйся сколько хочешь. Но *ouwerhofft kommt oft***.

Сегодня мама сказала: «Ты наверно не кончишь своего подарка к рож-

* «Восточная» — одна из самых людных и богатых улиц Копенгагена. — Прим. перев.

** Чего не чаешь — то получаешь (нем.)

дению папы, ступай-ка к тете, там тебе никто не мешает работать. Оставайся там пить чай, а после я пришлю за тобой Ганса». Собственно говоря, проскучать целый вечер у тети не особенно приятная перспектива, но зато оттуда пойдешь одна, только с лакеем! Он придет немного рано, и ему придется подождать; не раньше десяти часов, тогда — марш! Вот забавно было бы встретить теперь милейшего братца или господина Августа! Нет, лучше не надо! Пожалуй вздумали бы еще провожать, благодарю покорно! Вот если б так случилось, что я бы их видела, а они меня нет! ... Теперь вы озираетесь кругом, моя маленькая плутовка... А что вы видите, позвольте спросить, или что вижу я, по-вашему? Во-первых, я вижу на вашей головке маленькую шапочку, которая идет вам как нельзя больше, она вполне гармонирует с вашей шаловливой резвостью. Это в сущности не шляпка, а что-то в роде капора. Но вы ведь, разумеется, не надели его утром, отправляясь к тете. Вероятно, его принес с собой лакей или одолжила тетя? А, может быть, мы тут — инкогнито? — вы очень предусмотрительно приподняли свою вуаль, иначе ведь не много сделаешь наблюдений. Впрочем, в темноте трудно решить: вуаль это или просто широкая блонда, во всяком случае она прикрывает лишь верхнюю часть лица. Гм! Посмотрим хорошенько. Подбородок очень изящный, немного острый, ротик маленький, полуоткрытый, это — от ускоренной ходьбы. Зубки белые и блестящи, как жемчужины. Так и следует: зубы — предмет первостепенной важности. Это «*sauve garde*»*, укрывающийся за соблазнительной мягкостью пунцовых губок. На щечках цветут розы. И — да, мы недурны! А что, если я слегка наклоню голову и загляну под вуаль: берегись, дитя мое, такой взгляд, брошенный снизу, опаснее, чем «*gerade aus*» в фехтовании (а какое же оружие может блеснуть так внезапно и

* Телохранитель (франц.)

затем пронзить насквозь, как глаз?), — маркируешь, как говорится, *in quarto*, и выпадаешь *in secundo*. Славная это минута! Противник, затаив дыхание, ждет удара ... раз! он нанесен, но совсем не туда, где его ожидали! ... А она продолжает себе шагать вперед без страха и упрека! Но берегитесь! Вот там идет кто-то... опустите скорее вуаль, не давайте его профанирующему взгляду осквернить вас, вы себе представить не можете, что могло бы из этого выйти, вы долго бы, пожалуй, не забыли неприятного содрогания, которое невольно почувствовали бы при этом взгляде... Но вы ничего не замечаете, а он уже наметил план действий. Лакей избран ближайшей жертвой... Трах! Ну вот вам и гуляйте вперед одна с лакеем! Лакей ваш упал. Положим, это смешно, но все-таки, что же вам делать теперь? Вернуться, помочь ему — нельзя; идти с запачканным лакеем — и неприятно, и неловко; идти одной — как-то странно... Теперь остерегайтесь — минута наступает, чудовище приближается к вам... Вы не отвечаете мне? Полноте, посмотрите же на меня, разве моя наружность внушает вам какое-либо опасение? Кажется, она не из таких, которые могут произвести особенное впечатление; на вид я добродушнейший человек в мире, не имеющий ничего общего с уличными героями ... Ни одного неосторожного слова о неприятном приключении, ни одного резкого неделикатного движения... Но вы все еще немного испуганы, вы еще не забыли, как внезапно появилась подле вас эта таинственная фигура. Но вот, мало-помалу вы начинаете немножко располагаться в мою пользу: моя неловкость и застенчивость, мешающая мне даже взглянуть на вас, дают вам некоторый перевес надо мной... Это радует и успокаивает вас. Пожалуй, вы не прочь даже слегка позабавиться моим смущением... Я готов пари держать, что вы взяли бы меня под руку, если бы догадались только... А, так вы живете здесь, в Стормгаде? Вы прощаетесь со мной коротким, церемонным поклоном. Разве

только такую благодарность заслужил я за свою рыцарскую услугу? Но вы раскаялись, вернулись ... подаете мне руку. — Что же? Вы побледнели? Разве мой тон не по-прежнему почтителен, осанка не так же прилична, взгляд не довольно скромно? ... А-а! пожатие руки? ... Да разве оно может что-нибудь означать? А как вы думаете? Даже очень много, моя милая! Не пройдет и двух недель, как я буду иметь честь объяснить вам это, а до тех пор оставайтесь в недоумении. Да, я, добродушнейший на вид господин, так вежливо и скромно проводивший барышню до дома, могу пожать ей руку далеко не добродушным образом! Да!

7 Апреля

«Итак, в понедельник, в час дня, на выставке». Прекрасно! Будем иметь честь явиться к часу без четверти. — Маленькое свидание. В субботу я узнал, что мой старый приятель Адольф Брун, бывший очень долго в отлучении, наконец вернулся. Мне сказали, что он живет теперь в Вестергаде, № такой-то, и я немедленно отправился его отыскивать. Я обшарил весь дом, взбирался по лестницам во все этажи, но его сыскать не удалось. Наконец, потеряв всякую надежду, я уже намеревался спуститься вниз, как вдруг слух мой был приятно поражен тихим мелодическим женским голосом: **«Итак, в понедельник, в час дня, на выставке; в это время как раз никого не будет дома, и я могу уйти».** Разумеется, приглашение это относилось не ко мне, а к молодому человеку, который — раз, два, три — и выскочил за дверь так быстро, что не только ноги, но и глаза мои не могли догнать его. Ну, домик! Нечего сказать! Хоть бы газ горел на лестнице — я бы, по крайней мере, мог увидеть, стоит ли быть таким аккуратным! Впрочем, будь здесь газ, я бы пожалуй ничего не услышал. Все существующее разумно; я был и буду оптимистом!

... Однако, как же я ее узнаю? На выставке ведь тысячи молоденьких девушек... Сяду тут в первой комнате, напротив входа... Теперь ровно три четверти первого. Таинственная героиня! Желаю вам, чтобы ваш избранник был во всех отношениях так же аккуратен, как ваш покорный слуга. Впрочем, может быть, вы сами не пожелали бы этого: ведь он пожалуй мог бы попасть иногда в не совсем урочный час? ... Как вам угодно... я ничего против этого не имею. Очаровательная волшебница, фея или ведьма, — пусть рассеется туман твоих чар! Ты верно уже здесь, но пока еще невидима для меня. Явись же мне, откройся сама, иначе какое чудо может мне указать тебя? А может статься, тут не она одна... Кто знает, сколько еще девушек забрались сюда с таким же прекрасным намерением? Намерения человека вообще трудно предвидеть, даже когда он идет на выставку! Вот у дверей появляется молодая девушка... Господи, как она стремительно бежит! Точно дурная совесть за грешником! ... Она забывает даже вручить входной билет... Контролер останавливает ее... И что у нее за спешка? Это наверно она! К чему такая неумеренная горячность? Ведь еще рано. Подумайте: вас ожидает свидание с любимым человеком, разве не нужно в таком случае обратить внимание на свою наружность? Увы! готовясь к «свиданию», такие молоденькие пылкие девушки всегда порют горячку. Она совсем растерялась. А я себе преспокойно восседаю на кресле и любуюсь чудным деревенским видом. Экий бесенок! Так и летит через все комнаты. Не мешало бы хоть немного сдержать свои страстные порывы. Ну прилично ли молодой девушке так спешить на свидание? Впрочем, наше свидание из невинных. Вообще, по мнению влюбленных, свидание — самая прекрасная минута. Мне самому так ярко и живо, как будто все случилось только вчера, припоминается, с какими чувствами я мчался впервые на условленное место... Сладкое нетерпение и ожидание не из-

веданного еще блаженства волновали сердце... Я подал сигнал — распахнулось окно, открылась невидимой рукой девушки калитка... и я впервые укрыл возлюбленную под моим плащом в светлую лунную ночь! ... Но во всем этом играет, конечно, большую роль иллюзия. Посторонний же наблюдатель не всегда найдет, что влюбленные представляют в эту минуту приятное зрелище. Я сам не раз бывал свидетелем таких свиданий, когда девушка очень мила, мужчина красив, — и все-таки получается крайне неприятное впечатление; сами-то влюбленные, впрочем, находили вероятно свое свидание прекрасным. Нет, вот когда приобретешь некоторую опытность в делах подобного рода, тогда действительно дело пойдет куда лучше: хотя сладкий трепет нетерпеливого желания и будет уже утрачен, зато сумеешь сделать минуту действительно прекрасной. Мне всегда ужасно досадно видеть мужчину, которого во время свидания трясет лихорадка любви. Ну что смыслит мужик в ананасах? Вместо того, чтобы вполне хладнокровно наслаждаться ее волнением, любоваться, как оно вспыхивает на ее лице и увеличивает ее красоту, он сам путается в каком-то неловком замешательстве и, вернувшись домой, воображает, что это было нечто восхитительное. Да где же он застрял наконец, черт бы его побрал! Ведь уж второй час! Нечего сказать, милый народец эти избранники сердца! Экий негодяй, заставляет такую прелестную девушку дожидаться! В таком случае, я куда надежнее! Теперь, пожалуй, как раз время заговорить с ней, — она уже в пятый раз проходит мимо меня... — «Извините, пожалуйста, *mademoiselle*, но вы, вероятно, ищите здесь своих знакомых? Вы уже несколько раз прошли мимо меня, но я заметил, что вы постоянно останавливались в предпоследней комнате. Вы, вероятно, не знаете, что там есть еще одна? Может быть, там вы найдете, кого ищете?» Она очень мило кланяется мне. Случай положительно мне благоприятствует.

В мутной воде рыбка ловится лучше всего: когда девушка взволнована, можно рискнуть на многое и с успехом... Я отвечаю на ее поклон возможно вежливее и скромнее и продолжаю сидеть, любуясь моим видом, но не выпуская из виду и ее. Следовать за ней сейчас же было бы опрометчиво... Она могла бы счесть это за навязчивость, и тогда — пиши пропало! Теперь же я на хорошем счету, мое вежливое внимание наверное подействовало на нее. Пусть прогуляется в последнюю комнату, там нет никого, это я отлично знаю. Уединение будет для нее кстати, — среди шумной толпы она чересчур волнуется, а оставшись одна, — успокоится. Спустя некоторое время я зайду туда, *en passant*. Я имею право заговорить с ней еще раз: она у меня в долгу, за ней еще «спасибо». Она сидит. Бедняжка! Какая она грустная, на ресницах дрожат слезинки. Заставить девушку плакать! Возмутительно! Но будь спокойна, я отомщу за тебя; он узнает, что значит заставлять себя ждать. Какая она хорошенькая теперь, когда встречные ветры сомнения и надежды улеглись в ее взволнованной душе. Она притихла. Все существо ее дышит тихой грустью. Прелестное дитя! Она было надела дорожное платье, отправляясь в поиски радости, и вот это платье служит теперь символом печали, — радость скрылась от нее! Она как будто навеки простилась с любимым человеком... Бог с ним! Все идет прекрасно, минута самая подходящая... Я сделаю вид, будто предполагаю, что она искала своих родных или знакомых... Надо, чтобы каждое слово дышало теплым участием и гармонировало с ее настроением — так мне удастся вкрасться к ней в доверие... Ах, черт его побери! Он тут, как тут! Экий увалень, — я только что подготовил почву, как следует... Ну, кое-что я все-таки извлеку из всего этого! Мне ведь нужно было лишь слегка коснуться сферы их отношений, — потом уж я сумею пробраться в середину и занять там свое место. Встретясь со мной впоследствии,

она невольно улыбнется, — как же, ведь я вообразил, что она искала своих знакомых, тогда как ... Улыбка эта сделает меня в некотором роде участником ее тайны, а этим нельзя пренебречь. Спасибо, дитя мое, улыбка твоя для меня дороже, чем ты думаешь: она уже начало, а начало труднее всего. Теперь мы немного знакомы, и знакомство это основано на пикантной встрече. С меня довольно... пока! Вы не останетесь здесь больше часу, а часа через два я буду знать кто вы, иначе для чего же существуют домовые книги?

9-20

Разве, я ослеп? Внутреннее око души моей потеряло свою силу? Я видел ее, образ ее сверкнул передо мной, как метеор, и исчез. Все силы души моей сомкнулись в страстном напряжении, но они бессильны вновь вызвать этот дивный образ... Если когда-нибудь я встречу ее — мой глаз найдет ее и среди тысяч! Но теперь она исчезла... и мой внутренний взор напрасно стремится догнать ее своим пламенным желанием. Я гулял по *Langelinie*^{*}, не обращая ни малейшего внимания на окружающее, но мой зоркий глаз не пропускал ничего... Вдруг взор мой упал на нее... Он впился в нее, остановился неподвижно, не повинаясь больше воле своего господина. Напрасно хотел я заставить его рассмотреть чудное явление, он смотрел и — не видел ничего. Как фехтовальщик, бросившийся вперед с поднятым оружием и окаменевший в этом положении, взор мой замер на одной точке. Я не мог ни опустить, ни поднять, ни обратить его вовнутрь, я не видел ничего потому, что слишком пристально смотрел. Единственное воспоминание, унесенное моим взором, — ее голубая накидка; вот что называется «поймать облако вместо Юноны». Она ускользнула от меня, как Иосиф от жены Потифара, оставляя

* Набережная Зунда — любимое место прогулок копенгагенцев. — Прим. перев.

мне лишь накидку! С ней шла какая-то старуха, вероятно ее мать. Эту старуху я могу описать с головы до пят, хотя вовсе не смотрел на нее, а лишь случайно скользнул по ней взглядом. Так всегда бывает: девушка произвела на меня сильное впечатление — и я забыл ее; старуха ни малейшего — ее я помню.

11-20

Душа моя все бьется в той же путанице противоречий. Я хорошо знаю, что я видел, но знаю также, что я забыл виденное. Остаток воспоминания не служит для меня отрадой, а лишь воспаляет жгучую боль желания. Мое сердце, моя душа требуют этого образа, требуют с таким необузданно-страстным порывом, точно вся моя жизнь поставлена тут на карту. Но он не является! Я готов вырвать свои глаза за их забывчивость! ... Лишь в те минуты, когда в обессиленной страстным возбуждением душе воцаряется наконец тишина — воспоминание и воображение набрасывают мне какие-то едва уловимые очертания, но они не воплощаются в образ... Они бледнеют и расплываются, едва я захочу перенести их на фон действительности... Они как узор тончайшей ткани, более светлый, чем фон, невидимы отдельно, — для этого они слишком эфирны и светлы. Странное вообще душевное состояние я переживаю, но в то же время и приятное: оно приятно и само по себе, и потому, что дает мне радостную уверенность в том, что я еще сохранил свежесть и молодость души и сердца. В последнем меня убеждает также и то, что я всегда ищу свою добычу среди молодых девушек, а не женщин. В замужней женщине меньше естественной непосредственности, больше кокетства; отношения к ней ни прекрасны, ни интересны, а лишь пикантны. Пикантность же, как известно, всегда — последний ресурс. Да, не думал я, что вновь буду переживать первую любовь девственно-не-

тронутого сердца, вновь утопать в море сладких восторгов и поэтических грез этой любви! ... Да, я, как говорят пловцы, получил «старика»*. Тем лучше, тем больше обещают мне наши будущие отношения!

14-20

Едва узнаю себя... В моей взволнованной, как море, душе бушует буря страсти. Если бы кто-нибудь мог видеть мое сердце, взлетевшее, как легкий челнок, на самую вершину водяного хребта и готовое низвергнуться с нее в бездну, то подумал бы: еще минута, и пучина поглотит его. Но он не увидит, что на самом верху мачты сидит одинокий матрос на вахте... Бушуйте же, дикие силы, вздымайтесь, мощные волны страсти, бросайте пену к облакам, — вы не в силах сомкнуться над моей головой! Я сижу гордо и спокойно, как горный дух на вздыбленной скале!

Я не могу найти точки опоры в моей душе, как чайка, вьющаяся над пенящейся поверхностью моря. Но такое волнение — моя стихия, я создаю на ней свои планы, как *Alcedo ispada* вьет гнездо на волнах морских.

Индийские петухи взъерошиваются при виде красного цвета, я — при виде голубого. Но глаза мои часто вводят меня в горький обман: надежды терпят иногда крушение на голубом мундире жандарма.

20-20

Надо обладать терпением и покоряться обстоятельствам — это главные условия успеха в погоне за наслаждением. По всей вероятности, я не скоро добьюсь свидания с девушкой, наполняющей все мои помыслы до такой степени, что тоска о ней не ослабевает со временем, а на-

* «*En gammel*» — характерное выражение пловцов; значит. тихонько подплыть к другому купающемуся и, схватив его за плечи, внезапно погрузить в воду. — Прим. перев.

ходит себе все новую и новую пищу. Буду тихо и спокойно выжидать. Чувство такого смутно-неопределенного, но сильного волнения не лишено своего рода очарования. Я всегда любил в тихую лунную ночь лежать в лодке на одном из наших чудных озер. Спустишь паруса, сложишь весла, снимешь руль, ложишься во всю длину на дно лодки и устремляешь взор в необъятную синеву неба. Волны слегка качают лодку на груди своей... быстро несутся облака, гонимые ветром... серебристая луна то исчезает за ними на мгновение, то выплывает вновь... мир и тишина воцаряются в моей душе. Волны баюкают меня; плеск их — монотонная колыбельная песня; быстрый полет облаков, игра света и тени уносят меня далеко от действительного мира, и я грежу наяву... Так и теперь сяду я в челнок ожидания, спущу паруса, сложу весла, тоска и нетерпеливое ожидание будут качать меня все тише и тише... и убаюкают, как дитя.

Надо мной необъятный свод неба — надежды, ее образ проносится перед моим взором, как поминутно исчезающий образ луны... Какое наслаждение колыхаться на легкой зыби озера, какое наслаждение нежиться так в самом себе! ...

21-20

Дни проходят, а я все так же близок к цели! Никогда еще молодые девушки не манили меня так, как теперь, и тем не менее я не увлекаюсь ими. Я ищу повсюду ее! Ее одну я ищу! Мои глаза застланы туманом для всякой другой красоты, я потерял верность оценки... жажда наслаждений угасла в моем сердце!

А ведь скоро уже закипит уличная жизнь, оживятся сады и бульвары — наступит то прекрасное счастливое время года, когда я обыкновенно спешу заручиться маленькими залогом побед для будущего или, выражаясь аллегорически, приобрести маленькие векселя на прек-

расных барышень. Зимой, в обществе, они дорого расплачиваются по ним. Молодая девушка может забыть многое, но только не интересное приключение на прогулке! Положим, встречаться с прекрасным полом приходится и в салонах, но это не совсем удобная арена для завязки известных отношений. — В обществе девушка является во всеоружии: все ей здесь знакомо, привычно ... сама сфера отношений так узка, стара, избита, что трудно рассчитывать на какое-нибудь сильное, волнующее впечатление. На улице же она — в открытом море; неожиданность придает всякому приключению какой-то особый загадочный смысл, и впечатление усиливается... Я дам сто золотых за одну улыбку девушки при уличной встрече и не дам десяти за пожатие ей руки в обществе! Это — две совершенно различные ценности. Раз же уличная завязка удалась — остается только отыскать кого нужно в обществе, — и тут-то начинается настоящее! Между мной и имярек существует уже некоторая таинственная связь, и это действует на девушку самым возбуждающим образом. Она чувствует эту связь тем сильнее, что не смеет заговорить о нашей встрече! Она терзается в догадках: забыл ли я сам о ней или еще помню. Словом, она волнуется, а вы искусственно поддерживаете в ней это волнение, вводя ее в заблуждение различными маневрами. Но в это лето мне вряд ли удастся обеспечить себя векселями — моя таинственная красавица, исчезнувшая как сон, совсем овладела моим воображением... Ну, что ж: пусть сбор мой будет беден — в известном смысле — у меня в перспективе главный выигрыш!

5-го Мая.

Проклятый случай! Никогда еще не приходилось мне проклинать тебя за то, что ты явился, — проклинаяю тебя теперь за то, что ты совсем не являешься! Что это,

новая проделка с твоей стороны, непостижимое явление, бесплодная мать всего, единственное воспомина-ние, дошедшее от того времени, когда необходимость породила свободу действий, а свобода позволила обмануть себя и вновь упрятать в чрево матери?

Проклятый случай! Ведь ты мой единственный друг, единственное, что я считаю достойным быть моим союзником или врагом: ты всегда остаешься верным самому себе в своей капризной изменчивости, всегда одинаково непостижим, всегда загадочен. Я воплотил твой образ в себе, зачем же ты не являешься своему живому воплощению?

Я не прошу у тебя милостыни, не умоляю смиренно, — такое идолопоклонство недостойно меня и неуютно тебе — нет, я вызываю тебя на борьбу: зачем ты не являешься? Разве вечно движущийся принцип мира остановился? Разве загадка твоя решена, и ты канул в вечность?

Ужасная мысль! Значит вся жизнь остановилась от скуки! Нет, я жду тебя, жду, проклятый случай! Я не хочу победить тебя принципами, или, как выражаются эти жалкие люди, характером, — нет, я хочу поэтически воссоздать тебя! Я не хочу быть поэтом для других, но явись ты — и я создам целую поэму, и сам же поглочу ее, она насытит мой голод. Ты должен явиться!

Или ты считаешь меня недостойным? Как баядерка кружится в сладострастной пляске в честь божества, так я всецело посвятил себя твоему служению! Как ты, легкий, гибкий, ничем не вооруженный, я отказываюсь от всего, у меня нет ничего, я не хочу владеть ничем, ничего не люблю, мне нечего терять — что ж, разве я не достоин тебя? Ведь не может же быть, чтобы тебе не надоело еще отнимать у людей желаемое, не надоели их трусливые вздохи и мольбы? Я не хочу никаких предупреждений — явись неожиданно, застань врасплох — я готов! Не надо никакой ставки, будем бороться из чес-

ти! Покажи мне только ее, дай возможность приблизиться к ней! Пусть возможность эта будет почти невозможной, пусть она явится мне в тенях преисподней — я достану ее; пусть она ненавидит меня, презирает, пусть будет ко мне равнодушна, любит другого — я не боюсь ничего! ... Но взволнуй же эту стоячую воду, прерви молчание! Это просто низко с твоей стороны морить меня голодом — ведь все-таки ты воображаешь, что сильнее меня!

6-го мая.

Настала весна, все распускается, цветет, и молодые девушки тоже. Пальто и накидки сброшены, наверно сброшена и моя голубая! Я так и не видал ее больше. Да, вот что значит встретить девушку на улице, а не в обществе, где сейчас же узнаешь, кто она, где живет, как зовут и не помолвлена ли она.

Последнее свидание имеет огромную важность в глазах всех смиренных и прямолинейных женихов. Сохрани Боже, влюбиться в невесту другого! — Такой смиренник потерял бы голову, будь он на моем месте. Но что стало бы с ним, если бы его напряженные поиски увенчались наконец успехом, с придачей ошеломляющей новости: она — невеста! Мне же до этого мало горя: жених, на мой взгляд, лишь комическое препятствие, а я не боюсь ни комических, ни трагических и избегаю лишь скучных.

До сих пор, однако, я не добился ни малейшего сведения о ней, хотя и перепробовал все средства. Не раз при этом вспоминались мне глубоко правдивые слова поэта:

*Nox et hiems longaeque via longaeque, saevique dolores
mollibus his castris, et labor omnis inest*.*

* Бурная ночь, дорожная даль, жестокая мука,
Тяготы все, все труды собраны в стане любви (лат.).
(Перевод М.Л.Гаспарова)

Может быть она вовсе и не живет здесь в городе, может быть она из окрестностей, может быть, может быть... Я готов с ума сойти от всех этих «может быть», но чем больше я беснуюсь, тем больше их является. Напрасно я постоянно ношу с собой деньги на случай внезапной поездки, напрасно ищу ее на балах, на гуляньях, в театрах, концертах... Положим, неудачи эти отчасти даже радуют меня: девушку, чересчур занятую подобными развлечениями, не стоит и завоевывать: в большинстве случаев ей недостает врожденной естественности, а последняя всегда была и будет для меня *conditio sine qua non*. Прециозы не так редки среди цыган, как на светском базаре, где продают себя молодые девушки, конечно, сами того не сознавая — еще бы!

12-20

Да, да, дитя мое, зачем вы не оставались спокойно под воротами? Решительно нет ничего дурного, если молодая девушка укроется от дождя под воротами. Я и сам всегда делаю так, если у меня нет с собой зонтика, — иногда, впрочем, если и есть, как вот теперь, например. Кроме того, я могу назвать вам многих очень и очень почтенных и солидных дам, которые ничуть не поколебались бы сделать на вашем месте тоже самое; и в самом деле, что тут дурного? Становишься под воротами совершенно спокойно, спиной к улице, прохожие не могут даже знать, стоишь ли ты или собираешься войти в дом: Но крайне неосторожно спрятаться за воротами наполовину отворенными; это, как вы увидите, не проходит даром! ... Согласитесь сами, что чем больше стараешься спрятаться, тем неприятнее, если тебя откроют в твоём убежище. Нет, если вы действительно хотите спрятаться от дождя, то следует стоять смиренно, отдавшись под защиту своего доброго гения и всех ангелов-хранителей. Особенно же ни под каким видом не следует выгляды-

вать из ворот — посмотреть дождик! Если же непременно хотите, то нужно сделать твердый, решительный шаг за ворота и серьезно посмотреть на небо. А если вы этак полулюбопытно, полужастенчиво слегка высовываете голову и затем быстро прячете ее назад, то всякий ребенок скажет вам, что вы играете в прятки! И я, вообще всегда готовый откликнуться, разве я могу в таком случае удержаться и не отозваться на этот призыв? ... Бога ради, не думайте, что я дурного мнения о вас, нет, я отлично знаю, что ваше любопытство совершенно невинное, но прошу вас, в свою очередь, не оскорблять и меня, думая обо мне дурно, — этого не потерпит мое доброе имя! Кроме того, вы подали повод, и я серьезно советую вам никому не рассказывать об этом маленьком приключении; вина на вашей стороне. А я? Что же дурного намереваюсь я сделать? — Ничего, кроме того, что обязан сделать на моем месте всякий вежливый кавалер — предложить вам мой зонтик! Куда же она делась? Недурно! Она спряталась в дверь привратника! Экая славная шалунья!

— Может быть, я могу получить здесь свидание с некой молодой особой, которая только что выглядывала тут из ворот, вероятно, нуждаясь в зонтике? Я и мой зонтик к ее услугам! — Вы смеетесь? ... Может быть вы позволите прислать за ним моего лакея? Не прикажете ли достать вам экипаж?... Не стоит благодарности, — это лишь долг вежливости. Давно не видал я такой веселенькой девушки! Взгляд ее так детски открыт и смел, манеры непринужденны, но вполне приличны... А любопытна-таки! — Ступай с миром, дитя! Да, не замешайся тут голубая накидка, я пожалуй не прочь был бы познакомиться поближе! Вон она заворачивает за угол... Какое невинное, доверчивое создание! Ни капельки жеманства, идет себе так легко, свободно, так бойко скидывает головку... — гм, голубая накидка требует-таки самоотвержения! ...

15-го.

Спасибо, добрый случай, спасибо! Я видел ее! Она стройна, как горная сосна, высоко поднимающая от земли свой одинокий ствол! Все ее существо — один гордый взмах мысли к небу, загадочный для других и для нее самой, таинственное целое, не имеющее отдельных частей! Бук увенчан густой, зеленой шапкой, листья его шепчутся между собой и рассказывают о том, что происходит в их тени, — у сосны же нет шапки, нет рассказов, она сама для себя загадка. Такова и она. Она была полна какой-то тихой грусти, тихой, как воркование лесного голубя, глубокой, смутной тоски, о чем-то неизвестном, неизведанном... Она скрывала загадку и загадку ее в себе самой, скрывала в себе тайну, перед которой ничто все тайны дипломатии, узел таинственно сплетающихся, загадочных чувств и дум... Что в мире прекраснее слова, которое развяжет его? И как характерно самое выражение «развязать», какой глубокий двойной смысл кроется в нем! Богатство души — таинственный узел, пока не развяжет его язык, тогда и загадка решена; молодая девушка в этом смысле тоже загадка. Спасибо, добрый случай, спасибо! Если бы мне пришлось увидеть ее зимой, она пожалуй была бы закутана в свою голубую накидку, суровость природы наложила бы свою печать на ее лицо, омрачив его красоту. Теперь же — какое счастье! — я увидел ее весной, при свете заходящего солнца. Зима имеет, впрочем, свои преимущества. Залитая огнями бальная зала — блестящий фон для молодой девушки в бальном наряде; но в большинстве случаев она все-таки теряет здесь часть своей прелести, именно потому, что все как будто заставляет ее быть прелестной. Во всей обстановке чувствуется нечто театральное, и это вызывает досадное чувство, мешающее полному наслаждению. В другое время и я не откажусь от бальной залы с ее дорогой роскошью, блеском молодости и красоты и разнообразной игрой впечатлений, — хотя тут и

нет места для наслаждения, в строгом смысле этого слова, — зато мысль положительно утопает в возможности наслаждений. Тут не пленит тебя одна отдельная красота, но общая гармония ее проносится перед тобой, как в волшебном сновидении: все эти прекрасные женские существа сплетаются в самые причудливые хороводы, скользят, движутся, ищут чего-то, хотят воплотиться в одну воздушную, призрачную картину.

Я встретил ее за городом, в аллее, между Северными и Восточными воротами, около семи часов вечера — Солнце уже погасло, оставляя на ландшафте слабый, как воспоминание, мягкий отблеск своих лучей. Природа дышала свободнее; зеркальная поверхность озера была неподвижна. Хорошенькие домики набережной купали свои изображения в темной, как свинец, воде. Синее небо было ясно и чисто, лишь изредка по нему скользили маленькие, легкие облачка, отражавшиеся в озере. В воздухе царила тишина, ни один листочек не колыхался... и — я увидел ее! На этот раз взор мой не обманул меня, как не раз обманывала меня голубая накидка. Я давно старался подготовить себя к внезапной встрече, и все-таки от волнения у меня почти захватило дыхание... сердце то стучало, словно у самого уха, то вдруг совсем замирало, как то близкая, то далекая, едва слышная песня жаворонка, то спускающегося, то вновь поднимающегося над окрестными полями. Она была одна. Я опять забыл, как она была одета, но образ ее ярко запечатлелся в моей памяти. Она была одна и погружена в самое себя, но занята очевидно не собою, а своими мыслями. Особенно серьезной умственной работы ее черты не выражали, но тихое брожение мысли ткало в ее душе туманную картину желаний, смутных и необъяснимых, как и вздохи молодой девушки. Она была в самой цветущей прекрасной поре жизни. Молодая девушка вообще развивается не так, как юноша: он вырастает в мужчину, она перерождается в женщину. Юноша раз-

вивается постепенно и очень медленно; жизнь девушки со дня рождения не что иное, как подготовка к перерождению в женщину, и перерождение это совершается мгновенно, когда она выходит замуж. Только с этой минуты она становится цельным, законченным творением, перестает готовиться к перерождению, — она наконец возрождена! Да, не только Минерва выскакивает из лба Юпитера вполне сформированной или Венера выходит из пены морской во всей полноте своей чарующей красоты, — то же бывает и с каждой женщиной, если ее женственность не уничтожена так называемым «развитием». Она пробуждается сразу, но до этого грезит долго, если только заботливые добрые люди не разбудят ее слишком рано. А девические грезы — бесконечное богатство! Она не была занята собою, но погружена в самое себя; это был безмятежный покой в самой себе, в нем таилось богатство ее души. Мужчина, сумеющий обнять мыслью это богатое содержание, обогатится сам и обогатит свое сердце, свой ум. Но молодая девушка богата бессознательно, и она не сознает сокровищ, скрытых в ней, и чувствует в своей душе лишь мир и покой, смешанные со смутной грустью. Она была так воздушно стройна, что, казалось, одним взором можно было отделить ее от земли; она как будто сама носилась по воздуху, легче Психеи, носимой зephyрами. Сама она не замечала ничего и поэтому считала и себя не замеченной никем, тем более, что я держался в отдалении, хотя и не спускал с нее жадного взора. Она шла тихо; ее медленная походка вполне гармонировала с тишиной окружающей природы. На берегу озера сидел мальчик с удочкой. Она остановилась около него, любуясь зеркальной поверхностью озера, свежесть и прохлада которого манили ее. Она развязала маленькую шейную косынку, и свежий ветерок целовал ее полную, белую как снег, но горячую грудь. Мальчик, должно быть, не особенно остался доволен этой непрошенной свидетельницей его

ловли, — обернулся и уставился на нее своим флегматично-обиженным взглядом. Фигура его была так комична, что она не удержалась и залилась веселым смехом. Смех ее был так детски свеж и задорно-звонкий, что, мне кажется — не будь здесь никого, она, пожалуй, не прочь бы пошалить и даже побороться с мальчиком, как ребенок. Глаза у нее большие, темные и лучистые, взор тонул в их бесконечной загадочной глубине. Взгляд этих чудных глаз был чист и полон мягкого спокойствия, но смех зажигал в нем лукавый блеск. Нос с легким горбиком как-то незаметно сливался с белым высоким лбом, что и уменьшало его, и придавало более смелый характер... Она пошла дальше, я следовал за ней. К счастью, гуляющих встречалось много, и я, обмениваясь несколькими словами то с тем, то с другим знакомым, давал ей иногда уходить далеко вперед, потом нагонял ее, опять отставал, — старался не возбудить ее подозрений медленным и ровным преследованием. Она направлялась к Восточным воротам... Мне захотелось рассмотреть ее вблизи, незаметно для нее самой, и я моментально составил план действий. В конце аллеи, на углу стоял домик, мимо окон которого она должна была пройти. Я был знаком с хозяевами домика, и мне стоило только сделать им визит. Я быстро обогнал девушку, не обращая на нее ни малейшего внимания, и оставил ее далеко позади. Вбежав в дом и наскоро раскланявшись с членами семейства и гостями, я поспешил занять наблюдательный пост у окна. Она медленно приближалась... я жадно смотрел на нее, смотрел... а сам беззаботно болтал с окружающими. Ее походка показывала, что она не проходила полного курса светских манер и танцев; шла она просто и непринужденно, но в то же время в ее движениях сказывалась некоторая гордость и врожденное достоинство, смешанные с долей небрежности. Из окна была видна небольшая часть аллеи, и девушка должна была уже скрыться с моего горизонта,

как вдруг, к великому моему изумлению, она свернула на мост, перекинутый через озеро как раз против окна! Что это? она живет за городом?! ... И я начал уже горько раскаиваться в своем визите: вот она сейчас исчезнет из виду, а я сижу тут... Она уже приблизилась к концу моста и вдруг повернула назад. Вот она опять проходит мимо окон, я впопыхах хватаю шляпу, перчатки... Мысленно я уже на улице, догоняю ее, обгоняю, отстаю, опять догоняю и наконец открываю, где она живет... Ах! Я толкнул руку дамы, державшей поднос с чаем! О, ужас! Поднялся страшный крик, — я стою ошеломленный со шляпой в руках, сгорая лишь одним желанием — удрать поскорее! ... Я стараюсь, однако, придать делу шуточный оборот и мотивировать свое поспешное отступление патетическим восклицанием: «Подобно Каину, я изгоняюсь от сего места, узревши пролитый мной чай!»... Но увы! Все было в заговоре против меня. Хозяину является несчастная мысль дополнить мою тираду, и он произносит торжественную клятву, что не выпустит меня, пока я не исправлю беды: я должен сам выпить чашку чая и обнести им других! Я уверен, что хозяин в припадке вежливости счел бы долгом употребить против меня даже насилие, и потому, скрепя сердце, повинуюсь. — Она исчезла!

16-го.

Как прекрасно быть влюбленным, и как интересно сознавать это, — вот разница. Мысль, что она вторично ускользнула от меня, и бесит, и в то же время как будто радуется меня. Теперь ее образ встает передо мною в каком-то неуловимом сочетании действительного с идеальным. Именно то, что этот создаваемый моим воображением образ — действительность, или то, что, по крайней мере, основанием ему служит действительность — и придает ему особую прелесть. Я уже перестал волно-

ваться, нетерпеливый голос сердца замолк, да и что же мне беспокоиться? Она живет здесь, в городе, и этого с меня пока достаточно: возможность увидеть ее существует, а мой девиз — «наслаждение надо пить по капелькам!». Да и вообще, мне ли тревожиться? Ведь я, по всей справедливости, могу называться любимцем богов — мне выпало на долю редкое счастье полюбить вновь, со всей силой первой любви! Никому не достигнуть этого искусственно, это — неоценимый дар богов. Итак, в моем сердце зажглась новая любовь, — посмотрим же, надолго ли удастся мне поддержать ее пламя. Правда, я лелею эту любовь больше, чем мою первую: ведь такой случай редко кому выпадает на долю, и раз тебе удалось поймать его, не надо зевать. Суть дела не в том, чтобы обольстить девушку, а в том, чтобы найти такую, которую стоит обольщать. Любовь вообще великая тайна; первая любовь также, хотя и в меньшей степени. Но большинство людей не умеют хладнокровно и медленно выжать из нее всю эссенцию наслаждения, они торопятся, мечутся, обручаются, женятся, — словом, проделывают всевозможные глупости. В одно мгновение у них уже все окончено, а чего в сущности они добились и чего лишились, они и сами не знают... Она уже два раза встретила на моем пути — это значит, что мне предстоит видеться с ней еще чаще. Иосиф, истолковав сон Фараону, прибавил: «А то, что сон твой повторился дважды, означает, что все это сбудется»...

*

Интересно было бы заглянуть в будущее и увидеть проявление сил, обуславливающих содержание жизни. — Пока она живет совершенно спокойно и не подозревает о моем существовании, о моей любви, и еще меньше об уверенности, с какой я рисую себе ее будущее. Моя страсть разгорается все сильнее и сильнее и требует реальной

пищи, требует обладания! Если красота девушки при первом взгляде на нее не производит идеального впечатления, то и реальные отношения с ней не особенно желательны. Если же — да, то как бы человек ни был опытен и тверд, он почувствует точно электрический удар, соединяющий две противоположные силы души: горячую симпатию к ней и эгоизм. Каждому, кто не уверен в твердости своей руки, своего взгляда, словом, в победе, я советую действовать именно под этим первым впечатлением, возбуждающим его душевные силы до *nes plus ultra*. Но зато ему придется поплатиться высшим наслаждением: он уже не может наслаждаться самым положением своим, так как сам весь отдался ему в упоении страсти. Которое из этих двух родов наслаждения прекраснее — решить трудно, которое интереснее — решить легко; во всяком случае, истинное наслаждение в том и заключается, чтобы по возможности соединить их оба... Чем вообще наслаждаются обыкновенно другие люди, я решительно не понимаю. Просто обладание, по-моему, ничто, да и средства, ведущие к нему, довольно низменного сорта. Обольстители этого пошиба не пренебрегают ни деньгами, ни насилием, ни чужим влиянием, ни, наконец, сонными порошками... Что же это за наслаждение — овладеть любовью, которая не отдается вполне свободно и добровольно! Впрочем, для того, чтобы добиться такой любви, о которой я говорю, — свободной, — и не жертвовать собою, нужно обладать высшим духовным развитием, — а его-то и не хватает у этих *guasi*-обольстителей.

19-20

Корделия! Ее зовут Корделия! Гармоничное имя — очень важное преимущество. Крайне неудобно, если с самыми нежными прилагательными придется вдруг связать некрасивое или смешное имя. Я узнал ее издали;

она шла с двумя другими девушками. По некоторому замедлению их походки я догадался, что они скоро остановятся, и сам остановился на углу, читаю какую-то афишу и то же время зорко наблюдаю за ними. Молодые девушки простились; две другие пошли дальше, а она вернулась в мою сторону. Едва она успела сделать несколько шагов, как одна из ее спутниц вернулась, крича: «Корделия, Корделия!». Затем к ней присоединилась и вторая. Все трое столкнулись лбами, и между ними произошло какое-то экстренное совещание, тайну которого я никак не мог уловить, несмотря на все ухищрения моего уха. Затем девушки рассмеялись и скорыми шагами направились в ту сторону, куда прежде пошли первые две; я, конечно, за ними. Через несколько минут они все исчезли в одном из домов по набережной. Я долго расхаживал около дома, предполагая, что Корделия скоро выйдет назад... но я ошибся, она осталась.

*

Корделия! Прекрасное имя! Так звали младшую дочь Лира, эту чудную девушку, сердце которой не жило на ее устах: уста ее смыкались, когда сердце переполнялось. Моя Корделия похожа на нее, — я в этом уверен. Впрочем, о ней можно выразиться несколько иначе: ее сердце живет на устах, но не в словах, а более нежно, в поцелуях. Таких красивых свежих и пышных губ я еще не видал! ...

В том, что я действительно влюблен, убеждает меня та таинственность, которою я облакаю мою любовь к ней чуть ли даже не по отношению к самому себе. — Всякая любовь таинственна, если только в ней есть необходимый эстетический элемент. — Мне, по крайней мере, еще никогда не приходило в голову посвящать кого-нибудь в свои тайны и хвастаться победами. Я почти рад, что познакомился лишь с семейством, где она часто

бывает, а не с ее собственным. Это, пожалуй, еще удобнее для меня: я могу наблюдать за нею, не возбуждая ее внимания, и — кто знает? — без особенных затруднений сблизиться с ее семейством. А если будут затруднения? *Eh bien!* Давай их! Всем, чем я занимаюсь, я занимаюсь *con amore*, и люблю тоже *con amore!*

20-го.

Сегодня я добился, наконец, кое-каких сведений. Семейство, где Корделия часто бывает, состоит из почтенной вдовы, наделенной тремя взрослыми дочками. От них-то и можно получать в изобилии всевозможные сведения, с тем, однако, условием, что они имеют их, а вы умеете понимать разговор в «третьей степени». Мне приходится украсть выражение у математика, чтобы пояснить особенность речи этих милых девиц: все трое говорят зараз! Ее имя Корделия Валь — она дочь капитана-моряка, бывшего человеком очень суровым и жестоким. Как он, так и мать ее умерли несколько лет тому назад, и теперь Корделия живет у тетки, сестры покойного отца, дамы, как говорят, похожей на брата, а впрочем, очень и очень почтенной. Сведения, собственно, не ахти какие, но большего словоохотливые докладчицы сообщить не могли, так как не бывают сами у Корделии. Она же часто заходит к ним за двумя из сестер, с которыми учится стряпать в Королевской кухне. Поэтому она и бывает у них только в определенное время, рано после обеда или утром, но никогда вечером. Живет она с теткой очень замкнуто. Итак, ни жердочки, по которой я мог бы перебраться в дом Корделии!

Я знаю теперь, что она уже испытала горе и имеет понятие о темной стороне жизни. А кто мог бы догадаться об этом при первом взгляде на нее! Впрочем, тяжелые воспоминания относятся еще к раннему ее возрасту, когда она сама не сознавала темных туч, омрачав-

ших ее жизненный небосклон. То и другое имело очень благотворное влияние на нее: во-первых, это спасло ее женственность, во-вторых — будет способствовать высокому подъему ее духовных сил, если только умело направлять их. Несчастия вообще налагают известный отпечаток гордости на характер, если только он не надломлен ими вконец. Последнего же о ней не скажешь.

21-го.

Она живет против земляного вала; местоположение не из удобных! Нет никаких визави, с которыми можно было бы свести знакомство, нет даже укромного уголка на улице, откуда я мог бы ухитриться исподтишка делать свои наблюдения. Вершина вала для этого не годится, — на ней сам будешь виден, как на ладони. Ходить мимо дома по противоположной стороне возле вала нельзя: там никто не ходит, и мое праздное шатание сразу бросится в глаза. Прогуливаться же как раз под окнами не имеет смысла: сам ты ничего не увидишь, а тебя — как раз. Дом стоит на самом углу, особняком, так что все окна, выходящие во двор, видны с улицы. Вон то третье окно с краю, вероятно, из ее спальни.

22-го.

Я в первый раз встретил ее сегодня у г-жи Янсен. Меня представили ей. Особа моя, по-видимому, не произвела на нее никакого впечатления, да мне это и не нужно. Я сам старался держаться как можно незаметнее, чтобы не обратить на себя внимания и, таким образом, иметь возможность наблюдать за нею. Она оставалась всего несколько минут, пока барышни Янсен одевались, и эти минуты нам с нею пришлось провести в гостиной вдвоем. Я бросил ей несколько слов с самым холодным, флегматичным видом, почти свысока. Мне было ответе-

но с незаслуженной вежливостью. Затем они отправились. Я мог вызваться провожать их, но этим сразу записался бы в кавалеры, а я чувствую, что с этой стороны к ней не подойти. Я предпочел другое: отправился вслед за ними, но по другой дороге и неожиданно попался им у *Королевской кухни*. — Они обогнули Королевскую улицу... и вдруг, к своему великому удивлению, наткнулись на меня.

23-го.

Неприменно надо добиться доступа в ее дом; я теперь, как говорят военные, готов начать кампанию! Однако это не совсем легкая задача. Никогда не знавал я семейства, которое бы жило так безобразно уединенно и замкнуто, — одна с теткой! Нет ни братьев, ни кузенов, ни одной ниточки, за которую бы можно было ухватиться, даже ни одного дальнего родственника! Я теперь всюду расхаживаю с одной рукой наготове и ни за что на свете не пошел бы ни с кем под руку: я все высматриваю, не покажется ли где какой-нибудь, хоть бы самый дальний, родственник: сейчас подцепил бы его и взял дом на абордаж! Право, это ни на что не похоже — жить так замкнуто! Ведь у бедной девушки отнимается всякая надежда узнать людей и свет, а это может привести к очень печальным результатам! Да и в отношении замужества, наконец, такая система никуда не годится! Правда, что при таком изолированном образе жизни они гарантированы от воришек, тогда как в многолюдных собраниях «случай делает вора». А впрочем, у этих светских девушек и украсть-то нечего. Шестнадцать лет их сердце уже исписанный альбом, а мне никогда не приходила в голову блажь записать свое имя там, где до меня расписались сотни, как не вздумается и вырезать свое имя на окне постоялого двора, на дереве или скамейке в публичном саду.

27-го.

Всматриваясь и вдумываясь в нее, я все более и более убеждаюсь, что она развивалась одна, замкнутая в самой себе. Для мужчины или юноши такое развитие не годится, им необходимо общение с людьми, так как их развитие основано главным образом на размышлении, сравнениях и умозаключениях. Молодая девушка, по моему, не должна казаться интересной: интересное есть вообще искусственный плод саморазмышления, — так интересное в изящных искусствах всегда отражает в себе личность самого творца-художника — и девушка, старающаяся казаться интересной, чтобы нравиться мужчинам, желает, в сущности, нравиться самой себе. — Вот доводы, которые можно привести против умышленного кокетства. Кокетство же бессознательное, являющееся как бы движением самой женской природы, — прекрасно. Женская стыдливость, например, самое обольстительное и целомудренное кокетство. Интересная же кокетка теряет обаяние женственности, и если даже нравится мужчинам, то лишь таким, которые сами утратили свою отличительную черту — мужественность. Надо прибавить, что интересной такая девушка является исключительно в отношениях с мужчиной. Женщина — слабый пол, и все-таки известная самостоятельность и даже одиночество в период развития ей нужны куда больше, чем мужчине. Она должна находить полное удовлетворение в самой себе; но то, что ее удовлетворяет — не что иное, как иллюзия воображения. Таким приданым природа наделила и всякую простую девушку наравне с принцессой крови. Это-то самоудовлетворение в иллюзии и помогает девушке жить и развиваться одиноко. Я часто и долго раздумываю, отчего это нет для молодой девушки ничего пагубнее постоянного общения с другими девушками? Причина кроется, по моему, в том, что такое общение — ни то, ни се, оно лишь разрушает иллюзии, а не дает им разумного истолкования. Истинное

и великое призвание женщины — это быть обществом для мужчины, его всезаменяющей подругой. При частом же общении со своим полом в ней легко пробуждается размышление, она начинает рассуждать о своей личности, о своем призвании и кончает тем, что искажает его, делаясь вместо подруги только компаньонкой. Да, язык человеческий дает в этом случае очень характерные выражения. Мужчина называется господином, а женщина по отношению к нему ни служанкой, ни помощницей, или чем-нибудь в этом роде, — она называется по самому существу своему подругой, но не компаньонкой. Если бы меня спросили, каков мой идеал молодой девушки, я бы ответил: она должна быть предоставлена сама себе в своем развитии, а главное — не иметь никаких подруг. Правда, граций было три, но вряд ли можно было представить себе их беседующими друг с другом. Их молчаливый триумвират есть, в сущности, лишь прекрасное женское единство.

Да, в этом отношении я не прочь бы, пожалуй, рекомендовать старинные девичьи терема, — если бы только всякое ограничение свободы вообще не было вредно. Девушке должна быть предоставлена известная свобода, с тем, однако, чтобы ей не представилось случая употребить ее во зло. Развиваясь одиноко, на свободе, предоставленная самой себе, как полевой цветок, девушка вырастает прекрасной и спасенной от всякого интересничанья. Девушку, часто сталкивающуюся с другими девушками, напрасно прикрывают венчальной фатой чистоты и неведения, между тем как истинно невинная девушка всегда является взору мужчины с тонко развитым эстетическим вкусом, окутанною именно этой фатой, хотя бы традиционная венчальная фата в этом случае и отсутствовала.

Корделия воспитана очень строго, я благословляю за то ее родителей в могиле; она живет очень уединенно и замкнуто — я готов расцеловать ее тетку. Она еще не

знакома с радостями жизни, в ней нет этой суетной капризной пресыщенности. Она горда и смотрит на радости и увлечения других девушек свысока; наряды и пышность ее не прельщают, — этим уклонением ее природы я сумею воспользоваться. Ко всему, она немного «полемиического» характера; требования ее натуры идут вразрез с окружающим, но это и не удивительно для девушки с ее мечтательностью. Она живет в мире фантазий. Попади она в дурные руки, из нее могло бы выйти нечто очень неженственное, именно благодаря тому, что в ней так много женственного.

30-го

Наши дороги постоянно встречаются. Сегодня, например, мне удалось встретить ее три раза. Я всегда с математической точностью знаю, когда и куда она отправляется, и где я могу с ней встретиться, но я не пользуюсь этим знанием, напротив, я расточаю его на ветер. Встреча, стоившая мне нескольких часов выжидания, упускается мной как пустяк: я не встречаюсь с ней, в действительном смысле слова, а лишь слегка касаюсь сферы ее действий. Зная заранее, что она будет в таком-то часу у Янсен, я, однако, позволяю себе встретиться с нею там лишь в тех случаях, когда мне нужно сделать какое-нибудь новое наблюдение. Обыкновенно же я предпочитаю туда придти несколько раньше, а затем столкнуться с нею на мгновение в дверях или на лестнице. Она приходит, а я ухожу, небрежно пропуская ее мимо себя. Это первые нити той сети, которою я опутываю ее. Встречаясь с ней на улице, я не останавливаюсь, а лишь кланяюсь мимоходом; я никогда не приближаюсь, а всегда прицеливаюсь на расстоянии. Частые столкновения наши, по-видимому, изумляют ее: она замечает, что на ее горизонте появилась новая планета, орбита которой хоть и не задевает ее, но как-то непонятно ме-

шает ее собственному движению. Об основном законе, двигающем эту планету, она и не подозревает и скорее будет оглядываться направо и налево, отыскивая центр, около которого она вращается, чем обратит взор на самое себя. О том, что центр этот — она сама, Корделия подозревает столько же, сколько ее антиподы. Вообще она ошибается, как и все мои знакомые, воображающие, что у меня пропасть дел — я же постоянно в движении и говорю, как Фигаро: «Одна две, три, четыре интриги зараз — вот моя стихия». Я должен основательно изучить ее духовное содержание, прежде чем отважиться на приступ. Большинство же людей наслаждается молодой девушкой, как бокалом пенящегося шампанского в разгаре минутного веселья. Что ж, и это в своем роде недурно, к тому же с большинства девиц большего и взять нельзя. Если душа данного женского существа слишком хрупка и непрочна, чтобы выдержать кристаллизацию, то приходится взять ее, какова она есть, непрозрачной и неясной. Но моя Корделия выдержит испытание. Чем больше бывает в любви готовности отдаваться, тем интереснее любить. Минутное же наслаждение, — если и не во внешнем, то во внутреннем смысле — все-таки известного рода насилие. А в насилии наслаждение лишь воображаемое; оно, как украденный поцелуй, не имеет для меня никакого *raison d'être*. Вот если доведешь дело до того, что единственной целью свободы девушки становится отдать себя, что она видит в этом все свое счастье, — тогда только ты испытываешь истинное наслаждение. Но чтобы добиться этого, нужно обладать большими умственными силами.

Корделия! Какое чудное имя! Я сижу дома и упражняюсь, произнося его на все лады: Корделия, Корделия, моя Корделия, моя возлюбленная Корделия. Я не могу не улыбнуться при мысли о том, с какой виртуозностью я придам этому имени нужный оттенок в решительную минуту. Все должно быть тщательно изучено, подготов-

лено заранее; предварительные упражнения необходимы. Недаром поэты так часто описывают мгновение первого «ты». О, это чудное мгновение, когда едва слышное «ты» впервые слетает с уст влюбленных, не в порыве неудержимого экстаза любви, когда чувство бурно стремится перелиться через край (многие, конечно, останавливаются на этом), но в упоении бесконечного блаженства... Утопая в море любви, они оставляют там свое старое существо и, выходя из этой купели новорожденными, узнают друг в друге старых друзей, хотя им и всего лишь одна минута от роду. В жизни молодой девушки это самая прекрасная минута, но мужчина, чтобы вполне насладиться этой минутой, должен стоять выше нее, быть не только крещаемым, но и восприемником. Некоторая доза иронии придаст следующей минуте наибольший интерес: в эту минуту начинается духовное обнажение. Чтобы содействовать ему, нужно, конечно, находиться в известном поэтическом настроении, но и лукавый божок шалости должен все-таки быть настороже — чтобы не позволить минуте стать чересчур торжественной.

2 июня

Корделия горда, я это давно замечаю. Находясь в обществе барышень Янсен, она очень мало говорит — их пустая болтовня очевидно наводит на нее скуку, что я вижу по улыбке, блуждающей на губах, и на этой улыбке я строю многое. Но и на Корделию находят иногда минуты шаловливой, почти мальчишеской резвости, которая приводит в изумление всех Янсен. Эти резкие переходы в настроении станут вполне понятны, если припомнить ее детство. У нее был всего один брат, гораздо старше ее; кроме родителей она никого почти не видала и часто бывала свидетельницей серьезных сцен между ними, — все это, конечно, отнимет у нее вкус к обыден-

ному женскому кудахтанью. Отец с матерью жили не очень мирно, и семейное счастье, которое всегда смутно манит к себе молодых девушек, не привлекает ее. Она, пожалуй, и сама хорошенько не знает, что она такое и для чего живет... и у нее, вероятно, мелькает иногда желание быть мужчиной, а не женщиной.

*

В ней есть душа, страсть, фантазия, словом, все необходимые данные, но они еще не прошли через горнило субъективного размышления. Я убедился в этом совершенно случайно. Я знал через фру Янсен, что она не учится музыке — тетка не желает этого — и очень сожалел об этом, считая музыку одним из самых прекрасных средств своего сближения с молодой девушкой, — следует, конечно, быть осторожным и не заявлять себя знатоком. Сегодня я пришел к Янсен и тихо приотворил дверь в гостиную; я часто и с успехом применяю эту волюность, а иногда, если надо, поправляю ее нелепостью: стучу в открытую дверь. Она сидела одна за роялем и, видимо, играла украдкой. Играла она какую-то шведскую мелодию. Игра ее сразу выдавала недостаток подготовки и умения: она горячилась, обрывала... но затем вновь лились тихие мелодичные звуки. Я осторожно затворил дверь и стал за нею, прислушиваясь к перебивам ее душевного настроения. Иногда в ее игре звучала такая страсть, что мне невольно вспомнилась принцесса из народной сказки, перебиравшая струны золотой арфы с такой страстью, что у нее молоко брызнуло из груди. Страстные звуки сменялись тихими и грустными, затем опять звучал восторженный дифирамб... Я мог бы, пользуясь минутой, ворваться и броситься к ее ногам, но это было бы безумием. Лучше я припомню ей эту минуту когда-нибудь впоследствии: воспоминание не только сохраняет данное впечатление, но еще значительно

усиливает его, т. е. впечатление, проникнутое воспоминанием, действует куда сильнее. — В книгах, особенно в сборниках стихотворений, часто попадаются маленькие цветочки, по всей вероятности прекрасные минуты и ощущения заставили владельцев вложить их туда, но воспоминания об этих минутах еще прекраснее. Корделия, должно быть, скрывает от посторонних, что немножко играет, а может быть, она играет только одну эту песенку, имеющую для нее какое-нибудь особое значение. Пока я еще ничего об этом не знаю, но тем важнее для меня это случайное открытие. Когда-нибудь в задумчивом разговоре с ней я наведу ее на эту тему и дам ей провалиться в этот люк.

3-го июня

Я все еще не уяснил себе сущность ее натуры и потому держусь как можно осторожнее и незаметнее, точно лазутчик, прикинувший ухом к земле и ловящий далекий отзвук надвигающегося неприятеля. Пока, я, собственно говоря, еще совсем не существую для нее, так как до сих пор еще не решился ни на какой эксперимент. «Увидеть ее и полюбить — одно и то же», — так описывается обыкновенно возникновение любви в романах. Это было бы верно, если бы и в любовных отношениях не существовало своего рода диалектики, и авторы лгут, чтобы только облегчить себе задачу. ♥

*

Я замечаю, что теперь, после того, как я уже столько узнал о Корделии, впечатление первой встречи с нею исчезло, и представление о ней приобрело некоторую определенность, потеряв свои фантастические формы. Молодая девушка, живущая так одиноко, всецело погруженная в самое себя, вообще довольно редкое явле-

ние, и от нее можно ожидать многого. До сих пор мои надежды все еще оправдываются: мой строгий критический анализ находит ее прелестной. Но женская прелесть так мимолетна, она лишь момент, исчезающий в вечности. Я никак не мог представить себе раньше, что она живет в такой среде и в таких условиях, какие окружают ее в действительности, а еще меньше — что она уже бессознательно знакома с бурями жизни.

*

Теперь мне хотелось бы узнать ее внутреннюю жизнь, ее чувства. Влюблена она, конечно, еще не была, иначе б ее душа не была так беззаботно ясна. Еще менее правдоподобно предположение, что она принадлежит к числу тех теоретически опытных барышень, коим задолго еще до осуществления их мечтаний так легко и привычно вообразить себя в объятиях любимого человека. Лица, с которыми ей приходилось сталкиваться, были не такого сорта, чтобы суметь разрушить ее девичьи иллюзии и установить в ее понятиях правильные отношения между мечтой и действительностью. Ее душа до сих пор еще питается божественной амброзией идеалов. Но идеал, лелеемый ею, — это, наверное не идиллическая пастушка или героиня романа, а какая-нибудь Жанна д'Арк или тому подобное.

Меня занимает вопрос: довольно ли сильна ее женственность, чтобы выдержать огонь размышления; можно ли натянуть струну или придется лишь любоваться ею, как прелестным, воздушным явлением? Ведь и то немало, если вообще удастся найти такую чистую непосредственно-женственную натуру; если при этом возможно надеяться и на идеально-осмысленное развитие ее, то интерес достигает наивысшей точки напряжения. Чтобы достигнуть моей цели, лучше всего просто навязать ей жениха. Одни только недоумки могут полагать,

что подобное вредит молодой девушке. Это справедливо лишь в том случае, если девушка очень нежное эфемерное растеньице, развертывающее свои пышные лепестки лишь для того, чтобы на минуту пленить взор своей блестящей наружностью, которою и исчерпывается все содержание. Такой девушке, конечно, лучше не слышать о любви заранее. Если же она не такова, то помолвка принесет ей одну пользу: жених еще ярче оттенит достоинства ее природы, и я, право, не задумаюсь сам подыскать Корделии жениха, если его еще нет налицо. Жених этот вовсе не должен быть карикатурой, — этим ничего не выиграешь, — нет, он должен быть вполне порядочным молодым человеком, даже симпатичным и умным, но все-таки далеко не удовлетворяющим ее духовные требования. На такого человека она мало-помалу начнет смотреть свысока и, наконец, потеряет всякий вкус к любви. Она почти перестанет верить в самое себя и в свою поэтическую роль на земле, видя, что предлагает ей действительность. — «Так это-то любовь, — скажет она, — только и всего? Немного же!». И ею овладеет чувство какой-то пренебрежительной, скучающей гордости. Эта гордость, которая будет просвечивать во всем ее существе, озарит его ярким нервным блеском, но вместе с тем и приблизит ее к падению.

Итак, в поиски за женихом! ... Прежде всего, надо хорошенько изучить ее знакомых — не найдется ли среди них подходящего господина. Положим, у ее тетки никто не бывает, но сама Корделия все-таки посещает некоторые семейства, потому и не надо особенно торопиться с поисками на стороне. Два посредственных жениха, пожалуй, даже могут насолить мне некоторым образом: они опасны именно своими относительными достоинствами. Надо будет хорошенько высмотреть: не прячется ли где-нибудь несчастный вздыхатель, у которого только не хватает духа взять ее монастырский дом приступом.

Итак, стратегический план предстоящей кампании всецело основан на интересных и оригинальных положениях — вот орудия борьбы, и они должны быть пущены в ход. Я сильно ошибаюсь, если ее организация не рассчитана именно на это, если сама Корделия не требует и не дает оригинального, то есть как раз того, чего требую и я. Вообще, по-моему, вся суть в том, чтобы подметить: что в состоянии дать известная личность и чего она вследствие этого требует от других сама. Мои любовные истории всегда оставляют какой-нибудь реальный след в моем существовании; они иногда способствуют даже пополнению пробелов в моем образовании: так, например, я выучился танцевать — для моей первой возлюбленной; французскому языку — для маленькой танцовщицы и т. п. В те времена я еще, как многие другие дураки, попадался на удочку, и меня часто надували на любовном рынке. Теперь меня надуть трудновато: я сам выучился барышничать. Обыденная сторона жизни, видимо, не представляет для нее особого интереса; доказывается это ее замкнутостью и необщительностью. Надо, следовательно, подыскать нечто другое, что, если и не покажется ей интересным с первого взгляда, зато охватит ее тем сильнее впоследствии, именно благодаря своему неожиданно блеснувшему интересу. Средства будут избраны не поэтические, а, напротив, крайне прозаические. Прежде всего придется несколько нейтрализовать ее женственность прозаическими и слегка насмешливыми рассуждениями, действуя, конечно, не прямо, а косвенно, и притом абсолютно нейтральным оружием — умом. В конце концов, она потеряет в собственных глазах всякую женскую привлекательность, лишится таким образом единственной опоры и сама отдаст мне в руки свое духовное «я» — не из любви, — нет, а пока еще вполне безразлично. Тогда-то я вновь начну пробуждать в ней женственность, возбуждая ее все больше и больше... и когда, наконец, она достигнет

наивысшего напряжения — заставлю ее столкнуться с какой-нибудь житейской формальностью. Она перешагнет через нее, ее женственность достигнет почти сверхъестественной высоты — и отдастся мне со всей силой свободной мировой страсти.

5-20.

Мне не пришлось далеко ходить за женихом. Она бывает в семействе коммерсанта Бакстера. Тут-то я и нашел нужного человека. Эдвард, сын хозяина дома, по уши влюблен в Корделию — это можно прочесть одним полузакрытым глазом в его обоих глазах. Он занимается в конторе отца, довольно красив, симпатичен, чуть застенчив, но это, по-видимому, не вредит ему в ее глазах.

*

Бедняга Эдвард! Он положительно не знает, как взяться за дело. Узнав, что она проводит вечер у них, он надевает новую черную пару, белоснежную накрахмаленную рубашку и является довольно нелепым франтом среди остального общества. Скромность и застенчивость его просто невероятны. Будь эти качества притворными, он, пожалуй, оказался бы для меня довольно опасным соперником. Но ведь этими качествами можно много выиграть лишь при условии большой ловкости и умения пользоваться ими. Что до меня, то я часто и с успехом прикрывался этой маской, чтобы поддеть какую-нибудь маленькую кокетку. Многие девушки довольно беспощадно отзываются о застенчивых мужчинах, любя их втихомолку. Застенчивость и скромность льстят их тщеславию, они как бы чувствуют свое превосходство — это первый задаток. Убаюкав такую девушку в этой счастливой уверенности и поймав минуту, когда она убеждена, что ты вот-вот умрешь от застенчивости, надо вдруг

показать, что ты как нельзя более далек от этого и прекрасно умеешь ходить без помочей. Застенчивость как бы уничтожает в глазах девушки пол мужчины и служит отличным средством для придачи отношениям оттенка безразличности. Когда же барышня узнает, что это лишь маска, — она конфузится и краснеет, чувствуя, что зашла слишком далеко.

Вообще же играть с застенчивостью мужчины для девушки так же опасно, как и слишком долго принимать юношу за мальчика.

7-го.

Ну вот мы и друзья с Эдвардом! Между нами такая трогательная дружба, какой не бывало на земле с прекрасных времен древней Греции. Мы очень скоро сблизились: я ловко опутал его различными намеками на счет Корделии и довел наконец до полного признания. Да и к чему же в самом деле скрывать эту тайну, раз все остальные открыты? — Бедняга давно уже вздыхает по ней. Каждый раз, как она у них, он одет с иголки и сияет, — вечером же испытывает несказанное удовольствие — проводить ее домой. Они идут под руку, поглядывая на звезды; сердце его так и пляшет при мысли, что ее рука прикасается к его; они доходят до ее дома, он звонит у дверей, она исчезает, а он приходит в отчаяние, — не теряя, однако, надежды на будущее. Он все еще не может собраться с духом переступить ее порог, хотя имеет такой прекрасный повод для этого.

Я не могу не смеяться над ним про себя, но и не могу не видеть чего-то честного и хорошего в его детской робости. Считаю себя довольно опытным по части эротических ощущений, я скажу все-таки, что никогда еще не испытывал на себе этого страха и трепета любви в такой степени, чтобы потерять всякое самообладание. Трепет любви, знакомый мне, скорее возбуждал меня и удваи-

вал мои силы. Кто-нибудь скажет мне, может быть, что в таком случае я не бывал влюблен серьезно. Может быть. Я пристыдил Эдварда и постарался воздействовать на него своими дружескими советами, так что завтра он сделает решительный шаг — лично пойдет пригласить Корделию к ним на вечер. Я успел также внушить ему отчаянную мысль — просить меня сопровождать его. Я дал ему слово, и он в восторге от этой чисто дружеской услуги с моей стороны.

Случай сам идет мне навстречу — завтра я, неожиданный—негаданный, буду у Корделии... Явись у нее хоть малейшее подозрение насчет этого неожиданного появления, я сумею ввести ее в заблуждение моей манерой себя держать. Вообще я не имею привычки готовиться к беседам с кем бы то ни было, но с некоторых пор это стало для меня необходимым, чтобы суметь занять ее тетку. Я взял на себя приятную и почетную обязанность беседовать с ней и этим отвлекать ее внимание от нежных воркований Эдварда с Корделией. Раньше тетка жила постоянно в деревне, и вот, благодаря моему собственному добросовестному изучению сельскохозяйственных сочинений, а также — основанным на древнем опыте сообщениям тетки, — я замечаю, что с каждым днем совершенствуюсь по этой части.

*

Моя серьезность и солидность моих познаний производят положительный фурор. Тетка считает меня очень приятным и положительным собеседником, не имеющим ничего общего с нашими модными ветрогонами. У Корделии же я, видимо, не на таком хорошем счету. Она хоть и слишком еще женственно—невинна, чтобы претендовать на ухаживания со стороны каждого мужчины, но все же не может не чувствовать, насколько возмутительно мое поведение по отношению к ней.

*

Часто, когда я сижу в этой уютной гостиной, где Корделия, как добрая фея, озаряет своею прелестью всех, с кем ей приходится сталкиваться — добрых и злых, во мне вспыхивает жгучее нетерпение, я готов выскочить из своей раковины, откуда так скрытно, но зорко сторожу ее. Мне хочется схватить ее за руку, обнять ее стан, прижать к своей груди, чтобы никто не мог отнять ее у меня! Когда же мы с Эдвардом уходим от них вечером, и она на прощанье подает мне руку, я сжимаю ее в своей и едва могу заставить себя вновь выпустить эту птичку. Терпение — надо хорошенько опутать ее моей сетью, и тогда я вдруг дам вырваться на волю всем силам моей пламенной страсти. Да, мы не испортим себе этого чудного момента преждевременным лакомством, — за это ты должна будешь сказать спасибо мне, моя Корделия. Теперь я держусь в тени, чтобы будущий контраст сверкнул тем ярче; я долго натягиваю лук Амура, чтобы вонзить стрелу поглубже. Как стрелок, я то ослабляю тетиву, то вновь напрягаю, прислушиваясь к ее музыке, — но я еще не прицеливаюсь серьезно.

*

Если небольшое число лиц постоянно собирается в одной и той же комнате, то как-то невольно у всех заводятся насиженные местечки, и все располагаются на них, как по команде. Это представляет большие удобства на тот случай, если нужно вперед наметить себе план военных действий, — стоит только мысленно развернуть перед собой картину гостиной, и план местности налицо. Вот какую картину представляет собой по вечерам эта гостиная: перед тем, как пить чай, тетка, сидевшая до сих пор на диване, пересаживается к рабочему столику Корделии, а Корделия занимает свое место у чайного стола перед диваном, — Эдвард ищет уеди-

нения и таинственности, хочет говорить неслышным шепотом, и это ему по большей части так хорошо удается, что под конец вечера он совсем почти не раскрывает рта. Я же ничуть не желаю делать секрета из своих излиятий по адресу тетки — рыночные цены, количество бутылок сливок, нужных для приготовления одного фунта масла, молочная поэзия и сырная диалектика — все это такие речи, которые не только не вредны для уха молодой девушки, но даже крайне назидательны и полезны своим бесспорно обогащающим и облагораживающим влиянием, как на ум, так и на сердце. Я сажусь обыкновенно спиной к чайному столу и к мечтаниям молодой парочки; у нас с теткой свои мечты. В самом деле, как велика и мудра природа в своих произведениях! А масло, какой это драгоценный дар, какое изумительное сочетание природы и искусства! Тетушка, погружаясь по уши в хозяйственные бездны, конечно, не в состоянии ничего расслышать из разговоров молодых людей, если бы даже и было, что слушать. Я обещал Эдварду околдовать ее слух и держу свое слово. Зато от меня не ускользает ни одно их слово. Для меня это крайне важно: ведь никогда нельзя предвидеть, на что способен человек в припадке отчаяния. Здесь даже самые осторожные и робкие люди выкидывали иногда самые неожиданные штуки. Я отнюдь не вмешиваюсь в их отношения и все-таки чувствую свое невидимое влияние на Корделию — как будто я постоянно стою между ней и Эдвардом.

*

Нельзя не согласиться, что мы четверо составляем вообще довольно оригинальную картину. Если подобрать к ней *pendant*, то я остановился бы, пожалуй, на Фаусте: разумеется, я — Мефистофель, а Корделия — Маргарита... Дальше, впрочем, некоторые несообразности, — Эдварду уж ни в каком случае не подходит роль

Фауста. Если же Фауст — я, кто тогда Мефистофель? Не Эдвард же! Да и я, собственно говоря, не похож на Мефистофеля, особенно в глазах Эдварда. Он считает меня добрым гением своей любви и в своем роде прав: никто не может так неусыпно бодрствовать над его любовью, как я. Я обещал ему занимать тетку и отношусь к этой почтенной задаче как нельзя серьезнее и добросовестнее. Тетка на наших глазах совсем с головою уходит в сельскохозяйственную экономию, мысленно путешествует по кухням, погребам и кладовым, делает визиты курам и уткам, я же — ее верный спутник. Но Корделии наши хозяйственные экскурсии, видимо, не по сердцу: она никак не может понять, из-за чего я тут хлопочу. Я для нее настоящая загадка, которая, если и не особенно интригует ее, то, во всяком случае, сердит и даже возмущает. Она как будто смутно чувствует, что я заставляю тетку играть иногда несколько комическую роль, а между тем, тетушка такая почтенная особа, что, кажется, вовсе бы не заслуживала этого. К тому же, я проделываю это так искусно, что Корделия сознает тщетность всяких попыток со своей стороны помешать мне. Иногда мне удается довести дело до того, что сама Корделия не может удержаться от невольной улыбки над теткой. Все это лишь подготовительные этюды, тем не менее это вовсе не значит, чтобы мы с Корделией действовали по уговору. Я никогда не стараюсь заставить ее смеяться над теткой вместе со мною; нет, вся штука в том, что я — остаюсь неизменно серьезным, а Корделия не может не улыбнуться. Это уже первый шаг на ее ложном пути; теперь надо выучить ее улыбаться иронически, а то эту невольную улыбку можно, пожалуй, столько же отнести и ко мне, как к тетке. Корделия положительно становится в тупик перед моей особой. Что же ей в самом деле думать обо мне? Может быть, я — действительно слишком рано состарившийся молодой человек, — отчего ж нет? ... Невольно улыбнувшись тетушке, Корделия, од-

нако, сердится на самое себя, а я вдруг оборачиваюсь к ней и, продолжая разговор с теткой, смотрю на нее как ни в чем не бывало, — тогда она смеется надо мной и над комизмом всего положения.

Отношения между нами можно уподобить не взаимному пониманию, а, скорее, отталкиванию и недоразумению. Собственно говоря, я не отношусь к ней никак: мои отношения чисто духовного характера, все равно что никакие! Такая система отношений имеет, однако, большие преимущества. Если б я явился галантным кавалером и стал ухаживать за нею, я сразу бы имел против себя подозрение, а затем и сопротивление — теперь я избавлен от этих неудобств. За мной не только не наблюдают, но даже считают наиболее надменным человеком, которому, в случае надобности, можно поручить наблюдение за молодой девушкой... Единственный недостаток системы — медленность в достижении результата, и ее стоит поэтому применять лишь по отношению к таким личностям, в которых предугадываешь глубокое и интересное внутреннее содержание.

*

Какая могучая сила обновления — во всем существе молодой девушки! Ни свежесть утреннего воздуха, ни влажная прохлада ветра, ни аромат вина, ни его живительная влага, — ничто, ничто не сравнится с ней!

*

d

Скоро я надеюсь добиться того, что она положительно возненавидит меня. Я вполне уже вошел в роль закоренелого холостяка, у меня только и разговора что о покойном кресле, удобной мягкой постели, надежной прислуге, друге с твердой поступью, на которого можно опереться при прогулке... иногда, если мне удастся на-

конец утомить тетку, и она прекратит хоть на минуту свои экономические разглагольствованиа, я втягиваю в беседу на те же темы самое Корделию, и таким образом даю ей более прямой повод к иронии. Над старым холостяком можно смеяться, можно даже немножко сочувствовать ему, но молодой человек, не совсем глупый и образованный, рассуждающий о подобных вещах, положительно возмущает молодую девушку: ведь подобное отношение как будто совершенно уничтожает всякое значение ее пола, ее красоты и ее поэзии!

*

Дни идут за днями; я продолжаю часто видеть ее и разговаривать... с ее теткой. Иногда же ночью мною овладевает желание вздохнуть посвободнее, и я иду, закутанный в плащ, со шляпой, надвинутой на самые брови, к ее дому. Окна ее спальни, обращенные во двор, видны с улицы, и я могу наблюдать, как она подходит иногда на минуту к окну и любуется звездной синевою неба, невидимая никем, кроме того, о ком она менее всего думает. В эти тихие ночные часы я брожу около ее жилища, как дух того места, где она обитает. У меня нет никаких планов, голос расчета замолкает, я выкидываю за борт деятельность ума и облегчаю грудь глубокими вздохами. Этот моцион мне необходим, чтобы не пострадать от чересчур рассчитанной систематичности моих действий. Многие люди, сравнительно целомудренные днем, грешат ночью, я же ношу маску днем, а ночью всецело отдаюсь моим мечтам. Если бы она заметила меня тут, если бы могла заглянуть в мою душу... если бы! ...

Вот если бы эта девушка сумела хорошенько анализировать себя, она поняла бы, что мы с ней как раз пара. Ее натура слишком глубока и горяча, чтобы она могла найти счастье в обыкновенном браке. Пасть в объятия

обыкновенного оболыстителя было бы для нее тоже слишком ничтожно. Если же она падет ради меня, то вынесет, по крайней мере, из этого крушения кое-что интересное и для себя. Тут ей придется, следуя игре слов немецких философов, «*zu Grunde gehen*»*.

*

Корделии, в сущности, надоедает общество Эдварда. А если круг интересного слишком узок, то всегда ведь стараешься сам раздвинуть границы и открыть интересное вне его, и вот Корделия прислушивается иногда к моей беседе с теткой. Я сразу замечаю это, и в моей речи внезапно сверкнет отблеск из совершенно иного мира, к великому удивлению обеих женщин. Глаза тетки ослеплены молнией, но она ничего не слышит; Корделия же ничего не видит, но слух ее взволнован новыми звуками. Но еще одно мгновение и — все опять по-старому: беседа наша под грустное бормотание самовара плетется мирно и однообразно, как почтовый экипаж в ночной тишине. В комнате становится как-то жутко, особенно для Корделии: ей не с кем перемолвиться, некого послушать. Обратится она к застенчивому Эдварду — слышит одну скучную чепуху, обратится в нашу сторону — уверенный тон и размеренный темп нашей беседы режет ей слух еще неприятнее и болезненнее в силу того контраста, который они составляют с робким прерывающимся шепотом Эдварда. Я чувствую, что иногда Корделии кажется, будто тетушка ее заколдована, до такой степени она повинуется взмахам моей дирижерской палочки. Принять участие в нашей беседе с теткой девушке мешает еще и то, что я, стараясь вообще восстановить ее против меня, позволяю себе, между прочим, третировать ее как ребенка. Я крайне далек, однако, от того, чтобы в моем обращении с ней мелькнула хоть тень какой-

* Дойти до основания, погибнуть (нем.)

нибудь вольности или бесцеремонности. Я хорошо знаю, как это вредно действует на чувство женственности: оно может притупиться, а мне надо, чтобы оно лишь оставалось нетронутым до поры до времени и в нужную минуту развернулось во всем блеске духовной чистоты и прелести. Мои дружеские отношения к тетке дают мне некоторое право обращаться с Корделией без особых церемоний, как с ребенком, не знающим света. Этим ее женственное чувство не оскорбляется, а только нейтрализуется: ведь для нее ничуть не оскорбительно, если ее признают невеждой относительно рыночных цен, сельского хозяйства и т. п., но она не может, конечно, не возмущаться, если это последнее, по нашим словам, должно считаться выше всего в жизни. А тетка положительно превосходит самое себя по части хозяйственности; при моем усердном содействии она стала почти фанатичкой и за это может поблагодарить меня. Единственное, с чем почтенная женщина никак не может примириться во мне, это неопределенность моего положения и занятий. Теперь уж я принял за правило, как только зайдет речь о каком-нибудь вакантном месте, говорить: «Вот это как раз по мне», и затем развивать на эту тему пространно-серьезные рассуждения. Корделия сразу чувствует, что я иронизирую, а мне только этого и нужно.

*

Бедняга Эдвард! Надо, однако, признаться, что он в самом деле довольно скучная фигура! Совсем не умеет взяться за дело, а вот являться перед ней постоянно расфранченным в пух и прах — на это он мастер. Из дружбы к нему я одеваюсь возможно небрежнее. Несчастный! Мне почти жаль его: он чувствует себя так бесконечно обязанным мне и даже не знает, как выразить мне свою благодарность. Позволить еще благодарить себя за то, что я делаю, — это уж чересчур.



Ну что же это вы не можете угомониться? Целое утро только и делают, что треплют маркизы за моим окном, играют проволокой от колокольчика, дребезжат стеклами, словом, всячески стараются заявить о своем существовании и выманить меня на улицу. Да, погода хорошая, но я не чувствую особого расположения идти с вами; оставьте-ка меня... Веселые зефиры, шалуны-мальчишки, ведь вы отлично умеете гулять и шалить одни с молоденькими девушками. Да, да, я знаю, что никто не сумеет так соблазнительно обнять молодую девушку... Сначала она пытается как-нибудь увернуться от ваших ласк... Не тут-то было! — Она в плену и не может высвободиться... Да теперь ей, впрочем, и не особенно хочется этого: вы так мягко и свежо обвиваете ее, не горячите, а нежите... Ступайте, ступайте своей дорогой, а меня оставьте в покое... А! вам это не по сердцу? Вы не о себе хлопчете? ... Ну что с вами делать, так и быть, пойду, но только с двумя условиями — слушайте и намотайте себе на ус! Во-первых: на Новой Королевской улице живет молодая девушка, которая отличается чудной красотой и несказанной дерзостью: она не только не любит меня, но — что еще непозволительнее — любит другого. Дело дошло до того, что она уже гуляет с ним под руку. Я знаю, что и сегодня в час дня он придет за нею. Дайте же мне слово, что самые резвые и неугомонные из вашей братии притаятся где-нибудь за углом, пока они не выйдут из ворот; едва же они завернут за угол по Большой Королевской улице, отряд этот внезапно вырвется из своей засады и самым вежливым образом снимет шляпу с его головы! Затем вы осторожно покажите эту шляпу по панели, держа ее все время на расстоянии какой-нибудь сажени от него, — ни в каком случае быстрее, а то он, пожалуй, догадается вернуться домой — вам нужно только поддразнивать его, потихоньку катя шляпу вперед так, чтобы он ежеминутно был

готов схватить ее и потому не считал даже нужным выпускать руки возлюбленной. Таким образом вы поведете его по Большой Королевской улице, вдоль земляного вала к Северным воротам и на площадь Высокого моста. Сколько же это приблизительно займет времени? Около получаса? Хорошо, ровно в половине второго я покажусь с Восточной улицы — парочка будет в это время как раз на середине площади — и вы произведете самое ожесточенное нападение: сорвете шляпу и с ее головы, размечите ее локоны, унесете ее вуаль... И в довершение всей этой кутерьмы его шляпа торжественно взвевается на воздух... выше... выше... а ее вуаль бешено закрутится в пыльном вихре... Не я один, вся почтенная публика разразится громким хохотом, собаки залают, а полицейские возьмутся за свистки! ... Вы направите ее шляпу прямо ко мне, и я буду иметь счастье вручить ее ей. Все это было «во-первых», теперь «во-вторых»: отряд, следующий за мной, повинуется каждому моему движению. Он должен держаться в границах строгого приличия, — сохрани Боже оскорбить хотя бы одну хорошенькую девушку, позволить себе омрачить ее детски-веселое ясное настроение, спугнуть с ее уст светлую улыбку, погасить шаловливый огонек в глазах и заставить ее сердечко забиться от страха! Ослушники будут преданы проклятию! Итак, в погоню за радостью, весельем, юностью и красотой! Покажите мне то, что я так люблю и что никогда не надоедает мне: хорошеньких девушек, удвойте их красоту своей шаловливой резвостью, тормозите их так, чтобы они все расцвели смехом и весельем! Место — широкая улица, время, как вам известно — лишь до половины второго.

Вот идет молоденькая девушка, разодетая с ног до головы... Да ведь сегодня воскресенье! ... Ну, за дело: освежите ее немножко, повеите тихой прохладой на ее лицо, ласкайте его своими невинными поцелуями... Ага! Я уже вижу, как нежный румянец разливается по щечкам,

губки заалели еще ярче, грудь волнуется... Что, дитя мое? Не правда ли, какое невыразимое наслаждение — вдыхать этот свежий, ласкающий ветерок? Маленький, белоснежный воротничок колыхается, как листочек... она дышит полной грудью. Движение ножек замедляется, она как будто даже перестает двигать ими: свежее дуновение ветра несет ее на своих крыльях, как легкое облачко, как мечту... Теперь сильнее, сильнее! ... Вот она собирается с силами: руки прижимаются к груди, придерживая накидку, чтобы какой-нибудь нескромный шалунишка-зефир не подкрался слишком близко и не проскользнул под легкий тюль корсажа... Румянец разгорается ярче, щечки становятся как-то полнее, глаза прозрачнее, поступь тверже и решительнее. Вообще борьба, вызывая наружу сокровенные силы души, возвышает и красоту всего человека. Все молодые девушки должны были бы влюбиться в зефиров: ведь ни один мужчина не сумеет подобно им, вселяя страх, увеличить красоту... Стан ее слегка сгибается вперед, головка наклоняется и взор упирается в носок башмачка... Стой! Стой! Довольно! Это уж чересчур! ... Платье ее раздулось, фигура расширилась и потеряла свои изящные очертания... Освежите ее немножко... Что, моя прелесть, славно ведь вновь почувствовать эту освежающую дрожь? Какое-то радостное сознание жизни разливается по всему существу... Так и хочется раскрыть горячие объятия... Она поворачивается боком... Теперь сильный порыв, чтобы я мог угадать красоту форм! Еще, еще! Надо, чтоб складки платья облегли ее плотнее. Нет, это слишком! Поза становится неграциозной, ножки путаются. Она опять повернулась прямо. На приступ теперь! Посмотрим, как-то она справится... Довольно! Локоны ее выбились из-под шляпы... Смотрите, не слишком вольничать!

... А вот идет интересное трио:

*Одна уж страстно влюблена,
Другая спит и видит то же.*

Да, правда, не Бог ведь как интересно идти под руку с левой стороны своего будущего зятя. Для девушки это то же, что для мужчины быть сверхштатным чиновником в палате. Но сверхштатный чиновник все-таки имеет в виду производство; он принимает также участие в делах и даже бывает очень полезен в некоторых экстраординарных случаях. На долю свояченицы, конечно, не выпадает право такого участия в делах семейной палаты, но зато ее производство совершается мгновенно, когда она получает новый чин — невесты. Дуйте же на них сильнее! ... Имея твердую опору, не трудно оказать сопротивление. Центр стремится вперед неудержимым и энергичным напором, «крылья» же не могут угнаться за ним. Он держится так твердо и непоколебимо, что ветер не в состоянии сбить его с позиции, он слишком тяжел для этого... Да, так тяжел, что даже «крылья» не могут поднять его с земли! Он продолжает себе лезть напролом, желая доказать свою устойчивую тяжесть, но зато тем больше страдают крылья... Прелестные барышни, позвольте мне снабдить вас добрым советом: оставьте вашего будущего мужа и зятя, и попытайтесь идти одни — вы увидите, что это гораздо веселее и забавнее... Ну, теперь немного тише! ... Ай, ай, как они ныряют в волнах ветра, то оказываясь друг против друга, то несясь по тротуару боком... Ну какая же бальная музыка может вызвать большее оживление и веселье? Кроме того, ветер не утомляет, а удваивает ваши силы... Вот так галоп! Они летят рядом на всех парусах... Никакой вальс не может так соблазнительно увлечь молодую девушку... Главное, она нисколько не устает: ветер сам носит ее... Теперь они опять оборачиваются к будущему мужу и зятю... Неправда ли, маленькое сопротивление только подзадоривает? Охотно борешься ведь, чтобы достигнуть желанного, и вы достигнете, по крайней мере, одна из вас... Любовь имеет своих невидимых покровителей, и нареченному нашему помогает попутный ветер... Ну не

хорошо ли я все это устроил! Ведь если бы ветер дул вам прямо в спину — вы, пожалуй, промчались бы мимо него, но ветер дует навстречу, возбуждая своим сопротивлением какое-то приятное волнение. Ну, вот наконец вы падаете в объятия любимого человека. Дуновение ветра только разлило здоровый румянец на ваших щеках и сделало пурпурные губки еще соблазнительнее: холодное веяние охладило плод этих губок — горячий поцелуй, а он вкуснее всего именно в замороженном виде, когда и леденит и жжет, как замороженное шампанское! ... Как они смеются, болтают между собой! А шалуны-зефиры перехватывают слова... Вот они опять хохочут, кланяются во все стороны по воле ветра, хватаются за шляпы и караулят свои ножки... Потихонечку теперь, не то молодые девушки пожалуй потеряют терпение, рассердятся и будут бояться вас! Bravo! Так, решительно, смело, правой ножкой вперед: раз, два, раз, два... Как она самоуверенно и бодро оглядывается вокруг... Если я не ошибаюсь, она тоже «под ручку»; значит, невеста. Ну-ка, дитя мое, посмотрим, какой подарок достался тебе с жизненной елки. О, да! По всему видно, что это жених — первого сорта. Она, конечно, еще в первой поре влюбленности, т. е. любит его, может быть, страстно, но при этом сердце ее так широко и вместительно, что он занимает в нем лишь один уголок. На барышню, видимо, надет еще тот плащ любви, который может укрыть под собою многих сразу. Теперь начинайте! ... Да, когда идешь так быстро, то немудрено, что ленты шляпки и вуаль бьются на ветру, как крылышки; они как будто увлекают это воздушное создание. И сама любовь ее похожа на вуаль эльфа, которым играет ветерок. Конечно, если смотреть на любовь с такой точки зрения, она может показаться очень вместительной; когда же придется облечься в нее навсегда, когда вуаль перешьют на будничное платье — тогда многочисленные толчки и чужие бока окажутся, пожалуй, не по карману законному

обладателю. Помилуйте, раз у человека хватило мужества сделать решительный шаг на всю жизнь, то хватит, вероятно, отваги и на борьбу с ветром... Кто осмелится усомниться в этом? Во всяком случае не я! Не надо, однако, горячиться так, моя милая, к чему горячиться попусту? Время — довольно суровый ментор, да и ветер тоже не из последних... Теперь подразните ее немножко! ... Так! Куда делся носовой платок? А, вы опять поймали его... Вот развязались ленты у шляпы! Как это неудобно для вашего суженого, шествующего рядом! ... А, навстречу идет одна из наших подруг — непременно нужно поздороваться с ней. Ведь это в первый раз вы показываетесь в качестве невесты и только для этого и пришли на Широкую улицу, намереваясь затем пройти на Лангелинию. Насколько мне известно, существует обычай: муж с женой в первое воскресенье после свадьбы ходят в церковь, а жених с невестой после обручения на Лангелинию. Обручение действительно имеет много общего с этой «длинной прогулкой»... Теперь держитесь — ветер рвет шляпу, уцепитесь за нее обеими руками, наклоните голову, закройте глаза... Ах, какая досада! Так и не удалось поздороваться с подругой! Вот жалость! Не удалось раскланяться с ней, напустив на себя снисходительную мину превосходства, которая так приличествует невесте.

... Теперь прошу, потише! Все опять хорошо. — Как она крепко ухватилась за руку своего возлюбленного! Она не идет с ним нога в ногу, а слегка забегает вперед, так что, повернув головку назад и подняв личико, может взглянуть на свою радость, надежду, свое счастье, все свое будущее! ... Эх, дитя мое, не слишком ли ты страстна к нему? Не обязан ли он мне и ветру своим молодецким видом? Да и тебе придется сказать спасибо и мне, и этому тихому ветерку, развеявшему твою досаду, за твой свежий, полный жизни, желаний и надежды вид ...

*Не надо мне студента,
Что с книжкой ночь сидит,—
Мне дайте офицера,
Что шпорами звенит!*

— Вот что написано в твоих бойких глазах! Студент тебе совсем не под пару. Но зачем же непременно офицер? Не согласишься ли ты взять кандидата, ведь он уже кончил курс и бросил книжки? Впрочем, в настоящую минуту, у меня к сожалению, нет в запасе ни того, ни другого. Зато я могу услужить тебе несколькими прохладными дуновениями... Дуньте-ка на нее слегка! Вот так, перекиньте ваш шарф через плечо и идите потихоньку, тогда щечки перестанут так гореть и лихорадочный блеск глаз несколько смягчится. Да, немножко мочиона, особенно в такую чудесную погоду, да еще немножко терпения, и вы наверное поймаете себе офицера! А вот пара, так уж пара! Как раз созданы друг для друга! Какая твердая ровная походка, какая уверенность во взгляде, основанная на взаимном доверии, какая *harmonia prostabilita** в движениях, какая солидная основательность во всем! Движения их не отличаются особенной грацией; они не скользят по тротуару легкой и плавной поступью, — нет, в их шагах заметна известная размеренность и непоколебимая твердость, внушающая невольное уважение. Я готов пари держать, что жизнь в их глазах — «путь», и, по-видимому, им самой судьбой суждено рука об руку пройти все радости и печали этого жизненного пути. Они до такой степени принадлежат друг другу, что она даже отказалась от своего права идти по плитам тротуара: она предоставляет это ему, сама же идет по камням...

Ну, резвые зефиры, что вы так стараетесь около этой парочки? Кажется, тут не на что обратить особенного внимания. А, может быть, и есть что-нибудь? ... Однако, половина второго; марш на место свидания!

* Предусловленная гармония (лат.).

* * *

Трудно поверить, чтобы можно было с такой точностью предначертать постепенное развитие души человеческой. Впрочем, это лишь доказывает, насколько нормальна и здорова Корделия и умственно, и физически. Она в самом деле замечательная девушка! Правда, она тиха, скромна, без всяких претензий, и все-таки в ней кроются зачатки огромных, хотя и бессознательных требований. Эта мысль впервые поразила меня сегодня, когда я увидал, как она затворяла за собой дверь подъезда. Маленькое сопротивление ветра, казалось, привело в возбуждение все ее силы, а между тем борьбы еще не было. Да! Она не имеет ничего общего с этими крошечными женскими созданиями, которые могут проскользнуть меж пальцев и настолько нежны и хрупки, что боишься, как бы они не рассыпались от одного взгляда. Она не похожа и на претенциозно-пышный махровый цветок, все достоинство которого в одной наружной красоте. Я зорким взглядом врача с удовольствием наблюдаю за всеми симптомами ее душевного здоровья.

*

Мало-помалу я подвигаюсь в своих отношениях с ней, перехожу к более прямым атакам. Если изобразить это наглядно на моей военной карте, то выходит это так: я слегка повертываю свой стул в ее сторону, сажусь к ней боком и время от времени вступаю с ней в разговор, выманивая у нее ответы. В ее натуре много горячности и страсти: душа ее свободна от стремления к оригинальности и тем не менее требует чего-то необыкновенного. Она, пожалуй, не прочь была бы прокатиться, как Фаэтон в солнечной колеснице по небесному своду, задевая землю и обжигая людей. Мои иронические насмешки над людской пошлостью, мелочностью, вялостью, трусостью и т. п. приковывают ее внимание. Но все-таки она не вполне полагается на меня; до сих пор я сам ук-

лонялся от всякого, даже чисто духовного или умственного сближения. Прежде всего она должна хорошенько укрепиться в самой себе, а потом уже я позволю ей опереться и на меня. С первого взгляда на наши отношения может, пожалуй, показаться, что я и в самом деле хочу посвятить ее в свои масонские верования, но это только так кажется. Повторяю, она должна развиваться сама по себе, должна почувствовать упругость своих душевных сил — подержать на своих собственных плечах действительную жизнь. Ее успехи в этом отношении ясно сквозят в некоторых вырвавшихся у нее словах и брошенных взглядах... В одном из них, как я заметил, сверкнул даже уничтожающий гнев. Я не хочу, чтобы она была в духовной зависимости от меня; она должна быть вполне свободна: любовь может развиваться лишь на свободе, и одна свобода обуславливает приятное и вечно веселое времяпровождение. Вообще, я так искусно подготавливаю ее падение в мои объятия, что оно станет неизбежно по закону простого тяготения. При этом необходимо, однако, заботиться и о том, чтобы она не падала, как простая тяжесть — ее падение должно быть естественным тяготением ума к уму. Она должна принадлежать мне, но это не значит, что она будет тяготеть на мне бременем, обузой в физическом и обязательством в нравственном смысле. В наших отношениях будет царить полная свобода. Корделия должна быть так легка — в духовном смысле, — чтобы я мог поднимать ее с ее любовью одним взглядом.

*

Корделия занимает меня почти чересчур сильно... Я опять, как будто, теряю хладнокровное равновесие чувства, — не лицом к лицу с ней, а в те минуты, когда остаюсь с ней наедине в строгом смысле слова, то есть один с собою. Иногда мне страстно хочется взглянуть на нее —

не для того, чтобы поговорить с ней, но чтобы образ ее хоть на мгновение рассеял мою нетерпеливую тоску... и я часто крадусь вслед за ней по улице: мне не надо, чтобы она заметила меня — я хочу только сам насмотреться на нее... Третьего дня вечером мы вышли втроем от Бакстеров; Эдвард по обыкновению вызвался провожать ее, а я, наскоро простившись, кинулся в соседнюю улицу, где ждал меня мой слуга. В мгновение ока я переменял плащ и, обогнув квартал, встретил ее еще раз; она конечно не узнала меня. Эдвард, по своему похвальному обычаю, был нем, как рыба.

... Да, я влюблен, но только не в обыкновенном смысле этого слова. В противном случае мне пришлось бы остерегаться, так как подобные отношения могут иметь самые опасные последствия — влюбляются ведь, как говорят, только раз в жизни... Впрочем, бог любви слеп, и умный человек может, пожалуй, надуть его, и не раз. Все дело в том, чтобы быть восприимчивым к впечатлениям и всегда сознавать, какое именно впечатление производишь на девушку ты, — и какое производит на тебя она. Таким образом можно любить нескольких разом, так как в каждую будешь влюблен по-своему... Любить одну — слишком мало, любить всех — слишком поверхностно... а вот — изучить себя самого, любить возможно большее число девушек и так искусно распорядиться своими чувствами и душевным содержанием, чтобы каждая из них получила свою определенную долю — тогда как ты охватил бы своим могучим сознанием их всех — вот это значит наслаждаться... вот это значит — жить!

3-го Июля.

Эдварду, собственно говоря, нет причин жаловаться на меня. Положим, я действительно хочу, чтобы Корделия, досыта насмотревшись на своего поклонника, на

его влюбленные взгляды и манеры, потеряла всякий вкус к подобной любви, так как знаю, что тогда она переступит узкие границы обыденного. Но для этого нужно, чтобы Эдвард не казался ей карикатурой. И надо отдать ему справедливость, он не только то, что принято называть приличной партией, — это еще ничего не значит в глазах семнадцатилетней девушки — но и вообще очень милый и симпатичный молодой человек. А я, в свою очередь, как костюмер и декоратор стараюсь выставить его в еще более выгодном свете, облакая его различными достоинствами, насколько хватает моего умения и его средств; случается, впрочем, ссужать его этими достоинствами и напрокат. Когда мы отправляемся вместе к Корделии, то мне бывает как-то странно идти с ним рядом: он как будто мой брат, мой сын и в то же время — мой друг, мой сверстник, мой соперник! Опасным, впрочем, он для меня не будет, и я могу сколько угодно возвышать его достоинства, зная наверно, что падение его неизбежно. Действуя таким образом, я лишь вызову у Корделии более ясное и отчетливое представление о том, чем она пренебрегает и чего, собственно, требует. Я помогаю ей разобраться в своих чувствах и в то же время делаю для Эдварда все, что только один друг может сделать для другого. Стараясь резче оттенить мою собственную холодность, я иногда горячо нападаю на Эдварда за его мечтательность. Да, если он сам не умеет хлопотать за себя, то делать нечего, приходится мне вывозить его на собственных плечах.

*

Корделия, как видно, боится меня. Чего может бояться в мужчине молодая девушка? Превосходства ума. Почему? Потому что он обнаруживает всю непосредственность ее женского существа. Красота в мужчине, изящные манеры, остроумие — все это прекрасные данные,

чтоб понравиться молодой девушке, пожалуй, даже влюбить ее в себя, но одержать этим серьезную победу — нельзя! Почему? — Потому что в таком случае придется сражаться с девушкой ее же собственным оружием, которым она так искусно владеет сама. Употребляя его, можно заставить девушку покраснеть, стыдливо опустить глаза, но никогда нельзя вызвать этого внезапно охватывающего все ее существо трепета, благодаря которому красота ее становится интересной.

*Non formosus erat, sed erat facundus Ulixes,
et tamen aequoreas torsit amore Deas**

*

Каждый должен знать свои собственные силы, и ничто меня так не бесит, как отсутствие ловкости у людей, обладающих иногда недюжинными дарованиями. В сущности дело обольщения должно бы вестись так, что при первом взгляде на молодую девушку, жертву своей или чужой любви, сразу можно было бы угадать, кем и как была она обольщена. Опытный убийца, например, всегда наносит известный, своеобразный удар, и привычный глаз сыщика при виде раны сразу узнает руку злодея. Но где встретишь теперь таких идеально систематических обольстителей и тонких психологов? Обольстить девушку значит для большинства лишь обольстить ее и... точка, тогда как в этом выражении скрыта целая поэма.

*

Как женщина — она ненавидит меня; как женщина развитая — боится, и как умная — любит. Вот борьба противоречий, которую я впервые возбудил в ее душе. Моя гордость, вызывающий тон, насмешливость и без-

* Не был красивым Улисс, а был он красноречивым — и воспылали к нему страстью богини морей (лат.). — *Перевод М. Гаспарова.*

жалостная ирония пленяют ее, но не в том смысле, чтобы она готова была влюбиться в меня — ей просто хочется соперничать со мной в этой гордой независимости мнений, этой свободе и непринужденности жизни, вольной, как жизнь свободолюбивых сынов пустыни. Кроме того, моя ирония и некоторые странности характера не допускают никакого эротического излияния с ее стороны. Ее обращение со мной вообще довольно свободно, и если она бывает иногда настороже, то лишь в умственном отношении, а не как женщина. Она далека от мысли иметь во мне поклонника, и отношения наши — просто дружеские отношения двух умных людей. Случается, что она берет меня за руку, жмет ее, улыбается мне, словом, оказывает некоторое внимание, но все это в чисто платоническом смысле. Часто, когда иронизирующий насмешник уже достаточно раздражил ее, я следую словам одной старинной песни:

*Рыцарь красный свой плащ расстилает,
Милой сесть на него предлагает*

с тою лишь разницею, что я расстилаю свой плащ не для того, чтобы усесться рядом с Корделией на земле, а чтобы подняться с ней на воздух в отважном полете фантазии. Иногда же я совсем не беру ее с собой, а, оседлав Пегаса, уношусь в воздушные сферы и, приветствуя ее и посылая воздушные поцелуи, поднимаюсь все выше и выше. Наконец я достигаю такой головокружительной высоты, что она не может более следовать за мной взором, а лишь слышит шелест крыльев парящей мысли ... Ей страстно хочется следовать за мной в этом смелом полете, но он длится лишь несколько мгновений, — затем я становлюсь по-прежнему холоден и сух.

*

Есть разные виды и оттенки румянца. Бывает, например, грубый, кирпичный румянец, его всегда так много

в запасе у всех сочинителей романов, и они заставляют своих бедных героинь краснеть чуть ли не с головы до пят. Но есть другой румянец, тонкий и нежный, это — заря зарождающегося сознания. У молодой девушки он неоценим! Яркий, быстро вспыхивающий румянец, сопровождающий внезапно озарившую чело мысль, прекрасен и на лице взрослого мужчины, еще лучше у юноши, и чудно хорош у молодой девушки. Это блеск молнии, зарница высшего разума! И этот румянец так хорош у юноши и так идеально прекрасен у молодой девушки именно благодаря примеси девственной стыдливости, захваченной врасплох. Увы, чем дольше живет человек на свете, тем реже у него появляется румянец.

*

Иногда я читаю Корделии что-нибудь вслух — в большинстве случаев вещи самого безразличного содержания. Эдвард, как и всегда, служит здесь ширмой для меня. Я сказал ему, что самый удобный случай для завязки отношений с молодой девушкой — это снабжать ее книгами. Он, конечно, в выигрыше от этого совета. Корделия питает к нему теперь немалую признательность. Но больше всех выигрываю, конечно, я: я руковожу выбором книг и могу дать Корделии все, что захочу, не рискуя при этом быть заподозренным, так как остаюсь в стороне — книги приносит Эдвард. Кроме того, я приобретаю благодаря этому обширное поле для моих наблюдений. Вечером мне, как будто невзначай, попадает на глаза новая книга, я беру ее, небрежно перелистываю, иногда прочитываю что-нибудь вполголоса и хвалю Эдварда за его внимательность к Корделии. Вчера вечером мне захотелось произвести маленький эксперимент, чтобы убедиться в упругости душевных сил Корделии, причем я немного колебался, не зная, на чем остановить свой выбор: на стихотворениях Шиллера, из

которых я, как бы нечаянно открыв книгу, прочел бы «Жалобу девушки», — или на балладах Бюргера. Наконец, я остановился на последних, главным образом потому, что «Ленора» при всех своих неоспоримых достоинствах, все-таки немного вычурна. Я раскрыл книгу и прочел балладу вслух со всем чувством, на какое только способен. Корделия была заметно взволнована, пальцы ее продергивали иголку с такой лихорадочной быстротой, как будто Вильгельм должен был придти за ней самой. Тетка отнеслась к чтению довольно безучастно: во-первых, ей уже нечего опасаться ни живых, ни мертвых Вильгельмов, во-вторых, она не особенно сильна в немецком; зато она почувствовала себя вполне в своей сфере, когда я, окончив чтение и показав ей прекрасный переплет книги, завел пространный разговор о переплетном мастерстве. Этим резким переходом от поэзии к прозе я хотел уничтожить в Корделии патетическое впечатление баллады, почти в ту же минуту, как оно было вызвано. — Я заметил, что она даже вздрогнула от этой неожиданности, ей стало как-то *unheimlich**.

*

Сегодня взор мой в первый раз остановился на ней. Говорят, Морфей давит своей тяжестью веки, и они смыкаются; мой взор произвел на нее такое же действие. Глаза ее закрылись, но в душе поднялись и зашевелились смутные чувства и желания. Она более не видела моего взгляда, но чувствовала его всем существом. Глаза смыкаются, кругом настает ночь, а внутри ее светлый день!

*

Эдварда пора спровадить! Он теперь в последнем градусе влюбленности — того и гляди, объяснится. Мне его душевное состояние известно лучше, чем кому-либо,

* Здесь «жутко» (нем.).

так как он вполне доверяет мне, и я сам поддерживаю в нем эту ненормальную экзальтацию, чтобы сильнее подействовать на впечатлительную натуру Корделии. А все же рискованно допустить Эдварда до решительного объяснения. Положим, я знаю наверное, что он получит отказ, но на этом дело, пожалуй, не кончится. Эдвард, конечно, так горячо примет к сердцу ее отказ, что может взволновать и растрогать девушку, чего нельзя допустить ни в каком случае. Я не боюсь, что она возьмет свой отказ обратно, но девственная гордость ее сердца будет уже потрясена этим проблеском чистого сострадания, и все мои расчеты на Эдварда пойдут прахом.

*

Мои отношения к Корделии получили какой-то толчок, побуждающий меня к скорейшему драматическому развитию действия. Что-нибудь да должно произойти. Оставаясь простым наблюдателем, я рискую упустить удобную минуту. Мне необходимо застать ее врасплох, но для этого нужно держать ухо востро. Я знаю, что чем-нибудь необыкновенным ее не удивишь, — по крайней мере не так сильно, как мне надобно — поэтому придется устроить дело так, чтобы причина самого удивления лежала именно в *необыкновенной обыденности* и простоте явления. Затем, однако, мало-помалу откроется, что за этой кажущейся простотой и обыденностью скрывалось, в сущности, нечто поразительное. Таков закон «интересного» в жизни и, следовательно, закон для моих действий по отношению к Корделии. Вообще важнее всего, это — застать человека врасплох: внезапное нападение отнимет у него энергию и лишит его возможности быстро справиться с впечатлением, какого бы рода оно ни было, т. е. действительно ли случилось нечто необычайное или, напротив того, самое обыкновенное. Я до сих пор еще с некоторым удовольствием вспоми-

наю о своей отчаянной попытке обратить на себя внимание одной дамы из высшего общества. Я долгое время выслеживал ее всюду, выжидая подходящего случая, и вдруг в один прекрасный день встретил ее на улице совершенно одну. Я был уверен, что она не знает меня, не знает городской ли я житель или приезжий, и мгновенно составил план действия. Я постарался столкнуться с ней лицом к лицу, причем отшатнулся и бросил на нее грустный, почти умоляющий взор, в котором блестели слезы. Затем снял шляпу и мечтательно-взволнованным голосом произнес: «Ради Бога не сердитесь, милостивая государыня, но в ваших чертах такое поразительное сходство с дорогой мне особой, которую я так давно не видал! Умоляю вас, простите мне мое странное поведение!». Она сочла меня за идеалиста-мечтателя, а женщинам вообще ведь нравится известная доза мечтательности в мужчине, благодаря которой они могут чувствовать свое превосходство и сострадательно улыбнуться над беднягой. Так и случилось: она улыбнулась и стала еще прелестнее, затем кивнула мне с какой-то снисходительно-важной миной, и продолжала свою дорогу. Я позволил себе пройти рядом с ней шага два и простился. Встретив ее во второй раз несколько дней спустя, я осмелился поклониться; она рассмеялась. Да, терпение — величайшая добродетель, и к тому же — *rira bien, qui rira le dernier**.

*

Есть много различных средств поразить воображение Корделии и взволновать ее пока еще безмятежное сердце. Я мог бы поднять в нем такую эротическую бурю, такой ураган страсти, который в состоянии был бы вырвать с корнями деревья, и уж конечно вывел ее сердце из его тихой пристани, порвав цепи всех якорей, которыми оно так крепко держится за окружающую ее род-

* Хорошо смеется тот, кто смеется последним (франц.)

ную почву. Словом, ничего невозможного, и попытка моя могла б увенчаться успехом. Раз в сердце девушки зажглась страсть, можно довести ее до чего угодно. Но подобные приемы совсем не в моем вкусе. Как чистый эстетик я вообще не люблю головокружения и могу посоветовать применять это средство лишь по отношению к таким девушкам, которые иначе неспособны ни на какое поэтическое возрождение. Во всех же других случаях сильная экзальтация девушки может только лишит мужчину истинно эстетического наслаждения. Применив это средство к Корделии, я бы в несколько глотков осушил до дна чашу наслаждения, тогда как при другом, более разумном образе действий, мне хватит ее надолго, да и само наслаждение будет куда полнее и богаче содержанием. Корделия не создана для минутного опьяняющего наслаждения, и этим ее не покорить. Мой внезапный взрыв, может быть, ошеломил бы ее в первую минуту и больше ничего: это было бы слишком в унисон смелым порывам ее собственной души. Простое предложение руки и сердца и затем официальная помолвка будут, пожалуй, самыми действительными средствами. Она будет поражена куда сильнее, услышав это прозаическое предложение, нежели впитывая яд моего красноречия и прислушиваясь к биению своего сердца в такт другому.

Самое несносное в официальной помолвке — ее этическая подкладка. Этика, по-моему, одинаково скучна и в науке, и в жизни. Ну как же сравнить, в самом деле, этику с эстетикой? Под ясным небом эстетики все прекрасно, легко, грациозно и мимолетно, а стоит только вмешаться этике, и все мгновенно становится тяжеловесным, угловатым и бесконечно скучным. Помолвка, впрочем, не страдает еще той строгой этической реальностью, как самый брак, она имеет значение лишь *ex consensu gentium**; этического элемента в помолвке содержится лишь столько, сколько нужно, чтобы Корделия получила впо-

* Здесь «по общему представлению» (лат.)

следствии ясное представление о том, что переходит границы обыденной житейской морали и, в то же время, этот этический элемент не носит такого серьезного характера, чтобы произвести опасное потрясение души. Что же до меня, то я всегда питал ко всему этическому большое уважение и держался от него в самом почтительном расстоянии. До сих пор я еще никогда не бросил ни одной девушке даже самого легкого намека на брак; теперь я, по видимому, готов сделать эту уступку. Но эта уступка лишь мнимая: я сумею повернуть дело так, что она сама возвратит мне слово. Вообще же рыцарская гордость с презрением отвергает всякие обязательства и обещания. Судья, выманивающий сознание преступника обещаниями прощения и свободы, достоин в моих глазах одного презрения, он как бы сам признает свою несостоятельность. Я не желаю обладать ничем, что не будет отдано мне вполне свободно и добровольно. Пусть заурядные обольстители довольствуются рутинными приемами; моему же, тот, кто не умеет овладеть умом и воображением девушки до такой степени, чтобы она видела лишь то, что ему нужно, кто не умеет покорить силой поэзии ее сердце так, чтобы все его движения всецело зависели от него, тот всегда был и будет профаном в искусстве любви! Я ничуть не завидую его наслаждению: он профан, а этого названия никак нельзя применить ко мне. Я эстетик, эротик, человек, постигший сущность великого искусства любить, верящий в любовь, основательно изучивший все ее проявления и потому взявший право оставаться при своем особом мнении относительно ее. Я утверждаю, что любовная история не может продолжаться дольше полугода, и что всякие отношения должны быть прекращены, как только наслаждение исчерпано до дна. Я убежден в справедливости своего мнения, так же как и в том, что быть любимым больше всего на свете, беспредельной пламенной любовью — высшее наслаждение, какое только может испытать человек на земле.

Есть еще один путь. Я мог бы устроить ее помолвку с Эдвардом, сохраняя свое положение домашнего друга, и Эдвард по-прежнему бы доверял мне, так как мне одному он был бы обязан своим счастьем: с одной стороны, это было бы для меня даже удобнее, — я оставался бы в тени. Но с другой стороны, Корделия как невеста Эдварда потеряла бы для меня часть своего обаяния: отношения к ней стали бы тогда более пикантны, чем интересны. Нет, первый проект — моя собственная помолвка с ней — представляет неоспоримые преимущества перед всеми другими; прозаический элемент помолвки лучший резонатор для «интересного».

*

Все приобретает какой-то особенный отпечаток в доме Валь. Как-то смутно чувствуется, что в обыденных формах начинает шевелиться новая внутренняя жизнь, которая скоро так или иначе проявит себя. В воздухе пахнет свадьбой. Поверхностный наблюдатель предположил бы, пожалуй, что поженимся мы с теткой. Подумать только, что бы вышло из такого брака в смысле распространения сельскохозяйственных сведений в будущих поколениях! И я стал бы дядей Корделии! Вообще я поборник свободной мысли, и нет предположения настолько нелепого, чтобы я не посмел довести его мысленно до конца. Корделия, видимо, боится объяснения со стороны Эдварда, а он надеется, что объяснение это решит все. Что же, он и не ошибается. Надо, однако, избавить его от неприятных последствий такого шага да и пора, наконец, совсем уволить его в отставку, — он положительно мешает мне. Особенно чувствовал я это сегодня. Сидит с такой мечтательно-влюбленной физиономией, что можно подумать — вот он вскочит и, как лунатик, сам того не сознавая, признается в своей любви при всей честной компании. Я не выдержал и подарил его моим осо-

бенным взглядом: как слон поднимает с земли тяжесть своим хоботом, так я своим взглядом приподнял и перебросил Эдварда через спинку его стула. Положим, он остался на стуле, но я уверен, что он испытал такое же ощущение, как если бы это случилось с ним действительно.

*

Корделия обращается со мной уже не так непринужденно, как прежде. В ее обращении, взамен прежней женственной уверенности, стала заметна какая-то нерешительность. В этом нет однако ничего особенно важного, и ничего не стоило бы сейчас же переделать все по-старому. Но мне этого не нужно, — еще несколько наблюдений, и я буду просить ее руки. Препятствий никаких не предвидится; Корделия будет поймана врасплох и озадачена моим предложением настолько, что не откажет; тетка же скажет свое сердечное аминь. Хорошая женщина будет вне себя от восторга при мысли получить такого сельскохозяйственного зятя. Зять! Как все однако переплетается, точно сухой горох, стоит перешагнуть в пределы брачной области! Собственно говоря, я буду приходиться ей не зятем, а племянником, или, вернее, даст Бог, — ни тем, ни другим.

23-го.

Сегодня я воспользовался слухом, пущенным под сурдинкой мною же, — что я влюблен в одну молодую девушку. Через Эдварда слух этот достиг ушей Корделии. Теперь она исподтишка, с любопытством, следит за мною, боясь, однако, спросить. Ей крайне интересно удостовериться в этом, во-первых, потому, что это чересчур невероятно, по ее мнению, а во-вторых, потому, что это послужило бы оправдывающим примером для нее самой: если уж такой холодный ироник, как я, позволил

себе влюбиться, то ей и подавно незачем особенно стыдиться этого. Итак, сегодня я завязал разговор на эту тему. Рассказывать о чем-нибудь так, что сама суть рассказа не пропадает, а слушатели в то же время не догадываются преждевременно о сути — обманывать и дразнить при этом их нетерпеливое ожидание, и наконец ловко выпытывать, какого конца они сами желали бы — это одно из любимых моих удовольствий. И я большой мастер ставить своих слушателей в тупик, употребляя в своем рассказе такие выражения, которым можно придать и тот и другой смысл. Вообще, если нужно сделать какие-нибудь важные наблюдения, вывести кое-что у известного лица, то я советую всегда держать длинную речь, т.к. в обыкновенном разговоре собеседнику легче увернуться, и скрыть свои впечатления ответами или новыми вопросами. Итак, я начал речь с торжественно-серьезной миной, обращаясь преимущественно к тетке: «Не знаю, приписать ли это доброжелательству друзей или злобе врагов, — у кого нет в избытке и тех и других?» Тут тетка вставила замечание, которое я постарался подхватить и дополнить пространными объяснениями, — чтобы еще подстрекнуть нетерпеливо-напряженное внимание Корделии, которая, конечно, не могла позволить себе прервать наши, видимо, серьезные разглагольствования. Наконец я продолжал: «Или же приписать это простому случаю, *generatio aequivoca** слуха (иностранный выражение, неизвестное Корделии, произнесенное вдобавок с неверной интонацией и приправленное лукавой улыбкой, как будто в нем-то и заключалась вся суть, еще больше заинтриговало Корделию) — во всяком случае, я, несмотря на свою скромную, почти ни для кого не нужную жизнь, стал вдруг предметом толков о моем сватовстве к одной барышне (Корделии, видимо, недоставало объяснения, к какой именно). Повторяю, я решительно не знаю, кому приписать распрос-

* Самозарождение (лат.)

транение этого слуха: друзьям ли — так как неоспоримо, что влюбиться — вообще большое счастье для человека (Корделию как будто толкнуло что-то), — или врагам — так как предполагать, что это счастье выпало на долю именно мне, положительно смешно (ее как будто отбросило в противоположную сторону), — случаю ли, наконец, — так как для него не нужно никаких оснований, — или, как я уже сказал, *generatio aequivoca* слуха — так как вся эта история, пожалуй, не что иное, как плод досужего измышления чьей-нибудь пустой головы». Тетка с чисто женским любопытством принялась допытываться, кто эта девушка, с которой добрым людям вздумалось обручить меня. Я ловко увернулся от этих расспросов. Рассказ мой, кажется, произвел некоторое впечатление на Корделию, и акции Эдварда, пожалуй, даже несколько поднялись в цене.

Решительная минута приближается. Я мог бы письменно обратиться к тетке, прося у нее руки Корделии — это ведь самый ординарный прием в сердечных делах, как будто сердцу свойственнее писать, чем говорить. Единственное, что могло бы говорить в пользу этого приема — обыденный, чисто мещанский пошиб его, но зато мне пришлось бы проститься с мыслью о сюрпризе, которым бы оказалось мое предложение для Корделии и которым мне нужно озадачить ее. Будь у меня какой-нибудь преданный друг, он бы, пожалуй, сказал: «Хорошо ли ты обдумал этот серьезный шаг? Ведь от него зависит вся твоя будущность и счастье другого лица». В таких предостережениях и советах и заключается выгода иметь преданного друга. У меня нет такого друга — вопрос о том, выгода это или ущерб для меня, я оставляю открытым, но то, что я избавлен от его советов, я считаю несомненной выгодой. Советы мне совсем не нужны, я слишком строго взвесил и рассчитал все. Препятствий нет никаких, и я перехожу на амплуа жениха. Скоро моя

скромная особа озарится некоторым ореолом: я перестану быть простым смертным и сделаюсь «партией» даже очень хорошей партией, как скажет тетушка. Да вот кого мне будет впоследствии искренно жаль, так это тетушку: она любит меня такой нежной, сердечной сельскохозяйственной любовью! Она почти обожает меня, так как видит во мне свой идеал.

*

Не в первый раз предстоит мне объясняться в любви, но вся моя опытность не служит в данном случае ни к чему: это объяснение ничуть не походит на прежние. Поэтому я должен тщательно подготовить свою роль и выбрать нужную маску, в чем я и упражняюсь вот уже несколько времени. Я перебираю мысленно все оттенки, которые можно было бы придать моему объяснению с Корделией. Сделать его эротическим было бы рискованно: этим я преждевременно могу вызвать в ней чувство, которое по моему плану должно было разгораться в ней постепенно, становясь все сильнее и сильнее. Придать ему чересчур серьезный характер также опасно: в такие торжественные минуты душа девушки и без того как-то наэлектризовывается, напрягается в каком-то неестественном возбуждении, как душа умирающего в последнюю минуту. Тривиально-шутливый оттенок не гармонировал бы с моей прежней маской, ни с новой, которую я собирался надеть. Ирония и остроумие будут в том случае так же неуместны. Итак, всего вышеперечисленного нужно избегать: Если бы для меня, как для большинства женихов, вся суть заключалась в одном робком «да», сорвавшимся с уст возлюбленной, задача упростилась бы донельзя. Положим, это «да» нужно и мне, но оно не составляет всей сути дела. Как ни заинтересован я Корделией, но есть все-таки условия, при которых я не согласился бы принять ее «да».

Я совсем не гонюсь за тем, чтобы обладать ею в реальном смысле, моя главная мечта наслаждаться ею в художественно-эстетическом смысле. Поэтому и объяснение моё должно быть вполне художественным, так чтобы на все положение был наброшен своего рода туманный и загадочный покров, под которым скрывались бы всевозможные возможности. В случае, если она не поверит мне и сразу заподозрит обман, то сделает большую ошибку — я совсем не обманщик в прямом смысле этого слова; если же она увидит во мне глубоко и верно любящего человека, она также впадет в заблуждение. Я постараюсь, чтобы она вообще не успела собраться с мыслями и остановиться на чем бы то ни было; дать ей время прийти в себя крайне опасно: взор девушки становится в такие минуты почти ясновидящим, как взор умирающих. Милая Корделия! Я должен отнять у тебя нечто прекрасное, но постараюсь вознаградить тебя, насколько это в моей власти. Итак, решено: объяснение мое должно носить простой и обыкновенный характер, так чтобы она, давая свое согласие, не умела объяснить себе, что собственно кроется в подобных отношениях, Бесконечная возможность предположений набросает необходимый фон «интересного» для будущих отношений. Если же она сумеет уяснить себе значение происходящего, все мои планы разлетятся вдребезги, и отношения с ней потеряют всякий интерес. Она не может дать согласие из любви ко мне: я знаю, что она пока еще не любит меня. Самое лучшее, если мне удастся повернуть дело так, что поступок превратится в случай, так что она даст свое согласие как-то бессознательно и сама потом скажет: «Бог знает, как все это вышло!»

31-20

Сегодня я писал для одного из моих приятелей любовное послание. Это занятие всегда доставляло мне большое удовольствие. — Довольно интересно ведь

быть посвященным в такие обстоятельства. Я располагаюсь возможно удобнее, беру сигару, закуриваю и приступаю слушать доклад влюбленного. Последний выкладывает передо мною письма от предмета своей страсти (мне вообще очень интересно знакомиться с тем, как пишут молодые девушки), сам садится рядом, как влюбленный кот, и — начинает читать эти письма вслух. Я иногда прерываю это чтение лаконичными замечаниями вроде «недурно пишет», «у нее есть чувство», «вкус», «однако она осторожна», «верно, не в первый раз» и т. п. Кроме чувства понятного интереса, я испытываю еще и чувство некоторого самодовольства: ведь я творю доброе дело — помогаю двум влюбленным соединиться! И так как должные дела требуют награды, то я и вознаграждаю себя: за каждую осчастливленную парочку я высматриваю себе новую жертву и на двух счастливых делаю одну несчастной. Словом, я очень честен и добросовестен, никогда не обманываю ничьего доверия. Маленькие шалости, конечно, не считаются, это лишь законный процент.

А почему я пользуюсь таким доверием? — Потому что знаю древние языки, тружусь, всегда держу в тайне свои маленькие приключения и никогда не злоупотребляю оказанным мне доверием.

2 Августа.

Минута настала. Сегодня я мельком увидел тетку на улице. Эдвард был в таможне, следовательно, я наверное мог рассчитывать застать Корделию одну. Так и случилось. Она сидела за рабочим столиком. Мой утренний визит несколько взволновал ее. Минута чуть не приняла чересчур серьезного оттенка, и случись это, не Корделия была бы тому причиной: она довольно оправилась от своего смущения, но я сам едва мог совладать с собой, — такое сильное впечатление произвела на меня молодая

девушка. Она была так прелестна в своем простеньком, утреннем ситцевом платье, с розой у корсажа. Она сама была похожа на этот свежий, едва распустившийся цветок! И кто знает в самом деле, где проводит ночь молодая девушка? Я думаю — в стране фантазий и золотых грез, там только можно почерпнуть эту юную свежесть и нежность красок! Все существо Корделии дышало такой юностью и в то же время такой полнотой созревшей жизни, как будто мать-природа только что выпустила ее из своих нежных объятий. Я как будто сам присутствовал при этом трогательном прощании, когда эта любящая мать в последний раз прижала ее к своей груди и сказала: «Ступай теперь в свет, дитя мое, я сделала для тебя все, что могла, и пусть мой прощальный поцелуй будет печатью, охраняющей святыню твоей девственной души. Никто не может сорвать ее без твоего согласия, и ты сама почувствуешь, когда этому настанет пора!» И она действительно запечатлела на устах девушки свой божественный поцелуй, не отнимающий что-либо, как поцелуй человеческий, а дарящий сам, дарящий девушке силу поцелуя. Как бесконечно мудра природа! Она дает мужчине дар слова, а девушке красноречие поцелуя! Этот поцелуй Корделия носила на устах своих, прощальное лобзание природы на челе и радостное приветствие во взоре. Она казалась светлой гостьей в собственном доме, была невинна и неопытна, как дитя, — и в то же время исполнена того благородного девственного достоинства, пред которым невольно преклоняются люди. Вскоре, однако, я справился со своим волнением и стал попрежнему бесстрастен и торжественно глуп, как это подобает, если хочешь отнять всякий смысл у действия, полного глубокого значения. Начав несколькими общими фразами, я перевел разговор на тему, более подходящую к случаю, и наконец изложил ей свою просьбу. Вообще, довольно скучно слушать человека, говорящего по книжному, а между тем иногда

очень полезно говорить так. Надо сказать, что книга имеет замечательное свойство: ее содержание можно истолковать как угодно, и я поэтому не выходил из рамок книжной речи. Корделию очень удивило мое предложение, что, конечно, вполне естественно. Трудно, однако, описать выражение ее лица в ту минуту — оно отразило столько впечатлений сразу, что его, пожалуй, можно было сравнить с комментариями к моей еще не изданной книге. Комментарии эти предлагают вам выбор всевозможных истолкований. Стоило мне прибавить еще одно слово, и она могла засмеяться надо мною, и — она могла растрогаться, одно слово, и — она замяла бы разговор... Но ни одного такого слова не вырвалось у меня; я оставался торжественно-глупым, держась по всем правилам жениховского этикета. Что же она ответила мне? «Она так еще недавно познакомилась со мной, что»... Ах, Боже мой! такие затруднения встречаются только на узкой тропинке, ведущей к браку, а не на усыпанном цветами пути любви!

Однако, я все-таки немного ошибся в своих расчетах: развивая мысленно свой план общения с Корделией, я заранее решил, что она, пойманная врасплох, скажет «да»: вышло не так, она не сказала ни «да», ни «нет», а отослала меня к тетке. Я должен был предвидеть это! Впрочем, все же мне везет, — такой результат, пожалуй, лучше всего.

*

Тетка дает свое согласие, — в этом я нимало не сомневался, — Корделия следует ее совету. Нельзя, значит, похвалиться, чтобы помолвка моя имела поэтический оттенок, она совершилась по известному шаблону: невеста сама не знает, сказать ли ей «да» или «нет», но тетка говорит «да», и она вторит ей... Я беру невесту, она берет меня, и теперь-то начнется настоящее!

3-20

Ну вот я и жених, а Корделия невеста. И это, кажется, все, что она знает относительно своего положения. Будь у нее подруга, она могла бы признаться ей в задушевном разговоре, что решительно ничего не понимает во всем этом, что ее влечет ко мне какое-то необъяснимое чувство, что она как-то странно покоряется моему желанию не из любви, потому что вовсе не любит меня, да и никогда, пожалуй, не полюбит, а просто потому, что она, как ей кажется, может прожить со мной довольно счастливо, так как, по-видимому, я не из «требовательных» и удовольствуюсь ее «уживчивым характером». Дорогая моя! Быть может, ты ошибаешься: я потребую от тебя многого... но, пожалуй, меньше всего уживчивости! Из всех нелепых обычаев житейских помолвка самый нелепейший. В браке все-таки есть известный смысл, хотя и не совсем удобный для меня, но помолвка! Это выдумка, отнюдь не делающая чести своему изобретателю. Помолвка ни то, ни се и относится к любви точно также, как звездочки подпоручика к лампасам генерала. Ну вот и я теперь запрягся в эту лямку и, пожалуй, не без пользы для себя. Старый балаганный рецензент Тропп не без основания говорит: «Лишь побывав в шкуре балаганного артиста, получишь право судить других артистов». А помолвка? — разве это не балаганщина своего рода?

*

Эдвард вне себя от злости: отпустил бороду и сбросил свою черную пару, — это не к добру! Он хочет, кажется, поговорить с Корделией и вывести на свежую воду мое лукавство. Вот это будет потрясающая сцена: Эдвард, небритый, небрежно одетый, говорящий в азарте громким голосом! Только бы он не подвел меня своей бородой *in spe**! Напрасно я стараюсь урезонить его, объ-

* Здесь в будущем (лат.)

ясняя, что наша помолвка дело рук самой тетушки, и что Корделия, может быть, чувствует симпатию к нему, что я готов уступить ему свое место, если он сумеет завоевать ее сердце и т. д. С минуту он как будто колеблется: и в самом деле, не сбрить ли бороду и не купить ли новый фрак? Но затем вдруг опять обрушивается на меня. Я думаю все-таки, что мне удастся сохранить наши добрые отношения: ведь как он ни сердится на меня, а шагу не сделает без моего совета. Он не забыл еще, какую пользу приносило ему мое менторство. Да и мне не хочется отнять у него последнюю опору и окончательно поссориться с ним. В сущности, он славный малый, и кто знает, что может случиться со временем? ...

*

Теперь мне предстоит великая задача: во-первых, подготовить внешний разрыв с Корделией, чтобы доставить себе в будущем высшие и прекраснейшие минуты наслаждения; во-вторых, как можно лучше воспользоваться периодом помолвки, насладиться вдоволь ее девственной прелестью и миловидностью, — словом, всем, чем так щедро одарила ее природа, — не забегая, однако, вперед... Когда же я научу ее понимать смысл любви, и в особенности любви ко мне, тогда пусть порвутся внешние цепи — она моя!

Другие, напротив, начинают с такого обучения, а добившись результата, надевают на себя цепи помолвки, в ожиданий награды добродетельно-скучным браком, но это их дело. В наших отношениях пока еще полное *status quo*, но ни один жених в мире, ни один скряга, нашедший нечаянно золотую монету, не может быть счастливее, довольнее меня. Я упоен сознанием, что она наконец принадлежит мне. Ее чистая невинная душа прозрачна, как небо, глубока, как море, ни одно эротическое облачко не скользнуло еще по этой девственной лазури!

Теперь пора: она должна узнать от меня, какая сила скрывается в любви. Как принцесса, внезапно возведенная из мрака темницы на трон предков, она будет перенесена мною в родное ей царство любви. Да, все это сделаю я, так что она, учась любить вообще, будет учиться любить меня, а когда осознает, что научилась любить у меня, полюбит меня вдвое сильнее. Мысль о таком счастье положительно опьяняет меня!

Душевные силы моей Корделии еще не ослаблены и не растрачены теми неопределенными порывами любви, которые так часто испытывают другие девушки, теряющие вследствие этого способность любить сильно, определенно и нераздельно. В их воображении вечно носится какой-то смутный образ, принимаемый ими за идеал, с которым они и сверяют мимолетные предметы своей любви. Этими туманными иллюзиями они вырабатывают себе некоторый суррогат любви для того, чтобы кое-как поддержать их жизнь. Я уже прозреваю своим чутким взором зарождение любви в глубине ее сердца и стараюсь вызвать эту любовь наружу, маня ее тысячами голосов. Я наблюдаю за ее постепенным развитием — и по мере того, как оно принимает все более и более определенные формы, подготавливаю в самом себе соответственное этим формам содержание. Мое участие в этом процессе, совершающемся в душе Корделии, пока еще таинственное и незримое; когда же он закончится вполне, я пойду навстречу ее желаниям, продолжая в то же время сохранять неуловимое разнообразие душевных оттенков. Нужно явиться достойным избранником ее сердца, — девушка ведь любит только раз в жизни!

*

Итак, мои права на Корделию установлены законным порядком: я получил согласие и благословение тетки и поздравления родных и друзей... Надо думать, что

это обещает прочный и долговременный союз! Все тяготы войны миновали, и настало благоденствие мира. Что за нелепость! Как будто благословение тетки и поздравления родных могут доставить мне обладание Корделией в истинном смысле этого слова? И неужели в любовных делах существует такая резкая разница между военным и мирным положением? Не вернее ли, что любовь — непрерывная борьба, хотя выбор оружия и бесконечно разнообразен. Главная же суть в том, как ведется эта борьба: грудь с грудью или на расстоянии. Чем долее длилась борьба на расстоянии, тем слабее будет рукопашная схватка, представляющая следующие моменты: рукопожатие, пожатие ножки (последнее, как известно, особенно рекомендуется Овидием, хотя собственная ревность его и сильно возрастает против этого) и затем уже поцелуи и объятия. Единственное оружие в борьбе на расстоянии — взгляд, и все же борец-художник владеет им с такой виртуозностью, что достигает куда больших результатов, нежели другой даже в борьбе грудь с грудью. Он может бросить на девушку свой молниеносный полный неги и страсти взор, и она почувствует как бы жгучее прикосновение его самого, этим взором он охватывает все ее существо крепче самых жарких объятий! Тем не менее одной борьбы на расстоянии еще не достаточно: она не даст настоящего наслаждения. Лишь в борьбе грудь с грудью все приобретает истинное значение. Когда же борьба эта прекращается, любовь умирает. Я совсем не боролся с Корделией на расстоянии, и теперь только вынимаю оружие. Я имею на нее известные права — в юридически-мещанском смысле, но из этого еще ровно ничего не следует, для меня по крайней мере: мои воззрения на любовь гораздо шире и возвышеннее. Она моя невеста, это правда, но если я заключу из этого, что она любит меня, то жестоко ошибусь — она еще не умеет любить. Я имею на нее законные права, права жениха, но еще не обладаю

ею так же, как могу обладать другой девушкой, без всяких таких прав.

*Auf heimlich erröthender Wange
Leuchtet des Herzens Glühn*.*

*

Корделия сидит на диване у чайного стола, я на стуле рядом с нею. Такое расстояние носит в себе что-то дружески фамильярное и вместе с тем нечто чуждое, отстраняющее сближение. Положение вообще очень важно, конечно, для тех, кто что-нибудь смыслит в этом. В любовных отношениях много положений, и мы с Корделией пока еще в одном из первых. Как щедро одарила природа свое любимое дитя! Мягкая округленность форм, чистая невинная женственность, ясность взора — все восхищает меня в Корделии. Я поздоровался с ней, она встретила меня по обыкновению весело, но несколько застенчиво. Она смутно чувствует, что помолвка должна как-то изменить наши отношения, но как именно, не знает. Она подала мне руку, но без прежней открытой улыбки на лице; я ответил ей легким пожатием. Вообще я держу себя с ней просто, дружеские, без малейшего эротического оттенка. Она сидит на диване у чайного стола, я на стуле рядом с нею. Какая-то тихая торжественность разлита в воздухе... так бывает в природе, перед трепетно ожидаемым ею восходом солнца. Корделия молчит; ... ничто не нарушает тишины... Взор мой тихо покоится на ней, в нем нет и следа чувственных желаний, — для этого нужно быть циником. Тонкий мимолетный румянец набегаёт на ее лицо, как розовое облачко на ясное небо, и то загорается, то потухает. Что выражает этот румянец? Зарождающуюся ли любовь, тоску ли, надежду или боязливое предчувствие? Нет, нет, нет и нет!

* На зардевшихся ланитах
Пылаёт сердца жар (нем).

Этот румянец задумчивого недоумения. Она задумывается, но не надо мною — этого мало для нее, — и не над собою, а в себе: в ее душе медленно совершается метаморфоза. Такие минуты требуют ничем не нарушимого молчания, ничто не должно мешать этой торжественной работе — ни рассуждение, ни внезапный порыв страсти. Я не принимаю в этом процессе деятельного участия, но присутствие мое необходимо для того, чтобы продлить это душевное раздумье. Все мое существо молчаливо гармонирует с ним. В подобных случаях поклонение молодой девушке, как и поклонение некоторым древним божествам, должно выражаться в глубоком молчании.

*

Для меня очень выгодно бывать в доме моего дяди. Если б я захотел внушить молодому человеку отвращение к курению табака, я повел бы его в курильню немецкой пивной. Если нужно, чтоб девушка потеряла всякий вкус к положению невесты, стоит ввести ее в дом моего дяди: как в цеховом собрании портных участвуют одни портные, так в доме моего дядюшки собираются исключительно женихи и невесты. Нет ничего хуже, как очутиться в такой компании, и не мудрено, что Корделия готова иногда потерять всякое терпение. В общей сложности постоянных женихов и невест наберется там пар с десятков, не считая экстренных добровольцев, появляющихся в пасхальные и рождественские праздники, и все они всласть пользуются прелестями своего положения. Я вожу на этот сборный пункт мою Корделию для того, чтобы она получила невольное отвращение к пошлым приемам этих профанов в деле любви. Весь вечер то тут, то там слышится точно шелканье хлопущек по мухам, это — поцелуи влюбленных. Парочки вообще отличаются премилой непринужденностью, они даже не ищут укромных уголков, а без всяких церемоний расса-

живаются вокруг большого стола в гостиной. Я делаю вид, будто не прочь последовать их примеру с Корделией, но при этом мне просто приходится насиловать себя. Было бы возмутительно, если б я действительно намеревался так оскорбить чистую женственность ее натуры. Я бы скорее, кажется, простил себе самый грубый обман, нежели что-либо подобное в отношении с ней. Вообще я могу отдать себе справедливость: всякая девушка, доверившись мне, встретит с моей стороны вполне эстетическое обращение. Положим, дело кончается обыкновенно тем, что я обманываю ее, но это тоже происходит по всем правилам моей эстетики. Да ведь и всегда случается одно из двух: или девушка обманывает мужчину, или мужчина девушку. Было бы интересно заставить какую-нибудь литературную клячу заняться статистикой: просмотреть народные сказки, легенды, песни и высчитать, кто чаще выставляется в них вероломным — девушка или мужчина.

Я не жалею о том, что трачу на Корделию так много времени — почти каждая встреча требует тщательной и продолжительной подготовки с моей стороны. Я переживаю вместе с ней зарождение ее любви, невидимо присутствую в ее душе, хотя и сижу видимо рядом с ней. Это странное отношение можно, пожалуй, сравнить с *pas de deux*, исполняемым одной танцовщицей. Я — невидимый партнер ее. Она движется как во сне, но движения ее требуют присутствия другого (этот другой — я, невидимо-видимый): она наклоняется к нему, простирая объятия, уклоняется, вновь приближается... Я как будто беру ее за руку, дополняю мысль, готовую сформироваться. Она повинуется гармонии своей собственной души, я же не только даю толчок ее движению, толчок не эротический — это разбудило бы ее, — но легкий, почти бесстрастный. Я как бы ударяю по камертону, задавая основной тон для всей мелодии.

*

В чем состоит обыкновенно разговор жениха с невестой? Насколько мне известно, они спешат посвятить друг друга в сложные и скучные подробности своих семейных отношений. Что же удивительного, если вся поэзия любви испаряется? По-моему, если не умеешь сделать любовь абсолютной мистерией, поглощающей все историческое и реальное, то лучше и не суйся совсем в дело любви, а просто женись себе хоть сто раз. То, что у меня есть тетка по имени Марианна, дядя Христофор, отец майор и т. п., не имеет ровно никакого отношения к мистерии любви. Даже собственная жизнь любящих до зарождения в них любви тут не причем. Да молодой девушке вообще и нечего бывает рассказать о своей прежней жизни, если же случается наоборот, то очень может быть, что ее стоит слушать, только уж никак не любить! Что же до меня, то мне не нужно никаких повестей и историй, у меня и своих довольно: я ищу в любви одну непосредственность. Вечный смысл любви заключается именно в том, что влюбленные как бы рождаются друг для друга в самый момент возникновения их любви. При чем же тогда их прежняя жизнь? Они как будто и не существовали до сих пор!

*

Надо внушить ей побольше доверия, или, вернее, уничтожить некоторые сомнения. Про меня нельзя сказать, что я принадлежу к разряду влюбленных, любящих из уважения, женящихся из уважения и детей имеющих тоже из уважения. Но я хорошо знаю, что любовь, особенно пока не проснулась страсть, требует от своего предмета известного нравственно-эстетического уважения к себе. В этом отношении любовь имеет, впрочем, свою диалектику. Например, мой поступок с Эдвардом заслуживает с нравственной точки зрения гораздо большего по-

рицания, чем моя комедия с теткой, а все же мне гораздо легче было оправдаться перед Корделией в первом, нежели во втором. Она, конечно, не заговорила об этом сама, но я счел за лучшее объяснить, что не мог поступить иначе. Осторожность, руководящая мною в сближении с нею, льстит ее самолюбию, таинственная загадочность действий приковывает внимание. Положим, ей может показаться, что во всем этом проглядывает слишком много эротической опытности, и она, пожалуй, поймет меня в противоречии самому себе, когда я начну разыгрывать влюбленность в первый раз в жизни. Впрочем, я не боюсь никаких противоречий: пусть она замечает их, я все же добьюсь своего. Это дело ученых беречь свою репутацию и заботиться о недопущении противоречий в своих диспутах; жизнь девушки слишком богата содержанием, чтобы она вообще могла избежать противоречий и, следовательно, не оправдать их в других.

Корделия целомудренно—горда, хотя и не имеет никакого понятия о чувственной любви. Теперь она до известной степени преклоняется передо мной в духовном смысле, но очень возможно, что когда эротическое чувство вступит в свои права, она противопоставит моим желаниям свою гордость. Она, видимо, колеблется еще, недоумевая относительно действительного значения женщины: оттого так и легко было возбудить в ней гордое презрение к Эдварду. Чувство это было совершенно своеобразного характера, так как сама Корделия не имела представления о настоящей любви. Но явись оно, — не замедлит явиться и истинная женская гордость, тоже, пожалуй, с приправой некоторой своеобразности. Возможно, даже, она не пожалеет о данном согласии, но увидит, что оно досталось мне дешево и поймет свой промах. А раз придя к такому выводу, она, без сомнения, попытается померяться со мною силами. Мне же только этого и надо. Тогда я удостоверюсь, насколько глубоко затронула ее душу любовь.

*

Да, да, да! Я еще издалека заприметил эту миленькую кудрявую головку, выглядывавшую из окна. И сегодня уже третий день, как я вижу то же самое. Ну, молодая девушка не станет даром караулить у окошка! У этой плутовки, разумеется, тоже есть свои причины. Но, однако! Не высовывайтесь так! Прошу вас! Я уверен, что вы встали на перекладину стула... Подумайте только, какой ужас, если вы вдруг вылетите из окна прямо на голову — не мне, я держусь пока в сторонке, но ему, ему! — Ведь там внизу уж конечно есть такой «он». ... Ба! Кого я вижу? По тротуару шагает мой приятель, кандидат богословия Петерсен! В его походке заметно что-то не совсем обыкновенное, ноги как будто скользят по панели. Я готов пари держать, что к ним прикреплены крылышки... любви. Да разве он бывает в этом доме? И я не знал этого?! ... А вы исчезли, прелестная незнакомка! Конечно, вы пошли отворять ему двери. Напрасно вернитесь! Ему совсем не надо в этот подъезд! ... Вы, может быть, думаете, что знаете об этом побольше моего? Могу однако уверить вас, что я слышал это собственными ушами из его собственных уст, и если бы этот экипаж не грохотал так сильно, вы тоже услышали бы нашу беседу. Я сказал ему мимоходом: «Тебе в этот подъезд»? И получил в ответ категорическое «нет»... Так вот и скажите вашему кандидату «прощай», вы с ним отправляемся гулять! Он смущен и немного растерян, а такое душевное состояние делает обыкновенно людей словоохотливыми, и мы заводим длиннейший разговор и вakanтном месте, которого он добивается... — До свидания, милочка! Мы уходим на Лангелиние! Дотащившись наконец туда, я говорю своему спутнику: «Ах, черт возьми, и затащил же ты меня своими разговорами! Мне надо было совсем в другую часть города!».

Мы поворачиваем обратно и... вот мы опять здесь... Как, она все еще у окна? — Какая непоколебимая верность! Да, такая девушка непременно осчастливит человека! Вы, может быть, гневно спросите меня, зачем я все это проделал? Затем, что я дурной человек, которому доставляет удовольствие дразнить других? — Совсем нет! Я сделал это из дружеского расположения к вам. — ?! — Сейчас объясню. Во-первых, я заставил вас подождать и поскучать о вашем кандидате, так что он показался вам вдвое милее, когда наконец явился. Во-вторых, войдя к вам, он скажет: «Нашу тайну чуть-чуть не открыли! Принесла же нелегкая этого проклятого человека к подъезду! Я только что хотел войти к тебе! Но я тоже себе на уме: завязал с ним нескончаемый разговор о вакантном месте! Говорили, говорили... я и затащил его на Лангелиние! Я вполне уверен, что он ничего не заметил!» — Ну и что же? Разве вы не любите теперь своего милого еще сильнее? Вы и прежде знали, что он прекраснейший молодой человек, безукоризненной честности и редких правил, но чтобы он был так умен?!... Теперь вы сами убедились в этом и за это должны быть благодарны мне... Меня осенила мысль: она еще не объявлена его невестой официально — я знал бы это; а девушка такая миленькая, свеженькая... Только уж чересчур молода!... Ее житейская опытность далеко не созрела еще, и она пожалуй делает этот серьезный шаг довольно легкомысленно! Этого нельзя так оставить, я должен поговорить с ней... Это моя прямая обязанность по отношению к ней: она наверное премилая девушка... Это моя обязанность и по отношению к нему: он ведь друг мой, а она — нареченная моего друга. Это моя обязанность и по отношению к ее семейству: без сомнения, это самое почтенное семейство. Наконец, это моя обязанность и по отношению ко всему человечеству: ведь я сделаю доброе дело — действовать во имя всего человечества, обладать такими огромными полномочиями!... Однако, пора и к

Корделии! Мое настоящее настроение будет как раз кстати. Да, это трогательное нетерпение прелестной молодой девушки положительно взволновало меня! ...

*

Борьба с Корделией начинается, и я отступаю, суля ей победу надо мною. В своем отступлении я демонстрирую перед ней все оттенки любви: беспокойство, страсть тоску, надежду, нетерпение... Все это, проходя перед ее умственным взором, производит глубокое впечатление на ее душу и оставляет в ней зародыши подобных же чувств. Это нечто вроде триумфального шествия: я веду ее за собой, воспевая победу и указывая ей путь. Увидя власть любви надо мною, она научится верить, что любовь великая сила. Она поверит мне, — я уверен в этом и потому, что верю в свое искусство, и потому, что в основе моих действий все-таки лежит истина. Не будь последнего, мне не удалось бы обмануть Корделию. Теперь же каждый мой новый маневр все сильнее и сильнее укрепляет в ее душе зарождающуюся любовь и сознание своего значения как женщины. До сих пор я не ухаживал за ней в пошлом смысле этого слова, теперь я начинаю ухаживать за ней, но по-своему. Цель этого ухаживания — освобождение ее от всех уз. Я хочу любить ее только вполне свободной. Но она не должна подозревать, что обязана своим нравственным освобождением мне, — тогда она потеряла бы веру в свои собственные силы. Когда же она наконец почувствует себя свободной, свободной настолько, что ей почти захочется воспользоваться этой свободой, — порвать со мной связь, тогда-то начнется настоящая борьба! Я не боюсь развития страсти и жажды борьбы в ее душе, каков бы ни был непосредственный исход этого. Пусть даже гордость окончательно вскружит ей голову, пусть она порвет со мной! Хорошо! Она будет свободна и все-

таки — моя! Помолвка не могла связать ее, да и я желаю обладать ею лишь тогда, когда она будет совсем свободна. Разрыв так разрыв. Борьба все-таки начнется вновь, и победителем из нее выйду — я! Это так же верно, как и то, что ее победа надо мной в борьбе, которую мы ведем теперь и которую можно назвать предварительной, — лишь мнимая. Чем больше назревает в ней стиль для предстоящей впереди «настоящей» борьбы, тем интенсивнее будет сама борьба. Первая борьба — борьба освобождения — была лишь игрой, вторая же, борьба завоеваний, будет борьбою на жизнь и смерть!

*

Люблю ли я Корделию? — Да... Искренно? — Да... С честными намерениями? — Да, в эстетическом смысле: но ведь и это что-нибудь да значит. И какая же, в сущности, была бы польза для Корделии, если б она попала в руки честного мужа-простофили? Что из нее бы вышло бы? — Ничего... Говорят, что одной честностью не проживешь на белом свете, а я добавлю: для того, чтобы любить такую девушку, нужно иметь еще кое-какие достоинства, кроме честности. Одно из таких достоинств и есть во мне — лукавство. А все-таки я люблю ее вполне честно. Я строго сдерживаю свои желания, направляя все усилия к тому, чтобы ее богато одаренная натура достигла полного своего развития. Я — один из немногих, способных на такой подвиг, она — одна из немногих, способных на такое развитие: не пара ли мы? ...

*

Разве грех — вместо того, чтобы смотреть на пастора, заглядываться на изящно вышитый платок в ваших руках? Разве грех, что вы держите его так, напоказ? ... На углу платка вышито ваше имя... Вас зовут Шарлотта Ган?

А ведь соблазнительно узнать таким случайным образом имя хорошенькой девушки. Как будто какой-то таинственный дух услужливо познакомил меня с вами ... Разве это не счастливая случайность, что платок ваш развернулся как раз так, что я мог прочесть метку? ... Вы тронуты проповедью, отираете слезу, и платок снова разворачивается... Вас поражает, что я так пристально смотрю на вас, а не на пастора... вы опускаете глаза на платок и... замечаете, что он выдал мне ваше имя... Ну, что ж из того? Ведь это самая невинная вещь на свете! Узнать имя молодой девушки не особенно трудно. Зачем же мстить платку, комкать и мять его? Зачем сердиться на этот несчастный платок и на меня? Послушайте, что говорит пастор: не вводите никого в соблазн; даже тот, кто сделает это ненамеренно, понесет жестокую кару, во избежание которой он должен поскорее искупить вину сугубой заботливостью о соблазненном... Вот он произнес «аминь». Теперь, по выходе из церкви, я думаю, можно было бы позволить своему платку свободно развеяться по ветру... Или вы боитесь меня? ... Почему же? Разве я сделал что-нибудь особенное, чего вы не можете простить мне или чего не смеете даже вспомнить, чтобы простить? ...

*

В своей борьбе с Корделией я должен вести двойную игру. Если я буду постоянно пассивно отступать перед ее превосходством, то эротический элемент разовьется в ней, пожалуй, слишком рано, не дав окристаллизироваться ее глубокой женственности, и она не в состоянии будет дать мне возбуждающего отпора в борьбе, предстоящей впереди. Нет, пусть победа в этой предварительной борьбе дастся ей почти даром — это так и должно быть по моему плану, — но в тоже время надо постоянно возбуждать и дразнить ее. Если ей покажется, что победа

готова ускользнуть от нее, она будет стремиться изучить искусство удержать ее за собой. В таком-то постоянном преломлении душевных сил мало-помалу и окристаллизуется ее женственность. К достижению моей цели ведут два пути. Я могу пользоваться разговорами, чтобы воспламенить ее, признавая ее полную победу над собой, и письмами, чтобы охладить ее чувства. Могу воспользоваться этими средствами и наоборот. Последний образ действий во всех отношениях целесообразнее. Я буду иметь возможность пользоваться самыми богатыми по содержанию моментами ее жизни. Когда сладкий яд моего послания уже проникнет в кровь, достаточно будет одной искры слова, чтобы вызвать в ней взрыв любви! Но в следующую за тем минуту он будет охлажден льдинками моей иронии, которые застынут в ее сердце в виде недоумения и сомнения. Последние чувства не должны, однако, быть слишком сильны, чтобы не заглушить в ее сердце гимна победы, который будет раздаваться в нем, при получении каждого нового письма, все громче и громче. Пользоваться же иронией в письме не так удобно, рискуешь быть непонятым. Нежность и страсть могут, в свою очередь, блеснуть в разговоре всего лишь на мгновение. Кроме того, мое личное присутствие невольно остановит всякий экстаз, тогда как, читая письмо, она сможет свободно восторгаться мной как каким-то всеобъемлющим высшим существом, обитающим в ее сердце. Письмо дает также гораздо больше простора для выражения эротических чувств: в письме я отлично могу падать к ее ногам, петь дифирамбы ее красоте и т. п., что легко может показаться театральной галиматией, попробуй я проделать все это на самом деле. Контраст же этих писем с разговорами, которые я буду вести с ней, будет и дразнить и искушать ее и таким образом послужит к развитию и укреплению ее любви ко мне... Нельзя, однако, сразу придать моим посланиям слишком яркого эротического колорита. Лучше, если они

будут вначале несколько смешанного характера, заключающая в себе лишь отдельные намеки и разъяснения некоторых сомнений. Можно, например, как будто невзначай, намекнуть на преимущества, которые представляет официальная помолвка в смысле отвода глаз посторонним. Неудобства же, вытекающие из этого положения, она увидит сама. Дом моего дядюшки, как уже сказано, битком набит карикатурами на отношения между влюбленными... Каков же будет результат? Так как эротических представлений о своей роли она не сумеет вызвать в себе без моей помощи, а я немного помучу ее упомянутыми карикатурами, то ей скоро надоест быть невестой! Но она никогда не догадается, что виной всему — я... Сегодня я отправлю ей маленькое письмо, которое, заключающая в себе описание моих чувств, даст ей намек и на то, что творится в ее собственной душе. Это будет самая верная метода для достижения моей цели, — метода вообще мой конек! За это я благодарю вас, милые, девушки! Вам одним я обязан своим эротическим развитием, благодаря которому я и могу показаться Корделии чем захочу. Да, вам принадлежит эта честь, и я отдаю ее вам, признавая, что молодая девушка — прирожденный ментор, у которого всегда можно учиться, если ничему другому, так по крайней мере искусству — обмануть ее же! Никто на свете не научит этому лучше ее самой. И я до самой глубокой старости буду проповедовать истину: только тогда пропал человек окончательно, когда состарился настолько, что уже ничему больше не может научиться у молодой девушки!

* * *

Моя Корделия!

Ты никогда не воображала, что я могу стать таким, каков я теперь, но ведь и я никогда не воображал этого. А что... не изменилась ли в сущности ты сама... Возможно ведь, что из-

менился не я, а твой взгляд на меня. А может быть, и я действительно изменился, изменился потому, что люблю тебя, та и ты изменилась, потому что я люблю тебя. — Прежде я смотрел на все окружающее с высоты величия, в холодном спокойствии разума. Ничто не могло ужаснуть меня. Пусть даже в мою дверь постучался бы выходец с того света, — я, как Дон Жуан, спокойно взял бы в руки свечу и бестрепетно пошел отворять. Я не задрожал бы, столкнувшись лицом к лицу с этим ужасным гостем... Но случилось иное: за дверью был не бледный бескровный призрак, а ты, моя Корделия! ... Не холодное веяние могилы, а жизнь, юность, здоровье и красота так и хлынули мне навстречу! Рука моя дрожит... я не могу держать свечу... Я отступаю пред тобою, не в силах оторвать от тебя взгляда! ... Да, я изменился, но как? В чем состоит это изменение? Не знаю. Я ничего не могу прибавить к этим загадочным необъяснимым словам: я изменился.

Твой Йоханесс.

*

Моя Корделия!

Любовь — тайна; помолвка — разоблачение. Любовь — молчание; помолвка — оглашение. Любовь — тихий шепот сердца; помолвка — громкий крик. И, несмотря на все это, наша помолвка, благодаря твоему искусству, моя Корделия, скроет нашу тайну от глаз посторонних. В непроглядном мраке ночи нет ничего опаснее маленького огонька, вводящего в заблуждение больше, чем сама тьма.

Твой Йоханесс.

* * *

Она сидит на диване у чайного стола, я — рядом с нею. Она держит меня за руку; головка ее, отягченная наплывом дум, склоняется на мое плечо. Она, по-видимому, так близка ко мне и в то же время так далека от меня. Во всем ее существе просвечивает какое-то затаенное сопротивление, ненамеренное или обдуманное, но инстинктивное сопротивление женственности. Впрочем,

сущность женщины в том и заключается, чтоб отдаваться, сопротивляться. Она сидит на диване у чайного стола; я рядом с ней. В биении ее сердца не слышно пылких желаний, в колебании груди — тревожной тоски; сердце бьется спокойно, грудь вздымается ровно, в лице мягкие переливы красок. Что это? Любовь? — Нет. Она только прислушивается, внимает. Она прислушивается к крылатым словам, она жадно внимает им... Эти слова, хотя и слетают с уст другого, но все равно что ее собственные... Этот голос как бы раздаётся в ее собственном сердце... Он сулит блаженство и ей и... другому.

*

Что я делаю? Обольщаю ли я Корделию? — Совсем нет; это меньше всего входит в мои намерения. Хочу ли украсть ее сердце? — Напротив, предпочитаю, чтобы моя возлюбленная сберегла его. Так что ж я делаю? — Я придаю своему сердцу новую форму по образцу ее сердца... Художник рисует на полотне черты возлюбленной, скульптор лепит ее формы; моя работа тоже нечто вроде скульптуры, конечно, в духовном смысле. Сама Корделия не знает, что сердце ее служит мне моделью; я пользуюсь им тайно, и это — единственное лукавство с моей стороны; в этом смысле можно, пожалуй, сказать, что я украл сердце Корделии, как Рахиль украла сердце Лавана, тайно похитив его домашних богов.

*

Обстановка как рамка действия, имеет, без сомнения, большое влияние на человека; она сильно и глубоко врежется в память, или вернее в душу, — и не изглаживается никогда. Сколько бы лет не пришлось мне прожить, я никогда не сумею представить себе Корделию иначе, как в этой обстановке, в этой маленькой гостиной. Когда я прихожу к ним, горничная обыкновенно провожает ме-

ня через зал в маленькую гостиную, и в ту минуту, как я отворяю дверь, ведущую в последнюю из зала, Корделия отворяет другую дверь из своей комнаты, так что наши глаза встречаются еще в дверях. Гостиная: такая маленькая, скромная и уютная, что скорее походит на будуар; она смотрит одинаково мило и уютно со всех пунктов, но мое любимое местечко — это диван. Я сижу на нем обыкновенно рядом с Корделией; перед нами стоит круглый стол, с него красивыми складками спускается изящная скатерть. На столе лампа. Formой она похожа на цветок, пышно развернувшийся под стеклянным колпаком, прикрытым прозрачным абажуром. Абажур этот так тонок и воздушен, что дрожит от малейшей струи воздуха. Цвет и форма лампы напоминают Восток, а легкое колебание абажура — тихое веяние этого далекого края. Пол гостиной скрыт под затейливо сплетенной циновкой, сразу выдающей свое иноземное происхождение. Иногда я беру лампу исходной точкой для полета моей фантазии: я воображаю тогда, что сижу рядом с Корделией на траве под тенью роскошной пальмы. Иногда же плетеная циновка переносит меня с ней в кают-компанию корабля... Мы плывем по волнам безбрежного океана... Диван стоит далеко от окна, поэтому окружающих строений не видно, а взор прямо устремляется в далеко уходящий, синеватый простор неба... Вследствие этого иллюзия еще усиливается. Сидя рядом с моей возлюбленной, я заставляю эти картины пронестись над окружающей нас обстановкой, и они скользят легкой воздушной стопой снов, проходящих мимо изголовья спящей красавицы. Обстановка вообще играет большую роль, особенно в воспоминаниях. Эротические отношения должны быть обставлены так, чтобы впоследствии легко было воскресить в памяти картину всего, что было в них прекрасного. Вот почему следует обращать на обстановку особенное внимание, и, если ее нет или она не соответствует предмету, создавать ее искусственно.

Данная обстановка, однако, как нельзя более гармонирует с существом Корделии и с ее любовью. Совсем иная картина встает в моем воображении, когда я вспомню Эмилию... Ее я не могу, или вернее не хочу даже, представить себе иначе, как в маленькой стеклянной галерее, выходящей в сад. Двери открыты настежь, и взор невольно упирается в маленький тенистый садик, ставящий предел его желанию следовать за убегающей вдаль дорогой. Эмилия была прелестна, но не так богата душевным содержанием, как Корделия, и вся обстановка была тоже как будто рассчитана на это. Пол галереи почти не возвышался над уровнем земли, и взор держался преимущественно земного, не стремился смело и необузданно вдаль, а спокойно отдыхал на переднем плане картины. Как ни заманчиво убегала из глаз дорога, она все-таки не в силах была соблазнить взора: он как-то мельком обегал кругом все небольшое видимое пространство и возвращался обратно, чтобы вновь и вновь сделать тот же самый круг. Обстановка, окружающая Корделию, напротив, не должна иметь переднего плана, а лишь бесконечный простор горизонта. Сама Корделия не должна быть прикована к земле, а свободно парить в воздухе, не ходить, а летать, не описывать все тот же круг, а неудержимо стремиться вперед! ...

*

Стоит только самому стать женихом, и все почтенные товарищи по несчастью принимаются откровенничать, посвящая тебя во все свои дурачества. Несколько дней тому назад кандидат Петерсен просто надоел мне своими рассказами о милой девушке, своей невесте. Он сообщил мне, что она прелестна — это я и без него знал, что она очень молода, — и это для меня не новость, что, наконец, молодость ее и есть одна из причин, заставивших его остановить свой выбор именно на ней: он желает

перевоспитать ее по своему идеалу. Скажите пожалуйста! Этаким несчастненький кандидатик и такая цветущая, жизнерадостная девушка! Я уж довольно старый практик и все-таки не дерзаю приблизиться к девушке — этому перлу создания, иначе как с целью самому учиться у нее. Оказать же на нее какое-нибудь воспитательное влияние я могу лишь настолько, насколько сумею научить ее тому, чему сам выучился у нее....

*

Надо взволновать душу Корделии, произвести в ней полный переворот, и не постепенно, отдельными порывами, а сразу, мгновенно. Она должна постигнуть бесконечное и понять, что оно-то именно ближе и свойственнее всего человеку. Но постигнет она это не умом, не напряженной работой мысли — тогда она сошла бы со своего пути, а непосредственно, воображением. Воображение, являющееся лишь одним из элементов существа мужчины, является субстанцией женщины и, в данном случае, главным посредником между мной и Корделией. Корделия не должна добираться до понятия о бесконечном путем неустанной работы мозга — женщина ведь не рождена для упорного труда; она схватит его легко и свободно одним воображением и сердцем. «Бесконечное» является для девушки таким же простым и естественным понятием, как и «любовь», и «счастье». Взор молодой девушки всюду видит бесконечное, и переход в него для нее лишь легкий прыжок — прыжок женский, а не мужской; мужской в этом случае никуда не годится. Посмотрите только, как неуклюжи его приготовления к такому прыжку: он измеряет глазом расстояние, прицеливается, примеряется, собирается, наконец пускается с разбегу и... вдруг останавливается в испуге! Назад; снова готовится, снова разбежится, прыгнет и... провалится! Молодая девушка прыгает не так... Пред-

ставьте себе два острых выдающихся уступа, разделенных зияющей пропастью, которые так часто встречаются в горах. Посмотреть вниз — голова кружится; ни один мужчина не дерзнет перепрыгнуть такую пропасть. Молодая же девушка, по словам предания, отважилась на это, и с тех пор это место называется «Девичьим прыжком». Я охотно верю этому рассказу добродушных жителей гор, как верю и всему, что говорят о превосходстве молодых девушек, всему, даже самому необыкновенному и чудесному, — удивляюсь и все-таки верю. Помоему, единственный предмет удивления на свете — молодая девушка; по крайней мере она первая удивила меня; она же будет, по всей вероятности, и последней... Итак, прыжок в бесконечное для девушки — лишь легкий грациозный скачок; мужчина же, собирающийся перепрыгнуть эту пропасть, просто смешон. Как широко ни расставляет он ноги, точно желая соразмерить силу прыжка, все его усилия — ничто, в сравнении с расстоянием вершин. Ну, а можно ли представить себе девушку, занятую такими неуклюжими приготовлениями к прыжку? Девушку можно представить себе бегающей, но этот бег — игра, наслаждение, проявление ее легкости и грации. Приготовления же к прыжку заключают в себе нечто диалектически обдуманное, что противно духу самой женской природы. Прыжок девушки — полет; мгновение — и она уже на другой стороне, стоит там такая легкая, грациозная, посылая нам воздушные поцелуи... На лице ее ни тени утомления или напряжения, она стала лишь еще прелестнее. Как свежий, только что распустившийся из горной расщелины цветок, склоняет она свою головку над пропастью, и голова кружится, когда вы смотрите на нее... Итак, Корделия должна изучить все проявления любви, суметь оторвать свои мысли от всего земного, узкого, ограниченного, отдаться всей душой бесконечному, убаюкивать себя вечной переменной настроений, смешивать в грезах поэзию с действительностью, быть

с вымыслом, парить мыслью в безграничном пространстве бесконечного. Когда она, наконец, дойдет до этого, я закружу ее в страстном вихре любви и сделаю из нее все, что захочу. Тогда мой труд будет окончен, я спущу все свои паруса, сяду рядом с ней, и мы понесемся уже на ее парусах! ... В самом деле, раз Корделию охватит это всесильное эротическое упоение, дай Бог только усидеть на руле, убавляя ход, чтобы ничто не явилось слишком преждевременно или в искаженном виде... То и дело придется прокалывать в парусах дырочки, — и все-таки мы будем нестись, как на крыльях ветра...

*

Корделию положительно возмущают собрания у моего дядюшки. Она уже не раз просила меня прекратить наши визиты, но я всякий раз умею найти предлог для нового. Вчера вечером, возвращаясь оттуда, она так страстно сжала мою руку! Бедняжка вероятно чувствовала себя порядком измученной, и не мудрено. Если бы меня не забавляли так эти неестественные выходки искусственной любви, я б и сам не выдержал, пожалуй. Сегодня я получил от нее письмо, в котором она очень остроумно трунит над нелепым поведением влюбленных. Я поцеловал это письмо: оно для меня дороже всех, прежде полученных. Bravo, моя Корделия! Приветствую твои успехи.

*

Случилось так, что на Восточной улице есть две кондитерские, как раз одна против другой. В том же доме, где помещается одна из них, но во втором этаже, живет молоденькая барышня. Она обыкновенно прячется за маленькой японской ширмочкой, закрывающей одно из стекол окна; ширмочка эта полупрозрачна, так что тот, кто знает девушку и обладает хорошим зрением, легко

различит черты ее лица, между тем; как посторонний, да еще с плохими глазами, уловит лишь смутные очертания какой-то темной фигуры. Последнее до известной степени относится ко мне, а первое — к молодому поручику, который ежедневно, ровно в полдень, появляется здесь и устремляет свои взоры на ширмочку. Ширмочка-то собственно и открыла мне эти остроумные телеграфные сношения: в других окнах не видно ничего подобного, и, конечно, такая одинокая заплатка на одном из окон невольно наводит на мысль, что за ней кто-то скрывается. Однажды я сидел у окна в кондитерской, в доме, находящемся напротив. Был как раз полдень. Я не обращал никакого внимания на прохожих, все мое внимание поглощала ширмочка... Вдруг темная фигура за ней зашевелилась, и... в соседнем стекле мелькнула изящная женская головка, ласково кивнувшая кому-то. Затем видение исчезло. Я сразу заключил, что, во-первых, предмет поклона — мужчина, так как движение молодой девушки было слишком страстно, чтоб относиться к какой-нибудь подруге, во-вторых, появился он с того угла улицы, который виден из-за ширмочки. Барышня уселась, следовательно, так, чтобы ей возможно было заприметить своего избранника еще издалека и, пожалуй, даже приветствовать его воздушными поцелуями из-за своей баррикады. Я угадал. Ровно в 12 часов является сам герой этого маленького любовного приключения, милейший г-н поручик. Сегодня я восседаю уже у окна другой кондитерской, находящейся в том же доме, где живет барышня. Поручик увидал ее. Смотрите же друг мой, отвесить изящный поклон во втором этаже — дело вовсе не шуточное! Однако, он недурен: стройный стан, орлиный нос, черные волосы, фуражка набекрень... Теперь держитесь! Ваши ноги начинают уже выписывать мыслете... Это производит на глаз такое же ощущение, какое является во рту во время зубной боли, с тою лишь разницей, что тогда зубы становятся как будто

длиннее обыкновенного, а тут — ноги. Разумеется, если сосредотачиваешь все силы души во взоре, направленном во второй этаж, то отвлекаешь чересчур много силы от ног! Прошу извинить меня, г-н поручик, что я осмеливаюсь перехватить ваш взор в его заоблачном полете! Многоговорящим этого взора назвать нельзя, но многообещающим, пожалуй. И вот все эти обещания так сильно ударяют г-ну поручику в голову, что он шатается и... шлеп! ... Нет, это уж слишком печально! Будь только в моей власти, я ни за что не допустил бы этого! Право, он слишком мил для такого крушения. Роковое падение! Ведь, если хочешь произвести на даму сердца впечатление изящного кавалера, то уж никак нельзя падать! Вот если являешься в виде обыкновенной интеллигентной величины, тогда дело другое! И упадешь, так никого не удивишь! Но какое же впечатление произвело это позорное падение героя на нашу героиню? К сожалению, я не могу сидеть одновременно по обеим сторонам этого Дарданеллского пролива. Положим, можно было бы посадить по ту сторону какого-нибудь приятеля, но, во-первых, я люблю наблюдать сам, во-вторых, нельзя знать, какие последствия могут выйти для меня из всей этой истории, — в иных случаях неудобно иметь соучастника... Мой милый поручик начинает, однако, мне надоедать. Изю дня в день появляется он тут во всем блеске полной формы. Ведь это же просто непозволительное терпение. Ну прилично ли это для военного? Разве у вас нет с собою оружия? Что ж вы не возьмете этого дома приступом и не увезете девушку? Еще будь вы какой-нибудь студент или семинарист, питающийся надеждами, тогда другое дело. Впрочем, я готов, пожалуй, простить вам ваше поведение, потому что ... девушка нравится мне все больше и больше! ... Карие глаза так и светятся шаловливым лукавством ... При виде вас лицо ее озаряется какой-то особенной прелестью, она становится еще милее ... Из этого я заключаю, что у нее

богатая фантазия. А фантазия — природное косметическое средство прекрасного пола, — куда лучше всех патентованных, искусственных.

* * *

Моя Корделия!

Что такое тоска, этот душевный мрак, эта тьма? Плохие поэты рифмуют на это — «тюрьма». Какая нелепость! Разве тоскует лишь тот, что сидит в тюрьме? Разве не тоскуют на свободе? Будь я свободен, как бы я тосковал! А ведь, собственно говоря, я свободен, как птица, и все-таки тоскую! Тоска не покидает меня, когда я иду к тебе, когда ухожу от тебя, даже когда сижу рядом с тобой, я тоскую о тебе! Но разве можно тосковать о том, что имеешь? — Да, если боишься потерять его в следующую же минуту. Моя тоска — вечное нетерпение. Лишь пережив вечность и убедившись, что ты во всякую минуту принадлежала мне одному, мог бы я спокойно вернуться к тебе и вновь пережить с тобой эту вечность. Если бы и тогда у меня не хватило терпения даже на минутную разлуку с тобой, то я мог бы по крайней мере быть спокойным в те минуты, когда сидел бы рядом с тобой.

Твой Йоханесс.

*

Моя Корделия!

Перед нами маленький кабриолет. Он мал, но для меня он больше всего на свете, так как достаточно велик для нас двоих. Он запряжен парой коней, диких и необузданных, как силы стихий, нетерпеливых, как моя страсть, смелых, как твои мысли. Хочешь, я увезу тебя, моя подруга! Молви лишь слово, и натянутые вожжи ослабнут, кони вырвутся на волю и помчатся, унося нас в безумном беге! Я увезу тебя, но не от людей к людям, нет, мы умчимся из мира действительности. Кони взвиваются на дыбы, экипаж подымается. Кони несутся почти вертикально ввысь... Мы пролетаем сквозь облака, стремясь в необъятный простор неба. Свист и шум вокруг... Что это? Сидим ли мы сами неподвижно, весь мир движется, или дейст-

вительно мы мчимся в безумном полете? Если у тебя кружится голова, моя Корделия, крепче держись за меня, у меня голова не закружится. Этого не может случиться ни в духовном смысле, если думаешь о другом, — а я думаю лишь о тебе; ни в физическом, если устремляешь взор на один предмет, — а я смотрю лишь на тебя. Держись же крепче, и пусть рушится мир, пусть легкий экипаж исчезнет из-под наших ног, мы все-таки останемся в объятиях друг друга, витая в гармонии сфер!

Твой Йоханнес.



Это уж из рук вон! Лакей мой продежурил под проливным дождем целых шесть часов, а я сам — два, карауля эту миленькую Шарлотту. Она каждую среду, между двумя и пятью часами, навещает свою старую тетку, и, как на зло, не явилась именно сегодня, когда я так хочу встретить ее! А зачем? Затем, что она всегда навевает на меня какое-то особенное настроение. Я кланяюсь ей, она делает мне реверанс с такой миной, точно готова провалиться сквозь землю, а между тем взор ее говорит, что она на седьмом небе! Этот реверанс, мина и выражение глаз зажигают во мне священный огонь желания. Этим, впрочем, и ограничивается мой интерес к ней. Я добиwaюсь только ее поклона; большего, если б даже она сама пошла навстречу, мне не нужно. Но поклон ее вызывает во мне нужное настроение, которое я и трачу затем на Корделию. Пари держу, что лукавая девчонка как-нибудь, да проскользнула мимо нашего носа. Не в одних только комедиях, в действительной жизни тоже очень трудно усмотреть за молодой девушкой, тут надо быть стоглазым Аргусом. Предание говорит, что была некогда нимфа Кардея, дурачившая мужчин. Она обитала в лесу, заманивала жертву в чащу и исчезала. Так хотела она, между прочим, подшутить и над Янусом, но он сам подшутил над ней: у него ведь были глаза и на затылке.

*

... Письма мои достигают своей цели, они развивают Корделию, хотя еще и не в эротическом смысле. Для этого письма не годятся, тут нужны маленькие *billets-doux*. Чем короче, сосредоточеннее будет содержание этих записочек, тем скорее они воспламят в ней эротические чувства. Не желая развить в ней чрезмерную сентиментальность, я буду слегка подмораживать ее пылкие чувства иронией разговоров, что в то же время возбуждает в ней жажду к опьяняющему напитку писем. Эти последние смутно намекнут ей о каком-то таинственном, высшем наслаждении, а когда в ее душе загорится страстное желание этого наслаждения, письма прекратятся. Такое искусственное сопротивление с моей стороны делает то, что ожидаемое воплотится в ее душе в яркое представление, станет как бы ее собственной мыслью, влечением ее собственного сердца... Это мне и нужно.

Моя Корделия!

Где-то в городе живет семейство: мать — вдова и три дочери. Две из них учатся стряпать в «Королевской кухне». Было это весной, часов в 5 пополудни. Дверь в гостиную тихо отворилась, чей-то пытливый взор оглядел комнату. Никого из хозяев нет, только у рояля сидит молодая девушка. Дверь неслышно приотворилась наполовину — из передней подслушивают. Играет на рояле не артистка, — молодая девушка играет какую-то шведскую песню о кратковременности красоты и юности. Слова песни как будто смеются над юностью и красотой, но юность и красота самой девушки смеются над словами песни. Кто прав, девушка или песня? Звуки льются так тихо и меланхолично, как будто грусть решает спор в свою пользу. Но грусть тут не судья. Что общего между утром и вечером? Клавиши дрожат и стонут... Духи резонанса встают в смятении и не понимают друг друга... Моя Корделия, зачем так горячо, зачем эта страсть? Какой промежуток време-

ни должен, однако, отделять нас от события, чтобы мы могли вспоминать о нем, — и какой, чтобы тоска воспоминания не могла больше уловить его? Для большинства людей существуют в этом отношении известные границы: они не могут вспоминать ни того, что слишком близко к ним по времени, ни того, что слишком далеко: Я же не знаю границ: пережитое вчера я мог бы отодвинуть от себя за тысячу лет и все-таки могу вспомнить о нем, как о вчерашнем.

Твой Йоханесс.

*

Моя Корделия!

Я должен доверить тебе тайну моего друга! Кому же и доверить мою тайну, как не тебе? Отзывчивому эхо? Оно выдало бы ее. Звездам? Они светятся таким холодным безучастным блеском. Людям? Люди не поймут. Тебе одной доверяю я мою тайну, ты ведь сумеешь хранить ее. Слушай же. Есть на свете девушка, прекраснее мечты, ярче солнечного луча, глубже моря, горделивее полета орла. О, склони же свою головку ко мне на плечо, приникни к моим устам и внимай моей речи, чтобы ни одно слово не ускользнуло от тебя: эту девушку я люблю больше жизни — она моя жизнь; больше всех моих желаний — она мое единственное желание; больше всех моих мыслей — она моя единственная мысль! Я люблю ее горячее, чем солнце — полевой цветок, нетерпеливее, чем раскаленный песок пустыни — дождь! Я льну к ней всей душой, всем существом нежнее, чем взор матери к любимому ребенку, доверчивее, чем душа молящегося к божеству, неразрывнее, чем растение к своему корню! ... Внезапный наплыв мыслей клонит твою головку к груди, поднимающейся к ней на помощь... Ты поняла меня, моя Корделия, ты ничего не пропустила из моей речи, ты поняла ее вполне! И ты сохранишь мою тайну, я мог доверить ее тебе. Говорят, что преступники обязываются к молчанию своим соучастием в преступлении. Я доверил тебе свою тайну, содержание всей моей жизни... Не хочешь ли ты в свою очередь сообщить мне нечто до того важное, прекрасное и целомудренное, что все силы небесные и земные поднялись бы в гнев, будь это выдано посторонним!

Твой Йоханнес.

*

Моя Корделия!

Темные тучи заволокли небо, сдвинулись, как хмурые брови, на его гневном челе; лес стонет и качается, бросаемый из стороны в сторону тревожными сновидениями. И я потерял тебя в лесу! За каждым деревом мерещится мне женская фигура, похожая на тебя... Я приближаюсь, и видение исчезает за следующим деревом. Что же ты не показываешься, не даешься мне? Все мутится в моей голове, в глазах мешается... Деревья теряют свои резкие очертания и сливаются в каком-то море тумана, где скользят и тают воздушные женские призраки, похожие на тебя... Тебя же все нет и нет! Твой образ лишь неуловимо мелькает среди пенистых волн воображения...

Но я счастлив и тем, что вижу образы, хоть чуть напоминающие тебя. Чем объяснить их появление? Богатым ли единством твоего существа или бедной многосторонностью моего? Любить одну тебя, не значит ли это — любить весь мир? ...

Твой Йоханнес.

* * *

Интересно было бы записывать все наши разговоры с Корделией. К сожалению, это невозможно. Ведь если бы даже и удалось вспомнить каждое слово, которым мы обменялись, то как восстановить нерв всей беседы? Как передать эту неожиданность восклицаний, страстность блеснувшей мысли, невольный порыв желания, словом все, составляющее жизненный элемент беседы?

Я более не подготавливаю к разговорам с Корделией, это противоречило бы самому существу разговора, раз он должен носить эротический оттенок. Но содержание моих писем у меня всегда в памяти, и я постоянно имею в виду вызванное ими в Корделии настроение. Мне конечно в голову не приходит справляться, прочла ли она эти послания — в этом и без того нетрудно убедиться; и вообще я избегаю всякого прямого разговора о них; зато через всю нашу беседу проходит как

бы нить, таинственно поддерживающая связь с ними, иногда для того, чтобы сильнее запечатлеть в ней известное настроение, иногда же, чтобы сгладить его и ввести ее в заблуждение. В последнем случае я имею в виду, что она может перечитать письмо, получить новое впечатление и т. д.

С Корделией произошла или, вернее, происходит какая-то перемена. Чтобы определить ее настоящее душевное настроение, я назову его, пожалуй, «пантеистически смелым». Это сразу читается в ее взгляде: в нем светится какое-то безумно смелое ожидание, жажда чего-то необыкновенного и в то же время, как будто грустная недоверчивость, мечтательность, — почти мольба... Она ищет чудесного вне себя, она готова молить, чтобы оно явилось — как будто не в ее власти вызвать его! Против всего этого надо принять меры, иначе я слишком рано получу перевес над нею. Вчера еще она сказала, что во мне есть нечто царственное; она, пожалуй, готова преклониться передо мной, но этого нельзя допускать. Ты права, моя дорогая, во мне есть нечто царственное, но ты и не подозреваешь, каким царством я управляю! Я царствую над своими страстями! Я держу их в тесном заключении, как Эол — бури, лишь изредка давая волю, то одной, то другой. Теперь нужно будет подлить в мои письма сладкого яда лести. Лесть придаст ей известную долю самоуверенности, определит границы моих и ее преимуществ так, что перевес окажется пока на ее стороне. Лесть, однако — опасное оружие, и обходиться с ним надо очень осторожно. Иногда приходится ставить самого себя очень высоко, оставляя, впрочем, свободной самую верхнюю ступень, иногда — очень низко. Первое ведет к цели преимущественно в духовных отношениях, второе же — в эротических. Теперь подумаем: обязана ли она мне чем-нибудь? — Нет. Желаю ли я сам, чтобы она была мне обязана? — Нет. Я слишком тонкий знаток эротического, чтобы позволить себе такие глупости. И

если бы даже действительно оно было так, я всеми силами постарался бы заставить позабыть об этом ее и усыпить такую мысль в самом себе. У всякой девушки, как и у Ариадны, есть нить, помогающая отыскать дорогу в лабиринт ее сердца... но не ей самой, а другому.

* * *

Моя Корделия!

Скажи, и я повинуюсь. Желание твое — приказание, просьба — могучее заклинание, всякая, даже мимолетная прихоть — счастье для меня! Ведь я, повинуюсь тебе, нахожусь не вне тебя, как покорный дух из «Тысячи и одной ночи», нет: ты говоришь — воля твоя принимает определенные формы, создается, а с нею и я. Я — душевный хаос, ожидающий слова твоего!

Твой Йоханнес.

*

Моя Корделия!

Ты знаешь, как я люблю беседовать с самим собой? В себе самом я нашел самого интересного собеседника из всех моих знакомых. Иногда я боялся, что у меня не хватит материала для этих бесед, теперь же я уверен, что он никогда не иссякнет: теперь у меня есть ты! Я говорю о тебе с самим собою, т. е. о самом интересном предмете с самым интересным собеседником. Увы! Я — только интересный собеседник, ты же — интереснейший предмет беседы!

Твой Йоханнес.

*

Моя Корделия!

Ты говоришь, что я полюбил тебя так еще недавно... Тебя как будто беспокоит мысль, что я мог любить раньше? Слушай: есть старинные рукописи, в которых острый взгляд знатока сразу улавливает бледные следы древнего письма, выцветшие от времени и теперь почти исчезнувшие под новыми письменами. Тогда новое письмо вытравляется, стирается и

восстанавливается древнее. Твой взор помог мне найти в себе меня самого. Я дал забвению стереть с моей души все наносное, не касающееся тебя, и что же? Я открыл на дне моей души древние и вместе с тем божественные письмена, я открыл, что моя любовь к тебе родилась вместе со мною!

Твой Йоханнес.

*

Моя Корделия!

Как может существовать государство, разделившееся в самом себе, ведущее борьбу с самим собою? Как существую я, если силы моей души разделились и борются между собою? Из-за чего? — Из-за тебя. Я хочу найти спокойствие в мысли, что люблю тебя. Но как же достигнуть этого спокойствия? Одна из борющихся сил хочет убедить других, что она сильнее, искреннее всех любит тебя, другая хочет того же и т. д. Если б эта борьбе происходила вне меня, она бы не особенно встревожила меня; я не побоялся бы ничего, пусть даже кто-нибудь дерзнул бы влюбиться или не влюбиться в тебя, — и то и другое одинаково преступно, — но эта борьба во мне самом убивает меня! Это — страсть, разделившаяся в самом себе!

Твой Йоханнес.

* * *

Да, да прелестная рыбачка, прячься, прячься себе за деревьями, подымай свою ношу, — к тебе так идет это легкое сгибание стана! С какой природной грацией согнулась ты под связкой хвороста, собранного тобой... Да, подумать только, что такое изящное, стройное создание обречено таскать хворост! Ты наклоняешься и вновь выпрямляешься, как танцовщица, выказав при этом красоту своих форм: тонкую талию, широкие плечи, пышную грудь... Да, это оценит в тебе всякий знаток прекрасного. Ты пожалуй скажешь: «Какие пустяки! Городские дамы куда красивее». Э, дитя мое! Ты еще не знаешь, сколько на свете фальши. Продолжай-ка лучше свой путь в этом огромном лесу, который тянется без конца, без края! ...

А может быть, ты вовсе не простая рыбачка, а сказочная заколдованная принцесса в плену у какого-нибудь злого чародея? — Только у такого и хватит жестокости заставить тебя таскать хворост... Зачем ты так углубляешься в чащу? Ведь если ты действительно рыбачка, то тебе нужно идти в рыбачий поселок по дороге мимо меня... Так-так, иди себе по тропинке, игриво вьющейся между деревьями — я не потеряю тебя из виду; оглядывайся, сколько хочешь — меня не сдвинуть с места! Желание не увлекает меня; я сижу спокойно на изгороди и курю сигару. Подвернись ты в другое время — пожалуй... Ты все продолжаешь оглядываться на меня, взор твой блестит так лукаво... легкая походка так и манит... — Я знаю, куда ведет твой путь! В чащу густого леса, где тихо шепчут деревья, где царит тишина, полная звуков... Смотри, само небо покровительствует тебе: солнце прячется за облаками, в лесу темнеет, деревья сдвигаются, образуя таинственную завесу... Прощай, моя очаровательная рыбачка, спасибо за эту прекрасную минуту! Твоя красота и грация произвели на меня чудное впечатление, хоть и не достаточно сильное, чтобы сдвинуть меня с моей твердой позиции на изгороди, — но зато богатое внутренним содержанием.

* * *

Иаков, заключивший с Лаваном условие — брать себе в награду лишь пестрых овец, — раскладывал в ручье, откуда пили овцы, пестрые палки... Так и я повсюду помещаю перед Корделией себя, взор ее постоянно обращен на меня. Она думает, что в этом сказывается одно лишь нежное, заботливое внимание влюбленного, но у меня имеется в виду другая цель. Я же добиваюсь, чтобы она потеряла интерес ко всему остальному, постоянно видела перед своими духовными очами одного меня! ...



Моя Корделия!

Да разве я могу забыть тебя? Разве моя любовь к тебе — дело памяти? Пусть время сотрет со своих скрижалей все, пусть уничтожит даже самую память — отношения мои к тебе не потеряют силы, ты не будешь забыта. Забыть тебя! О чем же я стал бы тогда помнить? Я ведь забыл самого себя, чтобы помнить о тебе; забыв же тебя, мне пришлось бы вспомнить о себе, но в ту же минуту, как я вспомню о себе, я не могу не вспомнить и о тебе! Забыть тебя? Да что же было бы тогда?! Есть старинная картина, изображающая Ариадну, которая тревожно вскочила со своего ложа и впилась взором в уплывающий на всех парусах корабль. Рядом с Ариадной стоит Амур с луком без тетивы и утирает слезы. Немного поодаль видна женская фигура с крыльями за плечами и шлемом на голове; думают, что она изображает Немезиду. Представь же себе эту самую картину, но в несколько измененном виде: Амур не плачет и лук его цел, — ведь ты же не сделалась бы ни менее прекрасной, ни менее обаятельной от того, что я потерял разум? ... Итак, Амур улыбается и готов пустить стрелу; Немезида тоже не стоит спокойно, она тоже натягивает лук. Затем, на старой картине на корме уплывающего корабля виднеется мужская фигура, углубленная в какую-то работу; ее считают Тезеем. На моей же картине, он стоит на корме, тоскливо смотрит на оставленный берег и простирает к нему руки: он раскаялся, или вернее, безумие оставило его, но корабль уносит! И Амур и Немезида, оба готовы спустить свои стрелы, и они попадут в цель: обе ударят ему в сердце, в знак того, что любовь была для него Немезидой — мстительницей.

Твой Йоханнес.



Моя Корделия!

Обо мне говорят, что я влюблен в самого себя. Меня это нисколько не удивляет. Как же могут заметить посторонние, что я способен любить, если я люблю одну тебя? Они даже подозревать этого не могут — ведь я люблю только тебя. Ну что же? Пусть я влюблен в самого себя... А почему? Потому

что люблю тебя, люблю все, принадлежащее тебе, люблю между прочим и себя: мое «я» тоже ведь принадлежит тебе. Если бы я разлюбил тебя, я бы разлюбил и себя! Итак, то, в чем профаны видят доказательство высшего эгоизма, будет теперь для твоего просвещенного взора лишь выражением чистойшей любви и симпатии. То, в чем они видят одно прозаическое чувство самосохранения, будет для тебя проявлением восторженнейшего самоуничтожения!

Твой Йоханнес.

* * *

Я особенно опасался, что душевное развитие Корделии займет у меня слишком много времени; вижу, однако, она делает быстрые успехи. Теперь, чтобы поддержать в ней этот подъем духа, надо постоянно волновать ее душу. Нельзя допустить, чтобы силы ее упали раньше времени, т. е. раньше наступления той поры, когда время для нее совсем перестанет существовать!

*

Да, истинная любовь, не пойдет большой дорогой — по ней ходит только брак; она не изберет и проселочной тропинки — тропинка эта уже протоптана; любовь предпочитает сама пробивать себе дорогу. А в таком случае, что может быть лучше, удобнее Коршунова леса? Можно углубиться в самую чащу, там не встретишь ни души посторонней и, гуляя в таком уединении, рука об руку, отлично поймешь друг друга... То, что прежде только смутно радовало или томило вас, станет вдруг ясным... Да, вот этот чудный бук — немой свидетель вашей любви. Под его кудрявой листвой вы признались друг другу в любви, и воспоминание ярко вспыхнуло в ваших сердцах: вы вновь увидели себя на балу, почувствовали первое пожатие рук... Вы вспомнили, как расстались затем,

как потом думали об этой чудной встрече, не смея еще признаться в своей любви не только друг другу, но и самим себе. — Право, очень интересно подслушать все это и проследить таким образом любовный роман двух юных существ... Вот они упали под деревом на колени, клянутся друг другу в вечной любви, и печатью, скрепляющей этот договор ненарушимого союза, был первый поцелуй. Эта сцена как раз кстати навеяла на меня такое настроение, какое мне понадобится сегодня для разговора с Корделией. — Итак, этот бук стал нечаянным свидетелем вашего свидания. Что ж, дерево вообще недурной свидетель, но одного такого свидетеля все-таки как будто маловато. Положим, вы уверены, что и небо было вашим свидетелем, но небо... — это уж слишком абстрактная идея! Потому-то и явился еще один свидетель — я. Не показаться ли мне теперь? Нет, меня могут узнать, и это, пожалуй, повредит мне в будущем... Или не выйти ли мне из-за кустов тогда, когда они будут уходить, и таким образом дать им знать о моем присутствии? Нет, и это нецелесообразно. Нецелесообразно? Да разве у меня есть какая-нибудь цель? — Пока еще довольно неопределенная... но я предвижу, что они могут мне понадобиться для нового сильного ощущения... Они в моей власти, я могу даже разлучить их, если захочу: я знаю их тайну, а от кого я мог узнать ее? Лишь от него или от нее. Когда мне нужно будет это новое ощущение, я поражу их этим внезапным открытием. Но на кого направить удар? Если сказать ему, что она выдала мне тайну, он, пожалуй, лишь вежливо пожмет плечами: «Это невозможно!» А если ей? ... Пари держу, что она поверит и возмутится: «Как это гнусно!» и т. д. Итак, ура! ... А ведь это почти злорадство с моей стороны. Ну, да там еще видно будет. Впрочем, если окажется, что только от нее и только именно этим путем я могу получить нужное мне впечатление во всей полноте, то делать нечего — придется воспользоваться случаем!

* * *

Моя Корделия!

Я беден, ты — мое богатство! Я мрачен, ты — мой свет. У меня нет ничего, но я ни в чем не нуждаюсь. Да и как же я могу иметь что-нибудь? Как может обладать чем-либо тот, кто потерял власть над самим собою? Я счастлив, как дитя, которое не может и не должно обладать ничем. У меня тоже нет ничего, и я сам весь принадлежу тебе. Я более не существую сам по себе, я перестал существовать, чтобы стать твоим.

Твой Йоханнес.

*

Моя Корделия!

Какой смысл в слове «моя»? — Ведь оно не обозначает того, что принадлежит мне, но то, чему принадлежу я, что заключает в себе все мое существо. Это «то» мое лишь настолько, насколько я принадлежу ему сам. «Мой Бог» ведь это не тот Бог, Который принадлежит мне, но тот, Которому принадлежу я. То же самое и относительно выражений: «моя родина», «мое призвание», «моя страсть», «моя надежда». Не существуй уже с давних времен понятие о бессмертии, мысль, что я твой, создала бы его.

Твой Йоханнес.

*

Моя Корделия!

Кто я? — Скромный певец твоей победы, танцовщик, слегка поддерживающий тебя, когда ты грациозно и легко поднимаешься на воздух, ветвь, на которой ты отдыхаешь на мгновение от своего воздушного полета, или бас, оттеняющий мечтательно серебристые звуки твоего сопрано, заставляя их подыматься еще тоном выше? Что я такое наконец? ... Я — земная тяжесть, приковывающая тебя к земле, я — тело, материя, земля, прах, пепел... ты же, моя Корделия, ты — душа, ты — дух!

Твой Йоханнес.

*

Моя Корделия!

Любовь — все, и для того, кто любит, все остальное теряет всякое другое значение, кроме того, какое придает ему любовь. Если бы какой-нибудь жених признался своей невесте, что он интересуется и другой девушкой, то оказался бы, пожалуй, преступным в ее глазах, она возмутилась бы. Ты же, я знаю, увидела бы в таком признании лишь преклонение перед тобой. Ведь ты знаешь, что полюбить другую для меня невозможно, а если случится нечто похожее на это, то только потому, что моя любовь к тебе бросает свой отблеск и на все окружающее. Да, моя душа полна одною тобою, и жизнь получает для меня теперь совсем иное значение: она превращается в миф о тебе!

Твой Йоханнес.

*

Моя Корделия!

Любовь уничтожила во мне все! У меня остался лишь голос мой, который вечно повторяет тебе, что я люблю тебя! Но ты ведь не устала внимать ему, хотя он и сторожит твой слух повсюду? — На разнообразном, вечно меняющемся фоне моего сознания твой чистый и цельный образ выступает еще ярче, еще рельефнее.

Твой Йоханнес.

*

Моя Корделия!

В старинных легендах рассказывается об озере, влюбленном в молодую девушку. Моя душа похожа на такое озеро. Оно то спокойно дает твоему образу отражаться в его недвижной глубине, то вдруг вообразит, что наконец схватило твой образ, и выступает из берегов, чтобы не дать ему ускользнуть, то опять утихает и лишь слегка колыхнется, играя твоим изображением, то вновь темнеет, мечется и бьется в отчаянии, вообразив, что потеряло его... Моя душа похожа на озеро, влюбленное в тебя.

Твой Йоханнес.

Откровенно говоря: даже не обладая особенно пылкой фантазией, можно, кажется, вообразить себя в более удобном, а, главное, более приличном экипаже. Ехать с мужиком на возу, восседать на мешках с картофелем!? Такой оригинальностью если и можно возбудить внимание, то лишь в довольно невыгодном смысле. За что ни ухватишься, впрочем, в минуту крайности? Бывает ведь, что пойдешь прогуляться за город, и заберешься нечаянно слишком далеко... Устанешь, конечно, а экипажей здесь уж не найдется, извините. Что ж прикажете делать? Обрадуешься и мужицкому возу с картофелем! Подсядешь и поедешь преспокойно... Встречных никого не попадается, значит все благополучно... Вот уж недалеко и от подгородного села...

Ах! вот досада! Ну можно ли было ожидать встретить тут одного из городских франтов?! Что я городской житель, вы сразу видите — в деревне таких нет: этот особенный, самоуверенный, пытливый и несколько насмешливый взгляд... Да, моя милая, ваше положение не из красивых! Вы сидите, как на подносе: мешки уложены так неудобно, что вам даже некуда спустить ножек. Впрочем, если вам угодно, мой экипаж к вашим услугам, и если вы только не стесняетесь сесть рядом со мной... Или я, пожалуй, перемещусь на козлы и буду очень рад довести вас до города. Ваша соломенная шляпа такого неудобного фасона, что даже не защищает вас от взгляда, брошенного сбоку... Напрасно вы наклоняете головку — я все-таки люблюсь вашим прелестным профилем. А, вам досадно, что мужик вздумал еще раскланиваться со мной! Но это же в порядке вещей — мужик кланяется важному барину. Но подождите... вам предстоит испытать еще нечто более неприятное. Перед вами постоянный двор, и мужик, конечно, не может проехать мимо, не засвидетельствовав своего почтения Ба-

хусу. Теперь уж я позабочусь о нем. У меня удивительный дар приобретать расположение таких мужиков. Вот если бы удалось попасть в милость и к вам! ... Мужик, разумеется, не в силах устоять против моего заманчивого предложения выпить стаканчик... Мы входим в гостеприимно открытую дверь, а там ... если я сам не особенный мастер по части чарочки, то слуга мой постарается! Да, возница ваш сидит теперь и попивает винцо, а вы на возу.

— Кто она такая, однако? Мещанка что ли, или дочь какого-нибудь мелкого торговца? ... Если так, то она необыкновенно хороша и изящна; одета тоже с большим вкусом... Папенька ее, должно быть, загребает барыши порядочные. А впрочем... Может статься, она богатая и знатная барыня, которой надоело кататься в колясках, и потому вздумалось добраться до дачи в таком оригинальном экипаже, рискуя натолкнуться на маленькие приключения. Что ж, подобные примеры бывали. Мужик-то, досадно, глуп — ничего не знает, только и умеет пить! Ну да ладно, пей на здоровье! ... Но неужели... Да, так и есть! Теперь я узнал ее. Это Мальвина Нильсен, дочь богатого коммерсанта! Помилуйте, да мы даже знакомы! То есть, я видел ее однажды в экипаже на Широкой улице. она сидела спиной к лошадям и старалась поднять окно кареты, но это ей никак не удавалось. Я накинул *pinse-nez* и с любопытством следил за ее движениями. Сидеть ей было не особенно удобно: кроме нее, в карете сидело еще человек пять, так что она едва могла пошевелинуться, а кричать караул верно стеснялась. Теперешнее ее положение не менее неловко. Итак, судьба положительно сводит меня с ней. Говорят, что она вообще большая оригиналка, и вот теперь, например, она пустилась в такое путешествие, конечно, на свой страх и риск. Но вот мой слуга и ее возница выходят назад. Мужик совсем пьян. Фи! Какая гадость! Вот испорченный народ, эти картофельные мужики! Ну

да есть люди и похуже их! Нечего сказать, хорошо вы теперь потащитесь! Пожалуй, вам самой придется взять в руки вожжи, что будет уже верхом оригинальности! Повторяю, мой экипаж стоит на дворе, вернитесь... Но нет, вы упорствуете, желаете показать, что вам отлично и на возу... Ну, положим, меня-то вам не провести!... Я ведь вижу все насквозь. Ага! Не выдержала, соскочила с телеги! Можно-де, пойти по опушке леса... Не торопитесь только... Сейчас оседлают мою лошадь, и я догоню вас. ... Ну вот, теперь никто не посмеет обидеть вас. Да не бойтесь же меня, не то я сейчас вернусь... Нет, нет, я хотел только попугать вас и полюбоваться вашим волнением: оно придает вашему личику новую прелесть. Так как вы не знаете, что мужика напоили по моему приказанию, и так как я держу себя в высшей степени прилично и скромно, то вы, кажется, вполне можете довериться мне. Уверяю вас, что все окончится вполне благополучно — я придам делу такой оборот, что вы сами только посмеетесь над всей этой историей... Не опасайтесь же ловушки с моей стороны! Я друг свободы, и то, что не дают вполне добровольно, мне совсем не нужно! Вы, впрочем, сами убедились, что продолжать путь пешком до самого города невозможно. Ну, что ж колебаться? Я отправляюсь на охоту и отлично могу ехать туда верхом, тогда как экипаж мой, оставшийся на постоялом дворе, сейчас догонит вас и отвезет, куда прикажете. Сам я, увы, не могу сопровождать вас... Даю вам честное слово охотника — охотники ведь, как известно, никогда не лгут, это самый правдивый народ на свете. Вы согласны? Сию минуту все будет в порядке, и вам нет нужды конфузиться при новой встрече со мной, по крайней мере, не больше, чем это идет вам. Теперь вы можете посмеяться над своим маленьким приключением, и... уделить мне местечко в своих воспоминаниях. Большого я не требую: это ведь начало, а я всегда был особенно силен по части всяких начинаний.

* * *

Вчера вечером у тетки собралось небольшое общество. Я знал, что Корделия непременно возьмется за свое вышиванье, и заранее спрятал в него маленькую записку. Она взяла работу, выронила записку, подняла ее и вся вспыхнула от нетерпеливого любопытства. Да, подобный способ доставки писем производит поразительное действие! Сама по себе записка незначительна, но прочитанная украдкой и наскоро, в сильном волнении, приобретает всегда какое-то особенно глубокое значение. Ей, видимо, хотелось поскорее поговорить со мной, но я устроил так, что мне пришлось провожать домой одну даму, и волей-неволей бедная Корделия должна была дожидаться сегодняшнего свидания — впечатление успело, следовательно, глубже врезаться в ее душу. Вот такими-то способами я всегда и живу в ее мыслях, она всегда ждет от меня какого-нибудь нового сюрприза.

*

У любви, как я уже не раз замечал, своя диалектика. Когда-то я был влюблен в одну молодую девушку. Приехав в прошлом году в Дрезден, я увидал в театре актрису, поразительно похожую на мою прежнюю возлюбленную. Мне, конечно, захотелось убедиться, как далеко простирается это сходство. Я познакомился с актрисой и убедился, что «несходство» было очень велико. Сегодня я встретил на улице даму, очень похожую на эту актрису. Да так, пожалуй, и конца не будет! ...

*

Мои мысли всегда окружают Корделию, я посылаю этих добрых гениев охранять ее. Как Венера летит в колеснице, запряженной голубями, так Корделия сидит в

триумфальной колеснице, в которую я запряг мои крылатые мысли. Она восседает радостная и счастливая, как дитя, могущественная, как богиня, а я скромно иду подле нее. Молодая девушка всегда была и будет богиней всего земного. Никто не знает этого лучше меня. Жаль только, что это великолепие так кратковременно. Корделия улыбается мне, манит меня так доверчиво и просто, как будто она сестра мне, но мой страстный взгляд сразу напоминает ей, что она моя возлюбленная.

*

В любви много степеней. Корделия быстро проходит их. Теперь она садится иногда ко мне на колени, руки ее мягко обвивают мою шею, голова покоится на моем плече. Глаза ее скрываются за опущенными ресницами; грудь ослепительно бела и блестяща, как мрамор — взор мой не мог бы остановиться на ней, соскользнул бы, если б грудь слегка не волновалась... Что выражает это волнение? Любовь? Может быть, но скорее — лишь мечту о ней: смутное желание... Ей не достает пока энергии: ее объятия нежны и воздушны, как веяние ветерка; ее губки прикасаются мягко и осторожно, будто она целует лепестки цветка; поцелуи ее бесстрастны — так небо целует море, кротки и тихи — так роса освежает цветы, торжественны — так море целует образ луны!

Теперь ее страсть можно еще назвать наивной, когда же в ней произойдет душевный переворот, а я начну отступать, она употребит все усилия, чтобы удержать меня; для этого у нее будет только одно средство — страсть, и она направит ее против меня, как единственное свое оружие. То чувство, которое я искусственно разжигаю в ней, заставляя смутно предугадывать и желать чего-то большего, разгорится тогда ярким пламенем и будет от меня требовать того же. Моя страсть, сознательная, обдуманная, уже не удовлетворит ее; она впервые заметит

мою холодность и захочет побороть ее, инстинктивно чувствуя, что во мне таится та высшая пламенная страсть, которой она так жаждет. Тогда-то ее неопределенная наивная страсть превратится в цельную, энергичную, всеохватывающую и диалектическую, поцелуй приобретет силу, полноту и определенность, объятия концентрируются. Она придет ко мне требовать свободной страсти и найдет ее тем скорее и легче, чем крепче я сожму ее в своих объятиях. Тогда формальные узы порвутся, и затем ей нужно будет дать маленький отдых, не то в сильных порывах ее страсти могут появиться режущие диссонансы; отдохнув же, страсть ее вновь соберется с силами, сосредоточится в последний раз, и — она моя!

*

Как во времена блаженной памяти Эдварда я заботился о книгах для Корделии скрыто, так теперь делаю это открыто. Я даю пищу ее воображению, ее развивающейся страсти: мифологию и сказки. Но и тут я ничего не навязываю, а предоставляю ей, по моему обыкновению, полную свободу: я лишь осторожно выслушиваю ее желания, и, если их нет еще, искусно влагаю их в ее душу сам.

* * *

Летние прогулки служанок в Дюргавен* — плохое удовольствие. Побывать там удастся им какой-нибудь раз в год, зато они и стараются натешиться всласть. Наденут, конечно, шляпы, накидки, модные платья, словом, обезобразят себя всячески. И самое веселье в Дюргавене какое-то дикое, разнузданное; гуляние в Фридрихсбергском саду куда лучше и приличнее; сюда они могут отправляться почти каждое воскресенье; сюда люблю ха-

* Большой парк на берегу Зунда недалеко от Копенгагена, где летом бывают народные гулянья с каруселями, балаганами, петрушками и пр. — Прим. перев.

живать и я. В этом саду они веселятся так мило и скромно, что, право, люди, у которых нет склонности к подобным прогулкам, много теряют. По-моему, пестрая толпа служанок — самое прекрасное войско у нас в Дании. Будь я королем, я знаю, что бы сделал: я не стал бы делать смотров одним линейным войскам! А будь я одним из 32-х эдилов*, непременно подал бы проект о назначении особой комиссии для поощрения в служанках — советами, назиданием и соответствующими наградами — вкуса к изящным и приличным туалетам. Зачем же, в самом деле, красоте служанок пропадать даром? Пусть она хоть раз в неделю покажется в подобающем блеске. Но для этого нужен вкус, и служанка не должна выглядеть барыней. А если нам удастся развить в служанках вкус к изящному, то — какая блестящая мысль! — не повлияет ли это благотворно и на дочерей наших? Мысль моя — может быть, чересчур смелая — мчится и еще дальше: я уже предвижу созданное таким путем бесподобное будущее для Дании! Если бы только мне суждено было дожить до этого золотого века! Я бы целые дни проводил на улицах, — и не без пользы — любуясь прекрасным зрелищем. Да, во мне сразу виден патриот! Но пока я еще только в Фридрихсбергском саду, куда приходят погулять по воскресеньям служанки и — я. Вот первая партия: деревенские девушки; некоторые из них идут каждая отдельно под руку со своим дружкой; другие идут шеренгой, переплетаясь между собой руками и имея в арьергарде такую же шеренгу парней; третьи, наконец, прогуливаются тройками: парень в середине, две девушки по бокам. Эта первая партия составляет нечто вроде рамки гулянья, так как члены ее сидят или стоят преимущественно вдоль дорожек и на большой лужайке перед павильоном. Девушки здоровые, свежие, краснощечие, так что сочетание красок лица и наряда немножко режет глаз. Затем, вторая партия: ютландские и фин-

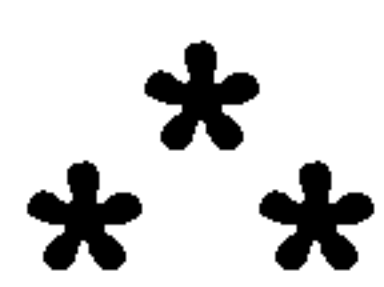
* Автор подразумевает здесь членов городского муниципалитета — Прим. перев

ские девушки, рослые, стройные, с несколько чересчур пышными формами; костюмы их не выдержаны и производят смешанное впечатление — вот где моей комиссии представилось бы обширное поле действий! В саду нет недостатка и в представительницах борнгольмской дивизии бойких кухарок, к которым, однако, опасно подходить слишком близко и в кухне и здесь. В их манерах есть что-то говорящее: держись подальше! Тем не менее они служат эффектным оттеняющим фоном для других гуляющих красавиц, и отсутствуй здесь эти бойкие стряпухи, я первый пожалел бы об этом, хотя и не рискую завязывать с ними знакомства. Наконец показывается и самое ядро этого прекрасного войска: девушки из «Новой Слободки»* — небольшого роста, полные с пышной грудью, нежной кожей, веселые, бойкие, болтливые, кокетливые и самое главное — с открытыми головами. В их одежде допускается некоторое сближение с городскими модами, причем однако исключаются накидки и шляпы. К ним, впрочем, идут еще платочки, пожалуй даже кокетливые чепчики, но лучше всего они с открытыми головами.

— «А, здравствуйте, Мария! Вот уж я не думал встретить вас здесь. Давно же мы с вами не видались. Вы все еще у ее превосходительства?» — «Да.» — «Что ж, хорошее место?» — «Да.» — «Но вы, кажется, одна здесь, вам не с кем гулять, с вами нет дружка? Или, может быть, ему некогда сегодня! Или он еще придет? Да что вы! У вас нет дружка? Может ли это быть? У самой-то красивой девушки в целом городе, такой нарядной и богатой, горничной “ее превосходительства”?! Стоит посмотреть на один платочек в вашей руке, — из тончайшего батиста, и еще с монограммой... пожалуй даже с короной? — Не у всякой знатной-то барыни найдется такой! Затем французские перчатки, шелковый зонтик.

* Квартал маленьких домиков на восточной окраине Копенгагена, построенных первоначально для матросов и морского ведомства. — Прим. перев.

И у такой девушки нет жениха?! — Это ни на что не похоже! Вы, может быть, знаете все-таки Йенса, камердинера графа? ... Ну, я вижу, что угадал! А за чем же дело стало? Он, кажется, славный паренек, у него такое хорошее место, и через протекцию графа он может, сделаться даже полицейским... Ведь это недурная партия! Вы, верно, сами виноваты, вы были к нему слишком строги?» — «Нет, но я узнала, что у него уже раньше была одна невеста, и он... поступил с ней нехорошо!» — «Неужели? Кто бы мог подумать! Да, уж эти отставные гвардейцы, на них нельзя положиться! Вы поступили как следует: такая девушка, как вы, должна дорожить собой. Вы, наверное, сделаете гораздо лучшую партию... А как поживает ваша барышня Юлия? Я давно не видал ее. Вы, милая Мария бесконечно услужите мне некоторыми сведениями... Ведь из-за того, что человек сам несчастлив в любви, не следует лишать своего участия других влюбленных. Но здесь так много народа, что я просто стесняюсь говорить с вами, нас могут подслушать. Знаете что? Пойдемте лучше в ту тенистую аллею, там никто ничего не увидит и не услышит. — Ну вот и отлично. Сюда доносятся только тихие звуки оркестра. Здесь я могу сказать вам о своей любви. Правда ведь, если бы Йенс не был таким дурным человеком, ты бы гуляла теперь с ним под руку, была бы так весела, счастлива... Ну полно, стоит ли плакать! Забудь его! Ты несправедлива ко мне, ведь я пришел сюда только для тебя, для тебя я бываю и у ее превосходительства. Разве ты не догадалась? Ты должна полюбить меня. Завтра вечером я все объясню тебе; я приду по черной лестнице, часов в двенадцать. Прощай, милая Мария, не надо, чтобы кто-нибудь догадался о нашем свидании, ты одна должна знать мою тайну!»... Прелесть, что за девушка! Из нее может выйти кое-что. Только я доберусь до ее комнаты — живо разовью ее. Такое милое, нетронутое дитя природы!



. Интересно было бы невидимо присутствовать возле Корделии, когда она читает мои письма. Тогда бы я убедился, насколько она схватывает их смысл. Письма — вообще неоценимое средство для того, чтобы произвести на девушку сильное впечатление. Мертвая буква действует иногда сильнее живого слова. Письма таинственно поддерживают сердечную связь; ими производишь на душу желаемое действие, не оказывая никакого давления своим присутствием. А молодая девушка любит быть наедине со своим идеалом в те минуты, когда он производит сильнейшее впечатление на ее душу. Как бы ни соответствовал любимый человек лелеемому в душе идеалу, бывают все-таки моменты сомнений, когда девушка чувствует, что в нем чего-то недостает... Надо поэтому предоставить ей пережить великое торжество примирения идеала с действительностью — наедине с собой... Следует только хорошо подготовить момент, чтобы она вернулась к действительности не расслабленной или разочарованной, но укрепленной и сильной. Такого рода подготовкой и служат письма: в них ты сам невидимо присутствуешь возле девушки в эти священные мгновения; мысль же о том, что автор письма — действительное лицо, представляет для девушки легкий и естественный переход — от мечтаний об идеале к мысли о действительности...



Мог ли бы я ревновать Корделию? Черт возьми — да! С другой стороны, пожалуй, что и нет: если бы я одержал верх в борьбе с соперником, но увидал, что ее существо хоть несколько пострадало от конфликта, не осталось тем, что мне было нужно, — я махнул бы на нее рукой.

*

Один древний философ сказал как-то, что, воспроизводя все переживаемое на бумаге, невольно, сам того не сознавая, сделаешься философом. Я вот уже порядочное время считаюсь членом жениховской корпорации — какую-нибудь пользу должна же принести мне такая компания! И мне пришла в голову мысль собрать кое-какие материалы для моего нового сочинения: «Теория поцелуев», которое я посвящаю всем нежно любящим сердцам. Странно, право, что до сих пор никто не затрагивал этой темы! Если мне удастся довести свой труд до конца, я пополню этот давно ощущаемый пробел в нашей литературе. Не знаю, право, чем и объяснить его существование, разве тем, что философы не думают о таких вещах или попросту не понимают их? Некоторыми указаниями я, впрочем, уже могу поделиться с нуждающимися. Во-первых, для того, чтобы поцелуй был действительно настоящим поцелуем, нужно участие двух лиц разных полов: мужчины и женщины. Поцелуй между двумя мужчинами безвкусен или, что еще хуже, с неким привкусом. Затем я нахожу, что поцелуй более соответствует своей идее, если мужчина целует девушку, нежели наоборот. Там, где с течением времени вырабатывается индифферентность в этом отношении, поцелуй теряет свое настоящее значение. Это замечание относится преимущественно к супружеско-домашнему поцелую, которым супруги оттирают после обеда друг другу рот за неимением салфетки, приговаривая: на здоровье! Если разница лет между мужчиной и женщиной очень велика, то поцелуй также мало соответствует своей идее. Я припоминаю, что в одном провинциальном женском пансионе было в ходу особое выражение: «целовать его превосходительство», связанное не особенно приятным представлением. Дело в том, что у начальницы пансиона был брат, отставной генерал-старик, который позволял себе с девицами маленькие вольности, вроде поце-

луев, трепания по щеке и пр. Истинный поцелуй должен выражать определенную страсть; поэтому поцелуй между братом и сестрой, поцелуи во время игры в фанты, наконец, поцелуи украденные, — все это не настоящие поцелуи. Поцелуй — символическое действие, теряющее всякое значение, раз чувство, выражением которого он служит, отсутствует. Если пытаться составить классификацию поцелуев, то можно установить много различных подразделений. Во-первых, можно разделить их на ряды по звуку. К сожалению, язык отказывается выразить все наблюдения по этой части. Какое разнообразие звуков нашел я только в доме моего дядюшки! Тут были поцелуи щелкающие и чмокающие, и шипящие, и громкие, и гулкие, и глухие, и булькающие... Во-вторых, можно различать их и по силе — есть поцелуи почти воздушные, легкие, поцелуи *en passant*, поцелуи «взасос» и т. д... В-третьих, по продолжительности — бывают поцелуи короткие и бывают долгие... Есть, наконец, и еще одно различие; это различие первого поцелуя от всех последующих. Особенность первого поцелуя не заключается, однако, ни в звуке, ни в силе, ни в продолжительности... Так как, вероятно, очень немногим приходило в голову поразмыслить над тем, в чем же именно состоит качественная особенность первого поцелуя, то заняться этим вопросом предстоит хотя бы мне! ...

* * *

Моя Корделия!

Соломон говорит, что хороший ответ подобен сладкому поцелую. Я, как ты знаешь, постоянно пристаю с вопросами. Многие даже бранят меня за это. Но ведь они не понимают, о чем я спрашиваю. Ты одна понимаешь меня, ты одна умеешь мне дать хороший ответ. Хороший же ответ подобен сладкому поцелую, — говорит Соломон...

Твой Йоханнес.

Есть некоторая разница между духовным и чувственным эротизмом. До сих пор я старался развивать в Корделии первый, — теперь пора вызвать второй. До сих пор я лишь как бы аккомпанировал ее настроению, — теперь пора соблазнять... Я старательно готовлюсь к этому, читая у Платона известное место о любви. Чтение это электризует все мое существо и является превосходной прелюдией... Да, Платон кое-что смыслил в эротизме!

Моя Корделия!

Один из древних писателей говорит, что внимательный ученик не спускает взгляда с уст своего наставника. Для любви все может служить аллегорией, да и сама аллегория вдобавок часто превращается в действительность. Разве я не усердный и внимательный ученик твой? — Но ты ведь не говоришь еще ни слова! ...

Твой Йоханнес.

Если бы кто-нибудь другой управлял ходом душевного развития Корделии, то он, пожалуй, счел бы себя слишком умным, чтобы позволить ей первенствовать над собой. А если спросить умения у какого-нибудь жениха, то он, чего доброго, пожалуй, прямо ответил бы: «Я тщетно ищу в положениях вашей любви той звуковой фигуры, которою влюбленные обыкновенно говорят друг другу о своей любви». Но я бы сказал ему на это: очень рад, что вы ищете напрасно, — этой звуковой фигуре совсем нет места в области эротизма, если даже в

нем и есть примесь интересного. Любовь слишком самосущественна, чтобы удовлетворяться болтовней, эротические положения чересчур богаты содержанием, чтобы переполняться еще разговорами. Они молчаливы, тихи, строго ограничены и тем не менее красноречивы, как музыка колосса Мемнона. Эрот жестикулирует, но не разговаривает, а если и случается, то лишь загадочными намеками, образной музыкой. Эротические положения всегда пластичны или живописны, а в длинном разговоре о любви нет ни живописности, ни пластики. Солидные женихи и невесты, впрочем, всегда начинают с подобной болтовни, которая так и потянется красной нитью чрез все их болтливое супружество, обещая, что в их браке никогда не окажется недостатка в приданом, упоминаемом еще Овидием: *dos est uxoria lites**. Если же вообще допустить, что между влюбленными непременно должно быть сказано что-нибудь, то довольно, если говорит один мужчина, который поэтому должен обладать одним из даров, заключавшихся в поясе Венеры, — даром беседы и сладкой, т. е. вкрадчивой лести. Из всего вышесказанного нельзя однако заключать, что Эрот — немой или что беседа вообще не должна иметь никакого места в строго эротических отношениях. — Нет, нужно только, чтобы и она носила эротический характер, а не расплывалась в пространных и глубокомысленных рассуждениях на тему будущей жизни влюбленных. Истинно эротическая беседа должна быть отдыхом от эротической борьбы, времяпрепровождением, а не главным делом. Такая беседа, такое *confabulatio*** прекрасно, и мне никогда не надоест беседовать с молодой девушкой — одна известная девушка может, пожалуй, надоест, но разговор с молодой девушкой вообще — никогда. Последнее для меня так же невозможно, как устать дышать. Главная прелесть такой беседы — ее жизненный

* Приданое жены — перебранки (лат.).

** Болтовня (лат.)

саморасцвет, т. е. то, что разговор, держась преимущественно земли, не сосредоточивается, однако, на какой-нибудь одной теме, а вполне подчиняется закону случайности. Итак, случайность — закон всех движений такой беседы, а ее содержание — цветок под названием «тысяча радостей»*.

* * *

Моя Корделия!

«Моя», «твой» — вот слова, которые, как в скобках, заключают бедное содержание моих писем. Замечаешь ли ты, что они все сближаются, расстояние между ними становится все меньше. О, моя Корделия! Ведь чем бессодержательнее становится заключающееся в них, тем знаменательнее сами скобки.

Твой Йоханнес.

*

Моя Корделия!

Объятия — разве борьба?

Твой Йоханнес.

* * *

Корделия вообще молчалива, и я всегда особенно ценил в ней это качество. Натура ее слишком женственно-глубока, чтобы резать мне слух «зиянием»**, которое вообще довольно часто слышится в разговоре женщины, особенно же часто, если собеседник, который должен подыскивать предыдущую и последующие гласные, так же женственен по своей природе, как и она сама. Иногда

* Датское название цветка «*Bellsperenuis*», соответствующее русским «тысячесвет» и «маргаритка» — Прим. перев

** Автор понимает здесь грамматический термин, означающий, как известно, слияние нескольких гласных — Прим. перев

только какая-нибудь короткая, невольно вырвавшаяся фраза намекнет о том, какие нетронутые сокровища таятся в глубине ее девственной души. В таких случаях я всегда стараюсь помочь ей, развить ее мысль, и в результате получается то же самое, что бывает, если позади ребенка, набрасывающего какой-нибудь рисунок своими слабыми неверными пальчиками, стоит взрослый, твердой и умелой рукой исправляющий сделанное, — из слабого, неопределенного наброска выходит нечто смелое, рельефное.

Так и с Корделией — она и удивляется достигнутому результату и, в то же время, как будто гордится своим собственным искусством. Поэтому я неустанно слежу за каждым брошенным словом, за каждой случайной фразой, подхватываю их на лету и возвращаю ей в таком обработанном и преображенном виде, что она и узнает, и не узнает свою собственность.

*

Сегодня мы обедали с Корделией в гостях. Когда мы выходили из-за стола, лакей доложил Корделии, что ее спрашивает какой-то посыльный. — Человек этот был послан мной и принес письмо, содержащее в себе намек на нечто сказанное мной сейчас за столом. Мне так искусно удалось вплести нужное мне замечание в общий разговор, что Корделия, хоть и сидела далеко от меня, все-таки услышала его и... не поняла; на это именно и было рассчитано мое письмо. В случае, если бы мне не удалось придать разговору за столом необходимого направления, я сам явился бы вовремя, чтобы конфисковать письмо. — Она скоро вернулась и на вопросы посторонних принуждена была немного солгать. Подобные обстоятельства только усиливают эротическую таинственность, без помощи которой Корделии не пробраться по указанному мною пути любви.

* * *

Моя Корделия!

Веришь ли ты, что если заснешь, положив голову на лесной холм, то увидишь виллису? Я не знаю этого, но знаю, что, склонив голову на твою грудь и не закрывая глаз, я вижу ангела. Думаешь ли ты, что можно заснуть спокойно, склонив голову на лесной холм? Я не думаю, но знаю, что, склонив голову на твою грудь, я совсем не могу сомкнуть глаз от волнения.

Твой Йоханнес.

* * *

*Jacta est alea**. Пора настала!

Я был у нее сегодня, но почти не видел ее и не слышал ее голоса, так, видимо, увлекала меня одна идея, которую я все время и развивал перед Корделией. Идея эта была настолько интересна сама по себе, что приковала и внимание Корделии, я же, видимо, был увлечен ею всецело. Начать новый образ действий резкой переменой манеры держать себя по отношению к ней, т. е. прямой холодностью и равнодушием, было бы неразумно. Теперь же, после моего ухода, когда она выйдет из-под обаяния моего красноречия, она откроет, что я был сегодня не такой, как всегда. Открытие это больно уязвит ее сердце, а уединение еще растравит эту рану, и чем дальше продолжится уединение, тем глубже станет боль от раны. Когда же, наконец, ей представится случай поговорить со мной, она уже не будет в состоянии вспыхнуть сразу, высказать все, что передумала в этот долгий промежуток, и на дне ее души останется ядовитый осадок сомнения. Беспокойство и волнение ее будут все расти и расти, а письма прекратятся, в эротической пище будет недостаток, над любовью прозвучит какая-то скрытая насмешка. Пожалуй, она и сама будет не прочь

* Жребий брошен (лат.).

принять участие в этой игре, но лишь на минуту, более ей не выдержать: ей захочется приковать меня тем же, чем я пользовался по отношению к ней, — страстью...

*

В вопросе о разрыве с женихом всякая девушка — великий казуист. В женских школах не читают лекций по этому предмету, и тем не менее все девушки как нельзя более сведущи — в каких именно случаях можно и должно нарушить данное жениху слово. Правду говоря, этому вопросу следовало бы постоянно фигурировать в виде темы на выпускных экзаменах, тем более, что обыкновенные экзаменационные сочинения девиц до невозможности скучны и однообразны; тогда же, по крайней мере, не оказалось бы недостатка в разнообразии. Подобная тема дала бы широкий простор острому уму девушек, а отчего же в самом деле и не дать бедным девушкам случая показать свой ум с блестящей стороны? Разве каждой из них не представилось бы тогда случая хотя письменно доказать свою зрелость и права на звание невесты?

Однажды я участвовал в беседе, очень заинтересовавшей меня. Я зашел как-то в одно семейство, где бываю лишь изредка. Оказалось, что все старшие ушли, а две молоденькие дочери созвали к себе небольшой кружок подруг на утренний кофе. Всех девушек было восемь, от шестнадцати до двадцати лет. В их планы, вероятно, не входило принимать посторонних гостей, и они поручили горничной отказывать всем под тем предлогом, что никого из старших нет дома. Я, однако, ухитрился пробраться к ним и заметил, что мой приход их застал врасплох.

Бог знает, о чем могут беседовать восемь молоденьких девушек в таком торжественном заседании? Замужние женщины тоже собираются иногда в кружок, но их

беседа — пасторальное богословие; решаются обыкновенно важные вопросы: можно ли пускать кухарку одну ходить на рынок, лучше ли брать провизию в кредит или за наличные, как узнать, есть ли у кухарки жених, и как затем избавиться от этой вечной возни с кенихами, замедляющей стряпню и т. д.

Как бы то ни было, мне все же дали местечко в этом прекрасном кружке. Дело было ранней весной, и солнце уже посылало на землю свои первые слабые лучи, как вестников, объявляющих о его скором прибытии. В комнате все было еще по-зимнему, но именно потому эти маленькие отдельные лучи и приобретали такое вещее значение. Кофе стоял на столе, распространяя свой приятный аромат, а молодые девушки сидели вокруг — такие веселые, радостные, шаловливые и цветущие. Страх и неловкость их скоро прошли: да и чего им было стесняться? Ведь превосходство сил было на их стороне. Мне скоро удалось навести разговор на тему: в каком случае жениху с невестой следует разойтись? В то время, как взор мой с наслаждением порхал с одного цветка на другой в этом прелестном цветнике, отдыхая то на одном, то на другом миловидном личике, а слух впитывал музыку девичьих голосов, сознание мое тщательно проверяло все сказанное. Одного слова было иногда достаточно, чтобы я мог уже глубоко проникнуть в сердце девушки и прочесть его историю. А любопытно ведь проследить таким образом, как далеко зашла по пути любви каждая из них. Я не переставал подливать масла в огонь, и различные остроты, шутки и эстетическая объективность — все это содействовало непринужденности и живости беседы, не выходящей в то же время из границ самого строгого приличия. В этой шутливой легкости общего разговора дремала, однако, возможность одним ловким оборотом поставить милых девушек в роковое затруднение. Возможность эта была вполне в моей власти, но девушки едва ли подозревали о ней. Лег-

кая игра беседы все еще отстраняла опасность, как сказки Шехеразады ее смертный приговор. Я то доводил беседу до границ грусти, то давал простор шаловливой девической фантазии, то манил их на диалектический путь мысли... Какая же другая тема может, впрочем, представить больше разнообразия, нежели та, о которой здесь идет речь.

Я приводил все новые и новые примеры, — рассказал между прочим о девушке, которую насилие родителей заставило взять назад свое слово. Эта печальная история даже вызвала слезы у моих слушательниц. — Рассказал и о человеке, который разошелся с невестой из-за того, что, во-первых, она была слишком высока ростом, а во-вторых, он забыл стать на колени, признаваясь ей в любви. На все возражения против неразумности и неосновательности таких причин он отвечал, что для него они достаточно разумны и основательны: основываясь на них, он достигает желаемого, и кроме того, никто в сущности не может дать ему на них разумных и веских возражений.

Наконец я предложил на обсуждение собрания трудный вопрос: права ли молодая девушка, отказавшая жениху, убедившись в том, что они не сходятся в мнениях? Когда отверженный хотел урезонить ее, она ответила: «Одно из двух — или мы сходимся в мнениях, и в таком случае ты сам понимаешь, что нам надо разойтись, или же мы не сходимся, раз ты утверждаешь противное, и в таком случае мы тоже должны разойтись». Забавно было наблюдать, как молодые девушки ломали себе головки, чтобы уразуметь эту обоюдоострую речь. Я заметил, однако, что две из них отлично поняли меня, потому что, как сказано, в подобных вопросах молодые девушки природные казуистки. Да, я думаю, что легче было бы переспорить самого черта, чем молодую девушку, если речь пойдет о том, в каких случаях жениху с невестой следует разойтись.

*

Сегодня я опять был у нее и поспешил навести разговор на вчерашнюю тему, стараясь довести ее до возбуждения. «Вот что мне пришло в голову, когда я уходил от тебя вчера», — начал я разговор. Намерение мое вполне удалось. Пока я с ней, она с наслаждением слушает меня, но как только остается одна, сразу замечает, что я обманываю ее, что я изменился. Так и выберешь все свои акции назад. Способ, правда, лукав, зато целесообразен, как вообще всякий не прямой образ действий. Она хорошо понимает, что предмет моего разговора может сильно увлекать меня, он увлекает ведь и ее в данную минуту, но в следующую затем она все-таки почувствует, что я обманул ее, лишив эротической пищи.

*

«*Oderint dum metuant*»*, — как будто только страх и ненависть могут идти рука об руку, а страх и любовь не имеют ничего общего! Разве не страх именно придает любви интерес? Разве любовь наша к природе не скрывает в себе частицы таинственного трепета, начало и причина которого в сознании, что чудная гармония сил природы вырабатывается непрерывным уничтожением их и кажущимся беззаконием, а уверенность и неизменность ее законов — постоянной изменчивостью? И это благоговейный трепет приковывает нас к природе больше всего. То же и относительно всякой любви, если только она интересна. Она должна быть окутана тревожной мглой ночи, из которой разворачивается роскошный цветок любви. Так венчик «*nymphea alba*»** покоится на поверхности воды, но мысль страшится проникнуть в глубокую тьму, где скрывается его корень. Я замечаю, что Корделия всегда пишет мне: «мой», но у нее

* Пусть ненавидят, лишь бы боялись (лат.)

** Белый лотос (лат.)

не хватает духу назвать меня так в разговоре. Сегодня я сам нежно попросил ее об этом. Она было попробовала, но сверкнувший, как молния, мой иронический взгляд лишил ее всякой возможности продолжать, хотя уста мои и уговаривали ее изо всех сил. Вот такое настроение мне и нужно.

*

Она — моя. Но я не поверяю этой тайны звездам, как вообще водится у влюбленных, да и не думаю, чтобы подобное сообщение могло заинтересовать эти далекие светила. Я не поверяю этого никому, даже самой Корделии. Я схороню эту тайну в самом себе, шепну ее на ухо самому себе, в своих таинственных беседах с самим же собою. Отпор с ее стороны не был особенно силен, зато эротические силы, развернувшиеся в ней теперь, просто изумительны. Как она интересна в своей глубокой страстности, как велика и могущественна! Как гибко она увертывается, как ловко подкрадывается, едва завидит в моем существе уязвимое местечко! Теперь все силы пришли в движение, и я среди этой бури страстей чувствую себя в своей стихии.

Как ни сильно волнуются, однако, в груди Корделии страстные желания, сама она остается по-прежнему спокойно-изящной. Душевное содержание ее не мельчает в быстром сменяющихся настроениях, не разменивается на отдельные моменты. Она похожа теперь на Афродиту, олицетворяя собою и телесную, и душевную гармонию красоты и любви, с тою лишь разницей, что она не покоится, как богиня, в наивном и безмятежном сознании своей прелести, а взволнованно прислушивается к биению своего переполненного любовью сердца и всеми силами борется с мановением бровей, молнией взора, загадочностью чела, красноречием вздымающейся груди, опасной заманчивостью объятий, мольбой и улыбкой

уст, словом — со сладким желанием, охватывающим все ее существо! В ней есть сила, энергия валькирии, но эта сила чисто эротическая и умеряется каким-то сладким томлением, веющим над нею... Нельзя, однако, оставлять ее слишком долго на этой высоте настроения, где страх и волнение могут воодушевить ее и не дать пасть. Надо, чтобы она почувствовала всю стеснительность и мелочность формальной связи, выражением которой является помолвка; тогда она сама станет соблазнительницей и заставит меня перешагнуть границы обыденной житейской морали, сама потребует этого, и это для меня важнее всего.

*

Из разговоров Корделии можно заметить, что наша помолвка надоела ей. Такие вспышки не ускользают от моего слуха, они мои проводники в лабиринте ее души, концы нитей, которыми я опутаю ее и увлеку в плен.

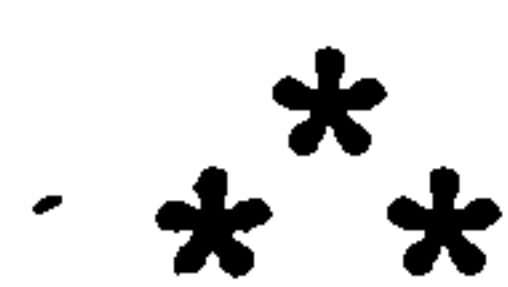
* * *

Моя Корделия!

Ты жалуешься на нашу помолвку; тебе кажется, что наша любовь не нуждается в цепях, которые являются одной помехой. В этих словах я сразу узнаю тебя, моя несравненная Корделия, и удивляюсь тебе!

Эти внешние узы в сущности лишь разделяют нас; они — нечто в роде перегородки, стоявшей между Пирамом и Фисбой. Больше всего мешает нашей любви то, что посторонние знают о ней. Свобода и счастье в противоположном. Любовь имеет значение только тогда, когда никто посторонний не подозревает о ее существовании. Любовь счастлива лишь тогда, когда посторонние предполагают, что любящие ненавидят друг друга.

Твой Йоханнес.



Скоро порвутся наружные узы! Она сама разорвет их, думая, что свобода отношений еще сильнее пленит меня, как распушенные локоны пленяют взор больше, чем связанные лентой. Если бы я сам возвратил ей кольцо, я лишил бы себя удовольствия видеть в ней эту соблазнительную эротическую метаморфозу, верный признак смелости ее души. Это первая и главная причина. Кроме того, подобный шаг с моей стороны повлек бы за собою много других неприятных последствий для меня. Невинные девушки стали бы презирать меня, ненавидеть, хотя и несправедливо. Ведь поступок мой был бы даже выгоден для некоторых из них. Есть немало девиц, которые за неимением настоящего жениха были бы довольны стать невестой хоть на время. По их мнению, это все же кое-что, хотя, по-правде сказать, и не много: раз девушке удастся попасть в список таких кандидаток — прощай возможность настоящего производства! И чем большее число раз заносится она в этот список, тем слабее становится и возможность. В мире любви не существует, как в служебной иерархии, принципа старшинства по отношению к производству и повышению. И, тем не менее, несмотря на все эти невыгоды, барышне иногда так надоест ее невозмутимая, нетронутая девическая жизнь, что она почувствует непреодолимую потребность хоть в каком-нибудь волнении. А что же в таком случае лучше несчастной любви, особенно если обладаешь способностью не слишком горячо принимать свои неудачи к сердцу? И вот такая девица воображает сама и рассказывает другим, что она «обманута» и, если еще не получила права поступить в обитель «Кающейся Магдалины», то во всяком случае достойна попасть в приют «Плачущих дев». Итак, ненавидеть меня будут скорее по обязанности, нежели от чистого сердца. Затем, к ненависти девиц первой категории, надо еще будет присое-

динить ненависть всецело, наполовину, на три четверти и т. д. В этом отношении девицы делятся на несколько степеней, начиная с тех, которые могут сослаться на обручальное кольцо, и кончая прицепляющимися к какому-нибудь рукопожатию в кадрили. К какой бы степени они, однако, ни принадлежали, сердечная рана их была бы, без сомнения, растравлена новым примером вероломства мужчины, и они вспыхнули бы ко мне горячей ненавистью. Впрочем, — на здоровье. Ведь все эти ненавистницы изображают на самом деле тайных искаательниц моего бедного сердца! ... Король без королевства — нелепая фигура, но война за первенство среди толпы претендентов на несуществующее королевство — еще нелепее.

Выходит, таким образом, что на основании всего вышесказанного прекрасному полу следовало бы, напротив, полюбить меня за мое предполагаемое вероломство, как какого-нибудь содержателя «ссуды любви». Настоящий жених может ведь удовлетворить лишь одну, а я в этой новой роли удовлетворил бы (не надо только спрашивать, как) скольких угодно. И вот от всего этого вздора я теперь избавлюсь, да еще получу кое-какие преимущества. Молодые девушки будут жалеть меня, сочувствовать мне, вздыхать обо мне... Я, конечно, сумею петь в унисон, и таким образом мне удастся, пожалуй, изловить еще кое-кого.

*

В последнее время я с ужасом замечаю у себя появление компрометирующего знака, которым Гораций желает снабдить каждую вероломную девушку — черного зуба, да еще переднего вдобавок! Как, однако, человек мелочен: зуб этот положительно отравляет мне жизнь, он — моя слабая струна, я не могу вынести даже малейшего намека на него. Вообще я довольно-таки неуяз-

вим, но самый величайший болван может нанести мне удар несравненно глубже и сильнее, чем он сам это думает, лишь слегка затронув в разговоре этот предмет. Право, на свете много странного! Один вид моего черного зуба мучит меня куда больше самой упорной зубной боли. Я хочу вырвать его, но этим я испорчу свое произношение, нельзя уже будет владеть речью в таком совершенстве. Но будь, что будет, я все-таки вырву его и вставлю фальшивый. Последний будет фальшью только относительно посторонних людей, первый же относительно меня самого...

*

Великолепно! Помолвка наша положительно возмущает Корделию. — Да, брак все-таки почтенный обычай, хоть и набрасывает на кипящую жизнь молодость ту серую тень скучной почтенности, которая приличествует, по-моему, лишь бесстрастной старости. Но помолвка это — чисто человеческая выдумка, которая имеет в одно и то же время одинаково нелепое, как и важное значение, так что, с одной стороны, вполне естественно, если девушка в порыве страсти перепрыгнет через нее, а с другой стороны, подобный прожект все-таки столь важен, что потребует от нее сильного душевного напряжения и энергии.

Теперь моя задача — направить Корделию так, чтобы она, боясь лишиться моей любви, пренебрегла такой несовершенной человеческой выдумкой, как помолвка, погналась за чем-то высшим и в этом смелом фантастическом беге совершенно потеряла из виду берег действительности. И мне нечего опасаться неудачи. Ее жизненная поступь уже настолько стремительна, легка и воздушна, что действительность давно, в сущности, осталась позади. Кроме того, я сам ведь не схожу с корабля и всегда могу выкинуть новые паруса.

*

Женщина всегда была и останется для меня неисчерпаемым материалом для рассуждений, вечным источником наблюдений и выводов. Человек, не чувствующий потребности в изучении женской природы, может, по моему, быть чем угодно, только не эстетиком. Божественное преимущество эстетики именно в том, что предмет ее исключительно прекрасный: изящная литература и прекрасный пол. Я восхищаюсь, видя, как солнце женственности и красоты, сияя бесконечным разнообразием переливов, разбрасывает свои лучи во все уголки мира. Каждая отдельная женщина носит в себе частицу этого всемирного богатства, причем все остальное содержание ее существа гармонически группируется около этой блестящей точки. В этом смысле женская красота бесконечно делима, но каждая отдельная частица ее непременно должна находиться, как уже сказано выше, в гармоническом сочетании с внутренним содержанием женщины, иначе от нее получится неопределенно-смешанное впечатление — как будто природа задумала что-то, да не выполнила. Взор мой никогда не устанет любоваться этими разбросанными, отдельными проявлениями красоты, — ведь каждая частица представляет своего рода совершенство, свою особенную прелесть. — У каждой женщины есть нечто свое собственное, принадлежащее одной ей; например, веселая улыбка, лукавый взгляд, поклон, шаловливый нрав, пылкое волнение, тихая грусть, глубокая меланхолия, земное вожделение, повелительное мановение бровей, тоскливый взор, манящие уста, загадочное чело, длинные ресницы, небесная гордость, земная стыдливость, ангельская чистота, мгновенный румянец, легкая походка, грация движений, мечтательность, стройный стан, мягкие формы, пышная грудь, тонкая талия, маленькая ножка, прелестная ручка... — у каждой свое, не похожее на то, чем обладает другая. Налюбовавшись вдоволь на это разнообразие сверкающих

лучей красоты, вызывавшее во мне тысячу раз и улыбку и вздох, и угрозу, и желание и искушение, и слезы и наслаждение, и надежду и страх, я, наконец, закрываю веер — разбросанное сосредоточивается в одно, частицы в целое. Тогда душа моя исполняется блаженства, сердце бьется и вспыхивает страсть. Есть, однако, девушка, которая одна соединяет в себе все, что разбросано в тысячах других, и эта-то единственная во всем мире девушка должна быть моей. Я оставлю правоверным весь Магометов рай — пусть только она принадлежит мне. Я знаю, что выбираю; я знаю, что, принадлежи она к числу гуррий, сам рай не захотел бы расстаться с ней. Что же и осталось бы в нем, если бы я взял ее? Правоверные мусульмане были бы обмануты в своих надеждах, — им бы пришлось обнимать в раю лишь бледные бессильные тени, встречать всюду лишь бескровные уста, потускневшие очи, безжизненные груди, слабые рукопожатия. Да и как иначе? Ведь вся теплота сердца сосредоточена в ее груди, румянец на ее устах, огонь в ее взоре, волнующая страсть желаний, обещание рукопожатия, упоение объятий — все, все соединено в ней одной, отдавшей мне одному то, что хватило бы тысячам других на целую жизнь и на земле, и в раю Магомета! Я вообще часто думаю о женщине и всякий раз, увлекаясь сам, представляю себе и ее такой же пылкой, горячей, полной страстных желаний. Теперь же я хочу для разнообразия попробовать нарисовать себе ее, не выходя из роли хладнокровного мыслителя, хочу представить себе и уяснить существо женщины категорически. Какое определение выразит сущность женщины? — «Бытие для другого». — Не следует, однако, понимать этого определения в дурном смысле, предполагать, что она существует и для другого, и для третьего и т. д. Нет, тут, как и почти всегда при абстрактном мышлении, следует вообще строго воздерживаться от всяких ссылок на опыт. Иначе мне самому пришлось бы на основании опыта говорить те-

перь и за и против себя. Опыт ведь, собственно говоря, странная персона, его сущность в том, чтобы быть и за, и против чего-нибудь. Итак, женщина — это «бытие для другого», и напрасно ссылаться на опыт, поучающий нас, что, напротив, женщины, к которым бы действительно подходило это определение, встречаются очень редко, что большинство из них остается «ничем», как для себя, так и для других. Определение свое «бытие для другого» женщина разделяет ведь со всей природой и с отдельными частями ее, принадлежащими к женскому роду. Вся органическая природа также существует для другого, — для духа; отдельные части ее — также; растительность, например, разворачивается во всей своей могучей прелести не для себя самой, а для других. То же с другими категориями женского рода; — загадка, тайна, гласная буква и т. д. — все это ничего не значит само по себе, все это — «бытие для другого». Вполне понятно, почему Творец, создавая Еву, навел на Адама сон: женщина — сновидение, мечта мужчины. Можно прийти к тому же выводу, что женщина есть «бытие для другого», и иным путем. Сказано ведь, что Иегова взял одно из ребер мужчины; возьми же Он, например, часть его мозга, женщина, конечно, оставалась бы «бытием для другого» — хоть в качестве бреда, но все же это было бы не то, что теперь. Теперь она стала плотью и кровью, а через это стала и частью природы, которая вся — «бытие для другого»; кроме того, как уже сказано выше, женщина есть мечта, сновидение; она перестает быть мечтой, сновидением, т. е. пробуждается лишь от прикосновения любви. В период сновидений и грез женщины можно, однако, различить две степени: когда любовь грезит о ней, и — когда она сама грезит о любви.

Что же такое подразумевается под этим определением «бытие для другого», в чем оно состоит? — В девственности женщины. — Надо заметить, впрочем, что девственность лишь отвлеченное понятие, и получает

оно свое истинное значение «бытия» только тогда, когда проявляется в действительности, т. е. отдается другому. То же самое можно отнести к понятию о женской невинности. Итак, если смотреть на женщину как на самостоятельное бытие, она исчезает, становится как бы невидимкой. Вот почему, вероятно, и не существовало изображений Весты, богини, олицетворявшей саму по себе вечную девственность. Стараться изобразить или хоть представить себе невидимое значит ведь исказить самую сущность его. И тем не менее во всем этом кроется кажущееся противоречие: то, что существует для «другого», как бы не существует на самом деле, и самое проявление его всецело зависит от этого «другого»! Противоречие это, впрочем, не имеет в себе ничего нелогичного, и человек с логическим мышлением не только поймет его, но и придет от него в восторг. Лишь нелогичные люди могут воображать, что все, существующее для «другого», существует в обыденно—определенном смысле, как и всякая вещь, о которой можно сказать: «Вот это мне пригодится».

Это «бытие» женщины (слово «существование» слишком широкое понятие, так как она не существует сама по себе и для себя) лучше всего назвать «благоухающей прелестью» женского существа: выражение это вызывает представление о растительном царстве, а женщина ведь вообще похожа на цветок, как любят говорить поэты, в ней даже духовное ее содержание растет, развертывается, как почка растения. Она всецело подчинена определению, присущему самой природе, и свободна только в эстетическом смысле, в действительном же смысле становится свободной лишь тогда, когда освободит ее своей любовью мужчина. И если только он влюблен в нее, как следует, не может быть и речи о выборе с ее стороны. Это не значит, впрочем, что женщина совсем не выбирает, и она выбирает отчасти, но нельзя же представить себе, что этот выбор является результатом дол-

гого обсуждения, подобный выбор был бы не женственным. Оттого получить отказ от женщины — позор для мужчины, это значит, что он возмечтал о себе слишком много, вздумал освободить женщину и не сумел. В самих отношениях между мужчиной и женщиной, с момента ее освобождения его любовью, кроется, однако, глубокая ирония. То, что существует лишь для другого, получает вдруг преобладающее значение: мужчина признается в любви — женщина выбирает; женщина по самому существу своему есть лицо побежденное, мужчина же — победитель, и тем не менее победитель преклоняется пред побежденной... И все-таки, все это, в сущности, настолько естественно, что надо быть очень грубым, глупым и ничего не смыслящим в делах любви, чтобы вздумать игнорировать то, что раз навсегда установилось так, а не иначе. В основе таких отношений лежит глубокая причина: женщина ведь непосредственное бытие, мужчина — размышление, потому она и не выбирает сама по себе; она может выбирать лишь тогда, когда мужчина уже признается ей в своей любви. Таким образом, объяснение со стороны мужчины — вопрос, выбор женщины — лишь ответ на этот вопрос, так что, если в одном отношении мужчина стоит, пожалуй, выше женщины, зато в другом — бесконечно ниже.

Итак, самая сущность бытия женщины для другого состоит в ее чистой девственности, последняя же, как сказано, понятие отвлеченное и становится действительностью лишь тогда, когда отдается другому, т. е. перестает существовать, исполняя свое назначение. Если же она захочет проявиться в жизни в какой-нибудь другой форме, то единственно возможной является в таком случае форма прямо противоположная: абсолютная неприступность. Но эта же самая противоположность доказывает, что существование женщины — «бытие для другого». Диаметральная противоположность тому, чтобы отдаться всецело, есть полная девственная неприступность,

которая в своем истинном значении существовала лишь в виде отвлеченного понятия, не поддающегося никаким объяснениям и представлениям, но зато и не переходящего в жизнь. Если такая девственность пойдет дальше, то проявится она уже в форме отвлеченной жестокости, которая представляет собою карикатурную крайность истинной девственной неприступности. Этим объясняется, почему мужчина никогда не может быть так бессознательно жесток, как девушка. В мифах, народных сказаниях и легендах, везде, где только изображается стихийная сила, не знающая пощады в своей бессознательной жестокости, она олицетворяется девственным существом. Сколько, например, бессознательной жестокости в рассказах о девушках, которые безжалостно дают погибнуть своим женихам! Какой-то сказочный «Синяя Борода» убивал своих жен на другой же день после свадьбы, но ему ведь не доставляло наслаждения убивать их, — напротив, наслаждение уже предшествовало убийству; жестокость совершалась, следовательно, не ради самой жестокости, а вследствие особых причин. Возьмем затем Дон Жуана. Он обольщает девушек и бросает их, но и для него наслаждение не в том, чтобы бросить, а в том, чтобы обольстить — и здесь нет признаков упомянутой отвлеченной, девственной жестокости.

Словом, чем больше я думаю о существе женщины, тем более убеждаюсь, что моя практика вполне гармонирует с моей теорией. Практика моя основана на убеждении, что женщина есть «бытие для другого». Поэтому минута приобретает здесь бесконечное значение: «бытие для другого» исчерпывается одной минутой. Может пройти много или мало времени, прежде чем минута эта настанет, но раз она настала — абсолютное бытие прекращается, переходя лишь в относительное, а затем и конец всему! Я знаю, мужья много говорят о том, что женщина есть бытие для другого в высшем смысле, что она для них — все, в продолжение всей их совместной

жизни. Что ж? Приходится простить этим добрым людям их заблуждение, хотя правду сказать, я думал, что они, утверждая это, только отводят глаза друг другу. Во всяком обществе существуют ведь известные установленные обычаи, в особенности же известные «обманы»; к последним относится, между прочим, и этот взаимный отвод глаз. Уловить минуту, понять, что она настала, впрочем, не легкая задача, и нечего удивляться, если профаны навязывают себе, благодаря тугому соображению, скуку на целую жизнь. Минута — все, и в эту минуту женщина также все; последствий я вообще не признаю. Мало того, одного из таких последствий, детей, (хоть и считаю себя последовательным мыслителем) даже представить себе не могу, не понимаю даже возможности его — для этого, вероятно, нужно быть женатым.

Вчера мы с Корделией были в гостях в одном знакомом семействе, живущем на даче. Общество почти все время проводило в саду, занимаясь различными играми. Играли, между прочим, в серсо. Я воспользовался случаем занять место одного господина, игравшего с Корделией. Какую бездну женственности и грации проявила она в бессознательном увлечении игрой! Какая чудная гармония отражалась во всех ее движениях, воздушных и легких, как танцы эльфов при лунном свете! Какая смелость, энергия, какой вызывающий взгляд! Самая сущность этой игры кольцами представляла для меня особенный интерес. Корделия же, по-видимому, не догадывалась об этом, и вскользь брошенный мною одному из партнеров намек на прекрасный обычай обмениваться кольцами поразил ее, как молния. С этой минуты игра осветилась каким-то особенным внутренним светом, получила глубокое значение... для нас обоих. Энергия самой Корделии все разгоралась... Вот, наконец, я схватил оба кольца и немного подержал их оба на своей палке, разговаривая с окружающими... Она поняла эту паузу. Я перебросил кольца к ней, она схватила

их и как бы невзначай, взметнула оба сразу прямо вверх, так что они разлетелись в разные стороны, и мне нельзя было поймать их. Движение это сопровождал взгляд, полный безграничной отваги.

Рассказывают об одном французском солдате, участвовавшем в походе на Россию, которому надо было ампутировать ногу вследствие гангрены: когда мучительная операция окончилась, он схватил ногу за ступню и... подбросил ее вверх с криком: «*Vive l'Empereur!*». Такой же вдохновенный порыв охватил и ее, когда, прекрасная и торжественная, бросив оба кольца вверх, она воскликнула про себя: «Да здравствует любовь»! ... Я счел одинаково рискованным и последовать за ней в этом сверхъестественном разбеге ее души, и предоставить ей увлечься этим душевным движением одной: за таким сильным возбуждением следует обыкновенно упадок душевных сил. Потому я счел за лучшее успокоить ее своим равнодушным видом, притворяясь, что ничего не заметил и не понял, и игра продолжалась... — Подобный образ действий придаст ее силам еще большую упругость.

*

Если бы в наше время возможно было ожидать сочувствия к подобного рода исследованиям, я назначил бы премию человеку, сумеющему ответить на вопрос: кто, с эстетической точки зрения, более целомудрен — молодая девушка или новобрачная, несведущая или сведущая, и кому из них можно предоставить поэтому большую свободу?

... Но, увы. Подобные вопросы не занимают никого в наш серьезный век. Вот в Древней Греции такое исследование возбудило бы всеобщее внимание, взволновало бы все государство, особенно — самих молодых девушек и женщин.

В жизни замужней женщины есть две эпохи, когда она бывает интересна — в самой первой молодости и затем много лет спустя, когда сделается гораздо старше. Есть, впрочем, в ее жизни минута, когда она бывает милее, прелестнее молодой девушки, внушает к себе большее уважение. К сожалению, такая минута случается в действительной жизни очень редко, место ей скорее в воображении... Представьте себе женщину — молодую, цветущую, пышную... Она держит в руках ребенка, в созерцание которого ушла всей душой. Это самая чудная картина, для которой только может дать сюжет действительная жизнь, — это какой-то поэтический миф! Но поэтому его и нужно видеть лишь в художественном изображении, а не в действительности.

На этой картине не должно быть других фигур, никаких декораций — все это только мешает впечатлению. В церкви, при крестинах, например, часто можно встретить мать с ребенком на руках, но окружающая обстановка, не говоря уже о раздражающем крике ребенка и о беспокойных лицах родителей, встревоженных мыслью о будущем крикуна, сводит впечатление к нулю... Особенно мешает в этом случае присутствие отца — один вид его уничтожает почти всякую иллюзию, а как увидишь затем (страшно сказать даже) целое войско кумовей и кумушек — что же останется тогда?! Картина же матери с ребенком на руках, рисуемая воображением, прелестна, и, случись мне наблюдать ее в действительности, признаюсь, у меня не хватило бы ни духу, ни безумной дерзости отважиться на эротическое нападение — я был бы обезоружен...

*

Моя душа полна одной Корделией! И все-таки конец близок: мое сердце настойчиво требует новизны. Я уже слышу вдали крик петуха. Может быть, и она слышит

его, но думает, что он возвещает не зарю пробуждения, но зарю новой любви. Зачем девушка так хороша и зачем ее прелесть так недолговечна? Наслаждайся и не рассуждай! Люди, углубляющиеся в подобные размышления, не умеют наслаждаться... Не мешает, впрочем, время от времени подзаниваться подобными вопросами: они нагоняют на тебя меланхолическую грусть, а эта последняя придает мужественной красоте человека особенно выгодный оттенок и является одним из эротических орудий мужчины. Да, раз девушка отдалась — все кончено. К молодой девушке я всегда приближаюсь с каким-то внутренним трепетом... сердце бьется... я чувствую, какая вечная сила вложена в ее существо. Перед замужней женщиной я ничего подобного не ощущаю. Слабый, искусственный отпор с ее стороны не имеет ровно никакого значения в эстетическом смысле, и отступить с большим уважением перед чепчиком замужней женщины, чем перед непокрытой головкой молодой девушки, — бессмыслица. Диана всегда была моим идеалом. Это олицетворение чистой девственности и абсолютной неприступности сильно интересует меня. Тем не менее, я не могу не коситься на нее слегка. Она хорошо знала, что все ее значение в одной девственности, потому и осталась строго целомудренной. Кроме того, мне удалось подслушать в одном таинственном историко-филологическом уголке намеки на то, что и Диана имела представление об ужасных родовых муках, вынесенных ее матерью, и что это обстоятельство испугало ее больше всего. Впрочем, она совершенно права, и я согласен с Эврипидом: лучше три раза побывать на войне, чем один раз родить. Я, конечно, не мог бы влюбиться в Диану, но дорого дал бы за разговор с нею, за основательный разговор, «по душам», что называется. Я уверен, что она очень шаловлива и довольно-таки сведуща! Пожалуй, эта целомудренная богиня куда менее наивна, чем сама Венера, и меня ничуть не манит подсматривать

за ней в купальне. Другое дело — поговорить с ней! Я бы тщательно подготовился к этой беседе и, приступая к ней вооруженный с ног до головы, привел бы в движение все мои эротические силы!

*

Я часто раздумывал о том, какое положение, какую минуту следует считать самой соблазнительной? Ответ зависит, конечно, от того, что соблазняет данного человека, как и каково его эстетическое развитие. Что же до меня самого, то я лично стою за день свадьбы и особенно за известную минуту его. Это минута, когда невеста стоит в своем венчальном наряде, и весь блеск и пышность его бледнеют перед ее красотой, а она сама бледнеет перед чем-то неизвестным, неизведанным, ожидающим ее сейчас, когда сердце ее почти останавливается в груди, взор теряется в пространстве, ножка скользит, когда торжественность положения подкрепляет ее, надежда поднимает на своих крыльях, когда она вся уходит в самое себя, не принадлежа более миру, чтобы принадлежать «ему» одному, когда грудь ее волнуется, слеза дрожит на ресницах, когда загадка готова разрешиться, зажигает факел, и жених ожидает ее! ... Но эта минута так скоро исчезает в вечности; довольно ведь одного шага, и... Да, одного шага; однако и этого иногда достаточно, чтобы оступиться! В такую минуту и незначительная сама по себе девушка проявляет в себе нечто высшее; какая-нибудь Церлина и та становится интересной...

*

Остался ли я в своих отношениях к Корделии верен священным обязательствам моего союза? — Да, т. е. обязательствам союза с эстетикой. Моя сила в том и заключается, что я постоянно остаюсь верен идее. В этом

тайна моей силы, как тайна силы Самсона была в его волосах, но никакой Далиле не вырвать у меня признания. Обольстить девушку попросту, добиться одного физического обладания ею — для такого дела у меня, пожалуй, не хватит энергии и силы характера; лишь мысль о том, что я служу идее, может придать мне силу быть строгим к самому себе, воздерживаться от всякого запрещенного наслаждения и неуклонно идти к цели. Не преступил ли я хоть раз во все это время законов интересного? — Ни разу. Я имею право смело сказать это самому себе. Интересный фон для всех моих действий был набросан уже самой помолвкой; интерес именно в том и заключался, что помолвка эта была лишена того оттенка, который обыкновенно называют интересным, и вследствие этого обстановка ее составила интересное противоречие с ее внутренним содержанием. Если бы наша помолвка оставалась в тайне между мной и Корделией, она бы тоже была интересна, — но уже только в обыкновенном смысле. И вот теперь... союз наш порвется, — она сама его порвет, чтобы перейти границы обыденного и унести в высшие сферы. Так и должно быть: это обещает фазис интересного, и это-то привлекает ее сильнее всего.

16 Сентября.

Узы порвались! Исполненная сладкого желания, силы и отваги, летит она как орлица, только что почувывшая возможность расправить свои молодые крылья. Лети, моя орлица, лети!

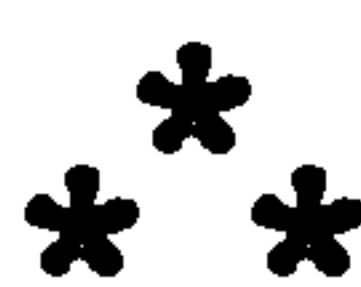
Будь этот царственный полет удалением от меня, я огорчился бы, бесконечно огорчился бы, как Пигмалион, если бы его ожившая статуя вновь окаменела. Я сам сделал Корделию легкой, как мысль, и вдруг эта мысль перестала бы принадлежать мне — было бы отчего сойти с ума! Положим, случись это минутой раньше — ме-

ня оно не тронуло бы, минутой позже — я тоже отнесся бы к этому равнодушно, но теперь! Эта минута значит для меня больше, чем сама вечность! ... Впрочем, ей не улететь от меня. Лети же, моя орлица, лети, несись на своих гордых крыльях, скользи в воздухе! ... Скоро я присоединюсь к тебе, скоро укроюсь с тобой в глубоком уединении!

Тетку несколько озадачило это известие. Она, однако, слишком либеральна, чтобы вздумать неволить Корделию, хотя я — отчасти для того, чтобы окончательно усыпить всякие подозрения, отчасти, чтобы немножко подразнить Корделию — не раз принимался упрашивать ее принять участие в моей беде. Тетушка, впрочем, искренно сочувствует мне, принимает во мне самое горячее участие, нисколько и не подозревая, что я желаю одного — избавиться от всякого участия и вмешательства в мои дела...

*

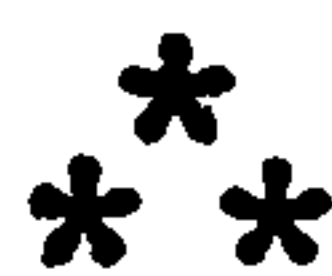
Корделия получила позволение уехать на несколько дней в деревню к своим знакомым. Это превосходно. Ей нельзя, следовательно, будет всецело отдаться своему возбужденному настроению. Совсем же улечься ему не даст некоторое сопротивление извне. Я не перестану поддерживать с нею письменные сношения и постараюсь подкрепить ее, внушая ей несколько эксцентричное презрение к людям и ко всему обыденно-житейскому... И вот наконец настанет день — за ней придет экипаж, и мой верный слуга проводит ее на место свидания... Если я могу кому-нибудь доверить такое важное поручение, так это именно моему Юхану: после себя я не знаю более подходящего человека. Гнездышко же убрано мной самим с большим старанием: все, что только может соблазнить ее душу и убаюкать ее в блаженном сне, все соединено тут, ничто не забыто.



Моя Корделия!

Еще отдельные крики почтенных горожан не слились в общее гоготание capitoлийских гусей, но прелесть ядовитых соло тебе, наверное, уже пришлось отведать. Представь же себе все это собрание мужчин и женщин-сплетниц под председательством дамы, бессмертного создания Клавдиуса, председателя Ларса* в юбке — и вот тебе готовая картина, мерило того, чего ты лишилась, — мнения добрых людей. Я прилагаю при сем знаменитую гравюру, изображающую заседание под председательством этого почтенного Ларса. Отдельно ее нельзя было достать, и я купил весь том, вырвал ее и посылаю тебе. Остальное тебе не нужно — я не смею обременять тебя подарками, не имеющими для тебя никакого значения в настоящую минуту, и напротив, употребляю все усилия, чтобы дать тебе только то, что может доставить хоть минутное удовольствие. Ничего ненужного, ничего лишнего! Неуместная щедрость свойственна лишь природе, — да человеку, рабски связанному узкими житейскими требованиями. Ты же, моя Корделия, — свободна и ненавидишь все подобное! ...

Твой Йоханнес.



Что ни говори, а весна — прекраснейшая пора для любви, осень — лучшее время для того, чтобы стоять у цели своих желаний. Осень проникнута какой-то грустью, соответствующей тому волнению, которое возбуждает в душе сознание, что долго лелеемое желание твое наконец исполнено, и тебе пока нечего более нетерпеливо и страстно ждать... Сегодня я опять посетил дачу, где Корделия найдет обстановку, вполне гармонирующую с ее душевным настроением. Я не хочу приехать

* Клавдиус — немецкий поэт (1740–1815); председатель Ларс — вымышленное лицо, часто фигурирующее в его сочинениях. — Прим. перев.

вместе с ней и разделить таким образом ее удивление и радость при виде всего окружающего: это могло бы ослабить эротическое напряжение ее души. Очутившись там одна, она скорее отдастся мечтам, повсюду увидит намеки и — волшебный мир любви охватит ее своими чарами... Если же я буду стоять рядом, впечатление пропадет — мое присутствие заставит ее позабыть о том, что уже минуло то время, когда мы вместе могли поддаваться обаянию окружающего. Обстановка дачи рассчитана, впрочем, не на то, чтобы наркотически усыпить душу Корделии, которая, напротив, должна почувствовать себя здесь легкой, свободной и понять, что все это — пустяки в сравнении с ожидающим ее впереди... В продолжение нескольких дней, которые остаются еще до ее приезда, я намерен часто посещать этот уголок, чтобы поддержать в себе нужное настроение...

* * *

Моя Корделия!

Теперь я могу назвать тебя моей: ни один наружный признак не напоминает мне более о моем обладании. Да, скоро ты будешь воистину моя! Когда я крепко сожму тебя в своих объятиях, и ты прильнешь ко мне; тогда нам не нужно будет кольца, напоминающего, что мы принадлежим друг другу: сами объятия — не то же ли, что кольцо, только гораздо крепче всякого обыкновенного? И чем теснее, чем плотнее охватит нас это кольцо, тем свободнее будем мы сами. Ведь твоя свобода именно в том, чтобы быть моей, а моя — быть твоим...

Твой Йоханнес.

*

Моя Корделия!

Алфей влюбился на охоте в нимфу Арефузу. Она, однако, не хотела внять его мольбам и все бегала от него, пока, наконец, не превратилась в источник. Алфей так сильно горевал о ней, что сам стал рекою. Но и в новом своем виде он не забыл

своей возлюбленной и под землей соединился с дорогим источником. Миновала ли пора метаморфоз? Миновала ли пора любви? С чем же мне сравнить твою чистую, глубокую, не имеющую ничего общего с этим миром душу, как не с источником? И не говорил ли я тебе, что похож на озеро, влюбленное в тебя? Не бросаюсь ли я теперь, когда мы разлучены, в непроглядную глубину, чтобы вновь соединиться с тобой? — Только там, под покровом непроницаемой тайны, мы можем принадлежать друг другу, как должно.

Твой Йоханнес.

*

Моя Корделия!

Скоро, скоро ты будешь моей! Когда солнце сомкнет свое всевидящее око, когда минет пора историй и начнутся мифы, когда ночь укроет меня своим темным плащом, я поспешу к тебе, прислушиваясь во тьме, чтобы найти тебя, не к звуку твоего голоса, а к биению сердца.

Твой Йоханнес.

* * *

В дни, когда я не вижу с нею, меня тревожит мысль: а что если ей придет в голову подумать о будущем? До сих пор я умел усыплять ее воображение эстетическими грезами и таким образом устранять опасность. По-моему, нельзя представить себе ничего более «неэротического», как эта болтовня о будущем, происходящая от того, что нечем наполнить настоящее, и когда я сам с ней, я умею заставить ее забыть и время, и вечность. Кто же не умеет до такой степени овладеть душой девушки, тот лучше и не пытайся обольстить ее, — он ведь неминуемо наткнется на два подводных камня: вопрос о будущем и религиозную исповедь. Не мудрено, что Гретхен спрашивала Фауста о вере, он ведь неосторожно явился ей в образе рыцаря, а в борьбе с подобным противником девушка пускает в ход и соответствующие требования.

*

Теперь, кажется, все готово к ее приему. Да, у нее не будет недостатка в случаях удивляться моей памяти, моей тонкой предусмотрительности, вернее, не хватит даже времени удивляться. Не забыта ни одна мелочь, которая могла бы иметь для нее значение. Моя заботливая рука видна во всей обстановке, хотя нет и ни одного предмета, который бы прямо указывал на меня. Общее впечатление, однако, вполне зависит от первой минуты. Я позаботился о том, чтоб она получила именно то впечатление, которое нужно: Юхану дана подробнейшая инструкция, а уж он мастер своего дела и сумеет по моему приказанию выронить небрежное замечание, где следует, сумеет и промолчать вовремя, и притвориться незнающим, словом, он незаменим в таких случаях.

Местоположение дачи как раз таково, какого бы пожелала сама Корделия. Посредине зала не видишь в окна никакого переднего плана, взор уходит прямо вдаль, в безбрежное море воздуха, и чувство какого-то грустного одиночества невольно овладевает душой. Немного приблизившись к окнам, различаешь на дальнем горизонте мягкие очертания леса, как венком окаймляющего все видимое пространство... Так и должно быть. Чего желает всегда любовь? — Отгородить себе уголок. Ведь и самый рай был чудесным отгороженным уголком земного шара... Если же подойти к окну вплотную — перед глазами блеснет серебряное озеро, притаившееся около дома; у берега привязан челнок... Один вздох переполненной груди, одно движение взволнованной мысли — челнок отчаливает и скользит по светлomu озеру, мечтающему о глубокой мгле леса. Мягкое веянье сладкого желания гонит челнок... дальше, дальше... наконец ты исчезаешь в уединении темного леса!

Из окон с другой стороны видна бесконечная ширь моря; ничто не останавливает взора, гонимого беспокойной, ничем не сдерживаемой мыслью. Чего жаждет лю-

бовь? — Бесконечного простора. Чего страшится любовь? — Узких границ... За большим залом идет маленькая гостиная или, вернее, будуар, — двойник такой же комнаты в доме Валь. Плетеная циновка покрывает пол, перед диваном чайный стол, на нем лампа, *pendant* к той, которую привыкла видеть Корделия. Словом, все то же, но только немного изящнее, богаче, — такое изменение я считаю вполне уместным. В большом зале стоит фортепьяно, напоминающее фортепьяно Янсена. Оно открыто, на пюпитре развернутые ноты, это шведская песенка. Дверь в коридор будет стоять полуотворенной, так что, когда Корделия войдет через другие двери (об этом позаботится Юхан), она сразу увидит и фортепьяно, и маленькую гостиную... Воспоминание вспыхнет в ее душе. Юхан проводит ее затем в самую гостиную, — иллюзия полная. Она обрадуется, — в этом я уверен, — взглянув же на стол, увидит книгу. Юхан сейчас же возьмет ее, как бы желая убрать, и заметит вскользь: «Должно быть, барин забыл сегодня утром». Тогда она, во-первых, узнает, что я был здесь сегодня, а во-вторых, захочет посмотреть книгу. Это будет немецкий перевод известной сказки Апулея «Амур и Психея»; вещь не особенно художественная, да этого в данном случае и не нужно: предложить девушке при таких обстоятельствах какое-нибудь поэтическое творение — значит почти оскорбить ее. Как будто она сама не обладает достаточной чуткостью души, способностью воспринять всю поэзию своего положения без того, чтобы чужая мысль предварительно переработала и подготовила ей впечатление! ... Вообще на подобные вещи мало обращают внимание, а между тем здесь все играет очень важную роль. Корделия прочтет книгу, и моя цель будет достигнута: дойдя до того места, где остановился последний читатель, она найдет свежесорванную миртовую веточку и поймет, что последняя служит не только... закладкой.

* * *

Моя Корделия!

Чего бояться?! Раз мы держимся друг друга — мы сильны, сильнее всего мира, сильнее самих богов! Ты помнишь, мы читали, что некогда жило на земле поколение, хоть и состоявшее также из людей, но совершенно не похожих на нас. Каждый находил удовлетворение в самом себе, не ища союза любви с родственной душой. Они были могущественны, так могущественны, что даже вздумали взять приступом небо. Сам Юпитер испугался и разделил их так, что из одного стало двое: мужчина и женщина... И если теперь иногда случается, что части, составлявшие некогда одно целое, вновь соединяются в тесном союзе любви, союз этот может заставить трепетать самого Юпитера! Союзники ведь получают силу, не только равную силе одного существа до его разделения; они становятся вдвое сильнее, так как союз любви — нечто высшее.

Твой Йоханнес.

24 Сентября.

Ночь тиха... Три четверти двенадцатого... Все спит безмятежно, только не любовь. Вздыхайте же, таинственные силы любви, соберитесь все в мою грудь! Все молчит... ночная птица бьет крылом, задев в своем низком полете обрызганный росой скат земляного вала... Резкий крик ее будит сонный воздух... И она спешит на свидание... *accipio omen**! Вся природа полна предзнаменованиями! Я вижу их в полете птиц, в их крике, в шаловливых всплесках рыб в озере, в их исчезновении в глубине, в отзвуках городского шума, в едва слышном стуке колес, в шагах, прозвучавших вдали. В этот ночной час мне не мерещатся призраки, я не нахожусь под властью былого, но грядущего; оно таится и в зеркальной груди озера, и в поцелуях росы, и в тумане, охватив-

* Принимаю предзнаменование (лат.).

шем землю своими плодотворными объятиями. Все рисует мне чудную картину, рассказывает волшебную сказку. Я сам становлюсь мифом о самом себе... Да разве все происходящее теперь — не миф? Я спешу на свидание; кто я, что я, — не имеет никакого значения; все конечное, временное исчезло, остается вечное: сила любви, ее желание, ее блаженство! Моя душа напряжена, как натянутый лук, желания лежат в колчане, как стрелы, хотя и не ядовитые, но вполне готовые смешаться с кровью. Я чувствую себя сильным, светлым, всеобъемлющим, как божество! Да, природа создала ее прекрасной. Великое спасибо, тебе, чудная природа! Как мать ты взлелеяла ее. Спасибо за твою заботливость! Благодаря тебе, ее чистая, цельная, глубокая натура ничем не искажена. Спасибо и вам, люди, которым она обязана этим. Эстетическое же развитие ее — моя заслуга, и скоро я получу награду. Сколько сил затрачено мною чтобы подготовить одно мгновение, которое сейчас ожидает меня! ... Смерть и ад, если оно ускользнет от меня! ... Я еще не вижу моего экипажа.

— Но, чу! Слышны удары кнута. Это мой Юхан. Поезжай же, насмерть загони лошадей, пусть они рухнут оземь у крыльца, — только не медли ни одной секунды, пока мы не на месте!

25 Сентября.

Почему не может продлиться такая ночь? Если Электрион забывался, отчего же солнце не может быть так сострадательно? ... Но теперь все кончено, и я не желаю более видеть ее. Раз девушка отдалась — она потеряла всю свою силу, она всего лишилась. Невинность лишь отрицательный момент у мужчины и — суть существа женщины. Теперь сопротивление перестало быть возможным, — оно не имеет больше смысла, а лишь пока существует оно, и прекрасно любить. Как только оно

прекращается, остается одна слабость и привычка. Не хочу никаких напоминаний о моих отношениях к ней; она уже потеряла свой аромат. Да и минули давно те времена, когда обманутая девушка могла превратиться с горя в гелиотроп, я не хочу прощаться с ней: для меня нет ничего противнее женских слез и молений, которые, изменяя все, в сущности ничего не значат. Я любил ее — да, но теперь она не может занимать меня больше. Будь я божеством, я сделал бы для нее то, что Нептун для одной нимфы, — превратил бы ее в мужчину.

Интересно, однако, решить вопрос: нельзя ли так поэтически выбраться из сердца девушки, чтобы оставить ее в горделивой уверенности, что это ей надоели отношения? Решение этого вопроса создало бы довольно интересный эпилог к истории любви, богатый психологическими данными из области эротизма.



**гармоническое
развитие
в человеческой личности
эстетических
и этических начал**

Les grandes passions sont solitaires, et les transporter au désert c'est les rendre à leur empire.
Chateaubriand*

Мой друг!

НЕ раз говорил я тебе и вновь повторяю, вернее восклицаю: выбор необходим, решайся: «или — или», «*aut — aut*»! Бывают, без сомнения, случаи, когда подобный выбор является нелепостью, своего рода безумием, но бывают и люди, душа которых так расслаблена, что они не в состоянии уяснить себе настоящего смысла этой дилеммы: их личному «я» недостает энергии, чтобы они могли решиться на выбор «одного из двух», «или того или другого». На меня же слова «или — или» всегда производили и производят самое сильное впечатление, особенно если я произношу их отдельно, как они есть, без всяких прибавлений: в этом случае является возможность разделить их самыми ужасными противоположностями. «Или — или» звучит для меня поэтому, подобно заклинанию, настраивает душу чрезвычайно серьезно, иногда даже потрясает ее. Мне вспоминаются годы ранней юности, когда, сам еще не сознавая хорошенько, какое значение имеет для человеческой жизни «выбор», я с детской доверчивостью вни-

* Великие страсти требуют одиночества и перенести их в пустыню — значит вернуть в свою стихию. Шатобриан (франц.).

мал речам старших и проникался торжественной важностью минуты выбора, хотя в самом-то выборе и руководился лишь чужим указанием. Вспоминаются мне моменты и из более позднего времени, когда я стоял на распутье, и в душе моей созревало решение; вспоминается и много, много других, хотя и менее важных, но далеко не безразличных случаев в жизни, когда мне также предстоял выбор. Хотя это слово и является в своем истинном, абсолютном значении лишь в том случае, если на одной стороне — истина, справедливость и непорочность, а на другой — извращенные и порочные склонности и страсти, правильный выбор важен и в тех случаях, когда дело идет, по-видимому, о самых невинных предметах, важен в смысле самоиспытания. Следует поэтому всегда выбирать правильно, чтобы не пришлось с горечью душевной возвращаться вспять, да еще благодарить Бога, если придется упрекать себя только за потерю времени. В обыденной речи я употребляю слова «или — или» в том же смысле, как и другие люди, — поступать иначе было бы нелепо и педантично — случается употреблять их даже в самых пустых, безразличных случаях. Стоит, однако, остановиться на них мыслью, чтобы забыть о незначительности разделяемых ими понятий, они как-то мгновенно сбрасывают с себя скрывающий их скромный покров и опять являются в полном своем блеске и величии. В обыденной речи слова «или — или» напоминают вмешавшегося в толпу представителя власти, одетого в гражданское платье, — стоит этому лицу явиться в одежде, присвоенной его званию, и он резко выделится из толпы. Таким представителем власти, которого я привык видеть лишь в торжественных случаях, и являются слова «или — или» после своей метаморфозы — вот почему они и вызывают во мне тогда серьезное настроение. Хотя моя жизнь и опирается уже до известной степени на «или — или», я все-таки уверен, что впереди может представиться еще

много случаев, когда эти слова вновь предстанут передо мною в своем истинном значении. Надеюсь, впрочем, что они не застанут меня врасплох, и что я сумею сделать правильный выбор, во всяком же случае постараюсь отнестись к нему с надлежащей серьезностью и этим облегчить себе возможность скорейшего возвращения с ложного пути.

Ну, а ты? Ты, ведь довольно часто употребляешь эти слова; они даже превратились у тебя чуть ли не в поговорку. Какое же значение придаешь им ты? Никакого! Для тебя они, выражаясь твоим же языком, какой-то мимолетный проблеск, *coup de mains**. Ты умеешь пользоваться ими — и при случае даже не без эффекта — и все-таки они действуют на тебя только, как крепкий напиток на слабонервного: ты пьянеешь от этой — как сам выражаешься — высшей галиматии. Ты говоришь: «В этих словах заключена вся житейская мудрость, и поэтому ни один смертный не выразился так сильно и многозначительно, как один великий мыслитель, житейский философ, устами которого, казалось, вещало в этом случае всему страждущему человечеству какое-то злое божество; мудрец этот изрек человеку, уронившему на пол шляпу: “Поднимешь — побью, и не поднимешь — побью, выбирай”!» И вот тебе доставляет особенное удовольствие утешать людей, обращающихся к тебе за советом и помощью в критические минуты жизни, таким ответом: «Да, теперь я вижу ясно, что вам представляется только два выхода, вы должны решиться или на то, или на другое, но, откровенно говоря, сделаете ли вы то или другое, вы одинаково расклетесь». Издевающийся над ближним издевается, однако, и над самим собою, и подобное отношение к жизни, характеризуемое фразой: «или — или, — безразлично» служит лишь печальным доказательством твоей душевной развинченности. Выра-

* Зд.: авантюра (фр.).

жай эта фраза твое истинное мнение, тогда, конечно, делать нечего, пришлось бы махнуть на тебя рукой, пожалев только, что меланхолия или легкомыслие так истощили твой ум. Убежденный в ином, я принужден, однако, не жалеть тебя, а, напротив, пожелать, чтобы жизнь стиснула тебя покрепче и вызвала наружу то, что таится у тебя внутри, подвергла тебя строгому допросу, от которого ты уже не отвертелся бы пустословием и шутками. «Жизнь — маскарад», — говоришь ты, и эта мысль служит для тебя неисчерпаемым источником забавы. Никому еще, по твоим словам, не удалось познать тебя, твоя откровенность с людьми равносильна каждый раз новому обману, и только таким образом, не позволяя людям теснить тебя, можешь ты жить и дышать свободно. У тебя все направлено к поддержанию твоей таинственности, и, сказать правду, твоя маска загадочнее и непроницаемее всех. Сам по себе ты — ничто, ты существуешь лишь по отношению к другим, являешься тем, чем тебе нужно быть в этих отношениях. Нежную пастушку ты томно берешь за руку, разом входя в роль сентиментального пастушка, почтенного духовного пастыря морочишь братским поцелуем и т. д. Сам по себе ты — ничто, загадочная величина; на челе твоём стоит: *или — или*. «Слова эти, — уверяешь ты, — мой девиз, и вовсе не являются союзом разделительным, как гласит грамматика, а, напротив, должны быть всегда неразрывно связаны между собой и даже писаться слитно, став восклицанием, которое я всегда могу бросить в лицо человеку, как еврею бросают вдогонку кличку: “*her*”»... Несмотря на то, что все эти твои выходки ничуть не затрагивают меня (если не считать того, что они меня справедливо возмущают, я отвечу на них ради тебя самого: разве ты не знаешь, что рано или поздно ударит час полнощный, когда каждый должен сорвать маску? Или думаешь, что жизнь вечно позволит тебе шутить с нею? Или надеешься, что тебе удастся незаметно ускользнуть

незадолго до полночи? Или не страшишься этого часа? Я встречал людей, так долго обманывавших других, что истинная сущность их природы так и осталась тайной для всех; я встречал людей, которые так долго играли в прятки, что наконец дошли до безумия и начали навязывать другим свои сокровеннейшие мысли так же назойливо, как прежде тщательно скрывали их. Можешь ли ты представить себе что-нибудь ужаснее той развязки, когда существо человека распадается на тысячи отдельных частей, подобно рассыпавшемуся легиону изгнанных бесов, когда оно утрачивает самое дорогое, самое священное для человека — объединяющую силу личности, свое единое, сущее «я»? Поистине, тебе не следовало бы шутить с тем, что влечет за собой не только серьезные, но и ужасные последствия. В каждом человеке есть нечто, мешающее ему видеть свою душу насквозь; иногда это нечто разрастается до такой степени и в совокупности с различными лежащими вне воли человека житейскими условиями так запутывает его, что он почти не в состоянии открыть своей души другим; тот же, кто не может открыться перед другими, не может любить и, следовательно, несчастнейший человек в мире. А ты что делаешь? — Шутки ради ты упражняешься в искусстве быть загадкой для всех. Мой юный друг, а что как никому нет дела до твоей загадки, что за радость быть тогда загадочным? Заклинаю, ради тебя самого, ради твоего собственного спасения (так как не знаю ничего гибельнее твоего настоящего душевного состояния), останови свой дикий полет, укроти бушующую в тебе страсть разрушения. Да, ты добиваешься именно этого: разрушить все, насытить свое алчущее сомнение бытием — вот твое желание, твоя цель. Ради этого ты закаляешь себя, ожесточаешь свою душу и охотно признаешься, что не способен ни к чему, что тебе нравится лишь одно — ходить вокруг всего живого, как евреи ходили кругом Иерихона и, трубя в трубы, выжи-

дать всеобщего разрушения. Для чего? Для того, чтобы успокоить свою душу, пробудить в ней отзвук грусти — ведь эхо родится лишь в пустом пространстве.

Таким путем мы с тобой, однако, вряд ли уйдем далеко: моя голова слишком слаба, чтобы устоять, скажешь ты; слишком сильна, чтобы найти удовлетворение в таком кружении в пространстве, — скажу я. Поэтому возьмусь за дело с другой стороны. Представь себе юношу, как раз вступающего в тот возраст, когда жизнь начинает приобретать действительный смысл; представь себе, что этот жизнерадостный, здоровый, чистый, богато одаренный, полный надежд и сам подающий надежды всем, кто его знает, этот юноша ошибся (говорю это с болью сердечной), обманулся в тебе, предположил, что ты — серьезный, богатый опытом человек, способный просветить его относительно загадок жизни, и обратился к тебе со всей трогательною доверчивостью юности. Что ты ответишь ему? Неужели ты ответишь ему: *«или — или, — безразлично»*? Едва ли. Или поступишь, как и вообще имеешь обыкновение поступать в тех случаях, когда люди приходят докучать тебе своими сердечными делами — высунешь голову в окошко и крикнешь: «дома нет»? Или ловко уклонишься от ответа, как всегда уклоняешься от удовлетворения различных просителей и сборщиков церковных податей, отвечая им всем, что ты лишь временный жилец на белом свете, а не коренной обыватель и не отец семейства? Наверное, нет — ты слишком высоко ценишь в людях молодость и даровитость, да и вообще самый случай был бы не из обыкновенных, заурядных — твоя встреча с юношей была бы не простой случайной и мимолетной, так что твоя ирония ничем бы не была возбуждена. Хотя из вас двоих ты был бы и старший, а он — младший, серьезность минуты обуславливалась бы именно им, его благородной молодостью. Не правда ли, ты и сам невольно помолодел бы, — почувствовал бы, как хороша молодость и как

в то же время серьезна ее жизненная задача, почувствовал бы, что человеку действительно предстоит выбор: **или — или**, что отнюдь не безразлично, как употребит человек свою молодость. Ты понял бы также, что главная задача человека не в обогащении своего ума различными познаниями, но в воспитании и совершенствовании своей личности, своего «я». Итак, все твои добрые чувства были бы затронуты и ты постарался бы в своей речи укрепить душу юноши, поддержать в нем веру в жизнь и в собственные силы, научить его ценить время и пользоваться им. Все это ты можешь сделать и при желании сделаешь прекрасно. Слушай же теперь внимательно, молодой человек (тебя все еще приходится называть так, хоть ты и не молод): что же сделаешь ты в таком случае? Ты ведь засвидетельствуешь то, что вообще отрицаешь — значение выбора, и почему? ... — Потому лишь, что твою душу охватило участие к юноше. И все-таки, строго говоря, ты обманешь его доверие: представь себе, что случай столкнет вас вновь в такую минуту, когда тебе вовсе неудобно будет подтвердить свое прежнее свидетельство? Видишь, к каким печальным последствиям приводит человека разлад с самим собою? Ты думал сделать лучше, а между тем, может быть, совсем сгубил юношу; может быть, ему легче было бы устоять перед твоим недоверием к жизни, чем успокоиться в субъективно-ложном доверии к ней, которое ты хотел внушить ему? Представь себе, что ты снова встретишься с ним несколько лет спустя, — он будет по-прежнему жизнерадостен, остер, умен, смел в суждениях, но твой чуткий слух легко уловит в них ноту душевного разлада, ты сразу заподозришь, что и он вкусил от плода двусмысленной жизненной мудрости, что он усвоил себе твой девиз: **«или — или, — безразлично»**. Не правда ли, тебе станет больно за него, ты почувствуешь, что он как будто лишился чего-то очень существенного? А вот за самого себя тебе не больно, ты доволен, даже

гордишься своей двусмысленной мудростью, гордишься до такой степени, что не позволяешь никому разделить ее с собою, желаешь владеть ею один и в то же время искренне жалеешь молодого человека, приобщившегося той же мудрости. Какое чудовищное противоречие! Да и весь ты, все твое существо — одно сплошное противоречие! Освободиться от этого ты можешь лишь посредством выбора: «или — или», и я, исполненный к тебе большего участия, чем ты к упомянутому юноше, я, уже испытавший значение «выбора», радуюсь за тебя, радуюсь тому, что ты еще сравнительно молод и довольно способен, следовательно, если хоть и не воротить прожитое, то, по крайней мере, достигнуть, при желании и энергии, самого главного в жизни — вновь обрести свое единое, цельное «я».

Если бы человек мог постоянно держаться на крайней точке душевного напряжения, мог быть постоянно одинаково готовым к выбору, если бы он мог перестать быть тем, что он есть, т.е. человеком, если бы внутренняя сущность его личности была пустой мечтой, призраком, и, принимая участие в различных движениях души, сама оставалась единой и неизменной, если бы все это было так, то было бы нелепо утверждать, что для человека может настать пора, когда выбирать будет уже поздно, потому что тогда не может больше и речи быть о выборе, в строгом смысле этого слова. Выбор сам по себе имеет решающее значение для внутреннего содержания личности: делая выбор, она вся наполняется выбранным, если же она не выбирает, то чахнет и гибнет. Одну минуту может еще казаться, что выбираемое остается как бы вне самого выбирающего, что душа последнего сама по себе не имеет никакого отношения к предмету выбора и может остаться индифферентной к нему. Минута эта, однако, может существовать лишь в отвлеченном смысле, как момент мышления, а не реальной действительности; поэтому чем дольше останавливаешь-

ся над ней, тем меньше она в строгом смысле существует. Выбираемое находится в самой тесной связи с выбирающим, и в то время, когда перед человеком стоит жизненная дилемма: *или — или*, самая жизнь продолжает ведь увлекать его по своему течению, так что чем более он будет медлить с решением вопроса о выборе, тем труднее и сложнее становится этот последний, несмотря на неустанную деятельность мышления, посредством которого человек надеется яснее и определеннее разграничить понятия, разделенные «или — или». Рассматривая эти слова с такой точки зрения, нелегко впасть в искушение шутить ими: в этом именно случае видно, что внутреннее движение личности не оставляет времени на эксперименты мысли, что личность непрерывно и неудержимо стремится вперед, закладывая по пути основания то тому, то другому, и что, вследствие этого, выбор становится все труднее и труднее, — придется ведь разрушать ранее заложенные основания. Представь себе корабль в ту минуту, когда он должен сделать тот или другой решительный поворот; может быть, кормчий корабля и скажет себе: «Я могу сделать то-то или то-то», но лишь плохой кормчий забудет, что корабль продолжает в это время нестись своим обычным ходом и что поэтому лишь на одно мгновение может быть безразлично, будет ли сделано то или другое. То же самое и с человеком. Если он забудет принять в расчет обычный ход жизни, то наступит наконец минута, когда более и речи быть не может о выборе, не потому, что последний сделан, а потому, что пропущен момент для него, иначе говоря — за человека выбрала сама жизнь, и он потерял себя самого, свое «я».

Из сказанного ты видишь, чем мой взгляд на выбор существенно отличается от твоего, если вообще можно говорить о твоём, который тем и отличается от моего, что вовсе не допускает выбора. Минута выбора имеет

для меня чрезвычайно серьезное значение и не столько в силу строгого размышления о предметах выбора, или в силу обилия мыслей, вызванных каждым из них, но в силу опасения, что в следующую минуту я буду уже не так свободен выбирать, поскольку успею уже пережить кое-что, и это-то пережитое затормозит мне обратный путь к точке выбора. Если кто думает, что можно хоть на мгновение отрешиться от своей личности или возможно действительно приостановить жизнедеятельность личности, тот жестоко ошибается. Личность склоняется в ту или другую сторону еще раньше, чем выбор совершился фактически, и, если человек откладывает его, выбор этот делается сам собою, помимо воли и сознания человека, под влиянием темных сил человеческой природы. Следствием же этого является то, что когда человек решится наконец сделать запоздалый выбор (если только не успеет до этого времени обезличиться окончательно), оказывается, что самому выбору должна предшествовать масса переделок и поправок во внутреннем и внешнем образе жизни человека, а это часто сопряжено с большими затруднениями. В сказках говорится, что сирены очаровывали людей своей демонической музыкой, и для избавления от этих чар очарованный должен был сыграть без ошибки ту же мелодию, но в обратном порядке, т. е. с конца. Способ мудреный, трудно выполнимый, но психологически верный, и ошибочно усвоенное можно удалить лишь подобным же образом, — при малейшей ошибке волей-неволей приходится начинать сызнова. Вот отчего так важно сделать выбор, и сделать его вовремя. Ты, напротив, придержишься иного образа мыслей, и я знаю, что воюя с человечеством, ты выставляешь против него не истинную сущность своей личности. Да, если бы задачей человеческой жизни было размышление, ты был бы близок к совершенству. Поясню примером. Имея в виду тебя, придется, конечно, взять смелые противоположности:

или священник — или актер. Такова дилемма, и вот вся страстная энергия твоей натуры пробуждается, и сторукое размышление схватывается за мысль стать священником. Ты не знаешь покоя, думаешь об этом день и ночь, читаешь по этому предмету всевозможные сочинения, какие только можешь достать, ходишь по воскресеньям в церковь по три раза, заводишь знакомство со священниками, сам пишешь проповеди, произносишь их перед самим собою, умираешь на полгода для всего остального мира. Ну вот ты готов; теперь ты можешь говорить о том, что значит быть священником, с большим знанием и, по-видимому, даже с большей опытностью, нежели человек, сам пробывший в сане священника двадцать лет. Сталкиваясь со служителями алтаря, ты досадуешь, что они не обладают истинным красноречием. «Разве это истинное вдохновение? — говоришь ты. — Я ведь не священник, а в сравнении с ними вещал, как ангел с небеси». Может быть, оно так и есть на самом деле, а ты все-таки не решился стать священником. Теперь ты точно так же носишься с другой задачей, и твое увлечение искусством почти превосходит прежний твой проповеднический восторг. Но вот ты вполне подготовился к выбору. Можно, однако, быть уверенным, что у тебя-таки накопилось кое-что за время этой гигантской умственной работы, накопились масса различных замечаний и наблюдений. В минуту выбора вся эта масса приходит в брожение и выдвигает новое «или — или»: юрист, а может быть, и адвокат? Теперь ты пропал! В то же мгновение ты настолькоходишь в роль адвоката, что можешь доказать себе необходимость предпринять еще и третье испытание. Так проходит вся твоя жизнь. Тратя по полтора года на размышления, тратя по столько душевных сил и энергии, ты не подвигаешься вперед ни на шаг. И вот нить твоих мыслей невольно обрывается, тобой овладевает нетерпение, страсть, ты рвешь и мечешь и продолжаешь: «или цирюльник, или счетчик

в банке, — безразлично». Словом, нечего и изумляться, если слова «или — или» стали для тебя возмутительным соблазном, нелепостью, чем-то вроде рук железной де-вы, объятия которой были смертной казнью. Ты смотришь на людей свысока, насмехаешься над ними, а сам незаметно становишься тем, что больше всего презираешь, — универсальным критиком всех отраслей знания. Иногда я не могу смотреть на тебя без улыбки, и в то же время мне грустно, что твои поистине замечательные дарования расточаются так на ветер. Причиной — то же самое противоречие, составляющее основу твоего существования; ты отлично сознаешь смешную сторону подобного положения, и горе тому, кто, разделяя твою участь, попадетя тебе на зубок, а между тем вся разница между вами лишь в том, что тот человек, быть может, надломлен жизнью и упал духом, ты же, напротив, бодрее и веселее прежнего и утешаешь себя и других изречением: *vanitas vanitatum [et omnia] vanitas**, — ура! Из этого не следует, однако, что ты «выбрал»; ты просто, как говорится, потрянул рукавом — все-де на свете трын-трава! И вот ты чувствуешь себя вольной птицей и говоришь всему свету прости!

*So zieh ich hin in alle Ferne —
Über meiner Mütze nur die Sterne***

Вот каков твой выбор; впрочем, ты и сам готов сознаться, что выбрал не благую часть; собственно говоря, ты совсем не выбирал или выбирал не в истинном смысле слова. Твой выбор — выбор эстетика, не имеющий, в сущности, права называться выбором, так как слово «выбор» выражает само по себе понятие этическое. Строго говоря, всюду, где только идет речь о выборе, там выдвигаются и этические вопросы, и единственный абсо-

* Суета сует [и всяческая] суета (лат.).

** Я прорчусь по самым дальним странам,
Только звезды над моим тюрбаном (нем.). —

Пер. В. Левица.

лютный выбор — это выбор между добром и злом, благодаря которому человек разом вступает в область этики. Выбор же эстетика или совершается непосредственно и потому не выбор, или теряется во множестве предметов выбора. Так, если молодая девушка следует выбору сердца, то как бы ни был прекрасен этот выбор, его нельзя назвать истинным выбором: он совершается непосредственно. Когда человек, подобно тебе, обсуждает жизненные задачи исключительно с эстетической точки зрения, ему нелегко остановить свой выбор на каком-либо одном предмете: перед ним их целая масса, личная же свобода не имеет под собой твердой этической почвы, поэтому и самый выбор является не абсолютным, а лишь относительным, т. е. действительным лишь для данной минуты, и в следующую минуту может смениться другим.

Итак, совершить этический выбор, с одной стороны гораздо легче и проще, а с другой стороны, — бесконечно труднее. Желающий сделать в жизни этический выбор вообще не имеет перед собою такого обилия предметов выбора, как эстетик, зато самый акт выбора приобретает тем большее значение. Я скажу даже (под условием, что ты поймешь меня как следует), что не так важно сделать правильный выбор, как сделать его с надлежащей энергией, решимостью, страстью. В таком выборе личность проявляет всю свою силу и укрепляет свою индивидуальность, и, в случае неправильного выбора, эта же самая энергия поможет ей прийти к осознанию своей ошибки. Искренность выбора просветляет все существо человека, он сам как бы вступает в непосредственную связь с вечной силой, проникающей все и вся. Такого просветления, или духовного крещения не узнать никогда тому, кто выбирает лишь в эстетическом смысле. Ритм его души, несмотря на всю его страсть — лишь *spiritus lenis**.

* Слабый дух (лат.).

Я взываю к тебе со своим «или — или» подобно Катону, — нет, впрочем, не совсем так: моей душе еще недостает того сомоотверженного спокойствия, которым обладал Катон. Знаю, однако, что лишь подобный сильный и энергичный призыв в состоянии пробудить тебя не к деятельности мысли — в этом ты не нуждаешься, — но к серьезной душевной работе. Может быть, тебе и без того удастся достигнуть многого, может быть, тебе удастся даже удивить весь мир (я ведь не скуп), но ты все-таки лишишься самого главного, единственного, что придает человеческой жизни смысл, одним словом: ты, может быть, и обретешь весь мир, но потеряешь себя самого, повредишь душе своей.

Чего я добиваюсь своим «или — или»? Хочу заставить тебя сделать выбор между добром и злом? Ничуть, я хочу только довести тебя до того, чтобы ты воистину понял значение выбора, или чтобы выбор получил для тебя должное значение. Вот в чем вся суть. Лишь бы удалось довести человека до перекрестка и поставить его так, что он принужден избрать какую-нибудь из лежащих перед ним дорог, а там уж он наверно выберет надлежащую. Поэтому если ты, читая мое немного пространное рассуждение, которое я опять посылаю тебе в форме письма, почувствуешь, что минута выбора наступила, не читай дальше, брось — ты ничего не потеряешь, выбирай только, и ты увидишь, что ни одна молодая девушка, последовавшая выбору сердца, не может быть счастливее человека, сумевшего сделать надлежащий выбор в жизни.

Итак, должно выбрать или эстетический, или этический путь в жизни. В первом случае еще нет, однако (как уже сказано выше), и речи о выборе, в истинном смысле этого слова. Тот, кто живет эстетической жизнью, следуя непосредственному влечению своей природы, совсем не выбирает, того же, кто отвергает этический путь жизни сознательно и выбирает эстетический,

уже не живет эстетической, т. е. непосредственной жизнью, а прямо грешит и подлежит поэтому суду этики, хотя к его жизни и нельзя предъявлять этических требований. Этика как *character indelebilis** тем и знаменательна, что, скромно становясь, по-видимому, на одну доску с эстетикой, она тем не менее обуславливает выбор в свою пользу, т. е. обуславливает действительность самого выбора. Грустно поэтому видеть, что многие люди не живут, а просто медленно гибнут душевно, проживают, так сказать, самих себя, не в том смысле, что живут полною, постепенно поглощающею их силы жизнью, нет, они как бы заживо тают, превращаются в тени, бессмертная душа их как бы испаряется из них, их не пугает даже мысль о ее бессмертии,— они как бы разлагаются заживо. Они не живут эстетической жизнью, но и не знают объединяющей сущности этики; нельзя сказать поэтому, чтобы они отвергали этику и таким образом грешили, если не считать грехом их жизненную неопределенность, то, что они в сущности ни то, ни се, ни эстетики и не этики. Они не принадлежат также к числу сомневающихся в бессмертии души, потому что всякий сомневающийся в этом глубоко и искренно, и притом *ради себя самого*, непременно уразумеваает в конце концов истину...

Я сказал: «ради себя самого» и сказал это не даром; давным-давно пора остерегаться той великодушно-геройской объективности, с которою многие мыслители строят свои системы, имея в виду лишь чужое благо, а не свое собственное. Тому же, кто, по поводу высказанного мною суждения упрекнет меня в эгоизме, я отвечу: ваш упрек означает, что вы не имеете никакого представления о личном «я», не понимаете, что мало пользы человеку, если он обретет весь мир, но повредит душе своей и, что плохо то доказательство, которое не убедительно прежде всего для самого доказывающего.

* Неизменный характер; эд.: неизгладимая черта (лат.).

Мое «или— или» обозначает главным образом не выбор между добром и злом, но акт выбора, благодаря которому выбираются или отвергаются добро и зло вместе. Суть дела ведь не в самом выборе между добром и злом, а в доброй воле, в желании выбрать, чем само собой закладывается основание и добру и злу. Тот, кто склоняется в сторону этики, хотя и выбирает добро, но это добро является здесь лишь понятием понятием отвлеченным, так как ему этим выбором полагается лишь одно основание, и ничто не мешает выбравшему теперь добро остановиться впоследствии на зле. Из этого ты опять видишь, насколько важно вообще решиться на выбор; видишь, что вся суть тут не в обсуждении предметов выбора, а в духовном крещении воли человека в купели этики. Чем более упущено времени, тем труднее становится выбор, так как душа все более и более сживается с одною из частей дилеммы, и отрешиться от этой последней становится для нее все труднее и труднее, а между тем это необходимо, если выбор должен иметь мало-мальски решающее значение. Справедливость последнего положения я постараюсь доказать тебе позже.

Ты знаешь, что я никогда не выдавал себя за философа, меньше же всего в беседах с тобой. Часто из желания подразнить тебя, часто потому, что я действительно смотрю на свое положение, как на счастливейшее и исполненное наиглубочайшего значения в свете, я взял за правило говорить всегда от лица семьянина. В самом деле, я не пожертвовал своей жизни на служение науке или искусству, то, чему я отдался, — собственно говоря, мелочь в сравнении с упомянутыми высокими предметами, — я весь отдаюсь своей службе, своей жене, своим детям, но это с моей стороны не жертва, в этом мое наслаждение и радость. Да, все это мелочь в сравнении с тем, чему отдаешься ты, и все же, мой юный друг, остерегайся, не обманись в том великом, чему ты жертвуешь собой. Хотя я, как сказано, и не философ, мне тем не ме-

нее придется выступить здесь с некоторыми философскими рассуждениями, которые прошу тебя не столько критиковать, сколько просто принять к сведению. Конечный результат твоей полемической борьбы с жизнью выразился в молодецком восклицании: «или — или, — безразлично», имеющем странное сходство с излюбленной теорией новейшей философии, утверждающей, что принцип противоположности утратил свое значение. Я хорошо знаю, что основная точка зрения, с которой ты смотришь на жизнь, противна философии, и все-таки мне кажется, что последняя сама повинна в ошибочном воззрении на жизнь. Если же эта ошибка и не бросается всем в глаза сразу, то потому лишь, что философия занимает еще менее верное положение, чем ты. Ты действуешь — философия созерцает. Вступая же в область практической действительности, философия приходит к тому же выводу, что и ты, хотя и выражает это несколько иначе. Ты примиряешь противоположности в своего рода высшую галиматью, философия — в высшее единство. Ты обращаешься к будущему — каждое действие принадлежит, собственно, будущему — и говоришь: я могу сделать то-то и то-то, но что б я ни сделал, путного ничего не выйдет, *ergo* — ничего не буду делать. Философия имеет дело с прошедшим, с прошлым всемирной истории; она показывает, как расходящиеся моменты соединяются в высшем единстве, она примиряет и примиряет без конца. По-моему, однако, она не дает ровно никакого ответа на мой вопрос, — я спрашиваю о будущем — ты же все-таки отвечаешь на него, хотя бы и бессмыслицей. Допустим теперь, что философия права, что принцип противоположности утратил свое значение, или что философы могут примирить в высшее единство противоположности каждого момента. К будущему это, однако, относиться не может, так как противоположности должны существовать прежде, чем можно приступить к их примирению. Раз же противополож-

ности существуют, существует и «или — или», т. е. выбор между ними. Философы говорят: так было до сих пор, а я спрашиваю: что мне делать впредь, если я не хочу быть философом? Я ведь отлично вижу, что, раз захотев стать в положение философа, я кончу тем же, чем и другие философы — стану примирять противоположности прошедшего. Итак, частью потому, что философия до сих пор не дала никакого ответа на мой вопрос (ведь будь я даже гениальнейшим философом в мире, у меня все-таки должна же быть какая-нибудь цель в жизни, кроме созерцания прошедшего), частью потому, что я, скромный семьянин, не имеющий ничего общего с философией, я вновь почтительнейше обращаюсь с моим вопросом к уважаемым представителям науки: что мне делать? Ответа нет по-прежнему: философия занимается прошедшим, и каждый представитель ее так ушел в созерцание этого прошедшего, что «в настоящем остались одни фалды его сюртука», как говорит остроумный поэт об одном страстном любителе древностей. Вот тут-то ты и сходишься с философами: вы как бы допускаете, что ход жизни может остановиться. Для философов всемирная история закончена и подлежит примирению. Оттого-то в наше время и стало заурядным грустное явление встречи молодых людей, способных примирять христианство с язычеством, шутить с титаническими силами истории, и в то же время не только не способных ответить простому человеку на вопрос, что ему делать, но и не знающих, что им делать самим. Ты большой мастер выражаться остроумно и красиво, особенно если дело идет о том, чтобы высказать свой взгляд на жизнь, свое исповедание веры, и я хочу здесь привести одно из твоих выражений, показывающее, как много у тебя, в сущности, сходства с новейшими философами, — хотя их настоящее или напускное достоинство и не позволяет им принять участие в восторженном полете твоей фантазии.

Если тебя спрашивают, согласен ли ты подписаться под адресом королю, вотировать конституции, подоходный налог, принять участие в том или другом филантропическом предприятии — ты неизменно отвечаешь: «Почтенные современники, вы плохо понимаете меня! При чем тут я? Я знать вас не знаю! Я совсем в стороне, как маленькое испанское “s”». Так и философ, его нет здесь, он знать никого не знает, сидит себе и слушает песни о былом, внимает гармонии примирения.

Я уважаю науку и ее представителей, но и жизнь ведь имеет свои требования; я еще мог бы затрудниться составить свое мнение о единичном гениальном представителе науки, с головой ушедшем в прошлое, — при виде же сотен молодых людей, подражающих ему, раздумывать долго не приходится: ясно, что не все они обладают философскими головами, а между тем все погружены в излюбленную философию времени или, как я охотнее назвал бы ее, излюбленную философию юношей нашего времени. Я предъявляю к философии одни лишь вполне законные требования, которые имеет право предъявить всякий, кого она не смеет лишить этого права по причине полного отсутствия в нем умственных способностей; я семьянин, у меня есть дети и от имени моих детей я спрашиваю, что делать человеку? как жить? Ты, может быть, улыбнешься; философы же из подростков уж наверно ограничатся одной улыбкой в ответ на этот вопрос отца семейства, а я скажу все-таки, что молчание философии является в данном случае уничтожающим доводом против нее самой. Разве ход жизни приостановился? Разве современное поколение может жить одним созерцанием прошлого? Что же в таком случае будет делать следующее поколение? Тоже созерцать прошедшее? Да ведь предшествующее (т. е. наше) поколение, занимаясь также одним созерцанием прошлого, не произвело ничего, не оставило по себе ничего, подлежащего созерцанию и примирению! Вот еще

новое доказательство того, что ты стоишь на одной доске с философами, а я еще раз могу заявить вам, что вы утратили самое главное, высшее в жизни. Воспользуюсь своим положением семьянина, чтобы яснее выразить тебе свою мысль: если бы женатый человек стал утверждать, что самый совершенный брак есть брак бездетный, он впал бы в ту же ошибку, что и философы. Такой человек возводит себя в абсолют, тогда как, напротив, каждый семьянин должен считать себя не более, как моментом, продолжающимся в детях, и такой взгляд будет гораздо справедливее.

Но я, пожалуй, зашел уже чересчур далеко, углубился в чужую область: во-первых, я ведь не философ, во-вторых, вовсе не задался целью трактовать выдающиеся явления времени; я хотел только побеседовать с тобой лично, и притом так, чтобы ты все время чувствовал, что я говорю именно с тобою. Раз затронув, однако, вопрос о философском примирении противоположностей, я постараюсь несколько пообстоятельнее развить свой взгляд на это примирение. Может быть, изложение мое и не будет особенно блестящим, зато оно будет серьезным, а это в данном случае главное, — я не претендую на конкуренцию с философами, но раз взявшись за перо, постараюсь при его помощи отстоять то, за что в жизни борюсь иными лучшими средствами.

Как нет сомнения в том, что каждого человека ожидает свое будущее, так нет сомнения и в том, что каждому человеку предстоит выбор: «или — или». Время, в котором живет какой-нибудь философ, не есть абсолютное время, оно само не более, как момент вечности, и бесплодность философии является поэтому дурным признаком, даже больше — таким же позором для нее, каким считается на Востоке бесплодие для женщины. Итак, самое время есть момент, а жизнь философа не более, как момент времени. Наше время явится также отдельным моментом для будущего, и философы этого

будущего, занимаясь примирением нашего времени с их временем и т. д., будут стоять на вполне законной почве. Если же философия нашего времени стала бы смотреть на наше время как на время абсолютное, это было бы не более, как случайной ошибкой с ее стороны. Нетрудно, следовательно, видеть, что идее абсолютного примирения нанесен чувствительный удар, и что абсолютное примирение возможно не ранее, чем история закончит свой ход, иначе говоря, что вся система находится еще в непрерывном развитии. Единственное, на что может претендовать философия, это на признание нами возможности абсолютного примирения, и это для нее, без сомнения, вопрос крайней важности: отвергая возможность примирения, мы отвергаем и смысл самой философии. Признать возможность абсолютного примирения довольно рискованно: раз признав ее, нельзя уже настаивать на существовании абсолютного выбора, т. е. абсолютного «или — или». Вот в чем вся трудность решения этого вопроса, которая, впрочем, обуславливается, по моему, в значительной степени тем, что смешивают две совершенно различные сферы: мышление и свободу воли. Для мысли не существует непримиримых противоположностей, — одно переходит в другое и затем сливается в высшее единство. Свобода же воли именно выражается в исключении одной из противоположностей. Я отнюдь не смешиваю *liberum arbitrium* с истинной положительной свободой, так как даже последняя постоянно имеет вне себя зло, хотя бы и в виде неосуществимой возможности, — и совершенствуется не восприятием зла, но исключением его, исключение же и есть противоположность примирения... Из всего вышесказанного не следует, впрочем, что я признаю существование абсолютного зла, доказательства чему приведу позже.

Сферами деятельности философии, т. е. сферами, с которыми приходится иметь дело человеческой мысли, являются собственно: логика, природа и история. В них

властвует закон необходимости, и примирение получает поэтому известный смысл и цель, — с таким положением согласны почти все, когда дело идет о первых двух сферах, т. е. о логике и природе, относительно же третьей принято вообще утверждать, что в ней царствует свобода.

Мне кажется, однако, что такой взгляд на историю неправилен и порождает различные недоумения и затруднения. История не создается исключительно свободными действиями свободных индивидуумов. Индивидуум действует, — но это действие подчинено общему порядку вещей во вселенной; последствий данного действия не может с точностью предвидеть и сам действующий индивидуум. Этот же общий порядок вещей, который, так сказать, перерабатывает в себе свободные деяния людей и подводит их под вечные законы вселенной, есть необходимость, и составляющая импульс всемирной истории. Вот почему философия, если и имеет вообще право применить к области истории принцип примирения, то лишь относительно, но не абсолютно. ... Разбирая жизнь какого-нибудь исторического лица, приходится считаться с деяниями двух различных родов: с принадлежащими лично ему самому и принадлежащими истории. До первых, внутренних деяний человека философии, собственно, нет дела, а между тем, ими-то, в сущности, и ограничивается область свободы в истории. Философия занимается лишь внешними, да и то не отдельными, а уже воспринятыми и переработанными общим историческим процессом человеческими деяниями; этот-то процесс собственно и является предметом философских рассуждений, рассматриваемых философами с точки зрения необходимости. Исходя из нее, философы и отвергают умозрения, допускающие возможность иного порядка вещей, нежели существующий, т. е. отвергают, следовательно, и возможность существования какого-либо *или — или*.

Во всех этих рассуждениях много, конечно, пустой и ненужной болтовни — так, по крайней мере, кажется мне; сами же юные заклинатели духов всемирной истории просто комичны; это не мешает мне, однако, отдавать справедливость некоторым великим философским творениям нашего времени. Как уже сказано выше, философия рассматривает историю с точки зрения необходимости, а не свободы, поэтому, если и принято называть общеисторический процесс свободным, то лишь в том же смысле, как и органические процессы природы. Для исторического процесса действительно не существует вопроса о каком-либо «или — или», и, тем не менее, никому из философов не придет, я думаю, в голову отрицать, что вопрос этот всегда существовал и существует как личный вопрос, для каждого отдельного индивидуума. Беспечное же и миролюбивое отношение философии к истории и ее героям тем и объясняется, что философы рассматривают жизнь и деяния последних именно с точки зрения необходимости. Тем же объясняется и неспособность философии пробудить жизненные силы человека, заставить его действовать, и склонность ее замедлять, тормозить ход жизни отвлеченными рассуждениями. Одним словом, философия требует, в сущности, чтобы мы действовали только в силу необходимости, что само по себе уже есть противоречие.

Итак, жизнь каждого, даже самого ничтожного, индивидуума как бы раздваивается, делится на внутреннюю душевную и на внешнюю, и общая история его жизни — которую опять-таки имеет каждый индивидуум — является результатом не одних только свободных его деяний. Внутренняя, душевная жизнь индивидуума принадлежит ему одному, и никакая история, в частности, никакая всемирная история вообще не должна касаться этой области, составляющей на радость или на горе его вечную и неотъемлемую собственность. В этой-то именно области и царствует абсолютное *или — или*, но ею-то

как раз философия и не занимается. Если человек на склоне лет начинает размышлять о своей полной внешних бурь и треволнений прошлой жизни, он может мысленно примирить все ее противоречия; история его собственной внешней жизни находилась в связи с общей историей его времени. Что же касается до его внутренней жизни, то все ее противоположности и противоречия остаются по-прежнему разделенными «или — или», как и в тот момент, когда ему действительно предстоял выбор. Если здесь, таким образом, и может быть речь о каком-либо примирении, то лишь об известном примирении совести с совершенными деяниями, под условием раскаяния. Но раскаяние не есть примирение, разумемое философией, — оно не желает мирного согласования рассматриваемых противоположностей и противоречий, но, напротив, жаждет коренного уничтожения каких-либо из них, иными словами, раскаяние — прямая противоположность примирению. Из того, что я стою за реальность раскаяния, и видно, что я не допускаю существования абсолютного зла.

Ты, пожалуй, согласишься со всем вышесказанным, хотя во многих отношениях и сходишься с философами (исключая, конечно, те случаи, когда позволяешь себе насмеяться над ними), — и тем не менее подумаешь, может быть, что лишь я как женатый человек могу удовлетвориться вышесказанным для своего домашнего обихода. Откровенно говоря, я и удовлетворяюсь этим; желал бы я, однако, знать, чья жизнь выше: философа или свободного человека? Если философ — только философ, — всецело погружен в свою философию, связан ею по рукам и ногам и совершенно не знает блаженства душевной свободы, то он лишен самого высшего в жизни; он, может быть, обретет весь мир, но потеряет себя самого, повредит душе своей, чего никогда не случится с человеком, живущим во имя свободы, сколько бы этот последний ни терял в других отношениях.

Борясь за свободу (отчасти в этом письме, главным же образом внутренне, в душе своей), я борюсь за будущее, за выбор: «или — или». — Вот сокровище, которое я намерен оставить в наследство дорогим мне существам на свете. Да, если бы мой маленький сын был теперь в таком возрасте, что мог бы понимать меня, а я был бы при смерти, я сказал бы ему: «Я не завещаю тебе ни денег, ни титула, ни высокого положения в свете, но я укажу тебе, где зарыт клад, который может сделать тебя первейшим богачом в мире; сокровище это принадлежит тебе самому, так что тебе не придется быть за него обязанным другому человеку и этим повредить душе своей; это сокровище скрыто в тебе самом, это — свобода воли, выбор: “или — или”; обладание им может возвеличить человека превыше ангелов».

Здесь я прерву свое рассуждение. По всей вероятности оно не удовлетворяет тебя; твой жадный взор только пожирает его, но не насыщается, — впрочем, глаза ведь редко бывают сыты, в особенности, если человек, подобно тебе, страдает не от действительного голода, а от суетного и ненасытного желания.

Итак, мое «или — или» увлекает человека в область этики. Здесь, тем не менее, еще нет речи о самом выборе или о действительности выбранного, но лишь о действительности акта выбора. В этом-то последнем, однако, и вся суть, на это то именно я и хочу обратить твое внимание: это пункт, с которого должна начаться самостоятельная работа человека; здесь кончается роль помощника-проводника. В предыдущем письме* было замечено, что любовь придает существу человека известную гармонию, которая уже никогда не покидает его всецело; в этом письме я прибавляю, что выбор высоко подымает душу человека, сообщает ей тихое внутреннее довольство, сознание собственного достоинства, которые также

* Статья «О браке» того же автора — Прим. перев.

никогда не покинут ее всецело. Есть люди, считающие для себя величайшим счастьем встречу лицом к лицу с какой-нибудь исторической личностью и навсегда сохраняющие впечатление этой встречи; историческая личность остается жить в их душе как высокий идеальный, облагораживающий душу, образ. Как, однако, ни знаменательна минута подобной встречи, она ничто в сравнении с минутой истинного выбора. В эту минуту кругом воцаряется тишина, подобная величавому безмолвию звездной ночи, душа остается наедине с собой, уединяется от всего мира и созерцает в отверстых небесах — не великий человеческий образ, но нечто высшее, не доступное обыкновенному взору смертного, созерцает самое Вечную Силу, животворящую все и вся, личность же в эту минуту выбирает, или, вернее, определяет себя. Эту минуту можно сравнить с торжественной минутой посвящения оруженосца в рыцари — душа человека как бы получает удар свыше, облагораживается и делается достойной вечности. И удар этот не изменяет человека, не превращает его в другое существо, но лишь пробуждает и конденсирует его сознание и этим заставляет человека стать самим собой. Как наследник хотя бы всех сокровищ мира, не может вступить во владение ими ранее своего совершеннолетия, так она — не выберет, т. е. не определит самое себя; с другой стороны, даже самая ничтожная, по-видимому, личность — все, если она сделала этот выбор: суть не в том, чтобы обладать тем или другим значением в свете, но в том, чтобы быть самим собою. Последнее же — в воле каждого человека.

Итак, ты должен теперь ясно видеть, что суть дела не в том, чтобы выбрать что-либо — одним из двух предметов выбора является эстетический взгляд на жизнь, т. е. индифферентизм, — но в самом акте выбора и притом выбора абсолютного, так как лишь таковым обуславливается выбор человеком этического направления в жизни. Отсюда, впрочем, не следует, что из жизни человека

исключается все эстетическое: если благодаря выбору этического направления личность и сосредоточивается в самой себе и, тем самым, как бы отвергает эстетическое начало, то лишь в смысле абсолютного содержания жизни, относительное же значение эстетическое начало должно и будет иметь всегда. Яснее: решаясь на абсолютный выбор, личность выбирает этическое направление и этим исключает из своей жизни эстетическое начало как абсолютное ее содержание; но так как выбирая, личность не превращается в другое существо, а лишь определяет самое себя, то ничто и не мешает эстетическому началу сохранить свое относительное значение в жизни. Мое «или — или» может, следовательно, назваться понятием абсолютным лишь в известном смысле постольку, поскольку оно решает вопрос: выбирать или не выбирать. Если же выбор является выбором абсолютным, т. е. выбором между добром и злом, то и «или — или» является абсолютным в истинном смысле, обусловливаемом самым актом выбора. Этого последнего выбора (между добром и злом) я здесь касаться не буду, а постараюсь только, во-первых, довести тебя волей или неволей до решения (притом в утвердительном смысле) вопроса: выбирать — или не выбирать, т. е. до сознания необходимости выбора; во-вторых же, рассмотреть жизнь с этической точки зрения. Я не принадлежу к числу этиков-ригористов, требующих формальной абстрактной свободы: раз выбор сделан, относительное значение эстетического начала восстанавливается само собой, так что решишь только на выбор, и ты сам увидишь, что это единственное средство сделать жизнь действительно прекрасной, единственное средство спасти себя и свою душу, обрести весь мир и пользоваться его благами без злоупотребления.

Что же, однако, значит: жить эстетической жизнью и жить этической жизнью? Что может назваться в человеке эстетическим и что этическим началом? Отвечу: эстетическим началом может назваться то, благодаря че-

му человек является непосредственно тем, что он есть, этическим же — то, благодаря чему он становится тем, чем становится. Человек, живущий исключительно тем, благодаря тому и ради того, что является в нем эстетическим началом, — живет эстетической жизнью. В мои намерения вовсе не входит подробное разбирательство многосложной и многосторонней жизни эстетика, — ты сам такой виртуоз-эстетик, что это совершенно лишнее; я постараюсь только отметить некоторые наиболее выдающиеся категории эстетиков, чтобы таким образом добраться до основной точки, на которой вертится все твое мировоззрение, и помешать тебе ускользнуть от меня раньше времени неожиданным прыжком в сторону, до чего ты такой охотник. Я, впрочем, не сомневаюсь, что в состоянии дать тебе немало ценных указаний относительно того, что значит жить эстетической жизнью; мало того, считая тебя опытным руководителем, способным посвятить новичка во все тонкости искусства жить эстетической жизнью, я не посоветовал бы никому обратиться к тебе за истолкованием самой сущности эстетической жизни: ты слишком втянулся в эту жизнь, истолковать же ее сущность может лишь тот, кто сам стоит на высшей ступени, т. е. живет этической жизнью. У тебя может явиться искушение поймать меня на слове, заявив, что я в таком случае не могу дать удовлетворительного разъяснения сущности этической жизни. Это даст мне, однако, лишь повод к следующим разъяснениям. Причина, по которой эстетик не в состоянии дать надлежащего разъяснения эстетической жизни, та, что он живет минутой, а потому и компетентность его ограничена узкими пределами одной минуты. При всем этом я вовсе не отрицаю, что эстетик, стоящий на высшей ступени эстетического развития, может обладать богатыми и многосторонними душевными способностями; напротив, эти способности должны даже отличаться у него особенной интенсивностью; тем не менее, им недо-

стает надлежащей самостоятельности и ясности. (Здесь кстати будет упомянуть о некоторых животных, чувства которых развиты гораздо выше, чем у человека, но зато связаны животным инстинктом).

Возьмем в пример тебя самого. Я никогда не отказывал тебе в выдающихся душевных и умственных дарованиях, это видно, например, из моих постоянных упреков тебе за злоупотребление ими. Ты богато одарен природой, ты остроумен, тонкий ироник и диалектик, ты совершенно изучил искусство наслаждения жизнью, умеешь пользоваться минутой, ты чувствителен, бессердечен — все, смотря по обстоятельствам, но при всем этом ты живешь минутой, твоей жизни недостает основной связи, и ты не в состоянии дать относительно ее надлежащего разъяснения. Итак, всякий, желающий постигнуть искусство наслаждения, нимало не ошибется, обратившись к тебе, тогда как желающий уяснить себе смысл и значение эстетической жизни — напротив. Обратившись ко мне, такой человек будет, пожалуй, скорее удовлетворен, несмотря на то, что я далеко не так даровит, как ты. Дело в том, что ты связан самой жизнью своей по рукам и ногам, я же свободен, как в определении этической, так и этической жизни: живя эстетической жизнью, я стою выше минуты. Даже самому малоспособному и незначительному человеку на свете присуще естественное стремление составить собственный взгляд на жизнь, уяснить себе ее смысл и цель. Эстетик в этом случае не исключение; взгляд же его на жизнь лучше всего резюмируется общим девизом эстетиков всех времен и родов: «Нужно наслаждаться жизнью».

... У каждого, разумеется, могут быть различные понятия и представления о наслаждении, с основным же положением и необходимостью наслаждения в жизни согласны все. Условия для такого наслаждения, однако, находятся обыкновенно не в самом желающем наслаждаться жизнью, а вне его или, если и находятся в нем,

то все-таки не зависят от него самого... Прошу тебя особенно заметить последнюю фразу, — я недаром обдумал и взвесил в ней каждое слово.

Займемся же теперь, как сказано, кратким обзором различных категорий эстетиков. Ты, впрочем, вероятно, недоволен тем общим определением эстетической жизни, которое я только что дал; отрицать его справедливость ты, тем не менее, конечно, не вздумаешь. Впол-не понятно, что ты негодуешь на такое приобщение тебя к презираемым тобою профанам — я сам слышал не раз твои язвительные насмешки над людьми, не умеющими наслаждаться жизнью, самого себя ты, напротив, всегда причислял к первейшим мастерам этого искусства, и в качестве такового рассчитывал, пожалуй, на особенную любезность с моей стороны. Возможно, конечно, что ты прав, и те профаны, с которыми ты не желаешь иметь ничего общего, действительно не умеют наслаждаться жизнью; тем не менее я принужден причислить тебя с ними к одной категории: у вас есть нечто общее — взгляд на жизнь, и это нечто настолько существенно, что небольшое различие в остальном не может иметь почти никакого значения. Право, нельзя не рассмеяться над твоим положением, мой юный друг, — тебя преследует какое-то проклятие: на каждом шагу ты встречаешь таких сотоварищей по искусству, с которыми не желал бы и знаться; ты, такой аристократ в искусстве наслаждения, поминутно попадаешь в такую дурную компанию! Да, в высшей степени неприятно, если жизненные воззрения человека ставят его на одну доску с первым встречным кутилой или спортсменом. Если и не приходится сказать того же о тебе, то потому лишь, что ты в известном смысле стоишь на высшей ступени эстетического развития. Что это так, докажу позже.

Как ни разнообразны различные категории эстетиков, все они имеют между собой то существенное сходство, что непременным условием принадлежности к каждой

из них является не сознательное умственное или душевное развитие человеческой личности, а непосредственность. Разница в умственном отношении между эстетиками различных категорий может таким образом быть очень велика, — среди них могут встретиться и образцы полнейшего скудоумия и гениальнейшие умы, но даже и в этих последних случаях ум имеет значение не сам по себе, а как непосредственный дар.

Как уже сказано, я ограничусь лишь кратким обозрением всех упомянутых категорий и займусь подробнее тем, что так или иначе можно применить к тебе или что я желал бы заставить тебя применить к себе. Непосредственность человеческой личности лежит не в ее духовной природе, но в физической. Отсюда взгляд на здоровье как на величайшее благо в жизни. Более поэтический, но однородный с первым взгляд: «Выше всего на свете красота»; красота, однако, вещь очень непрочная, и потому этот взгляд не так популярен. Тем не менее, довольно часто можно встретить молодую девушку или юношу, ставящих выше всего на свете свою красоту; жаль только, что она скоро изменяет им! Я, впрочем, могу отыскать в своей памяти живой пример необыкновенно удачного применения этого взгляда к жизни. Студентом мне приходилось проводить каникулы в имении, в семействе одного графа. Граф, бывший дипломат, был уже не молод и жил в имении на покое. Графиня отличалась в молодости замечательной красотой, да и в то время, когда я знал ее, была еще очень хороша собой. Граф в свои молодые годы также имел огромный успех у женщин благодаря своей мужественной красоте; при дворе надолго сохранилась память о блестящем камер-юнкере, каким он был в те времена. Прожитые годы не сгорбили стройного стана, и благородная величественная осанка еще более усиливала его красоту. Знавшие их обоих в молодые годы уверяли, что они были красивейшей парочкой в мире, и я, узнавший их уже в

довольно почтенном возрасте, находил это вполне естественным — они и до сих пор представляли красивейшую чету, какую я только когда-либо видел. И граф и графиня были очень образованы, и тем не менее основой жизненного воззрения графини было убеждение, что они с мужем — красивейшая чета во всей стране. Я живо помню случай, когда она высказала это убеждение мне лично. В одно воскресное утро в деревенской церкви происходило какое-то торжество. Графиня чувствовала себя не совсем хорошо и осталась дома, а граф в своем камергерском мундире, увешанный орденами, отправился на празднество. Окна большой залы как раз выходили в аллею, ведущую к церкви, и графиня, одетая в изящное утреннее платье, остановилась у одного из них. Я осведомился о ее здоровье, а затем мы разговорились о предстоящем на другой день катании на лодке. Вдруг в конце аллеи показался граф; графиня умолкла, и лицо ее все преобразилось; никогда еще не казалась она мне такой красавицей, как в эту минуту. Когда граф приблизился, она грациозно послала ему из окна воздушный поцелуй, затем повернулась ко мне и сказала: «Не правда ли, мой Дитлев все еще первый красавец в королевстве? Я-то вижу, что у него одно плечо немного ниже другого, но это совсем незаметно, когда я иду с ним под руку, и мы с ним все-таки самая красивая парочка в стране!». Шестнадцатилетняя невеста не могла гордиться и любоваться своим юным возлюбленным более, чем ее сиятельство своим пожилым камергером.

Представители обоих упомянутых взглядов (люди, признающие высшим благом здоровье и придающие то же значение красоте) сходятся в том, что жизнью нужно наслаждаться; условия же, благодаря которым они могут наслаждаться жизнью, хотя и находятся в их физической природе, но не зависят от них самих. Далее. Встречаются люди, желающие наслаждаться жизнью, но могущие достигнуть желаемого лишь благодаря таким ус-

ловиям, которые находятся совершенно вне их самих. Таковы, например, люди, смысл и цель в жизни для которых в богатстве, власти, почестях... К этой же категории можно отнести, в известном смысле, и влюбленных.

Представим себе молодую девушку, влюбленную до безумия; ее взор ищет только милого сердцу, ее мысль занята им одним; ее сердце бьется лишь для него; она не знает другого желания как только принадлежать ему; ничто, кроме него, ни земное, ни небесное не имеет для нее значения; она также стремится к наслаждению, но условия для этого не в ней самой. Ты, без сомнения, находишь такую любовь глупою и думаешь, что она встречается лишь в романах; возможно, однако, что в глазах других людей такая любовь — нечто удивительно прекрасное. Ниже я объясню тебе, почему я не могу одобрить такой любви. Далее. Есть люди, наслаждающиеся жизнью благодаря условиям, находящимся в их духовной природе, но по существу своему не зависящим от них самих. Смысл и цель жизни для таких личностей в их таланте. Один обладает талантом математическим, другой коммерческим, третий поэтическим, четвертый художественным, пятый философским и т. д. Некоторые при этом удовлетворяются тем непосредственным талантом, который вложен в них самой природой, другие стараются развить, усовершенствовать его, наслаждение жизнью, однако, для тех и для других обуславливается тем, что по самому существу своему не зависит от них, — природным талантом. Люди этой категории часто служат мишенью для твоих насмешек за свою лихорадочную деятельность, ты не признаешь в них собратьев-эстетиков. Не подлежит никакому сомнению, что у тебя совершенно иной взгляд на наслаждение жизнью, но суть дела не в этом, а в том, что и ты, и они требуете от жизни наслаждения. Твоя жизнь как будто гораздо выше, ближе к идеалу эстетической жизни, чем их, но их жизнь зато гораздо невиннее твоей.

Все перечисленные категории сходны между собой тем, что жизнь всех людей, принадлежащих к той или иной из них, имеет известную основную объединяющую идею, которая и мешает этим людям разбрасываться. Последним же как раз страдает жизнь эстетиков—аристократов, гордящихся богатством и разносторонностью своей натуры; этой-то именно категорией эстетиков я и займусь теперь подробнее. Эстетики последней категории понимают под наслаждением жизнью удовлетворение всех своих желаний; желаний, однако, у них так много, и притом самых различных, что, благодаря этому, жизнь их просто поражает своей безграничной разбросанностью. Встречаются, впрочем, и между ними люди, в жизни которых с детства преобладает одно определенное желание, обратившееся, так сказать, в страсть, например, в страсть к учению, к охоте, к спорту и т. п., но речь теперь не о них, а о первых. Так как воззрение на жизнь этих людей лишено необходимой цельности и определенности и потому не может быть названо сознательным воззрением личности, то его и приходится назвать воззрением рефлексивным; что же касается содержания или значения самой личности этих людей, то оно заключается опять-таки в их непосредственности. Такие люди всегда непосредственны во всех своих желаниях, как бы утончены и прихотливы эти последние ни были: живя лишь данной минутой, эти люди, несмотря на богатство и многосторонность своей натуры, живут именно непосредственной жизнью. Жить исключительно ради удовлетворения своих желаний, конечно, очень заманчиво в глазах большинства, но, к счастью, очень трудно осуществимо на практике вследствие различных жизненных условий, принуждающих человека заботиться совершенно об ином. Я говорю, к счастью, потому что иначе нам, пожалуй, часто пришлось бы присутствовать при самых ужасных зрелищах: ведь жалобы большинства людей, сетующих на то, что они по-

давлены прозой жизни, в сущности ничто иное, как замаскированное желание сбросить с себя регулирующее их страсти ярмо жизни. Итак, жить исключительно ради удовлетворения своих желаний могут лишь те избранные, на долю которых выпадает счастье или вернее несчастье быть независимыми от всех забот житейских. Выражение «несчастье» здесь более уместно потому, что такое счастье ниспосылают людям скорее злые, чем добрые боги. Редко, разумеется, можно встретить людей, которым удалось осуществить свою мечту — жить исключительно ради исполнения своих желаний — в грандиозных размерах; зато людей, раздражаемых маленькими удачками, сколько угодно; такие люди только и твердят, что во всем виноваты внешние условия жизни, что не будь этой помехи, они бы достигли цели своей жизни — непрерывного наслаждения. Всемирная история богата подобными примерами. Считая полезным рассмотреть внимательнее, к чему может привести человека стремление жить исключительно ради удовлетворения своих желаний в том случае, когда окружающие его условия жизни благоприятствуют осуществлению этого стремления, я возьму крупную историческую фигуру Нерона, могущественного повелителя Рима, перед которым падал ниц, ожидая его повелений, весь мир. Ты раз как-то со своей обычной смелостью заметил, что Нерону нельзя ставить в вину сожжения Рима ради удовлетворения желания иметь понятие о пожаре Трои; что можно только спросить, был ли он действительно настолько художником в душе, чтобы как следует насладиться этим зрелищем. В данном случае мы имеем дело с одним из твоих цезарских удовольствий — никогда не отступать ни перед какою мыслью, не бояться довести до конца никогда и никакую; для этого не нужно ни преторианцев, ни золота, ни серебра, ни других сокровищ мира, удовольствию этому можно предаваться и втихомолку, наедине с самим собою, что, хотя и благоразумнее, но не

менее ужасно. Я знаю, что ты не имел в сущности намерения оправдывать Нерона; раз, однако, ты сосредоточиваешь свое внимание не на том, что он творил, а на том, как он творил, это уже смахивает на оправдание. Мне известно также, что подобная смелость мысли, часто вообще встречаемая у молодых людей, не что иное как примерная проба сил, при которой они иногда и впадают в излишнюю экзальтацию, особенно в присутствии посторонних слушателей. Знаю я и то, что ты, как и я, как и сам Нерон даже, ужасаешься его чудовищности, и тем не менее я не посоветовал бы никому полагаться на свои силы настолько, чтобы не страшиться одной мысли сделаться Нероном самому. После того, как я определю свой взгляд на сущность души Нерона, ты, может быть, и удивишься снисходительности моего определения; я, однако, вовсе не так снисходителен, хоть и не склонен также излишне осуждать человека. Мое определение, несмотря на свою кажущуюся снисходительность, будет лишь справедливо, и к тому же покажет, насколько вообще близок к искушению каждый из нас, если не живет невинною жизнью дитя. Сущность души Нерона — меланхолия. В наше время меланхолия считается высоким чувством, и потому нечего удивляться, если мое определение покажется тебе слишком снисходительным; я же держусь учения древней церкви, причислявшей уныние и меланхолию то же, к числу смертных грехов. Если я окажусь прав, это, конечно, будет для тебя весьма неприятным открытием, опрокидывающим все твое мировоззрение. Из предосторожности добавлю, что если человек вообще и не властен избежать печали и горя, обусловливаемых различными, преследующими его иногда без конца, житейскими испытаниями, то в меланхолию он все-таки впадает исключительно по собственной вине.

Вернемся же теперь к цезарю — сластолюбцу. Ликторы предшествуют ему не только тогда, когда он поднимается по ступеням трона или направляется в сенат, но

даже тогда, когда он идет удовлетворять свои страсти, — они идут вперед и прокладывают дорогу его преступлениям. Но вот он становится старше; беспечность юности отлетела от него, душа изведала все наслаждения и пресытилась ими. Прожитая жизнь, как бы порочна она ни была, умудрила его известным опытом и знаниями, и тем не менее в душе он остался ребенком, или, вернее, юношей, благодаря непосредственности своей натуры. Сознание его не может пробиться сквозь броню непосредственности, и он тщетно старается уяснить себе иную высшую форму земного бытия. Уясни себе это Нерон, и блеск трона, власти, могущества — все померкло бы в его глазах. Для этого, однако, у него недостает нравственных сил, и он в отчаянии хватается за наслаждение. Весь мир должен изощрять свою изобретательность, чтобы постоянно предлагать ему новые и новые наслаждения: он отдыхает душой лишь в минуту наслаждения; стоит наслаждению прекратиться, и он опять задыхается от истомы. Сознание между тем по-прежнему стремится освободиться от лежащего на нем гнета, но без успеха, — его постоянно обманывают наслаждениями. Тогда сознание омрачается, гнев переполняет душу и переходит в трепет, не стихающий даже в минуты наслаждения. Вот почему взор Нерона так мрачен, что никто не может его выдержать, так зловещ, что все перед ним трепещут. За этим взором таится душа, окутанная таким же зловещим мраком. Этот взор — взор цезаря, и потому перед ним трепещут все; внутри его самого, однако, тот же трепет. Посмотрит ли на него ребенок как-нибудь особенно пристально, бросит ли на него случайный взгляд кто-нибудь другой, и Нерон уже трепещет, точно чувствуя, что каждый человек, в сущности, сильнее его. Сознание рвется на свободу, требует от Нерона работы мысли и душевного просветления, но душа цезаря уже бессильна, и новый приступ гнева овладевает ею. Нерон не уверен в самом себе и успокаивается лишь то-

гда, когда весь свет лежит перед ним во прахе, и он не видит, не читает ни в одном взоре желанья посягнуть на его свободу. Вот чем объясняется человекобоязнь Нерона и всех подобных ему. Он, как одержимый бесом, лишен внутренней душевной свободы и в каждом человеческом взоре видит стремление поработить его. Повелитель Рима страшится поэтому взора последнего раба. Встретив такой взор, глаза цезаря пожирают дерзновенного. Рядом с цезарем стоит услужливый негодяй, он понимает дикий взор повелителя, и участь несчастного решена. Убийство не отягощает совести Нерона, зато душевный трепет его еще увеличивается. Одни лишь наслаждения доставляют ему минутный отдых и забвение. В погоне за ними он сжигает пол-Рима, но душа его по-прежнему терзается муками страха. Скоро для него остается лишь один род высшего наслаждения — вселять страх в других. Сам себе загадка, полный непреодолимого внутреннего трепета, он хочет быть загадкой и для всех, хочет наслаждаться всеобщим трепетом перед собой. Вот откуда эта непостижимая улыбка цезаря... К его трону подходят приближенные, он ласково улыбается им, но их охватывает ужас: может быть, в этой улыбке — их смертный приговор, может быть, пол уйдет из-под их ног, и они рухнут в пропасть! К его трону подходит женщина; он милостиво улыбается ей, а она между тем полумертва от страха: своей улыбкой он, может быть, отмечает в ней новую жертву своего сладостолубия. И этот страх радует его: он не хочет, чтобы его уважали, он хочет, чтобы его боялись! Он не выступает гордым, могущественным Цезарем, он едва тащится медленной неровной поступью, но эта немощность только увеличивает всеобщую панику. Он выглядит умирающим, еле дышит, и все же он — повелитель Рима, властелин жизни и смерти своих подданных! Его душа расслаблена, только соль остроумия и игра слов могут еще на минуту оживить его. Но вот все, что в состоянии дать

ему мир, исчерпано; чем же ему жить теперь? Он способен заставить убить ребенка на глазах матери, если бы надеялся, что зрелище ее отчаяния будет для него невиданной новинкой. Не будь он повелителем Рима, он бы, пожалуй, давно готов был сам покончить с собой; самоубийство есть, в сущности, воплощено — в иной только форме — желания Калигулы отрубить голову всему человечеству.

Не знаю, была ли у Нерона еще одна черта, которую часто можно встретить у подобных ему людей, известного рода добродушие. Если да, то окружающие, без сомнения, называли ее приветливостью. Личность Нерона дает нам, таким образом, понятие о странной причинной связи между непосредственностью и меланхолией: в то время как все сокровища вселенной не в состоянии доставить его пресыщенной душе ни малейшего наслаждения, какое-нибудь самое ничтожное обстоятельство, слово, наружность человека и т. п. может привести его в неопиcуемый восторг — он радуется, как дитя. И всех подобных Нерону людей можно сравнить с детьми: они именно дети по нетронутой, непроясненной мыслью непосредственности своей натуры. Сознательно развившаяся личность не может уже радоваться таким образом: она перестала быть ребенком, хотя, может быть, сохранила некоторые его душевные черты. В общем Нерон — отживший старик, в отдельных же случаях — дитя.

Здесь я прерву свой очерк, заставивший меня — надеюсь и тебя также — серьезно призадуматься. Да, Нерон страшен и теперь, по смерти своей: при всей своей порочности, он плоть от плоти, кость от костей наших, даже в нем, в этом изверге, найдется много человеческого: Во всяком же случае я набросал этот очерк не для того только, чтобы занять твое воображение, — я принадлежу к числу писателей, заискивающих подобным образом у читателя (меньше же всего желаю я заискивать у тебя), я даже совсем не писатель, как ты знаешь, и

взялся за перо лишь ради тебя. Я набросал этот очерк также не для того, чтобы дать нам обоим повод фари-сейски благодарить Бога за то, что Он создал нас не таковыми... Во мне этот набросок пробудил, как сказано, совсем иные мысли, и если я и благодарю Бога, то за то, что моя жизнь была до сих пор чужда особым тревогам, за то, что я видел все подобные ужасы лишь издали и теперь — счастливый семьянин. Что же касается тебя, то я радуюсь, что ты еще достаточно молод для того, чтобы извлечь из этого наброска кое-какую пользу для себя, научиться чему-нибудь. Пусть каждый учится, чему может, мы же с тобой постараемся научиться тому, что несчастье человека совсем не в том, что он не обладает всеми внешними условиями жизни, и что обладание этими условиями сделало бы его, напротив, вконец несчастным.

Что же такое меланхолия? — Истерия духа. В жизни каждого человека рано или поздно настает момент, когда непосредственность, так сказать, теряет свое главное жизненное значение, и дух стремится проявить себя в высшей форме сознательного бытия. Непосредственность, как цепь, привязывала человека ко всему земному, теперь же дух стремится уяснить себя самого и извлечь человеческую личность из этой зависимости, чтобы она могла сознать себя в своем вечном значении. Если этот переход от бессознательной непосредственности к сознательному просветлению чересчур замедляется — человеком овладевает меланхолия. Что ни делай после того, как ни старайся забыться, работай, развлекайся — хотя и более невинными способами, чем Нерон — меланхолия остается. В ней есть что-то необъяснимое. Человек, подавленный горем или тяжелыми заботами, знает, чем он огорчен или озабочен, но спросите меланхолика, что гнетет его, и он ответит: «Сам не знаю, не могу объяснить». В этой-то необъяснимости и лежит бесконечность меланхолии. Меланхолик ответил совершенно правильно, так как осознанный человек причину своей ме-

ланхолии, она была бы уже уничтожена. Этим меланхолия и отличается от обыкновенной грусти или скорби человеческой, которая отнюдь не уничтожается и не уменьшается от того, что человек сознает ее причину. Меланхолия — грех, именно грех, *instar omnium*^{*}, отсутствия сознательной воли, то есть такое душевное состояние, при котором человек и сам не знает, чего он хочет или не хочет: грех, мало того, из грехов грех. И вот этот-то душевный недуг, или вернее грех, — самое обычное явление времени, особенно заметное в Германии и во Франции, где падают под его тяжестью целые поколения молодежи. Я не хочу раздражать тебя и охотно соглашаюсь, что в известном смысле меланхолия не совсем дурной признак, так как поражает обыкновенно наиболее богато одаренные натуры. Не стану также досаждать тебе предположением, что всякий страдающий несварением желудка тоже может вследствие этого называться меланхоликом, как это часто случается в наше время, когда меланхолия вменяется чуть ли не в достоинство, за которым гоняются все. Я скажу лишь, что тот, кто считает себя особенно одаренным природой, должен помириться и с той ответственностью, которую я на него поэтому налагаю, т. е. с тем, что он может оказаться много виновнее, чем другие, не столь даровитые люди. И пусть он не видит в этом унижения своей личности, а пусть, напротив, научится с истинным смирением преклоняться перед Вечной Справедливостью. Итак, меланхолия будет угнетать человека до тех пор, пока упомянутый переход от бессознательной непосредственности к высшему сознательному развитию личности не будет совершен. После же этого меланхолия исчезает навсегда, хотя легко может случиться, что жизнь обрушит на того же самого человека целый ряд различных горестей и несчастий; ты знаешь, однако, что в этом отношении я меньше всех придерживаюсь убогого умствования, проповедующего

* Заменяя все (лат.)

людям, что мало толку предаваться горю и печали, что лучше стряхивать их с себя как лишнее бремя. Я бы стыдился себя самого, если б осмелился обратиться с подобным увещеванием к человеку в горе. От меланхолии не всегда, впрочем, свободны даже и те люди, в жизни которых упомянутый переход совершается вполне спокойно и естественно. Причину меланхолии таких людей надо искать значительно глубже; она обуславливается первородным грехом и заключается в том, что человек никогда не может проникнуть в самую сущность своей природы, никогда не может вполне постигнуть самого себя. О людях, не имеющих никакого понятия о меланхолии и не имеющих, следовательно, понятия о возможности и сущности самой метаморфозы, я и говорить здесь не буду, — я пишу только о тебе и для тебя.

Полагаю, что мое объяснение сущности и причин меланхолии удовлетворяет тебя, так как ты навряд ли согласишься с мнением многих докторов, утверждающих, что причины меланхолии чисто физические; будь это так, они могли бы, казалось, исцелять страждущих ею... в том вся и суть, что меланхолия — болезнь духа, и исцеляется лишь силою духа, одержавшего победу над сковывавшей его стремления непосредственностью, которая является выражением плотской природы человека... Торжество духа ведет к тому, что все мелочные заботы и печали человека — недовольство жизнью, тоскливое сознание ненужности и бесполезности своего существования — все исчезает само собой; раз человеческая личность осознает свое вечное и неизменное значение, она осознает и свое значение в земной жизни...

Надеюсь, ты простишь мне это маленькое отступление от главного предмета нашей беседы — я позволил себе его, имея в виду твою же пользу. Возвращаюсь теперь к людям, видящим смысл и цель жизни в непрерывном наслаждении. Человек, обладающий обыкновенной житейской мудростью, легко поймет, что подоб-

ное воззрение весьма трудно применимо на практике и поэтому не станет останавливаться на нем. Утонченный же эгоист также увидит, что в большинстве случаев самая суть наслаждения ускользает от него; и вот создается новое воззрение, учащее, что следует наслаждаться не тем, что обуславливает данное наслаждение, но самим собою в положении наслаждающегося. Это уже воззрение высшего порядка, и тем не менее оно не затрагивает сущности самой личности, которая по-прежнему сохраняет всю свою непосредственность — да и условия для наслаждения по-прежнему находятся вне самого человека: для того, чтобы наслаждаться самим собою в положении наслаждающегося, нужно все же привести себя в это положение, что опять-таки зависит от различных внешних условий. Вся разница между таким утонченным эпикурейцем и обыкновенным эстетиком в том, что первый наслаждается до известной степени сознательно, тогда как последний — непосредственно; зависимость же обоих от внешних условий по отношению к возможности наслаждаться одинакова. Как избавиться от этой зависимости? На помощь является новое воззрение, которое учит людей искать наслаждение в возможно большем уничтожении внешних условий, от которых оно зависит. Из чего, однако, опять следует, что наслаждение наслаждающегося собой благодаря уничтожению внешних условий, зависит от того, насколько ему удастся уничтожить эти условия. И это еще не все: благодаря тому, что мышление такого человека вертится исключительно на нем самом и не в состоянии содействовать развитию личности, а наслаждение обуславливается возможно малым содержанием того же самого наслаждения, — этот человек как бы выдалбливает самого себя.

Полагаю теперь, что вышеприведенные рассуждения довольно ясно — по крайней мере, для тебя — очертили область эстетических воззрений на жизнь. Общее сходство их в том, что все они требуют для человека такой

именно жизни, которая обуславливается непосредственной сущностью его природы и вполне соответствует ей, так как мышление никогда не подымается выше уровня этой непосредственности, и единственным объектом его остается физическая жизнь данного человека. Я дал тут, разумеется, лишь беглый обзор этих эстетических воззрений, не входя в подробное разбирательство их сущности и различий, — я имею главным образом в виду переход от эстетической непосредственности к этическому сознанию, и на этот-то предмет я и прошу тебя обратить особенное внимание.

Положим, что человек, живший исключительно ради своего здоровья, даже и «умирая» (говоря твоим языком), «был здоровее, чем когда-либо»; положим, что прекрасная графская чета танцевала на своей золотой свадьбе, вызывая такой же восторг восхищения, каким сопровождалось их появление в бальном зале в самый день их бракосочетания; положим, что любитель золота собрал неисчислимы сокровища, что честолюбец добился самых высоких почестей, что молодая девушка соединилась со страстно любимым человеком, что коммерческий гений опутал торговой сетью все части света и забрал в руки биржи всего мира, что изобретатель перекинул мост с земли на небо; положим, что Нерон никогда не задыхался от истомы, но каждую минуту находил все новые и новые наслаждения, что утонченный эпикуреец постоянно открывал случай наслаждаться самим собой, что циник довел число внешних условий, от которых зависит его наслаждение жизнью, до минимума, предположим все это; какой же вывод должны мы сделать? Все эти люди наслаждаются жизнью? — Вряд ли ты согласишься с таким выводом; почему, объясню позже; ты охотно согласишься только, что многие люди сделали бы этот вывод, и что нашлись бы даже и такие, которые, воображая, что изрекают невесть какую мудрость, прибавили бы, что единственное, чего всем этим счастливым не-

достаёт, — это умения ценить свое счастье. Сделаем теперь как раз обратное предположение, т. е. положим, что ни один из упомянутых людей не достиг желаемого. Вывод: всеми ими овладело отчаяние. С этим ты тоже навряд ли согласишься; пожалуй даже скажешь, что им вовсе не из-за чего было и приходить в отчаяние. Почему ты держишься такого мнения, я тоже объясню позже, а теперь лишь установлю наше согласие относительно того, что большая часть людей нашла бы в данном случае достаточные основания для отчаяния.

Разберем же эти основания. Не заставит ли этих людей прийти в отчаяние то, что они убедились в суетности своих желаний, в суетности того, на чем они основывали свою жизнь? Какое же, однако, основание приходить в отчаяние от того, что суетное оказалось суетным? Разве в самой сущности суетного произошло в данном случае какое-нибудь серьезное изменение? Напротив, оно произошло бы, если бы это суетное не оказалось суетным в действительности. Отчаиваться, таким образом, этим людям нечего, ничего нового в их положении не произошло; если же они, тем не менее, отчаиваются, то причину их отчаяния и надо искать в отчаянии же, — в том отчаянии, в котором они находились и прежде, и всегда. Разница между их прежним положением и настоящим лишь та, что прежде они не признавали своего отчаяния, а теперь сознают, но это разница чисто случайная. Оказывается, следовательно, что эстетическое воззрение на жизнь — всех сортов и степеней — есть, в сущности, своего рода отчаяние; оказывается, что человек, живущий эстетической жизнью, живет сознательно или бессознательно в отчаянии. Раз, однако, человек живет в отчаянии сознательно, — как ты, например, — переход к высшей форме бытия является по отношению к нему безусловным требованием.

Здесь я опять позволю себе небольшое отступление, так как хочу объяснить неодобрение, высказанное мной

по поводу безумно страстной любви молодой девушки. Делаю я это во избежание каких бы то ни было недо-разумений: ты ведь знаешь, что я в качестве женатого человека, напротив, готов при каждом удобном случае и письменно и устно отстаивать *raison d'être* любви. Человек с обыденным житейским умом, пожалуй, постиг бы всю непрочность такой любви и формулировал бы свое жалкое мудрствование таким образом: лучше любить помаленьку, да подольше. Подобная мудрость, однако, куда менее прочна и уж во всяком случае куда более ничтожна, чем самая любовь молодой девушки, и ты, разумеется, понимаешь, что мое неодобрение ни в каком случае не может вытекать из подобных соображений. Для того, чтобы объяснить это неодобрение, мне приходится отважиться на крайне трудный для меня эксперимент мысли: предположить, что я сам сделался предметом такой любви. Как сказано, мне в высшей степени затруднительно представить себя в таком положении: я полюбил лишь раз и навсегда, продолжаю быть неизмеримо счастливым любовью моей подруги жизни и потому даже представить себе не могу никакой иной любви; тем не менее попытаюсь. Итак, меня полюбили безумной страстной любовью. Что же, я был бы счастлив? — Нет, я бы даже не принял такой любви и не потому, что пренебрег бы ею — избави Бог! я бы скорее решился взять на душу убийство, чем пренебречь любовью молодой девушки; я просто не допустил бы молодую девушку полюбить меня такою любовью и не допустил именно ради ее самой. Я желаю быть любимым, если возможно, всеми людьми, желаю быть любимым своею женой так горячо, как только один человек может любить другого, я даже страдал бы, если бы она любила меня меньше, но большего я не требую. Я не могу позволить молодой девушке забыть себя самое, повредить своей душе из-за любви ко мне. Я сам бы любил ее слишком горячо, чтобы позволить ей так унижить свое человеческое до-

стоинство. А между тем действительно находятся такие высокомерные люди, которым льстит быть любимыми такою безграничною, безумною, готовою на все унижения любовью. И они мастера добиваться ее. Чем, однако, они оправдают свое поведение? Сама девушка бывает в большинстве случаев жестоко наказана за свое увлечение, поэтому я и не сужу ее так строго, как этих гнусных развратителей ее души и сердца. Теперь ты понимаешь, почему я сказал, что упомянутая молодая девушка живет в отчаянии. Ее положение будет одинаково отчаянным как в случае неудачи, так и удачи: будет ведь чистой случайностью, если любимый ею человек окажется настолько честным, что поможет ей высвободиться из ее ложного положения. И какие бы жестокие средства он ни употребил для этого, я все-таки скажу, что поступил он с нею как честный, добросовестный и сердечный человек, как истый рыцарь!

Ясно, таким образом, что эстетическое воззрение на жизнь, к какому бы роду и виду оно ни принадлежало, сводится в сущности к отчаянию; не менее ясно, казалось бы, и то, что человеку следует на этом основании перейти к этическому воззрению. Мы еще не рассмотрели, однако, самого утонченного и высшего из всех эстетических воззрений, которым я и займусь теперь подробнее: теперь очередь дошла ведь до тебя. Это воззрение равняется сплошному отчаянию; к числу же эстетических, из которых оно является крайним, его нужно причислить потому, что придерживающаяся его личность сохраняет всю свою непосредственность; я назвал его крайним еще и потому, что в него входит до известной степени сознание его ничтожности. Отчаяние отчаянию, как известно, рознь. Представим себе, что какой-нибудь артист, художник, например, ослеп; может быть, он и придет от этого в отчаяние, особенно, если вся его жизненная сущность исчерпывается одним художественным талантом. Причина отчаяния тем не менее еди-

ничная, и стоит устранить ее, возвратит ему зрение, и отчаяние исчезнет. С тобой не то; ты слишком богато одарен природой, жизненная сущность твоя обладает слишком глубоким содержанием, чтобы твое отчаяние могло обуславливаться чем-либо подобным. Ты действительно обладаешь всеми внешними условиями для того, чтобы позволить себе держаться эстетического воззрения на жизнь: ты богат, независим, здоров, умен и не испытал еще несчастной любви. И все-таки твоя жизнь выражает одно отчаяние. Оно еще не проявляется пока активно, но пассивно, в мыслях твоих живет давно. Твоя мысль предупреждает твои действия, она уже предвидит всю суетность и тлен того, до чего ты еще, собственно, и не дошел по опыту. Погружаясь время от времени в суету мира, предаваясь в отдельные минуты наслаждению, ты, однако, постигаешь своим сознанием всю его сущность и потому всегда живешь как бы вне себя, т. е. живешь в отчаянии; последнее же приводит к тому, что жизнь твоя представляет вечное колебание между двумя крайними противоположностями: сверхъестественной энергией и полнейшей апатией.

Я часто замечал, что чем дороже напиток, которым опьяняет себя человек, тем легче последний втягивается в его употребление, тем прекраснее само опьянение и тем, по-видимому, менее пагубны его последствия. Чрезмерное употребление водки скоро дает себя знать такими ужасными последствиями, что на исправление пьяницы можно еще надеяться. Отказаться от опьянения шампанским уже неизмеримо труднее. Ты же выбрал для себя самый утонченный напиток, потому что какой другой напиток, кроме отчаяния, производит опьянение, которое бы было так прекрасно само по себе и так красило человека, особенно в глазах девушек (это тебе отлично известно) и особенно в тех случаях, когда этот человек обладает искусством сдерживать дикие порывы своего отчаяния, так что люди видят на его лице лишь слабое

зареву пожирающего его душу пламени. Отчаяние молодецки заламывает на голове человека шляпу, окрыляет поступь, зажигает гордый блеск в его глазах, трогает высокомерной улыбкой уста, сообщает человеку необыкновенную жизненную легкость и царственный кругозор. И вот такой человек приближается к какой-нибудь молодой девушке; гордое чело склоняется перед ней одной в целом мире, — это льстит ей и, к сожалению, почти всякая из них настолько неопытна, что верит этому притворному поклонению.

Вот каково твое жизненное воззрение, и, поверь мне, многое в твоей жизни станет тебе ясным, если ты согласишься со мной, что оно выражает в сущности отчаяние мысли. Ты враг жизненной действительности, и не мудрено: для того, чтобы она обрела смысл, жизнь человека должна иметь внутреннее содержание и связь, — а этого-то как раз и недостает твоей. Правда, ты занимаешься наукой, искусствами, и даже иногда прилежно занимаешься, но все это лишь ради себя самого, наука же и искусство тут только-только не для отвода глаз. Большею частью ты однако совершенно празден, стоишь себе на торжище, заложив руки в карманы, как евангельские работники, и посматриваешь на мир Божий. Ты как бы застыл в своем отчаянии, ничто не занимает тебя, ничто не в состоянии расшевелить тебя; «вались хоть все черепицы с крыш, я не сойду с места», — говоришь ты. Ты похож на умирающего, и умираешь день за днем, хотя и не в том глубоком серьезном значении, в каком вообще понимается это слово; иначе говоря, жизнь потеряла для тебя действительный смысл, и ты «ведешь счет времени лишь по дням платежа за квартиру». Ты все пропускаешь мимо себя без внимания, но вдруг тебя заденет какая-нибудь идея, приключение, улыбка молодой девушки, и ты «готов»; насколько прежде ты во всех случаях оказывался «ни при чем», настолько ты теперь во всех отношениях «при всем», готов принимать

участие во всех событиях. Но вот порыв проходит, и ты опять стоишь и зеваешь на перекрестке. Умирующие проявляют, как известно, необыкновенную энергию — ты в этом отношении именно такой умирающий. Нужно ли развить идею, прочесть сочинение, осуществить план, пережить маленькое приключение, даже купить шляпу — ты берешься за дело с необычайной энергией и работаешь день, два, месяц, — смотря по обстоятельствам, — с радостью ощущая в себе еще не тронутые запасы сил, работаешь без отдыха, без перерыва, «сам черт не угонится за тобой», а не то что люди. Проходит однако месяц, самое большее полгода, и ты бросаешь все, говоря: «будет с меня». Если в работе участвовали другие, они могут теперь продолжать дело, как знают; если же дело касалось тебя одного, оно так твоим и останется, ты не обмолвишься о нем никому ни словом. Ты воображаешь при этом и стараешься уверить других, что мог бы продолжать работу с тем же рвением, если бы захотел только, — вся суть, дескать, в том, что тебе не хочется больше. Жестоко ошибаешься. Вся суть в терпении и выдержке, и притом совсем иного рода, нежели те, которыми располагаешь ты. Ты только обманываешь себя самого и оттого не становишься впредь ни опытнее, ни умнее. Зная вообще непостоянство и склонность к заблуждениям человеческого сердца, — в особенности, если человек обладает такой диалектической изворотливостью, как ты (диалектика не только снабжает человека «индальгенциями», но даже прямо сглаживает и стирает все проступки), — я надеюсь услужить тебе следующим маленьким указанием. В тех случаях, когда мне предстоит решиться на такой шаг, относительно которого у меня могут в будущем возникнуть различного рода недоумения или сожаления, я беру свою записную книжку и вношу туда краткое, но точное объяснение данного шага, поясняя: чего именно я хотел, что сделал и почему. Случись мне впоследствии надобность в проверке или

возобновлении в памяти мотивов и обстоятельств упомянутого шага, я вынимаю свое письменное свидетельство и вызываю себя на суд. Ты пожалуй найдешь это педантичным, утомительным, скажешь, пожалуй, что «игра не стоит свеч» и т. д. В ответ на это я замечу только: если ты не чувствуешь никакой потребности в подобной проверке, если сознание твое всегда безошибочно и память никогда не изменяет, то, конечно, не стоит. Я однако не думаю, чтобы все это было так. Из всех душевных качеств тебе недостает как раз памяти, – не той внешней памяти, которая сохраняет в себе отпечатки различных явлений, идеи, остроты, диалектические извороты и т. д., этого я не скажу, — но внутренней, сохраняющей впечатления душевной жизни. Будь у тебя эта последняя память, в твоей жизни не повторялось бы одно и то же явление: ты не представлял бы из себя так часто «деятеля на полчаса», как я позволю себе назвать тебя: несмотря на то, что ты работаешь иногда и по полугоду, ты ведь не доводишь до конца ни единого из своих трудов; тебе бы только пустить людям в глаза пыль своим прилежанием и обмануть себя и других. Будь ты всегда так силен, как в минуты страстного увлечения, ты был бы, не стану отрицать, сильнейшей натурой, какую я когда-либо встречал, но ты и сам знаешь, что это, к сожалению, не так, а потому и стараешься отступать, точно прячась от себя самого, в убежище апатии. Да, на мой взгляд (тебе не всегда удастся обмануть его зоркость), ты бываешь просто смешон со своим получасовым усердием; в котором ты мнишь обрести право для насмешек над другими.

Вот послушай-ка кстати историйку. — Двое англичан отправились раз в Аравию за лошадьми и взяли с собой туда несколько своих, чтобы испытать их качества в сравнении с арабскими. Таким испытанием должны были послужить скачки английских и арабских лошадей. Арабы были не прочь и предоставили англичанам на-

значить на испытание любую из арабских лошадей. Англичане однако не торопились, им нужно было сорок дней на тренировку своих лошадей. Арабы ждали; срок истек, англичане назначили приз, день и час скачек, и вывели своих лошадей, арабы сели на своих, и один из них спросил, сколько времени будут продолжаться скачки. «Час», — ответили ему. «А я думал, три дня!» — лаконично удивился араб. Так вот и ты: если с тобой хотят скакать один час, о! тогда сам черт не угонится за тобой, а вот «три дня», ты и спасуешь. Эту историйку я уже рассказывал тебе однажды и помню, как ты ответил мне, что трехдневные скачки — дело рискованное: пожалуй так раскачешься, что и не остановишься в век, а потому ты и воздерживаешься от подобных экстравагантностей. ... «Иногда, конечно, я не прочь проехать верхом, но ни поступать в кавалерию, ни отдаться другой какой-либо постоянной деятельности не имею ни малейшего желанья», — добавил ты. Таким образом, ты до известной степени всегда верен себе: ты боишься всего, что может внести в твою жизнь определенное, постоянное содержание. Почему? — Потому что это лишило бы тебя возможности обманывать себя самого. Итак, сила твоя — сила отчаяния; она интенсивнее обыкновенной человеческой силы, но зато и куда менее устойчива.

Ты постоянно как бы паришь над самим собой и всей действительностью, витаешь в высших сферах, но тончайший эфир, наполняющий эти сферы и уничтожающий твою земную тяжесть, есть, в сущности, хаос отчаяния. Внизу ты различаешь множество отраслей знания, искусств, ученых исследований и положений, которые, хотя и не имеют для тебя никакого реального значения, но которыми ты все-таки не прочь иногда воспользоваться; перемешав и перетасовав их по своему произволу, но с большим вкусом, ты украшаешь ими роскошное палаццо, в котором, по прихоти случая, обитаешь духом. Нечего и удивляться, что жизнь для тебя не более, как

сказка, и что тебе всякую речь хочется начать словами: «Жили-были царь с царицей, у которых не было детей», чтобы затем забыть о самом предмете разговора, вдавшись в обсуждение того странного обстоятельства, что в сказке причиной горя является бездетность, тогда как в действительной жизни таковой причиной бывает обыкновенно чадородие: доказательство — воспитательные дома, приюты для подкидышей и т. д. Привязавшись к мысли о том, что «жизнь есть сказка», ты можешь употребить целый месяц исключительно на чтение и изучение сказок; ты изучаешь их самым добросовестным образом, сравниваешь, отыскиваешь основную идею каждой, достигаешь известных результатов... но для чего? — Для того, чтобы иметь возможность потешить себя при случае великолепным фейерверком из всех этих изучений, метких сравнений и т. д., который тыпустишь перед изумленными слушателями.

Ты паришь над самим собой, видишь внизу множество настроений и положений и пользуешься ими, чтобы найти «интересные» точки соприкосновения с жизнью. Ты можешь быть чувствительным, бессердечным, остроумным, едким ироником — всем, чем захочешь; на это ты мастер, надо отдать тебе справедливость. Стоит тебе обратить на что-нибудь свое внимание, выйти из апатии, и ты уже действуешь со всей страстью, со всем искусством, несравненной гибкостью и остротой ума, словом, пускаешь в ход все пленительные душевные и умственные качества, которыми с таким излишеством одарила тебя природа. Ты даже не позволяешь себе, как сам претенциозно выражаешься, неучтивости явиться в общество без благоухающего букета свежих острот. Чем больше узнаешь тебя, тем больше удивляешься той сообразительности и уму, которые ты успеваешь вложить в каждое дело за то короткое время, пока тебя вдохновляет страсть; последняя не ослепляет тебя, но, напротив, делает как бы ясновидящим. В такие минуты ты забы-

ваешь свое отчаяние и вообще все, что тяготило твою душу и мысль, и всецело отдаешься впечатлению, произведенному на тебя каким-либо случайным соприкосновением с известным человеком. Напомню тебе маленький эпизод, произошедший у меня в доме и давший тебе случай подарить нас блестящей речью, за которую я, пожалуй, обязан благодарить присутствовавших при нашем разговоре двух молодых девушек. Если помнишь, разговор наш принял серьезное направление и неприятный для тебя оборот: я высказался против чрезмерного почета, оказываемого в наше время умственным дарованиям, и напомнил, что на первом плане должно, напротив, стоять совсем иное: искренность человека и то, для чего нет другого наименования, кроме веры. Ты почувствовал, вероятно, что являешься, благодаря этому разговору, в не совсем выгодном свете и понял, что попадаешь в еще более невыгодное положение, если пойдешь далее по обычному пути, а потому и счел за лучшее удариться в «высшую галиматью» и чувствительный тон: «Мне ли не верить? Я верю, что там, в безмолвной чаще леса, где деревья глядятся в темное зеркало вод, где и среди дня царит мгла, там обитает таинственное существо, нимфа, лесная дева; верю, что ее красота превосходит всякое воображение; верю, что по утрам она вьет венки, в полдень купается в студеных волнах, а по вечерам задумчиво обрывает листья венка; верю, что я был бы единственным в мире счастливецом, имеющим неоспоримые права на это звание, если бы мне удалось поймать ее и овладеть ею; верю, что в душе моей живет страстная тоска и желание постигнуть мировую тайну; верю, что был бы счастлив, если бы мог удовлетворить это желание; верю, что в жизни есть смысл — только бы мне найти его! Не говори же после этого, что я не крепок в вере, не горю духом!» ... Ты, пожалуй, воображаешь, что такая речь могла бы послужить своего рода застольной речью на греческом симпозионе, — ты ведь

вообще часто мечтаешь о днях прекрасной Греции, по-твоему, ничего не может быть прекраснее жизни греческих юношей, венчавших себя цветами и собиравшихся каждую ночь в тесный кружок, где они за чашей вина произносили хвалебные речи в честь любви или чего там еще придется. Ты тоже готов был бы посвятить всю свою жизнь произнесению хвалебных речей! Мне твоя речь кажется, однако, набором слов, как бы искусно она ни была составлена и какое бы сильное впечатление ни производила благодаря твоему лихорадочному красноречию; я вижу в ней лишь новое доказательство ненормальности твоего душевного состояния. Да, вполне естественно, что не верящий в то, во что верят другие люди, верит в загадочные существа вроде нимф, или что тот, кто не боится ни сил земных, ни сил небесных, боится пауков. Ты улыбаешься, полагая, что я попал впропуск, допустил, что ты веришь в то, во что на самом деле ты веришь меньше, чем всякий другой. Я знаю, что ты действительно не веришь ни во что, так как каждая твоя речь кончается воззванием к скептицизму. Весь твой ум и сообразительность не в состоянии однако помешать тебе в иные минуты (попробуй отрицать это) подогреть себя болезненным жаром неестественного возбуждения и, таким образом, вопреки твоему намерению обмануть лишь других — обманывать самого себя.

То, что я уже сказал о твоих занятиях наукой и искусствами, можно сказать и о всей твоей жизненной деятельности: ты живешь минутой, являешься в данную минуту сверхъестественной величиной, отдаешься минуте, в страстном напряжении энергии, всей душой и телом, всем своим существом. Тот, кто видит тебя лишь в подобные минуты, легко может впасть в заблуждение и преклониться перед тобой, тогда как тот, кто сумеет выждать время, напротив, может посмеяться над тобой. Ты помнишь, может быть, сказку Музеуса о трех оруженосцах Роланда? — Один из них, как известно, полу-

чил от старой колдуньи шапку-невидимку, с помощью которой пробрался в покои прекрасной принцессы Ураки и объяснился в любви. Объяснение это произвело на принцессу сильное впечатление — она ведь никого не видела и предполагала, что ее удостаивает своей любви по меньшей мере заколдованный принц. Тем не менее, она потребовала, чтобы он явился ей в своем настоящем виде. Вот тут-то и был камень преткновения: стоило только оруженосцу показаться, и очарование исчезло бы; если же бы он не показался, то не мог бы извлечь из своей любви никакой пользы. Сказки Музеуса у меня как раз под рукой, и я сделаю из них маленькую выписку, которую прошу тебя прочесть. «Он согласился, но, по видимому, неохотно, и вот нетерпеливое воображение принцессы уже рисовало себе образ красавца, которого она сейчас увидит. Каков, однако, был контраст между идеалом и оригиналом! Она увидела обыкновенное лицо, одну из самых будничных физиономий, не говорящих ни об уме, ни о богатой чувствами душе». Ты умнее упомянутого оруженосца и понимаешь, что явиться перед людьми в своем настоящем виде после того, как произвел на них желаемое впечатление, — не расчет: явившись человеку в идеальном свете (надо признать за тобою умение являться идеальным в каком угодно отношении), ты затем осторожно удаляешься, забавляясь тем, что одурачил его, и радуясь тому, что ничто не мешает тебе начать в следующую минуту новую игру с новым человеком. Так, вся твоя жизнь состоит из множества отдельных, ничем не связанных между собой моментов.

Теоретически ты изведаль все земное, покончил со всем, так как мысль твоя не знает никаких конечных преград; изведаль ты почти все земное, — по крайней мере, все, относящееся к области эстетики — и по опыту, и все-таки у тебя нет никакого определенного мировоззрения, а только нечто похожее на него, что и придает твоей жизни известное спокойствие, которое, однако,

нельзя смешивать с твердым и отрадным доверием к жизни. Твоя жизнь носит отпечаток спокойствия лишь сравнительно с жизнью тех людей, которые еще не устали гоняться за миражами наслаждения, *per mare pauperiem fugiens per saxa, per ignes**. Ты относишься к наслаждению с истинно аристократической гордостью, — что совершенно в порядке вещей, так как ты покончил со всем конечным⁴ и преходящим на земле; покончил лишь в смысле — изведаль: ты ведь не в силах отрешиться от всего этого окончательно. Ты кажешься удовлетворенным, но эта удовлетворенность относительна — ты удовлетворен в сравнении с теми, кто еще добивается удовлетворения, то же, чем ты удовлетворяешься, есть, в сущности, полнейшая неудовлетворенность. Все чудеса и диковинки мира потеряли для тебя интерес, мысль твоя смотрит на них свысока, и предложи тебе узреть их всех воочию, ты бы, наверное, ответил по своему обыкновению: «Что ж, денек — куда ни шло, можно посвятить этому...». Ты не гонишься и за богатством, и предложи тебе миллионы, ты ответил бы: «Пожалуй; пробыть миллионером с месяц довольно интересно; попробовать можно». предложи тебе, наконец, любовь прелестнейшей девушки, ты ответил бы: «Да, на полгода это было бы не дурно». Я не хочу присоединять своего голоса к общему крику о твоей ненасытности и скажу скорее, что в некотором отношении ты прав: ничто конечное, преходящее, ни даже весь свет, не в состоянии удовлетворить души человека, стремящейся к вечному. Если бы возможно было предложить тебе славу, почести, удивление современников, — а это ведь твоя самая слабая струна, — ты тоже ответил бы: «Да, ненадолго я не прочь». В сущности же ты не гонишься ни за чем и шагу не сделал ни ради того, ни ради другого, ни ради третьего. Ты понял бы, что все это имело бы значение лишь тогда, когда ты на самом деле обладал такими бле-

* Убегая от бедности через моря, через горы, через огонь (лат.)

стящими дарованиями, чтобы оправдать подобное поклонение; даже и здесь мысль твоя смотрит на высшую степень умственного дарования, как на нечто тленное. Твое полемическое отношение к жизни дает тебе еще более высокомерное выражение, когда ты в своей внутренней злобе ко всему высказываешь желание быть глупейшим из всех людей — и все-таки стать для современников предметом поклонения, наравне с самым мудрым, так как это было бы гораздо более глубоким глумлением над всем существованием, нежели почитаться действительно умнейшими за непогрешимейшего мудреца. Поэтому ты ни к чему не стремишься и ничего не желаешь; единственно, чем желал бы ты обладать, это той чудесной сказочной веткой, что дает человеку исполнение всего задуманного, да и она пошла бы на то, чтобы чистить твою трубку. Таким образом, ты покончил с жизнью: «И духовного завещания мне не нужно, — говоришь ты, — так как мне нечего завещать». Но на этой точке ты не можешь удержаться; отняв у тебя все, мысль ничего не дала тебе взамен. В следующую же минуту какая-нибудь мелочь привлекает твое внимание. Правда, ты смотришь на нее с гордым сознанием превосходства, внушенным тебе твоею надменной мыслью; ты относишься к этой мелочи свысока, как к пустой игрушке, почти успевшей надоест тебе прежде, нежели ты берешь ее в руки, — но она все-таки занимает тебя, хотя и не сама по себе, чего с тобою никогда не бывает; тем не менее, тебя занимает именно то, что ты можешь снисходить к ней. Вот почему при столкновениях с людьми ты становишься в высшей степени неискренним, в чем нельзя, однако, упрекнуть тебя с точки зрения этики, так как ты находишься вне ее воззрений. Хорошо еще, что ты принимаешь так мало участия в жизни других, почему неискренность эта не замечается. Ты часто бываешь в моем доме и знаешь, что всегда являешься в нем желанным гостем, но тебе известно также, что мне ни-

когда и в голову не приходит приглашать тебя участвовать в чем бы то ни было. Я бы даже на загородную прогулку не поехал с тобой, — не потому что ты не можешь быть веселым и занимательным спутником, но потому, что участие твое всегда скрывает в себе фальшь: когда ты действительно весел, всегда можно быть уверенным в том, что веселье твое не общее с нашим, что ты занят не прогулкой, а чем-то другим; если же ты не весел, то опять не потому, что какая-нибудь случившаяся неприятность лишает тебя хорошего настроения, — это могло ведь случиться и с нами, — но потому, что еще садясь в экипаж, ты уже проник в ничтожество предстоящего удовольствия. Я охотно извиняю тебя, так как ты обыкновенно слишком сильно взволнован душевно и, как ты часто справедливо о себе замечаешь, ты похож на женщину в последнем периоде беременности, и нечего удивляться, что человек в подобном положении отличается некоторыми странностями...

И вот ты снова возвращаешься к жизни, получившей для тебя под этим освещением новый интерес. Ты радуешься и забавляешься, обманывая людей своим смехом, как забавляешься разговаривая с детьми, принимающими все твои иносказания в прямом смысле. Заразив своим смехом, веселостью и ликованием всех окружающих, ты чувствуешь, что победил мир и внутренне восклицаешь: «Знали б вы, над чем, в сущности, смеетесь!».

Но дух, как уже сказано, не позволяет долго шутить с собою; мрак меланхолии сгущается вокруг тебя все более и более, и молнии бешеного остроумия оттеняют его в твоих глазах еще резче, еще ужаснее. Теперь уже ничто не развлекает тебя, все блага мира не имеют для тебя никакого значения, и ты, хотя и завидуешь простодушным радостям других, не гонишься более за ними сам. Земные наслаждения не искушают тебя более, и это — как бы вообще ни было печально твое положение — большое счастье для тебя: поддайся искушению, и ты погиб

бы окончательно. Благодарить же за это счастье следует, по-моему, не твою гордость, отталкивающую соблазны, но Высшую Благодать, сдерживающую твою мысль. То, что ты не поддаешься более соблазнам, служит, однако, серьезным указанием на предстоящий тебе путь: ты должен идти прямо вперед, а не вспять. Вперед ведет, впрочем, и еще один путь — окольный, но этот путь будет так же ложен и не менее ужасен, чем оставшийся позади. Надежду на то, что ты избежнешь его, я возлагаю опять-таки не на твою гордость, а на Высшую Благодать, непрестанно поддерживающую тебя; правда, ты действительно горд, правда, гордость лучше и выше суетного тщеславия, правда, в высказываемой тобою как требование мысли: «Лучше смотреть на себя как на кредитора, которому не платят, нежели уничтожить долговые обязательства», — есть страшная сила, и все-таки гордость человеческая чересчур хрупкий оплот!

Теперь, юный друг мой, ты сам видишь, что твоя жизнь, в сущности, отчаяние; скрывай, если хочешь, это от других, от себя самого ты этого не скроешь. И тем не менее, с другой точки зрения, твоя жизнь еще не есть отчаяние. Ты слишком легкомыслен, чтобы отчаиваться серьезно, и в то же время слишком одержим меланхолией, чтобы избежать соприкосновения с отчаянием. Ты корчишься от душевной боли, как женщина в родовых муках, и все-таки продолжаешь оттягивать развязку и оставаться при одних муках. Если бы женщине в минуту родов могла прийти в голову мысль, что она родит урода или если бы она вообще могла в это время заняться вопросом о том, что предстоит ей родить, ее положение до известной степени напоминало бы твое. Ее попытка остановить процесс природы была бы, однако, напрасна, тогда как твоя вполне может увенчаться успехом: духовные роды человека зависят от *nisus formativus** воли,

* Созидающая попытка (лат.)

а это во власти самого человека. Что же страшит тебя? Тебе ведь предстоит родить не другого человека, а самого себя. Я хорошо знаю, впрочем, что тут есть от чего прийти в серьезное волнение, граничащее с душевным потрясением: минута, когда человек осознает свое вечное значение, — самый знаменательный момент в жизни. Человек чувствует себя как будто захваченным чем-то грозным и неумолимым, чувствует себя пленником навеки, чувствует всю серьезность, важность и бесповоротность совершающегося в нем процесса, результатов которого нельзя уже будет изменить или уничтожить во веки веков, несмотря ни на какие сожаления и усилия. В эту серьезную знаменательную минуту человек заключает вечный союз с вечной силой, смотрит на себя самого как на объект, сохраняющий значение во веки веков, осознает себя тем, что он есть, т. е. в действительности осознает свое вечное и истинное значение как человека. Но можно ведь и не допустить себя пережить такую минуту! Да, вот тут-то и есть «или — или», тут-то и предстоит человеку сделать выбор. Позволь же мне поговорить с тобою так, как я никогда не решился бы заговорить в присутствии третьего лица, во-первых, потому, что я не имею на это права, а во-вторых, потому, что я поведу речь о будущем. Если ты вообще не желаешь думать о выборе, если желаешь вечно тешить свою душу погремушками остроумия и тщеславием ума — да будет так; бросай родину, путешествуй, отправляйся в Париж, отдайся журналистике, домогайся улыбок изнеженных женщин, охлаждай их разгоряченную кровь холодным блеском своего остроумия, пусть гордой задачей твоей жизни станет борьба со скукой праздной женщины и с мрачным раздумьем расслабленного сластолюбца, забудь свои детские годы, забудь былую детскую кротость и чистоту душевную, забудь безгрешность мысли, заглушай в груди всякий святой голос, прожигай жизнь среди блестящей светской суеты, забудь о своей бессмерт-

ной душе, выжми из нее все, что только можно; когда же сила изобретательности иссякнет — в Сене хватит воды, в магазинах пороху, да и компаньоны найдутся всегда и всюду. Если же не можешь, не хочешь избрать этот путь, — а ты и не можешь и не хочешь, — то собери все свои силы, гони прочь всякую мятежную мысль, держащую восставать против всего лучшего в твоём существе, презирай ничтожество, завидующее твоим умственным дарованиям и желающее само завладеть ими, чтобы злоупотреблять ими во стократ хуже тебя, презирай лицемерное благонравие, несущее бремя жизни лишь поневоле и тем не менее требующее себе за это уважения, но не презирай самое жизни, уважай каждое искреннее стремление, всякую скромную, не желающую выставляться напоказ деятельность, прежде же всего уважай женщину! Поверь мне, что спасение идет все-таки от женщины, как нравственная порча от мужчины. Я семьянин и потому, может быть, пристрастен, но я глубоко убежден, что если женщина и погубила человека однажды, то с тех пор и не перестает честно и ревностно искупать свою вину, так что из 100 заблудших мужчин 99 спасаются благодаря женщине, и лишь один — непосредственно Высшей Благодатью. Словом, если согласишься со справедливостью признаваемого мною положения, что мужчине вообще свойственно заблуждаться, женщине же оставаться в безмятежном покое чистой непосредственности, то легко согласишься и с тем, что женщина вполне искупила содеянное когда-то зло.

Так что же тебе теперь делать? Иные, может быть, посоветовали бы тебе жениться, на том основании, что тогда у тебя появятся иные заботы и мысли; совершенно верно, но вопрос в том, насколько годен для тебя этот совет? Ведь как бы там ты ни думал о женщине, ты все-таки настолько рыцарь в душе, что не позволишь себе жениться по одной только упомянутой причине, кроме того, если уж ты сам не в состоянии справиться с собой,

то вряд ли ты найдешь кого другого, способного взять тебя в руки. Или, может быть, тебе посоветовали бы поступить на службу, сделаться дельцом, вообще трудиться, так как труд отвлекает человека и заставляет его позабыть о своей меланхолии. Может статься, тебе б и удалось забыться в труде, но не исцелиться; минутами меланхолия прорвется тем сильнее, тем ужаснее, что застанет тебя врасплох, чего не было еще до сих пор. К тому же, каковы бы ни были твои понятия о жизни и деятельности человеческой вообще, себя самого ты все жеставишь слишком высоко, чтобы позволить себе приняться за какое-нибудь дело только по приведенной причине; это поставило бы тебя в такое же фальшивое положение, как и женитьба. Так что же тебе делать? — У меня лишь один ответ: предаться истинному отчаянию.

Я семьянин, крепко привязанный к своей жене, детям, к жизни, красоту которой буду непрестанно восхвалять, следовательно, ты можешь быть уверенным, что такой совет дается тебе не экзальтированным и страстным юношей, желающим увлечь тебя в круговорот страстей, или злобным духом, насмехающимся над несчастным, потерпевшим жизненное крушение. Я указываю тебе на отчаяние не как на средство утешения или состояние, в котором ты должен остаться навсегда, но как на подготовительный душевный акт, требующий серьезного напряжения и сосредоточения всех сил души. Я глубоко убежден в необходимости этого акта, дающего человеку истинную победу над миром; ни один человек, не вкусивший горечи истинного отчаяния, не в состоянии схватить истинной сущности жизни, как бы прекрасна и радостна ни была его собственная. Предайся отчаянию, и ты не будешь более обманывать окружающий тебя мир, не будешь более бесполезным обитателем мира, хотя и победишь его; я, например, надеюсь, имею право считать себя добрым и полезным семьянином, а между тем, и я отчаивался.

Рассматривая твою жизнь с этой точки зрения, я скажу, что ты еще счастлив: крайне важно, чтобы человек в минуту отчаяния не ошибся во взгляде на жизнь, — это так же опасно для него, как для роженицы засмотреться на что-нибудь уродливое. Тот, кто отчаивается из-за частных, рискует, что его отчаяние не будет истинным, глубоким отчаянием, а простой печалью, вызванной отдельным лишением. Тебе не придется отчаиваться подобным образом, ты не терпишь никаких лишений, у тебя есть все, что нужно. Не будет истинным и отчаяние того, кто ошибся во взгляде на жизнь в минуту отчаяния, предположив, что несчастье человека не в нем самом, а в совокупности внешних условий: подобного рода отчаяние ведет к жизнененависти, между тем как истинное отчаяние, помогая человеку познать себя самого, напротив, заставляет его проникнуться любовью к человечеству и к жизни. Человеку, доведенному до отчаяния пороками, преступлениями и угрызениями совести, тоже трудно познать истинное отчаяние, через которое постигается и истинная радость. Итак, отчаивайся! Отчаивайся всей душой, всеми помышлениями! Чем долее ты будешь медлить, тем тягостнее будут условия, требование же останется прежним. Я настаиваю на этом требовании, как настаивала на своем требовании женщина, предлагавшая Тарквинию купить у нее собрание ценных книг: не получив от него согласия выдать ей требуемую сумму, она сожгла третью часть книг и продолжала требовать за остальные ту же цену; не получив ее и на этот раз, она сожгла еще треть и потребовала ту же сумму за одну оставшуюся треть, на что Тарквинию и пришлось согласиться.

Условия твоей жизни довольно благоприятны для истинного отчаяния, но бывают и еще более благоприятные. Представь себе такого же даровитого, как ты, молодого человека и представь, что он полюбил девушку, полюбил так искренне и глубоко, как самого себя. Пред-

ставь затем, что на него нашла минута раздумья, и он спросил себя, что в сущности составляет основу его жизни и что — ее? Он знает, что связующим элементом является между ними любовь, но знает также, что в остальном между ними огромное различие. Девушка может быть красавицей, но он не признает существенного значения за красотой, — красота так недолговечна; девушка может быть жизнерадостной, веселой, но это не может иметь в его глазах существенного значения; сам же он обладает силой развитого ума и сознает все значение этого. Он хочет любить девушку истинной любовью, а потому и думает, что лучше не тревожить ее чистой непосредственностью, не стараться сделать ее соучастницей напряженной работы его ума; к тому же, ее кроткая душа и не требует этого. В этом, однако, и заключается самое существенное различие между ними, которое — как он сам чувствует — должно быть уничтожено, если он хочет любить девушку истинной любовью. И вот он предается отчаянию. Отчаивается он не ради себя, но ради любимой девушки, т. е. в сущности опять-таки ради себя: он ведь любит девушку, как самого себя. Мало-помалу отчаяние уничтожит в нем все лишнее, ненужное, суетное, и приведет его к сознанию своего вечного значения, т. е. к тому, что он обретет себя как человека; обретя же себя, он обретет и любимую девушку. Что значит счастье рыцаря — победителя, возвратившегося из опаснейшего похода, в сравнении со счастьем, которое ожидает человека, вышедшего победителем из борьбы с плотью и ее тщеславными стремлениями? Это счастье доступно, однако, всем людям, без различия. Молодому человеку, конечно, не придет в голову сгладить различие между собой и любимой девушкой путем намеренного отступления или приостановки развития собственного ума: он сохранит все преимущества своего ума, но присоединит к ним внутреннее сознание своего равенства как человека со всяким другим человеком, хо-

тя бы и менее развитым умственно. Можно также взять в пример глубоко религиозного человека, впавшего в отчаяние по причине глубокой, полной сожаления, любви к человечеству; отчаяние его будет продолжаться лишь до тех пор, пока он не постигнет «абсолютного» значения человека, уничтожающего все временные различия и делающего человека равным человеку, независимо от того — сплюснут ли его лоб или же может поспорить своей гордой выпуклостью с самим сводом небесным.

У тебя вообще часто являются счастливые и остроумные идеи, ты мастер изобретать словечки, сыпать забавными шутками, — оставь все это при себе, мне ничего этого не нужно, я прошу тебя только покрепче держаться за одну идею, убеждающую меня в сродстве наших умов. Ты не раз говорил, что меньше всего на свете желал бы быть поэтом, так как жизнь поэта равняется в сущности принесению себя в жертву. Со своей стороны, я не отрицаю, что действительно были поэты, которые обрели себя прежде, чем начали творить, или же обрели себя через творчество, но не стану отрицать и того, что поэт, если он только поэт, живет как бы в потемках; причиной то, что отчаяние его не доведено до конца, что душа его вечно трепещет в отчаянии, а дух тщетно стремится к просветлению. Поэтический идеал не есть поэтому истинный идеал, а лишь воображаемый. Если дух в своем стремлении к вечному и бесконечному просветлению встречает преграды, он останавливается на полдороге, любит небесными образами, отражающимися в облаках, и плачет над их недолговечностью. Жизнь поэта, как только поэта, оттого следовательно так и несчастлива, что она подымает его над обыкновенной земной жизнью и в то же время не в силах вознести его в вечное царство духа. Поэт видит идеалы, но для того, чтобы наслаждаться их лицезрением, он должен бежать из мира: он не может носить в себе эти божественные образы среди жизненной суеты, не может спо-

койно следовать своим путем без того, чтобы не быть задетым окружающими его карикатурами; можно ли после этого и требовать от него воспроизведения истинных идеалов. Поэт бывает также предметом презренного сожаления со стороны людей, считающих, что все благополучие именно в их твердой оседлости в низменном, конечном мире плоти. Ты как-то выразился однажды, под впечатлением минутного уныния, что немало найдется людей, считающих тебя человеком вполне конченным, которого можно, пожалуй, признать «головой», но совершенно бесполезной для общества. Действительно, на свете много ничтожных людей, которые готовы отделаться таким приговором от всякого, кто хоть чуть выдается над низким уровнем их среды. Не обращай однако на них внимания, не вступай с ними в борьбу, даже не презирай их, — «не стоит», твое любимое выражение здесь как раз у места. Раз, однако, ты не хочешь быть поэтом, для тебя нет другого исхода, кроме указанного уже мною — отчаяния.

Итак, выбирай отчаяние: отчаяние само по себе есть уже выбор, так как, не выбирая, можно лишь сомневаться, а не отчаиваться; отчаиваясь, уже выбираешь, и выбираешь самого себя, — не в смысле временного, случайного индивидуума, каким ты являешься в своей природной непосредственности, но в своем вечном, неизменном значении человека.

Постараюсь хорошенько выяснить тебе это последнее положение. В новейшей философии более чем достаточно сказано о том, что всякое мышление начинается с сомнения, и тем не менее я напрасно искал у философов указаний на различие между сомнением и отчаянием. Попытаюсь же указать на это различие сам, в надежде помочь тебе этим вернее определить твое положение. Я далек от того, чтобы считать себя философом, я не мастер, подобно тебе, жонглировать философскими категориями и положениями, но истинное значение жизни

должно ведь быть доступно пониманию и самого обыкновенного человека. По-моему, *сомнение* — *отчаяние мысли*; *отчаяние* — *сомнение личности*. Вот почему я так крепко держусь за высказанное мной требование выбора: это требование — мой лозунг, нерв моего мировоззрения, которое я составил себе, хотя и не составил никакой философской системы, на что, впрочем, и не претендовал никогда. Сомнение есть внутреннее движение, происходящее в самой мысли, при котором личности остается только держаться по возможности безразлично или объективно. Положим теперь, что движение это будет доведено до конца, мысль дойдет до абсолюта и успокоится на нем, но это успокоение будет уже обусловлено не выбором, а необходимостью, обусловившей в свое время и само сомнение. Так, вот в чем это великое значение сомнения, о котором столько кричали и которое так превозносили люди, едва понимавшие сами, о чем говорили! Раз, однако, сомнение надо понимать как необходимость, это уже показывает, что в данном движении участвует не вся личность. Потому и справедливо, если человек говорит: хотел бы верить, да не могу, — я должен сомневаться. И поэтому же нередко можно встретить среди «сомневающих» людей с известными положительными воззрениями, независимыми от главного настроения их мысли; такие люди являются вполне добросовестными и полезными членами общества, нимало не сомневающимися в значении долга и обязанностей человеческих и не пренебрегающими никакими достойными сочувствия привязанностями и влечениями. С другой стороны, в наше время можно встретить людей, отчаивающихся в душе и все-таки победивших свои сомнения. Особенно поражают меня в этом отношении некоторые немецкие философы. Их мысль доведена до высшей степени объективного спокойствия, — и все-таки они живут в отчаянии. Они только развлекают себя чистым объективным мышлением, являющимся едва ли не самым одуряющим из всех спосо-

бов и средств, к которым человек прибегает для развлечения: абстрактное мышление требует ведь возможного обезличения человека. Сомнение и отчаяние принадлежат, таким образом, к совершенно различным сферам, приводят в движение совершенно различные области душевные. Я, однако, не удовлетворюсь еще подобным определением, — оно ставит сомнение и отчаяние на соответствующие друг другу чашки весов, а этого не должно быть. Отчаяние выражает несравненно более глубокое и самостоятельное чувство, захватывающее в своем движении гораздо большую область, нежели сомнение: отчаяние охватывает всю человеческую личность, сомнение же — только область мышления. Прославленная объективность сомнения именно и выражает его несовершенство. Сомнение дробится в преходящих различиях, отчаяние же абсолютно. Для того, чтобы сомневаться, нужен талант, не нужный для того, чтобы отчаиваться, — талант сам по себе выражает различие; все же, имеющее значение, лишь благодаря различию, не может никогда стать абсолютным; абсолютному соответствует лишь абсолютное. Отчаиваться может и молодая девушка, которая уже меньше всего представляет собой мыслителя, и никому в голову не придет назвать первого или вторую «скептиками». Причиной того, что человек, покончивший с сомнениями, успокоившийся в этом отношении, может все-таки отчаиваться, то, что он желает предаться истинному глубокому отчаянию. Отчаяние вообще в воле самого человека, и, чтобы воистину отчаяться, нужно воистину захотеть этого; раз однако воистину захочешь отчаяться, то воистину и выйдешь из отчаяния: решившийся на отчаяние решается, следовательно на выбор, т. е. выбирает то, что дается отчаянием — познание себя самого как человека, иначе говоря, — сознание своего вечного значения. Воистину умиротворить человека, привести его к истинному спокойствию может лишь отчаяние, но необходимость не

играет здесь никакой роли, — отчаяние есть вполне свободный душевный акт, приводящий человека к познанию абсолютного. И в этом отношении нашему времени (если я вообще смею иметь о нем свое суждение: я знаю его лишь из газет, некоторых сочинений и разговоров с тобой) суждено, по-моему, сделать большой шаг вперед. Недалеко, может быть, и то время, когда люди дорогой ценой приобретут убеждение, что исходной точкой для достижения абсолюта является не сомнение, а отчаяние.

Возвращусь теперь к значению выбора. Выбирая абсолют, я выбираю отчаяние, выбирая отчаяние, я выбираю абсолют, потому что абсолют — это я сам; я сам полагаю начало абсолюту, т. е. сам выражаю собою абсолют; иначе говоря: выбирая абсолют, я выбираю себя; полагая начало абсолюту, я полагаю начало себе. Если я забуду, что второе выражение столь же абсолютно, как и первое, то мое положение о значении выбора будет неверным, так как верность его зависит именно от тождественности обоих выражений. Выбирая, я не полагаю начала выбираемому — оно должно быть уже положено раньше, иначе мне нечего будет и выбирать; и все-таки если б я не положил начала тому, что выбрал, я не выбрал бы его в истинном смысле слова. Предмет выбора существует прежде, чем я приступаю к выбору, иначе мне не на чем было бы остановить свой выбор, и в то же время этого предмета не существует, но он начинает существовать с момента выбора, иначе мой выбор был бы иллюзией.

Но что же я собственно выбираю? Я выбираю абсолют. Что же такое абсолют? Это я сам, в своем вечном значении человека; ничто другое и не может быть абсолютным предметом выбора: выбирая что-нибудь иное, конечное, я выбираю его лишь относительно, в сравнении с чем-либо другим конечным; абсолют же является

и абсолютным предметом выбора. А что такое мое «сам» или мое «я»? Если речь идет о первом проявлении этого понятия, то первым выражением для него будет самое абстрактное и вместе с тем самое конкретное из всего — свобода. Чтобы пояснить сказанное, позволь мне поделиться здесь с тобой одним наблюдением. Часто можно слышать, как люди, недовольные жизнью, отводят душу, высказывая различные желания; некоторые из этих желаний совершенно случайны и ничего не объясняют, поэтому пропустим их и остановимся на следующих: «будь у меня ум такого-то человека, талант такого-то» и т. п. или, чтобы взять самое крайнее желание: «будь у меня твердость характера такого-то»... Подобные пожелания можно услышать на каждом шагу, но слышал ли ты когда-нибудь, чтобы человек серьезно пожелал стать другим человеком? Напротив, эти «неудачники» тем-то и отличаются, что крепко-накрепко держатся за самих себя, за свое «я» и, несмотря на все свои страдания, ни за что на свете не желали бы превратиться в других людей. Подобные люди, в сущности, довольно близки к истине: они точно чувствуют, что вечное значение личности познается не в благоденствии, а в страданиях: отсюда их бессознательное довольство своим положением, выражающееся в том, что они предпочитают оставаться самими собою, сохранить свое «я» при всяких обстоятельствах. Высказывая различные пожелания, они полагают остаться по-прежнему самими собою, как бы ни было велико имеющее произойти с ними, по их желанию, изменение; иначе говоря, они смотрят на свое «я» как на абсолют, не зависимый ни от каких изменений внутренних и внешних условий. Впоследствии я выясню заблуждение, в котором находятся подобные люди, теперь же остановлюсь только на абстрактном определении этого «я», делающего человека тем, что он есть. Как уже сказано, это — свобода. Исходя из этой точки зрения, можно дойти до самого убедительного доказательства

вечного значения личности; ведь самоубийца, и тот, в сущности, не желает избавиться от своего «я» — он только желает найти иную форму для этого «я»; поэтому вполне и возможно встретить между самоубийцами людей, как нельзя более верующих в бессмертие души и решающихся на самоубийство лишь вследствие того, что они думают этим шагом выйти из своего запутанного земного положения и найти высшую абсолютную форму для своего духа.

Причиной того, что человек полагает сохранить свое «я» во всей неприкосновенности, несмотря ни на какие изменения в нем, другими словами, смотрит на самую сущность своей души как на какую-то алгебраическую величину, которая может означать что угодно — является то, что человек вообще находится в ложном положении и не имеет надлежащего понятия о своем «я». И тем не менее в самом недомыслии такого человека все-таки мелькает сознание вечного значения личности. Тот же, кто принял верное положение и выбрал себя самого в абсолютном смысле, будет воистину смотреть на свое «я» как на абсолют, — он ведь выбрал себя самого, а не другого. Выбираемое им «я» бесконечно конкретно, потому что это «я» — он сам, и все-таки оно абсолютно отличается от его прежнего «я», так как теперь он выбрал его абсолютно. Этого «я» не было прежде, оно явилось лишь с выбором, и в то же время оно было, потому что ведь это — он сам.

Выбор имеет, таким образом, двоякий и противоречивый смысл: с одной стороны, выбираемое не существовало раньше, т. к. является лишь с выбором, а с другой стороны, выбираемое существовало, иначе нечего было бы и выбирать. Если бы выбираемое не существовало, но становилось абсолютным лишь благодаря выбору, то я не выбирал бы, а творил, но я не творю, а лишь выбираю самого себя. Поэтому, как вся природа создана из ничего, так и я сам, как непосредственная

личность, создан из ничего; как олицетворение же свободного духа я начинаю существовать лишь благодаря принципу противоположности, т. е. выбору своего «я».

Выбрав свое «я», человек открывает, что это «я» вмещает в себе бесконечное многообразие: это «я» имеет свою историю, тождественную с историей самого человека. Каждый человек имеет свою историю, отличающуюся от всех других, т. к. она слагается из совокупности его отношений ко всем другим людям и ко всему человечеству; в такой истории может быть много горестного, и все же только благодаря ей человек является тем, что он есть. Для того, чтобы решиться выбрать себя самого, нужно обладать мужеством: выбор только, по-видимому, способствует наибольшему обособлению человеческой личности, на самом же деле благодаря выбору человек еще крепче срастается с корнем, на котором рядом с ним держится и все человечество. Вот эта-то мысль и страшит человека; тем не менее другого исхода, кроме выбора, для него нет, влечение к свободе заставляет его выбрать себя самого и бороться за обладание выбранным, как за спасение души, — в этом и есть спасение его души! — и в то же время он не может отказаться ни от чего, даже самого горького и тяжелого, лежащего на нем как отпрыске того же грешного человечества; выражением же этой борьбы за обладание является — раскаяние. Раскаиваясь, человек мысленно перебирает все свое прошлое, затем прошлое своей семьи, рода, человечества и наконец доходит до первоисточника, до самого Бога, и тут-то обретает самого себя. Только под этим условием может человек выбрать себя самого, и это единственное условие, на которое согласен он сам, так как лишь оно ведет к абсолютному выбору. — Что такое человек без любви? Есть, однако, много родов любви: отца любишь иначе, чем мать, жену опять иначе, словом, различных лиц и любишь и выражаешь им эту любовь по-разному. Бога тоже любишь, но любовь к Богу может быть лишь

одна, и выражением ее может служить лишь раскаяние. Если я люблю Его, не раскаиваясь, то я и не люблю Его истинною, абсолютною любовью, всем своим существом. Между тем всякая иная любовь к абсолюту — недоразумение: если даже взять так восхваляемую людьми любовь мысли к абсолюту, то и она не будет истинной абсолютной любовью, т. к. обуславливается необходимостью; как же скоро я люблю свободно и люблю Бога, я и раскаиваюсь, хотя бы у меня и не было никаких других причин для раскаяния, кроме той, что Он возлюбил меня раньше, чем я Его. Лишь выбирая себя грешным, виновным перед Богом, выбираешь себя абсолютно, — если вообще абсолютный выбор не должен равняться самосозданию. Человек должен раскаиваться и в грехах отцов, перешедших на него, так как лишь путем раскаяния он выбирает себя самого. Личное «я» человека находится как бы вне его и должно быть приобретено им посредством раскаяния; это раскаяние выражает ведь его любовь к Богу и к своему «я», которое он и принимает, наконец, из рук Вечного Первоисточника.

Все вышеизложенное не есть плод какой-нибудь особенной, профессорской мудрости; все это доступно пониманию любого желающего, поэтому и высказано быть может также любым желающим. Я сам постиг все это не на профессорских лекциях, а сидя в своей комнате, или, если хочешь, — в детской. Глядя на веселую беготню моего маленького сына, я часто думаю: кто знает, не перешли ли к нему от меня какие-либо дурные качества? Видит Бог, я забочусь о его воспитании, сколько могу, но не это успокаивает мои тревожные мысли, а сознание, что и в его жизни настанет некогда минута, когда дух его созреет для выбора, и он, выбирая самого себя, раскается в том грехе, который, может быть, будет тяготеть на нем по моей вине.

Так вот что, по моему простому разумению, значит выбирать и раскаиваться. Неприлично любить молодую

девушку, как мать или мать, как молодую девушку. Всякая любовь должна иметь свою особенность, и любовь к Богу тоже имеет свою абсолютную особенность, выражающуюся в раскаянии. Что же в сравнении с этой любовью всякая другая? — Не более, как детский лепет. Я не экзальтированный юноша, который стремится распространить свои теории, я семьянин и все-таки не боюсь, даже в присутствии жены моей, повторить то же самое: в сравнении с раскаянием всякая любовь лишь детский лепет. И тем не менее я знаю, что я хороший семьянин, продолжающий бороться под победоносным знаменем первой любви, знаю, что и подруга моя разделяет мой взгляд, а потому и люблю ее еще крепче. По той же причине я и отказался бы от безумной любви молодой девушки, не разделяющей этого взгляда.

Я знаю, что требуемый мною шаг опять-таки может увлечь человека на ложный путь, но знаю также и то, что не так легко упасть человеку, ползающему по земле, как храбрецу, взбирающемуся на вершины гор, или не так легко заблудиться тому, кто век свой сидит за печкой, как тому, кто смело пускается в далекий путь; я знаю все это, потому и настаиваю на своем требовании.

Ученые богословы, без сомнения, сумели бы наговорить на эту тему очень, очень много; я к ученым не принадлежу и вдаваться в подробности не стану, а постараюсь лишь пояснить высказанное мною выше замечание, что истинное свое выражение раскаяние обрело лишь в христианстве. Благочестивый еврей также чувствовал на себе бремя грехов предков, но не так глубоко, как христианин; еврей не раскаивался в них, а потому не мог и выбирать себя абсолютно; грехи предков тяготели на нем, он изнемогал под их бременем, но не мог освободиться от них, — это может лишь тот, кто абсолютно выбирает себя самого с помощью раскаянья. Чем больше свободы дано человеку, тем больше лежит на нем и ответственности, и в этом-то и заключается тайна

блаженства; тот же, кто не хочет взять на себя грехи предков и раскаяться в них, выказывает если и не трусость, то малодушие, если и не полное душевное ничтожество, то мелочность и недостаток великодушия.

Отчаяние приводит, следовательно, человека к выбору себя самого, своего «я», хотя, отчаяваясь воистину, человек отчаявается, между прочим, и в самом себе, в своем «я»: но это «я» конечная земная величина, тогда как выбираемое им «я» — абсолют.

Исходя из этой точки зрения, ты легко поймешь, почему я сказал выше и продолжаю повторять теперь, что мое «или — или», т. е. выбор между эстетическим и этическим мировоззрением означает, собственно, не выбор того или другого, а выбор выбора, иначе — желание человека решиться на выбор. Этот же первоначальный выбор обуславливает и каждый последующий выбор в жизни человека.

Итак, предайся отчаянию, и легкомыслие уже не в состоянии будет довести тебя до того, чтобы ты стал бродить, как не находящий себе покоя дух среди развалин потерянного для него мира; предайся отчаянию, и мир приобретет в твоих глазах новую прелесть и красоту, твой дух не будет более изнывать в оковах меланхолии и смело воспарит в мир вечной свободы.

Здесь я мог бы прервать мое рассуждение, так как довел себя до намеченной точки: мне в сущности нужно было лишь освободить тебя от эстетических иллюзий, от грез полуотчаяния, пробудить твой дремлющий дух и призвать его к серьезной деятельности; но я хочу еще изложить тебе, в чем состоит истинное этическое воззрение на жизнь. Конечно, я могу открыть тебе лишь очень скромную перспективу — отчасти потому, что мои дарования далеко не соответствуют обширности задачи, отчасти же потому, что отличительным качеством этики является именно скромность, особенно поражаю-

щая того, кто привык к разнообразной роскоши эстетики. Сюда как раз применимо изречение: *nil ostentationem omnia ad conscientiam**. — Прервать здесь было бы, впрочем, и неудобно: легко могло бы показаться, что я останавливаюсь на каком-то квиетизме, в котором личность должна найти успокоение, в силу необходимости, как мысль в абсолюте. Но чего ради стал бы тогда человек стремиться обрести себя самого? Стоит ли приобретать меч, которым можно победить весь мир, для того только, чтобы вложить его в ножны!

Прежде, чем приступить к изложению этического мировоззрения, я скажу, однако, несколько слов о той опасности, которая угрожает человеку в минуту отчаяния, о том подводном камне, на который он может наткнуться и пойти ко дну. В Писании сказано: что пользы человеку, если он обретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Иначе говоря: что за потеря для человека, если он лишится всего мира, но душе своей не повредит; какой еще нужен ему выкуп! Выражение «повредить душе своей» — чисто этическое и довольно часто употребляемое, тем не менее оно нуждается в некотором пояснении. Для того, чтобы вполне уразуметь это выражение, нужно отважиться на глубокий душевный акт отчаянья и пережить его, так как выражение это является, в сущности, поясняющим руководством к отчаянью. Стоит тебе немного вникнуть в это выражение, предлагающее человеку выбор между всем миром и своей душой, и ты увидишь, что оно приводит тебя к тому же абстрактному определению слова «душа», к какому мы пришли уже относительно слова «я». Раз я могу обрести весь мир и все-таки повредить при этом душе своей, то выражение «весь мир» означает, собственно, все те конечные земные блага, которыми я могу обладать, как непосредственная лич-

* Ничего напоказ, все для понимания (лат.)

ность, но к которым душа моя остается, следовательно, индифферентной. Затем, раз я могу лишиться всего мира и все-таки не повредить душе своей, то это опять означает, что под словами «весь мир» следует разуметь конечные земные блага, которыми я могу обладать как непосредственная личность, но к приобретению которых душа моя остается индифферентной. Я могу лишиться своего имущества, чести в глазах других людей, силы ума, и все-таки не повредить при этом своей душе, точно так же, как могу обрести все это и повредить душе своей. Что же тогда такое моя душа? Что такое это внутренняя внутренних моего существа, которое остается невредимым при подобных лишениях и страдает от подобного приобретения? Отчаивающийся человек должен пережить следующий душевный процесс: перед ним дилемма: с одной стороны, весь мир, с другой — он сам, его душа: от чего ему отказаться и что выбрать? Как уже было выяснено раньше, эстетическое мировоззрение, какого бы рода или вида оно ни было, есть, в сущности, отчаяние, благодаря которому можно обрести весь мир, но повредить душе своей, и все-таки я искренно убежден, что отчаяние — единственное средство душевного спасения для человека; надо только принять во внимание, что отчаяние должно быть глубоким, истинным, абсолютным, так как лишь такое отчаяние охватывает собою всю личность и означает, что человек отдался ему всем существом. Если же человек предается обыкновенному, временному, житейскому отчаянию, то он только вредит душе своей: внутренняя внутренних его существа — душа — не выходит из горнила отчаяния очищенной и просветленной, а напротив, как бы цепенеет в нем, грубеет и черствеет. При этом человек одинаково вредит душе своей — стремится ли он в своем отчаянии обрести весь мир и обретает его, или отчаивается, потому что лишился мира, — в обоих случаях он смотрит на себя только как на земную, конечную величину.

Истинное абсолютное отчаяние приводит человека к выбору или к обретению своего «я», и это «я» не есть абстракция или тавтология, т. е. повторение того же «я», которое существовало до выбора. Было бы заблуждением считать это «я» абстрактным или бессодержательным на том основании, что оно ведь еще не выражает общего сознания человеком своей свободы, являющегося достоянием мышления. Это «я» выражает сознание человеком себя самого свободным существом и при том таким именно, каков он есть, а не каким-нибудь другим. Это «я» в высшей степени содержательно, в нем целое богатство различных определений и свойств, одним словом, это эстетическое «я», выбранное этически. Чем более человек углубляется в свое «я», тем более чувствует бесконечное значение всякой, даже самой незначительной безделицы, чувствует, что выбрать себя самого не значит только вдуматься в свое «я» и в его значение, но воистину и сознательно взять на себя ответственность за всякое свое дело или слово. Недаром же в Писании сказано, что человек даст ответ даже за всякое непристойное слово. Лишь в первую минуту по выборе личность, видимо, является такою же чистой, бессодержательной величиной, как ребенок, только вышедший из материнского чрева; пройдет минута — личность сосредоточивается в самой себе, и становится конкретной (если только сама не пожелает остаться на первоначальной точке): человек остается ведь тем же, чем был со всеми своими мельчайшими особенностями. Оставаясь тем же, чем был, человек, однако, становится в то же время и другим, новым человеком, — выбор как бы перерождает его. Итак, конечная человеческая личность приобретает, благодаря абсолютному выбору своего собственного «я», — бесконечное значение.

Выбор сделан, и человек обрел себя самого, овладел самим собою, т. е. стал свободной, сознательной личностью, которой и открывается абсолютное различие —

или познание — добра и зла. Пока человек не выбрал себя самого, различие это скрыто от него. Каким образом вообще познается различие между добром и злом? Посредством мышления? — Нет. В процессе мышления я всецело подчиняюсь принципу необходимости, вследствие чего добро и зло становятся для меня как бы неразличными. В самом деле, пусть предметом мышления будет самое абстрактное или самое конкретное понятие, ты никогда не будешь руководиться в своем мышлении принципом добра и зла; пусть даже предметом мышления будет всемирная история, твое мышление будет руководствоваться исключительно принципом необходимости, принцип же добра и зла будет здесь ни при чем. Предметами мышления могут быть всевозможные относительные различия, но не абсолют. Поэтому я охотно признаю за философами право утверждать, что для их мысли не может существовать абсолютной, т. е. непримиримой противоположности. Из этого, однако, не следует, чтобы таковой не существовало вовсе. В процессе мышления я также познаю себя в своем бесконечном, но не в абсолютном значении, так как я исчезаю в абсолют; только абсолютно выбирая себя самого, я познаю себя самого в своем абсолютном и бесконечном значении; я сам — абсолют, и только самого себя я могу выбрать абсолютно, вследствие чего и становлюсь свободной, сознательной личностью, и вследствие чего мне открывается абсолютное различие добра и зла.

Чтобы уяснить момент самоопределения в мышлении, философы говорят: абсолют проявляется тем, что я мыслю о нем; но они сами понимают, что в данном случае дело идет о свободном мышлении, а не о построенном на принципе необходимости, как столь восхваляемое ими, а потому подносят взамен первого другое выражение: мое мышление об абсолютe — самомышление абсолютa во мне. Последнее выражение далеко не тождественно с первым, но само по себе очень много-

значительно. Мое мышление именно момент абсолютно-го, и это-то и доказывает, что мое мышление держится на принципе необходимости, и что абсолют проявляется в силу необходимости. Не то относительно добра. Добро проявляется тем, что я хочу его, иначе его и существовать не может. Добро обуславливается, следовательно, свободой. Зло точно так же является только потому, что я хочу его. Этим значение добра и зла, однако, несколько не умаляется, и они не низводятся до степени чисто субъективных понятий. Напротив, добро существует само по себе и для себя и обуславливается существующей также самой по себе и для себя свободой.

Может показаться странным, что я употребил выражение «выбрать себя самого в абсолютном смысле», — можно придать этому такое значение, что я выбираю и добро и зло вместе или говорю, что и то и другое является во мне одинаково существенными началами. Для уничтожения этого недоразумения я в свое время сказал, что человек должен раскаиваться во всем и за всех, и в своих грехах, и в грехах предков, и всего человечества. Раскаяние выражает в одно и то же время, что зло и является и не является во мне существенным началом; если бы оно не являлось во мне существенным началом, то я не мог бы и выбрать его, но если бы во мне было хоть что-нибудь, чего я не мог выбрать абсолютно, то я бы и вообще не мог выбрать себя самого в абсолютном смысле и сам не был бы абсолютном.

Здесь я прерву эти рассуждения, чтобы перейти к этическому воззрению на личность, жизнь и значение жизни. Порядка ради, повторю некоторые замечания, сделанные раньше по поводу отношения эстетики к этике. Эстетическое мировоззрение, какого бы рода или вида оно ни было, есть в сущности отчаяние, обуславливаемое тем, что человек основывает свою жизнь на том, что может и быть и не быть, т. е. на несущественном.

Человек с этическим мировоззрением, напротив, основывает свою жизнь на существенном, на том, что должно быть. Эстетическим началом является в человеке то, благодаря чему он является тем, что он есть; этическим же то, благодаря чему он становится тем, что есть. Из этого не следует, впрочем, что эстетик вообще не способен к развитию; он также развивается, но его развитие совершается по законам необходимости, а не свободно; он не испытывает никакого стремления к бесконечному, которое бы привело его к выбору и заставило сознательно стать тем, что он есть.

Рассматривая себя самого с эстетической точки зрения, человек рассматривает свое «я» как многообразную конкретность, которая, несмотря на всю свою внутреннюю разносторонность, является единою сущностью: его личности, имеющей все права, как на проявление себя в жизни, так и на полное удовлетворение всех своих потребностей и желаний. Душа эстетика похожа, таким образом, на почву, на которой с одинаковым правом на существование произрастают всевозможные травы; его «я» дробится в этом многообразии, и у него нет «я», которое бы стояло выше всего этого. Если такой человек оказывается — как ты выражаешься — «серьезным эстетиком» и мало-мальски умным человеком, он поймет, что нельзя всем имеющимся в нем задаткам и способностям расти и развиваться с одинаковым успехом, и потому сделает между ними выбор, руководствуясь при этом лишь относительным значением или силой своих способностей и склонностей. Если вообще человек мог бы жить, не приходя в соприкосновение с этикой, то он, пожалуй, мог бы сказать себе: «Во мне есть задатки Дон Жуана, Фауста, атамана разбойников; разовью же эти задатки, так как серьезное отношение к эстетике требует от человеческой личности известной определенности, требует, чтобы человек развил имеющиеся в нем задатки до возможного совершенства»... Подобное воззрение

на личность и ее развитие вполне верно с эстетической точки зрения, так что ты можешь теперь видеть, в чем состоит эстетическое развитие личности, — оно похоже на развитие растения: благодаря ему человек становится только тем, чем хотела сделать его природа. Этический же взгляд на жизнь сообщает человеку познание добра и зла или понятие абсолютного различия между добром и злом, и если даже он найдет в себе больше зла, чем добра, то из этого вовсе не следует, что он станет развивать в себе это зло; напротив, зло должно будет ступшеваться в нем, а добро — выдвинуться на первый план. Развиваясь этически, человек сознательно становится тем, что он есть, и если даже сохраняет в себе все эстетические наклонности (которые, однако, имеют в его жизни совсем иное значение, нежели в жизни эстетика), то все же как бы развенчивает их. Серьезное отношение к эстетике, впрочем, так же полезно для человека, как и всякое вообще серьезное отношение к делу, но одно оно еще не в состоянии спасти душу человека. Возьмем в пример тебя: серьезное отношение к эстетическим идеалам вообще вредит тебе, так как ты засматриваешься на них до слепоты, и в то же время приносит тебе пользу тем, что заставляет тебя с отвращением отвертываться от противоположных идеалов зла. Спасти тебя это серьезное отношение к эстетике, однако, тоже не в состоянии, так как ты никогда не поднимаешься в этом смысле выше известного уровня, — ты устраняешься от всякого зла не потому, что осознаешь его значение и ненавидишь его, но просто потому, что оно оскорбляет в тебе эстетическое чувство. Выходит, следовательно, что ты одинаково не способен и на добро, и на зло. — А ведь никогда зло не является таким привлекательным, как именно под освещением лучей эстетики, и нужно проникнуться самым серьезным отношением к вопросам этики, чтобы навсегда избежать искушения смотреть на зло с эстетической точки зрения. Между

тем подобный взгляд предательски таится в каждом человеке и проскальзывает при каждом удобном случае, чему немало способствует преобладание эстетического начала в воспитании и образовании современного юношества. Нередко поэтому в самых горячих тирадах некоторых проповедников добродетели ясно слышится самодовольное сознание того, что и они, дескать, могли бы быть коварными и хитрыми злодеями не хуже других, да только не пожелали этого, предпочитая путь добродетели. Что же, однако, означает подобное самодовольство? Тайную слабость этих людей, заключающуюся в том, что они не могут постигнуть абсолютного различия добра и зла, т. е. не обладают истинным серьезным познанием добра и зла. В глубине души каждый человек чувствует, что выше всего быть добрым, хорошим человеком, но страстное желание выделиться хоть чем-нибудь из толпы всех прочих добрых людей, заставляет его требовать себе особого почтения за то, что он, несмотря на все блестящие данные сделаться дурным, все-таки стал хорошим. Как будто обладание всеми данными для того, чтобы сделаться дурным человеком, составляет особое преимущество! Подобным требованием люди только выказывают свое пристрастие к дурным свойствам своей натуры. Оттого-то и встречаются нередко люди, которые добры в глубине души, но у которых не хватает мужества признаться в этом, из боязни показаться чересчур обыкновенными людьми; эти люди также признают высшее значение добра, но не дают себе настоящего отчета в значении зла. Услышав на вопрос: «Какая же была развязка этой истории?» ответ: «Самая скучная!», можно быть уверенным, что таким восклицанием приветствуют развязку этического характера. Или случается тоже, что человек долгое время был какой-то хитрой загадкой для других, и вдруг открывается, что он не «таинственный злодей», а простой, добрый и честный человек, и люди презрительно фыркают: «Только-то и

всего? Стоило интересоваться!»... Да, нужно обладать большим мужеством, чтобы открыто отказаться от претензий и на ум, и на талантливость и объявить, что желаешь быть только добрым и хорошим человеком, так как считаешь это выше всего остального, — тогда ведь попадаешь в разряд обыкновенных людей, а этого страсть как не хочется никому! Стоит ли быть добрым и хорошим, когда всякий может быть и добрым, и хорошим! Другое дело быть злодеем: тут нужны особые способности, выделяющие тебя из ряда прочих людей! На том же основании многим хочется быть философами и мало кому — христианами: для первого нужен талант, для второго только смирение; следовательно, христианином может быть всякий, кто только захочет. Все вышесказанное тебе не мешает принять к сведению; в сущности, ты не дурной и не злой человек. Не вздумай только обидеться на меня за мои речи, я вовсе не хотел оскорблять тебя, но я ведь не обладаю твоими блестящими способностями и талантами, так как же мне не постоять за положение простого, доброго и хорошего человека? ...

Продолжаю. — Каждый человек, живущий исключительно эстетической жизнью, испытывает тайный страх перед необходимостью отчаяния, — он хорошо знает, что отчаяние абсолютно сгладит все те конечные различия, на которых держится теперь его жизнь, т. е. уничтожит значение всех отличающих его между другими людьми особенностей, которыми он теперь так гордится. Чем вообще выше та ступень развития, на которой стоит человек, тем меньше он придает значения этим различиям или особенностям, но в большинстве случаев он все-таки старается сохранить за собой хоть какое-нибудь отличие, которое и составляет основу всей его жизни, так как оно позволяет ему отказаться признать пугающее его абсолютное равенство всех людей без изъятия. Да, просто удивительно, с какой замечательной самоуверенностью открывают в себе даже са-

мые незначительные люди подобные — если можно так выразиться — «эстетические отличия», как бы ничтожны эти последние ни были. И что за нелепые споры, являющиеся одним из самых жалких явлений жизни, возникают зачастую между людьми из-за этих отличий! Свое нерасположение к отчаянию эстетики стараются объяснить тем, что будто бы считают отчаяние разрывом личности со всем общечеловеческим. Они были бы правы, если бы развитие личности состояло в развитии «непосредственного человека», но если это не так, то и отчаяние — не разрыв, а просветление личности. Эстетики боятся также, что отчаяние лишит жизнь ее увлекательного разнообразия, которое она будто бы сохраняет лишь до тех пор, пока каждый отдельный человек смотрит на нее с эстетической точки зрения. Здесь, однако, мы опять имеем дело с недоразумением, вызванным, по всей вероятности, различными ригористическими теориями. Отчаяние ничего не уничтожает, эстетическое начало остается в человеке нетронутым, но лишь занимает более подчиненное положение, что именно и способствует его сохранению. Правда, человек перестает уже жить прежнею исключительно эстетическою жизнью, но из этого еще не следует, чтобы жизнь его была совершенно лишена эстетического начала; это последнее только занимает в ней иное место, чем прежде. Этик в сущности тем только и отличается от серьезного эстетика, что он доводит свое отчаяние до конца, тогда как эстетик произвольно обрывает свое. Эстетик точно так же сознает всю суетность того эстетического разнообразия, на котором он основывает свою жизнь, и если и говорит, что нужно наслаждаться хоть тем, что под руками, то лишь из недостойного человека малодушия.

Эстетик смотрит на личность как на нечто неразрывно связанное с внешним миром, зависящее от всех внешних условий и сообразно с этим смотрит и на наслаждение. Наслаждение эстетика, таким образом, — в наст-

роении. Настроение зависит, конечно, и от самой личности, но лишь в слабой степени. Эстетик именно стремится отрешиться от своей личности, чтобы возможно полнее отдаться данному настроению, всецело исчезнуть в нем — иначе для него и нет наслаждения. Чем более удастся человеку отрешиться от личности, тем более он отдается минуте, так что самое подходящее определение жизни эстетика будет: «он раб минуты». Этик также может подчиняться настроению, но далеко не в такой степени; абсолютный выбор самого себя вообще поставил его выше минуты, сделал его господином настроения. Кроме того этик, как уже было сказано выше, обладает жизненной памятью, тогда как эстетик именно страдает отсутствием ее. Этик не отказывается окончательно от очарования настроения, но лишь на мгновение как бы отстраняет его от себя, чтобы дать себе отчет в нем, а это-то мгновение и спасает его от порабощения минутой, дает ему силу побороть искушающую его страсть. Тайна господства над своими страстями ведь не столько в аскетическом отречении от них, сколько в умении самому назначить минуту для их удовлетворения: сила страсти абсолютна лишь в данную минуту. Напрасно поэтому говорят, что единственное средство преодолеть страсть, это — абсолютно запретить себе и думать об ее удовлетворении; подобное средство весьма ненадежно; напротив, пусть, например, азартный игрок в минуту неудержимого влечения к игре, скажет себе: «Хорошо, только не сию минуту, а через час», и — он становится уже господином своей страсти. Настроение эстетика всегда эксцентрично, так как его жизненный центр в периферии. Центр личности должен, между тем, находиться в ней самой, поэтому тот, кто не обрел самого себя, всегда эксцентричен. Настроение этика, напротив, сконцентрировано в нем самом: он трудился и обрел самого себя, а вследствие этого и его жизнь обрела известное основное настроение, которое зависит от

него самого и могло бы быть названо *aequale temperamentum**. Настроение это, однако, не имеет ничего общего с эстетическим настроением и никому не дается от природы или непосредственно.

Может ли, однако, человек после того как выбрал себя самого в абсолютном и бесконечном смысле, сказать себе: теперь я обрел самого себя, и мне ничего больше не нужно, — всем превратностям жизни я противопоставлю гордую мысль «Каков я есть, таким и останусь»! Ни в каком случае! Если бы человек выразился подобным образом, он сразу выдал бы, что стоит на ложном пути. Главная ошибка его заключалась бы в данном случае в том, что он не выбрал бы себя самого в истинном смысле; он выбрал бы себя лишь во внешнем смысле, придал выбору абстрактное значение, а не охватил им себя самого во всей своей конкретности, совершил выбор как бы по необходимости, а не свободно, примешал к этическому выбору эстетическую суетность. Чем важнее по своему существу то, что должно проявиться благодаря выбору, тем опаснее для человека попасть на ложный путь, между тем в данном случае человек, как уже сказано, именно подвергается такому риску. Благодаря выбору человек обретает себя самого в своем вечном значении, т. е. сознает свое вечное значение как человека, и это значение как бы подавляет его своим величием, земная конечность теряет для него всякое значение. В первые мгновения по выборе человек испытывает, вследствие этого, безграничное блаженство и абсолютное удовлетворение; если же он после того отдастся одностороннему созерцанию своего положения, то конечность не замедлит предъявить ему свои требования. Он, однако, презрительно отвергает их; что ему земная конечность со всеми ее плюсами или минусами, если он — существо бесконечное? И вот ход жизни для него как бы приостанавливается, он как будто опережает само время и стоит у входа

* Ровное настроение, характер (лат.)

в вечность, погруженный в самосозерцание. Но самосозерцание не в силах наполнить окружающую его пустоту, создаваемой для него гибельным временем. Им овладевает усталость и апатия, похожие на ту истому, которая является неизбежным спутником наслаждения; его дух требует высшей формы существования. Отсюда же один шаг и до самоубийства, которое может показаться такому человеку единственным выходом из его ужасного положения. Но такой человек не выбрал себя самого в истинном смысле, а влюбился в себя самого, как Нарцисс. Не мудрено, что он кончает самоубийством.

Здесь, пожалуй, кстати будет упомянуть еще об одном воззрении на жизнь, которое ты так любишь проводить, большей частью в теории, частью же на практике. Согласно этому воззрению земная жизнь ни более ни менее как юдоль скорби и печали, человек создан для горя, и самый несчастный есть в сущности самый счастливый, так как исполняет свое назначение. С первого взгляда это воззрение как будто нельзя причислить к эстетическим, — нельзя ведь сказать, чтобы лозунгом его было «наслаждение». Тем не менее воззрение это нельзя причислить и к этическим, — оно находится как раз на опасном перепутье между эстетическим и этическим; стоя на этом перепутье, душа человека так легко подчиняется влиянию теории предопределения...

Из всех ложных воззрений на жизнь, которые ты проповедуешь, упомянутое, пожалуй, самое худшее, но, как тебе известно, и самое удобное, раз дело идет о том, чтобы вкратце в душу людей и привязать их к себе. Ты можешь казаться самым бессердечным человеком, можешь поднять на смех все, даже горе человека, и знаешь, что это придает тебе известное обаяние в глазах молодежи; это обаяние, однако, столько же соблазнительного, сколько и отталкивающего характера, так как подобное отношение к людям и увлекает, и в то же время отталкивает молодежь. Ты намеренно закаляешь свою

душу, чтобы, следуя своему эстетическому влечению к интересному, находить это интересное не только в радости, но и в горе, и в скорби людей. А это-то твое неудержимое упорное влечение и подает постоянный повод к недоразумениям со стороны посторонних лиц, которые то считают тебя человеком без всякого сердца, то истинно добрым, тогда как ты, в сущности, ни то, ни другое. Упомянутые недоразумения возникают из того, что люди одинаково часто видят тебя в поисках за горем и печалью людскими, как и за радостью — тебе ведь нужна в них одна идея, обуславливающая для тебя эстетический интерес и радости и горя. Если бы у тебя хватило легкомыслия погубить человека, ты мог бы подать новый повод к обманчивому недоразумению. Ты не бежал бы сейчас от погубленного тобой человека к новым радостям, напротив, ты заинтересовался бы его горем еще больше, чем радостью. Ты пустил бы при этом в ход всю свою опытность, увлечение и искусство красноречия, чтобы заставить несчастного принять от тебя утешение, которого больше всего жаждет всякий несчастный эстетик — утешения, даваемое красноречием. Ты наслаждался бы своим влиянием на несчастного, наслаждался тем, что можешь убаюкивать его музыкой своей речи, которая наконец стала бы для него необходимостью, так как одна она подымала бы его душу над мрачной бездной горя. Скоро, однако, ты устал бы возиться с ним: интерес исчерпан, печаль и горе для тебя такие же «случайные встречные», как и радость, сам ты не «оседлый гражданин мира, а кочующий путник», и вот ты бросился бы в свой дорожный экипаж: «Дальше»! Если бы тебя спросили: «Куда?» — ты ответил бы словами своего любимого героя Дон Жуана: «К радости и веселию»! Ты побаловался бы горем, а затем душа твоя запросила бы противоположного.

Конечно, буквально так, как я нарисовал сейчас, ты еще не поступаешь, и я даже не отрицаю, что ты часто

проявляешь неподдельное участие к несчастным, искренно желаешь излечить их от горя или печали и вернуть к радостям жизни. Говоря твоими словами — ты впрягаешься, как добрый конь, и бьешься изо всех сил, чтобы вывезти их из трясины скорби. Действительно ты не жалеешь ни времени, ни трудов и иногда достигаешь своей цели, но я не похваляю тебя за твое усердие, — за ним скрывается кое-что другое. Дело в том, что ты не терпишь в человеке никакой силы, которая бы могла противостоять тебе, — такую силу ты видишь в скорби человека и во что бы то ни стало стараешься покорить ее. Добившись же своего, излечив человека от скорби, ты наслаждаешься сознанием неизлечимости своей скорби. Одним словом, ищешь ли ты развлечения в чужой радости или в скорби, ты в сущности занят одной своей скорбью, которую горделиво носишь в своей душе, считая ее бесконечной и неизлечимой.

Итак, вернемся опять к твоему воззрению на жизнь, согласно которому земная жизнь — юдоль скорби. Весь ход современного развития человечества ведет к тому, что люди более склонны скорбеть и печалиться, нежели радоваться: упомянутое выше воззрение считается вообще воззрением высшего порядка, что, пожалуй, и справедливо настолько, насколько вообще влечение к радости в человеке непосредственно и естественно, влечение же к скорби — искусственно. Другой причиной господства этого воззрения является то, что радость налагает на человека известный долг благодарности, который он чувствует, хотя зачастую и не знает хорошенько, кого следует ему благодарить, настолько бывают спутаны его мысли и понятия. Скорбь не влечет за собой никаких обязательств, и поэтому тщеславие человека легче примиряется с ней. Кроме того, наш век познал суетность жизни столь многими путями, что потерял веру в радость, а так как нужно же верить во что-нибудь, он и ве-

рит в скорбь. Радость проходит, говорят люди, а скорбь остается, поэтому тот, кто основал свое жизненное воззрение на скорби, дает жизни прочную основу.

Если теперь расспросить тебя подробнее, какую именно скорбь ты имеешь в виду, наверное окажется, что ты говоришь не об этической скорби, которая всегда связана с раскаянием, а о простой эстетической, или рефлексивной скорби. Причиной такой скорби является не сам человек, не сознание им своей греховности, а несчастное стечение обстоятельств, прискорбное предрасположение, постороннее влияние и т. п. Все это хорошо известно тебе из романов. Читая об этом в последних, ты, впрочем, смеешься, слыша это из уст других — глумишься, если же вздумаешь доказывать сам, то выдаешь это за непреложную истину.

Хотя мировоззрение, основанное на скорби, достаточно печально и само по себе, я хочу обратить твое внимание еще на одно свойство его, о котором ты, может быть, и не подозреваешь, — на безутешность его. Повторю здесь то, что уже сказал раньше: если радость считается непрочной на том основании, что она преходяща, то ведь так же преходяща и, следовательно, непрочна и скорбь. Мне не нужно, впрочем, особенно упираться на последнее обстоятельство, так как ты знаешь об этом от своего учителя *Скриба*, не упускавшего случая поглумиться над сентиментальностью людей, верящих в вечную продолжительность своей скорби. Человек, утверждающий, что жизнь юдоль скорби и что удел человека на земле скорбеть и печалиться, имеет радость вне себя так же, как человек, видящий смысл жизни в наслаждении и радости, имеет вне себя печаль, и радость может, следовательно, застигнуть врасплох первого, как печаль второго. Оба воззрения основываются на внешних условиях, находящихся вне самого человека и его воли: и скорбь и радость одинаково вне власти человека; всякое же мировоззрение, основанное на внешних, не зависящих

от самого человека условиях, есть, как уже было сказано раньше, отчаяние. Будь поэтому хоть вдвое умнее и изобретательнее, гони сколько хочешь радости слезливой гримасой или, если предпочитаешь, морочь ее маской наружного веселья, скрывающей твою внутреннюю скорбь, — радость все-таки может застать тебя врасплох, — время ведь пожирает своих детей, а эстетическая скорбь именно детище времени, и кажущаяся вечность ее не более как обман.

Чем глубже причина скорби человека, тем более может казаться, что эта скорбь продлится всю жизнь, даже без всякого усилия со стороны самого человека. Ты это хорошо понимаешь и потому, говоря, что удел человека вечная скорбь, имеешь главным образом в виду несчастные индивидуальности и трагических героев. Есть люди, несчастную особенность которых составляет именно их предрасположение к скорби и нечувствительность к радости или счастью; над такими людьми словно тяготеет какой-то злой рок, как и над героями греческих трагедий, и к ним-то, конечно, вполне применимы твои слова: «Удел человека — скорбь». В фатальной судьбе этих людей есть, однако, нечто соблазнительное для многих, между прочим и для тебя, — вот ты и пользуешься случаем заявить свою претензию быть не менее, как несчастнейшим из этих несчастных. Признаюсь, горделивее и смелее этой претензии не могло и зародиться в мозгу человека.

Позволь же мне ответить тебе на это так, как ты того заслуживаешь. Прежде всего: ты вовсе не скорбишь, и тебе это прекрасно известно самому, — недаром же ты только и твердишь, что несчастнейший, в сущности, — счастливейший. Твоя скорбь — не что иное, как самое ужасное притворство; это притворство перед Вечной Силой, правящей миром, возмущение против Бога, такое же возмущение, как смех там, где надо плакать. Твое отчаяние — вызов, бросаемый самому Богу и в то же время — измена всему человечеству. Ты, как и все люди,

различаешь несколько родов скорби, но при этом считаешь свою скорбь превыше всех, не сравнимой ни с какой другой, непосильной ни для кого из других людей. Но если бы даже и действительно могла существовать такая скорбь, не тебе решать, на чью долю она выпала. Как ни различны скорби и печали людские, все они, в сущности, равны, и ты попираешь своим высокомерием священнейшее право каждого человека на милость Божию. Высокомерие это — измена, низкая зависть, ядовитый намек на то, что великие люди не были подвергнуты опаснейшим испытаниям, что слава досталась им слишком легко, что и они пали бы, если бы на их долю выпало то сверхчеловеческое искушение, о котором говоришь ты. Так ли, однако, воздают должное великому, так ли свидетельствуют о нем?

Не пойми меня в данном случае превратно. Я не принадлежу к числу людей, отвергающих всякую мысль о скорби, я презираю низменную житейскую мудрость, рекомендующую «гнать печаль из сердца», и если только мне представится выбор, всегда предпочту скорбь. Я знаю, что в скорби есть красота, что в слезах есть сила, но я знаю также, что не следует предаваться безнадежной скорби. Между мной и тобой есть одна абсолютная разница, которая никогда не уничтожится: я не могу смотреть на жизнь исключительно с эстетической точки зрения, я чувствую, что это лишило бы мою жизнь самого дорогого, заветного в ней, я требую от жизни высшего содержания — и нахожу его в этике. И только этическая скорбь — раскаяние — имеет истинное глубокое значение. Не обижайся на мои слова и не смущайся, если я укажу в этом случае на ребенка как на пример, достойный подражания. Отличительной чертой хорошо воспитанного ребенка является склонность просить прощения, не разбирая много — прав он или виноват; отличительной чертой великодушного человека является склонность раскаиваться, не споря с Богом, так как он

истинно любит Бога, а истинная любовь к Богу выражается раскаянием. Мой выбор в этом отношении давно сделан: да, уверяю тебя, если бы жизнь моя, без всякой вины с моей стороны, стала непрерывной цепью скорбей и страданий, так что я бы имел полное право сравнивать себя с величайшим из героев трагедий, мог бы тешиться моей скорбью и вызывать у людей сострадательный ужас, я бы сбросил с себя доспехи героя, отказался бы от всякого трагического пафоса — я ведь не мученик, который может гордиться своими страданиями, а смиренный грешник, чувствующий свою вину перед Богом; у меня одно выражение для моей скорби — раскаяние, одна надежда — прощение Божие.

Ты, может быть, думаешь, что я таким образом отрицаю значение скорби и бегу от нее? Ничуть! Я затаил ее в глубине души и потому никогда не забываю о ней. Вообще лишь недостаток веры в силу и значение духа заставляет человека сомневаться в его духовном обладании тем, что у него непостоянно на глазах; следовало бы, напротив; напомнить, что как в обыденной жизни, желая спрятать что-нибудь возможно лучше, прячешь это в такое место, куда вообще меньше всего заглядываешь, так и в духовной. Моя скорбь глубоко схоронена в моей душе, и я знаю, что она останется неотъемлемой принадлежностью моего существа, уверен в этом куда больше, чем тот, кто из боязни утратить ее, ежедневно выкладывает ее напоказ всем.

В моей жизни не было таких потрясений, которые бы могли ввести меня в искушение пожелать разрушить, низвергнуть хаос весь мир, — но даже и моя обыкновенная будничная жизнь успела дать мне почувствовать, как полезно придавать скорби этическую подкладку, т. е. не уничтожить в ней все эстетическое, а лишь подчинить его этическому. Пока скорбь тиха и покорна, она вообще не пугает меня, но если она становится горячей и страстной, склонной к софизмам и способной вы-

звать в моей душе уныние, тогда я восстаю против нее; я не потерплю никакого посягательства на то, что получил, как дар, из рук самого Бога! Мое восстание против скорби выражается, однако, не тем, что я гоню ее прочь или стараюсь забыть ее, но тем, что раскаиваюсь. Я раскаиваюсь даже в том случае, если и не был лично виноват, если даже ничем не заслужил этой скорби, раскаиваюсь в том, что я позволил ей овладеть мною, а не вручил ее в ту же минуту Всевышнему. < ... >

Вернемся к выбору. Первое, к чему приводит человека выбор, — полнейшее обособление его от мира. Выбирая себя самого, я выделяю мое «я» из моих отношений к миру, пока, наконец, не приду, благодаря тому же выделению, к сознанию своей тождественности с миром. Сделав свободный выбор самого себя, человек является *eo ipso* действующим лицом; его деяния, однако, не имеют вначале никакого отношения к окружающему его миру, так как человек уничтожил это отношение своим выбором и существует теперь только сам по себе и для себя. И вот теперь-то, наконец, мы и доходим до этического воззрения на жизнь. Во времена древней Греции оно нашло свое выражение в стремлении индивидуума к нравственному совершенству; человек, подобно позднейшим христианским отшельникам, удалялся из мира, отказывался от мирской внешней деятельности и отдавался внутренней духовной. Только в этой последней деятельности он видел свою жизненную задачу и только в ней находил самоудовлетворение: в его намерения ведь не входило усовершенствовать себя и подготовиться к служению миру, напротив, он навсегда отказывался от мира и стремился к нравственному совершенству только ради себя самого. В сущности, такой человек вовсе не бежал от мира, не удалялся в пустыню, а оставался в миру, потому что соприкосновение с последним было ему необходимо в целях самовоспитания;

тем не менее мирская жизнь не имела для него никакого значения, — он точно заклил ее и этим заклятием лишил ее всякой возможности оказывать на него какое-либо влияние. Подобный человек стремился, следовательно, не к такому нравственному совершенству, благодаря которому он мог бы стать полезным гражданином мира, воспитывал в себе не гражданские добродетели (в сущности, истинные добродетели язычества соответствуют религиозным добродетелям христианства), но личные, стремился к совершенству ради самого совершенства. В наше время подобное псевдоэтическое воззрение найдет, конечно, весьма немного представителей, — религия слишком вошла в жизнь, чтобы человек мог остановиться на таком абстрактном отношении к добродетели. Ошибка или несовершенство подобного воззрения заключается в том, что придерживающийся его человек выбирает себя лишь в абстрактном смысле, вследствие чего становится абстрактным и то совершенство, к которому он стремится. Вот почему я ставлю, наряду с требованием выбора, требование раскаяния, — последнее ставит человека в самую близкую тесную связь с окружающим его миром.

В христианском мире зачастую можно было встретить — да и теперь еще встречаешь — представителей мировоззрения, аналогичного только что упомянутому древнегреческому, но являющегося, благодаря примеси мистического и религиозного начал, более возвышенным и совершенным. Какой бы высокой степени личного нравственного совершенства ни достигал древнегреческий индивидуум, его жизнь все-таки не приобретала более бесконечного и совершенного значения, нежели и тот мир, искушения и соблазны которого она победила; конечным блаженством такого индивидуума было одинокое самоудовлетворение, столь же суетное, как и все другое, от чего он отказался. Жизнь религиозного мистика имеет более глубокое значение. Он выбирает себя

самого в абсолютном смысле, хотя и редко употребляет данное выражение, а, напротив, говорит, что выбирает Бога, но это, как уже сказано выше, не изменяет сути дела: не выбрав себя самого в абсолютном смысле, человек не может стать в свободные отношения к Богу, а свобода именно и является отличительной чертой христианства. Сделав абсолютный и свободный выбор, т. е. выбрав себя самого, мистик является *eo ipso* действующим лицом, но его деяния принадлежат не внешнему, а его внутреннему, душевному миру. Благодаря своему выбору мистик выделяет свое «я» из внешнего мира, последний как бы перестает существовать для него, и его усталая душа выбирает Бога. Не следует истолковывать выражения «усталая душа» в дурном смысле, унижающем мистика и придающем сомнительное значение его выбору Бога, — как будто он выбирает Его лишь тогда, когда его душа утомится и пресытится мирской жизнью. Выражение это означает, напротив, раскаяние мистика в том, что он не обратился к Богу раньше. < ... >

Итак, совершив свой выбор, мистик является *eo ipso* действующим лицом, но его действия принадлежат его внутреннему душевному миру, и насколько он в этом отношении явится действующим, настолько и его жизнь будет иметь движение, развитие, историю. Развитие ее может, однако, быть настолько метафизическим или эстетическим, что становится сомнительным, насколько его можно назвать историей, — под историей человеческой жизни подразумевается лишь свободное развитие ее. Затем, движение его жизни может быть настолько отрывочным, что его трудно назвать и развитием. Если это движение состоит в том, что известный момент повторяется вновь и вновь, то конечно нельзя отрицать существования самого движения, можно даже открыть управляющий им закон, но развития здесь все-таки никакого не будет. Временное повторение, не имеющее никакой внутренней связи, и не имеет в этом смысле ни малей-

шего значения. Такою, однако, именно и является жизнь мистика. Страшно читать жалобы мистика в минуты душевного изнеможения. Эти минуты сменяются минутами просветления, — и в таких переменах проходит вся его жизнь; в ней есть, таким образом, движение, но нет развития, так как в ней нет и внутренней связи, за исключением разве того неопределенно-тоскливого чувства, с которым мистик глядит и на прошлое, и на будущее; но это-то чувство — уже само по себе и выражает недостаток в жизни мистика настоящей внутренней связи. Развитие личности мистика до такой степени заключено в границах метафизики и эстетики, что его нельзя назвать историей, или если и можно, то лишь в том же смысле, в каком говорят об истории растений. Мистик умирает для всего мира и весь отдается одной любви к Богу, так что развитие его жизни заключается в развитии этой любви. Как между влюбленными замечается иногда известное сходство даже в наружности, форме и выражении лица, так и душа мистика, погруженного в любовное созерцание Божества, все более и более возвращает себе в обновленном и просветленном виде утраченные ею образ и подобие Бога. Внутренние деяния мистика сводятся не к приобретению личных добродетелей, но к развитию религиозных или созерцательных. Сказать, что его жизнь состоит в последнем, однако, нельзя — это было бы слишком этическим определением жизни мистика, являющейся, в сущности, одной молитвой. Молитва входит и в жизнь этика — я не отрицаю этого — но молитва этика всегда до известной степени субъективна, содержательна и рассудительна, тогда как для мистика молитва получает тем большее значение, чем больше в ней восторженной бессознательности и пламенной любви к Божеству. Молитва служит для него единственным средством выражения его любви, единственным языком, на котором он может говорить с Божеством. Как влюбленные нетерпеливо ждут

минуты задушевной беседы, когда они могут высказать друг другу свою любовь, так и мистик тоскует и ждет не дождется минуты молитвенной беседы, соединяющей его с Богом, и, если наслаждение влюбленных их тихой беседой ничуть не уменьшается от того, что им нечего сказать друг другу, то тем менее — наслаждение мистика. Напротив, он испытывает тем больше блаженства от своей молитвы, тем больше счастья от своей любви к Богу, чем менее в них содержания, чем бессознательнее он отдается им, чем сильнее уходит и исчезает в них всем своим существом.

На мой взгляд, в любви мистика и его отношении к Богу заметна, однако, некоторая навязчивость. Никто не станет отрицать того, что человек должен любить Бога всею душою, всеми помышлениями своими, или того, что такая любовь не только долг, но и высшее блаженство человека, тем не менее из этого не следует, что мистик имеет право пренебречь во имя этой любви к Богу условиями действительной жизни, в которые он поставлен самим же Богом. Пренебрегая ими, он пренебрегает и любовью Бога к себе или требует от Него иного выражения этой любви, чем то, которое угодно было проявить Ему. Сюда вполне применимы слова пророка Самуила: «Покорность лучше всякой жертвы». Навязчивость мистика может принять и еще более опасную форму в том случае, если он основывает свои отношения к Богу на уверенности быть, благодаря той или другой случайности, особым избранником и любимцем Божиим. Такой уверенностью мистик унижает и Бога и себя; себя — потому что вообще унизительно отличаться от других, благодаря какому-либо случайному обстоятельству; Бога — потому что таким путем превращает Его в идола, а себя — в Его любимца.

Кроме того, мне не нравится жизненная дряблость и слабость мистика, являющиеся его постоянными отличительными чертами. Разумеется, вполне естественно,

что человек желает в глубине души удостовериться в искренности и правдивости своей любви к Богу, чувствует время от времени побуждение проверить это высокое чувство, — кто станет отрицать похвальность такого побуждения? Тем не менее никому не следует предпринимать эти проверки ежеминутно. Душевное величие человека выражается именно его непоколебимой верою в любовь Бога к себе, а эта вера влечет за собою и веру в искренность своей любви к Богу и радостную покорность Его воле, выражающееся примирением с теми жизненными условиями, в которые он поставлен Богом.

Не могу я, наконец, сочувствовать жизни мистика еще потому, что смотрю на нее, как на измену миру, в котором он живет, и человечеству, с которым он связан кровными узами и с которым мог бы вступить в самую тесную связь, если бы не заблагорассудил сделаться мистиком. В большинстве случаев мистик выбирает одинокую жизнь, — но вопрос в том, имеет ли он право сделать подобный выбор? Мистик не желает обманывать людей и напрямик заявляет, что не хочет иметь с ними никакого дела; вопрос опять-таки в том, имеет ли он право поступать таким образом. Я враг мистицизма в силу самого положения своего как семьянина и отца. В семейной жизни есть уже свое святое святых; будь же я мистиком, мне пришлось бы иметь еще личное святое святых, вследствие чего я был бы плохим семьянином. Так как я вообще того мнения (которое разовью впоследствии), что каждый человек должен жениться, и уж, конечно, не для того, чтобы быть плохим семьянином, то ты легко поймешь мое нерасположение к мистицизму.

Крайний и односторонний мистик становится, в конце концов, до того чуждым миру, что даже самые близкие, кровные отношения к людям теряют для него всякое значение. Между тем вовсе не в этом смысле сказано в Писании, что должно любить Бога больше отца и матери, — Бог не настолько себялюбив. Бог также и не

поэт, желающий мучить людей страшными коллизиями, а нельзя ведь и представить себе ничего ужаснее положения людей, если бы между любовью к Богу и любовью к людям, которую Он сам же вложил в наше сердце, действительно существовала подобная коллизия. Ты, вероятно, не забыл еще юноши Людвиг Блэкфельда, с которым нам, особенно мне, приходилось так часто встречаться несколько лет тому назад. Он был одарен истинными и редкими способностями, но, к несчастью, слишком односторонне увлекся не столько христианским, сколько каким-то индийским мистицизмом. Живи он в средние века, он, без сомнения, нашел бы себе убежище в монастыре; наше время не располагает такими средствами помощи, и заблудший человек, если только не исцелится вполне, гибнет безвозвратно. Бедняга Людвиг поэтому и кончил самоубийством. Мне он оказывал нечто в роде доверия, нарушая этим свою любимую теорию, по которой не следовало иметь никаких отношений к людям и быть непосредственно связанным с одним Богом. Его доверие не было, впрочем, особенно велико, и вполне откровенным со мною он никогда не был, так что в последние месяцы его жизни я просто со страхом следил за его эксцентричными выходками. Несколько раз мне, кажется, все-таки удалось остановить его, наверное же сказать ничего не могу, так как он был вообще страшно скрытен и искусно маскировал свое душевное настроение. Наконец, он покончил с собой, и никто не знал причины. Его домашний доктор видел ее во временном умопомешательстве, что, конечно, показывает высокий ум и проницательность доктора. В известном смысле Людвиг, однако, владел всеми своими умственными способностями до последней минуты. Ты, может быть, не знаешь, что сохранилось письмо, которым Людвиг известил о своем намерении своего брата юстиц-советника? Вот копия этого письма, являющегося глубоко правдивым и объективным выражением последней агонии мистика:

*

**«Милостивый Государь,
Господин Юстиц-Советник!**

Пишу к Вам, так как Вы в некотором роде самый близкий мне человек, с другой стороны, Вы мне, впрочем, не ближе всякого другого. Когда Вы получите эти строки, меня уже не будет больше на свете. Если Вас спросят о причине, можете сказать, что была, дескать, такая принцесса по имени Утренняя Заря... или что-нибудь в этом роде; я и сам ответил бы так же, если бы имел удовольствие пережить себя самого. Если Вас спросят о поводе, можете сказать: по поводу большого пожара. Если спросят о времени события, можете сказать, что оно имело место в столь знаменательном для меня июле месяце. Если же Вас ничего не спросят, можете ничего и не отвечать.

Я не считаю самоубийство чем-то похвальным и решился на него не из тщеславия. Я признаю зато справедливость положения, утверждающего, что ни одному человеку не выдержать созерцания бесконечного. Бесконечное предстало однажды моему умственному взору, и я понял, что формой для него служит неведение. Неведение — отрицательная форма бесконечного знания. Самоубийство — отрицательная форма бесконечной свободы.

Счастлив, кто найдет положительную.

С почтением и проч.»

Итак, ошибка мистика в том, что он хотя и совершает свободный выбор самого себя, но не этический, так как последний всегда сопровождается раскаянием. Становишься конкретным лишь благодаря раскаянию, становишься же свободным, лишь став конкретным. Мистик, следовательно, с первых же шагов идет по ложному пути. Только выбрав себя таким, каков я есть, овладев своим «я» во всей его конкретности, приняв на себя сознательную ответственность за каждое душевное движение, я делаю этический выбор самого себя, раскаиваюсь, становлюсь конкретным и, при всей своей обособленности от действительного мира, абсолютно связанным и тождественным с ним. Как ни просто, в сущности, положение о тождественности этического выбора своего «я» с раскаянием, не могу не возвращаться к нему постоянно. В этом ведь вся суть. Мистик, пожалуй, тоже раскаивается, но раскаяние его внешнее, а не внутреннее, метафизическое, а не этическое. Эстетическое раскаяние отвратительно: оно показывает только дряблость душевную; метафизическое — излишне: ведь не сам человек создал мир, что ж ему особенно и сокрушаться о суете мира? Мистик выбирает себя лишь в абстрактном смысле, поэтому и раскаяние его абстрактно; лучше всего это видно из суждения мистика о жизни и действительности, среди которых он все-таки живет. Мистик учит, что земная жизнь — суета, обман, грех; все это, однако, одни отвлеченные рассуждения, не имеющие ничего общего с этическим отношением человека к жизни. Даже называя жизнь грехом, мистик стоит, в сущности, на той же отвлеченной точке зрения, как и тогда, когда называет ее суетой; желание придать этому слову этический смысл останется бесплодным, если само отношение мистика к жизни будет не этическим, а метафизическим; этическое же отношение выражается не трусливым бегством от жизни, а мужественною борьбой с нею и победой, или сознательным подчинением ее тяготам и бременю...

Мистик совершает абстрактный выбор самого себя и этим выбором окончательно выделяет себя из всего остального мира, к которому уж и не возвращается никогда. Истинный же этический конкретный выбор в том и состоит, что, выбирая себя, выделяя свое «я» из всего мира, человек в ту же минуту возвращается к нему, благодаря раскаянию. <...>

Оба намеченные здесь воззрения на жизнь — и древнегреческого философа и христианского мистика — можно таким образом считать первыми, хотя и неудачными попытками этического мировоззрения. Причина неудачи в том, что индивидуум в обоих случаях окончательно выделяет себя из мира или — выбирает себя абстрактно, т. е. не этически, вследствие чего и теряет свою связь с действительностью; между тем этические отношения только и возможны в области действительности. <...>

При истинном, этическом, выборе индивидуум выбирает себя как многообразную конкретность, находящуюся в неразрывной связи с миром. Эта конкретность — «действительность» индивидуума, но так как выбор его был вполне свободным, то ее можно также назвать «возможностью» или — употребляя этическое выражение — «задачей» индивидуума. Эстетик всюду видит в жизни возможности, обуславливающие для него содержание будущего; этик же видит в жизни задачи, что и придает его жизни известную определенность и уверенность, которых так недостает жизни эстетика, рабски зависимой от всех внешних условий. <...> В этой же зависимости и лежит причина того болезненного страха, с которым люди говорят об ужасном положении человека, не находящего себе места в жизни. Подобный страх указывает на то, что человек ожидает всего от места и ничего от самого себя. Этик также старается найти надлежащее место в жизни, но, если он и заметит, что ошибся, или, если перед ним восстанут какие-нибудь неожиданные

преграды и затруднения, он все-таки не падет духом, так как не потеряет власти над собой. Он сразу увидит предстоящую ему новую задачу и немедленно приступит к делу. Немало также встречается людей, которые опасаются, что в случае, если им придется влюбиться, им достанется не та девушка, которая соответствует их идеалу женщины. Кто станет отрицать счастье жениться именно на такой девушке, но, с другой стороны, не суеверие ли предполагать, что счастье человека заключается в чем-либо, лежащем вне его самого? Этик тоже старается не ошибиться в выборе жены, но если впоследствии и оказывается, что выбор не вполне оправдал его надежды, он не падает от этого духом, — он сразу видит предстоящую ему жизненную задачу и понимает, что вся суть не в том, чтобы желать, а в том, чтобы хотеть. Многие, имеющие вообще некоторое представление о значении жизни, желают быть современниками великих исторических событий и даже участвовать в них. Кто станет отрицать смысл подобного желания, но, с другой стороны, разве не суеверие предполагать, что значение человека определяется его участием во внешних событиях жизни?

Этик знает, что вся суть — во взгляде человека на жизнь, в энергии его внутренней душевной деятельности, знает, что человек, стоящий в этом смысле на высоте требования, может и в самых скромных рамках жизни пережить куда больше того, кто был не только свидетелем, но и сам участвовал в великих мировых событиях. Этик знает, что вся жизнь — одна сплошная сцена, и каждому, даже самому незначительному человеку, предстоит сыграть в ней свою роль, причем от него самого зависит сделать ее столь же значительной и серьезной в духовном смысле, как и роль тех, кому отведено место в истории. К эстетике вообще вполне применимо старое изречение: «быть или не быть», — и чем более его жизнь приближается к идеалу эстетической жизни, тем

более он становится зависимым от всех внешних условий ее; измени ему хоть одно, и — он погиб; для этика же всегда существует исход: когда все идет наперекор его желаниям, когда мрак бури сгущается вокруг него до такой степени, что даже сосед теряет его из виду, — он все-таки не погибает, — у него есть надежная точка опоры — свое «я». < ... >

Напомню тебе здесь определение, которое я уже дал в свое время этическому началу: этическим началом является в человеке то, благодаря чему он становится тем, что он есть. От человека, следовательно, не требуется, чтобы он стал другим, но только самим собою, не требуется полного уничтожения в себе эстетического начала, а лишь сознательное отношение к нему. Этическая жизнь вынуждает человека к высшей степени ясного и определенного самосознания, от которого не могло б ускользнуть ни одно даже случайное явление; этика не имеет своей целью уничтожение конкретности человеческой личности, но напротив, видит свою задачу в надлежащем и всестороннем развитии этой личности, причем ясно видит, какие начала должны быть в ней развиты и каким именно образом. Люди вообще относятся к этике совершенно абстрактно, и она поэтому внушает им какой-то затаенный ужас. Они смотрят на нее как на нечто чуждое личности и предпочитают держаться от нее подальше, — Бог весть, куда ведь может привести знакомство с нею! Так же многие люди боятся смерти, имея самое смутное неясное представление о переходе души по смерти в новый мир, где царствуют совершенно иные законы и порядки, нежели знакомые им земные. Причина такого страха — нежелание человека вдуматься в свою сущность и значение, просветлеть душевно; явись же это душевное просветление — страх исчезнет. То же и относительно этики: человек, боящийся душевного просветления, бежит от этики, так как последняя требует именно этого просветления.

Как противоположность эстетическому мировоззрению, согласно которому смысл жизни — в наслаждении, люди часто ставят воззрение, по которому смысл жизни сводится к неуклонному исполнению человеком долга, и выдают это воззрение за этическое.

Проповедников такого воззрения невольно приходится, однако, заподозрить в умышленном искажении смысла и значения этики, из желания «подорвать ее кредит» у людей. Проповедовать людям одно суровое исполнение долга в самом деле, по меньшей мере, неосторожно: такая проповедь встречается большею частью одним смехом, в особенности, если она произносится (как, например, в произведениях Скриба) с известной комической серьезностью низменного пошиба и предлагается взамен жизнерадостного учения, приветствующего счастье и восторги наслаждения. Главной причиной несовершенства и неуспеха этого псевдоэтического воззрения является то, что проповедники его становятся к долгу во внешние отношения: определяя этическое отношение к жизни словом «долг», они под самим словом «долг» понимают различные внешние житейские отношения. Не мудрено, что жизнь, посвященная долгу такого рода, кажется людям далеко непривлекательной и скучной, не выдерживающей никакого сравнения с жизнерадостным идеалом жизни, выставляемым эстетиками.

Истинное этическое воззрение на жизнь требует от человека исполнения не внешнего, а внутреннего долга, долга к самому себе, к своей душе, которую он должен не погубить, но обрести. Чем глубже между тем этическая основа жизни человека, тем меньше у него потребности ежеминутно говорить о долге вообще или советоваться с другими относительно «своего» долга, в частности, и тем меньше сомнений относительно способов выполнения этого долга и т. д. Жизнь истинного этика отличается поэтому внутренним спокойствием и уверенностью, тогда как, напротив, беспокойнее и несчаст-

нее жизни человека — раба внешнего долга — ничего нельзя себе и представить. < ... >

Этика как понятие общее есть также понятие абстрактное и, как таковое, находит свое выражение исключительно в запрещении. В этом смысле этика олицетворяет собою закон. Как же скоро на сцену выступает положительное приказание, оно является уже плодом этики и эстетики вместе. Евреи были по преимуществу народом закона и поэтому прекрасно поняли большинство заповедей Моисеева закона — абстрактных или отрицательных (запретительных); самой же положительной и конкретной: «Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем...», которую больше всего усвоило себе христианство, они как раз и не поняли. Переходя из чисто абстрактного понятия в более конкретное, этика олицетворяет собой уже не закон, а нравы и обычаи данного народа, зависящие от индивидуальности последнего; иначе говоря, вместе с упомянутым переходом этика воспринимает в себя и эстетический элемент. Для отдельного человека этика, однако, остается по-прежнему понятием абстрактным; реальное значение она приобретает лишь тогда, когда данный человек олицетворяет собою «общечеловеческое». Вот она — тайна совести, тайна индивидуальной жизни, заключающаяся в том, что последняя является в одно и то же время и индивидуальной и общечеловеческой, — если и не непосредственно, то, по крайней мере, в смысле возможности стать таковою. Человек этического воззрения на жизнь видит в ней «общечеловеческое» и старается сам быть воплощением этого «общечеловеческого»; последнее же достигается не тем, что человек отрешается от своей конкретности (такое отрешение равняется самоуничтожению), но, напротив, тем, что он сознательно проникается ею еще сильнее и вместе с ней воспринимает в себя и общечеловеческое: Общечеловек — не мечта, каждый человек является в известном смысле общечеловеком,

каждому указан путь, по которому он может прийти до общечеловеческого. Эстетик — человек случая, воображающий достигнуть идеала человеческого совершенства, благодаря своей исключительной индивидуальности; этик же стремится к тому, чтобы проявить своей жизнью общечеловеческое. Влюбленный эстетик озабочен поэтому желанием выразить свою любовь каким-нибудь особенным выделяющим его из ряда обыкновенных смертных образом; вступающий в брак этик имеет в виду исполнить общечеловеческий долг. Этик никогда не становится, таким образом, ненавистником конкретной действительности, напротив, действительная жизнь приобретает для него, благодаря любви, лишь еще более глубокое значение: он видит в любви высшее проявление общечеловеческого. Жизненная задача заключается для этика в нем самом: он стремится отождествить свое случайное непосредственное «я» с «общечеловеческим».

Итак, жизнь этика — выполнение долга (но не внешнего, а внутреннего долга), по отношению к самому себе; сознание этого долга проявляется в нем в минуту отчаяния, и с этих пор вся жизнь данного индивидуума, включая сюда и эстетические начала ее, проникается и животворится этим сознанием. Этика можно сравнить с тихим, но глубоким озером, эстетика же, напротив, с мелководным, но задорно бурлящим ручейком.

Этическое отношение к жизни проявляется, следовательно, не во внешней, но во внутренней деятельности личности; все дело здесь, как уже сказано, в том, чтобы личность не отрешалась абстрактным и бессодержательным стремлением вперед от своей конкретности, но воспринимала ее в себя. Этическое отношение к жизни не бросается поэтому в глаза, этик живет, по-видимому, как и все прочие люди, как и эстетик, но настает минута и — становится ясно, что жизнь этика имеет свои определенные границы, каких не знает жизнь эстетика. И я нахожу вполне естественным, что этик не проявляет

своих этических взглядов всуе, по отношению к чему-либо безразличному — это значило бы унижать этику, глубокое значение которой не позволяет приурочивать ее к решению пустых вопросов. Все безразличное, т. е. несущественное, настолько потеряло для этика свое значение, что он без всякого труда и во всякое время может наложить на него свое *veto*. Этик верит в Провидение, и вера его настолько крепка и спокойна, что ему и в голову не приходит связывать ее с какими-либо случайными явлениями или ежеминутно проверять ее. Приобрести, и затем сохранить этическое воззрение на жизнь и не расточая его на безразличные житейские отношения, приобрести и сохранить веру в Провидение, не расточая ее всуе — однако, в воле каждого человека: вся суть здесь в том, чтобы человек ясно сознавал свою жизненную задачу, удерживался от врожденной склонности увлекаться мелочами, крепко держался намеченного пути к вечному идеалу и не бросался в стороны, гоняясь за обманчивыми миражами.

Сделаем еще одно сопоставление этика с эстетиком.

Самым главным и самым существенным отличием этика от эстетика является ясное самосознание первого, обуславливающее твердость и определенность его жизненных основ, так как жизнь второго является каким-то беспочвенным витанием в пространстве. Этик прозрел свою собственную сущность, познал себя самого, осветил своим сознанием всю свою конкретность и поэтому властен уже подавить в себе брожение неопределенных мыслей, не позволить себе увлекаться мечтами; этик уже не является самому себе каким-то калейдоскопом, постоянно меняющим свои формы, — он знает себя. Выражение «познай себя самого» повторялось и повторяется без конца, и в познании себя самого привыкли видеть цель всех стремлений человеческих. Познание себя самого может, однако, служить целью лишь в том случае, если оно же является и исходным пунктом. Эти-

ческое познание себя самого не эстетическое самосозерцание, управляемое законами необходимости или видящее во всем необходимость, но свободное размышление над самим собой, самоанализ, являющийся результатом свободной внутренней деятельности человека. Поэтому я с умыслом употребил выражение «выбрать себя самого» вместо «познать себя самого». Познание себя самого не есть еще венец душевной деятельности этика, но лишь плодотворное начало, создающее затем истинного человека. Если бы я хотел блеснуть остроумием, я мог бы сказать здесь, что индивидуум познает себя, как Адам, по Писанию, познал Еву; от этого сношения с самим собой индивидуум становится беременным самим же собою и затем самого же себя рождает. Лишь из себя самого может человек почерпнуть познание себя самого. Познавая себя самого, индивидуум познает свое «я», являющееся в одно и то же время и его действительным и его идеальным «я»: это «я» находится и вне его, как образ, который он стремится воплотить в себе, и в то же время в нем самом, так как это «я» — он сам. Отсюда та двойственность этической жизни, выражающаяся в том, что индивидуум имеет себя самого и в самом себе и вне себя. Итак, идеальное «я» не есть действительное «я» — оно лишь прообраз, который сначала стоит как бы вне, впереди человека, по мере же того, как последний сам становится его воплощением, все более и более бледнеет и стусшевывается, пока наконец не ляжет позади человека, как увядшая возможность. Выражаясь аллегорически, идеальное «я» можно сравнить с тенью человека: утром тень бежит перед человеком, в полдень идет почти незаметно рядом с ним, вечером же ложится позади него. Познав себя самого и выбрав себя самого, индивидуум может приступить к воплощению в себе своего идеального «я», причем, однако, должен твердо помнить, что это «я» находится — как уже сказано выше — в нем же самом; стоит индивидууму забыть об этом — все его

стремления и усилия получают абстрактное направление. Тот, кто при этом стремится копировать какого-либо другого человека, равно как и тот, кто будет стараться копировать «нормального» человека, будут одинаково, хотя и каждый по-своему, неестественны.

Эстетик смотрит на себя как на известную конкретность, причем различает в ней начала существенные и случайные. Различие это, однако, лишь относительное, потому что пока человек живет исключительно эстетической жизнью, вся его личность — плод случайности; если же эстетик тем не менее держится за это различие, то лишь вследствие недостатка энергии и твердости духа. Этик, прошедший через горнило отчаяния, также различает в себе существенные и случайные элементы, но это различие основывается совершенно на ином принципе: все, что возникло или продолжает существовать в нем, благодаря его свободному выбору своего «я», является в нем существенным, хотя бы и казалось случайным; все же остальное, напротив, случайно, хотя бы и казалось существенным. Взгляд же эстетика на существенное и несущественное выражается следующим образом. Положим, у него есть талант к рисованию — на этот талант он смотрит как на случайный дар судьбы; положим затем, что он отличается проницательностью и остроумием — на эти качества он смотрит уже как на свои существенные и неотъемлемые характерные черты, без которых он был бы совсем другим человеком. Такой взгляд вполне ошибочен и вот почему: если человек не смотрит на свои проницательность и остроумие с этической точки зрения, т. е., как на задачу, как на нечто такое, за что он несет ответственность, то они и не являются в нем существенными началами; да не существенна, а случайна и вся жизнь его, пока он живет только эстетически, так что о каком-либо различии — в смысле существенности — между основными началами ее не может быть и речи. В жизни этика это различие также до

известной степени стерто, но в ином смысле: этик выбирает себя во всей своей конкретности, т. е. признает за всеми своими качествами и свойствами одинаково существенное значение, сознавая, что за все несет одинаковую ответственность.

Жизненной задачей «серьезного» эстетика является, таким образом, культивирование своей случайной индивидуальности во всей ее парадоксальности и неправильности; в результате — гримаса, а не человек. <...> Жизненной же задачей этика является воплощение в себе «общечеловеческого». Но воплотить в себе «общечеловеческое» возможно для человека лишь в том случае, если он *κατὰ δύναμιν** уже имеет в себе общечеловеческое. «Общечеловеческое» может прекрасно уживаться с индивидуальными способностями данного человека, не уничтожая их — как не уничтожал тернового куста огонь, виденный Моисеем. Если же «общечеловеческое» не находилось бы в самом человеке, то для воплощения его в самом себе человеку не оставалось бы ничего иного, как отрешиться от своей конкретности. И можно найти немало примеров такого необузданно-абстрактного стремления к «общечеловеческому» — так, среди гуситов были сектанты, которые, желая приблизиться к идеалу первобытной и — по их мнению — нормальной человеческой жизни, ходили голыми, как прародители в раю. В наше время также нередко встречаются люди, требующие такого же обнажения в духовном смысле, т. е. отрешения человека от своей конкретности, без чего будто бы он не может стать нормальным человеком или — воплотить в себе «общечеловеческое». Но это неправда. «Общечеловеческое», таящееся в конкретности каждого индивидуума, выступает из нее и затем очищает и просветляет ее благодаря акту отчаяния. Как в грамматике примерным образцом данного спряжения может послужить любой из принадлежащих к не-

* Соразмерно [своим] силам (греч.). Зд.: по мере возможности.

му правильных глаголов, а не один тот, который случайно приведен в учебнике, так и любой человек может явить собою образец «общечеловеческого», причем от него не требуется отрешения от своей конкретности, но требуется лишь просветление, облагорожение ее. Просветляется же и облагораживается она, как уже сказано, отчаянием, или выбором.

Теперь ты, конечно, без труда поймешь, что жизнь истинного этика в сущности отражает в себе все те различные фазисы этического воззрения на жизнь, которые рассмотрены нами ранее поодиночке. — Этик развивает в себе и личные добродетели, и гражданские, и наконец, религиозные. Если же человек полагает, что можно застыть в каком-нибудь отдельном фазисе, развивать свою личность только в одном направлении, то это — верный признак того, что он не совершил этического выбора своего «я», и не понял ни истинного смысла выделения этого «я» из всего внешнего мира, ни объединения его со всем миром, главное же не понял тождественности этого выделения с объединением.

Человек, сделавший этический выбор своего «я», берет себя самого во всей своей конкретности, с такими-то и такими-то дарованиями, страстями, наклонностями и привычками и поставленным в такие-то и такие-то внешние условия; жизненной же задачей его становится он сам: он стремится к облагораживанию, урегулированию, образованию, всестороннему развитию своего «я», иначе говоря — к равновесию и гармонии души, являющимся плодом личного самоусовершенствования. Жизненной целью такого человека становится также он сам, его собственное «я», но не произвольное или случайное, а определенное, обуславливаемое его собственным выбором, сделавшим его жизненной задачей — его самого во всей его конкретности. Целью истинного этика является, таким образом; не одно его личное, но и социальное и гражданское «я». Не выбрав же себя во всей своей

конкретности, во всей своей неразрывной связи с прошедшим и будущим, индивидуум никогда и не воплотит в себе «общечеловеческого». Если он думает, что должен прежде всего превратиться в первобытного человека и тогда уже только начать стремиться к идеалу, то он на всю жизнь останется только искателем приключений. Если же он поймет, что, не выбрав исходным пунктом своего стремления своей же конкретности, ему не удастся и начать стремиться, а не начав, не удастся и довести этого стремления до конца, то он сразу выберет себя в своей неразрывной связи со всем прошедшим и будущим, и личная жизнь его незаметно сольется с жизнью гражданина и наоборот. Личная жизнь сама по себе отчуждает индивидуума от людей и потому несовершенна; очищает и облагораживает ее лишь гражданское самосознание человека.

Итак, личность является абсолютom, имеющим свою жизненную цель и задачу в самом себе. Такое определение куда проще и содержательнее ходячего определения человеческой жизни, согласно которому задачей ее является исполнение долга. Последнее определение по-дает повод к различным недоумениям, сомнениям и возражениям. Одно из главных сомнений вызывается мыслью о неустойчивости понятия «долг» и изменчивости самих законов, т. е. касается ближе всего постоянных колебаний в области определения гражданских добродетелей. Сомнение это могло бы, однако, и не возникать, если бы сомневающиеся помнили, что колебаниям подвергаются, по преимуществу, определения положительного, но не отрицательного характера, остающиеся неизменными. Другое сомнение затрагивает саму возможность исполнения человека долга. Долг — говорят сомневающиеся — понятие общее, каким же образом приурочить его к каждому отдельному человеку, к частности? Вот это-то последнее сомнение особенно сильно и говорит в пользу вышеприведенного определения чело-

веческой личности: личность — абсолют, имеющий свою жизненную цель и задачу в самом себе, и надо поэтому поговорить об этом определении подробнее. Любопытно, что оно выдвигается уже самим языком или манерой людей выражаться; так, например, никогда не говорят: «он исполняет долг», но всегда: «он исполняет *свой* долг»; говорят: «я исполняю *мой* долг, а ты исполняй *твой* долг». Этим доказывается, что индивидуум столь же олицетворяет собою «общечеловеческое», сколь и индивидуальное. Долг есть понятие общее, как требование же применяется к отдельному человеку, чего не могло бы быть, не олицетворяй собой каждый человек «общечеловеческое». С другой стороны, долг как требование, примененное к отдельному человеку, является понятием частным, и, в то же время, по самому существу своему остается понятием общим. Вот здесь-то и проявляется высшее значение человеческой личности. Она не стоит вне закона, но и не сама предписывает себе законы: долг сохраняет свое определение, но личность воссоединяет в себе и «общечеловеческое», и «индивидуальное». Все это настолько ясно, что может быть понятным и ребенку. Человек может, таким образом, исполнять долг и все-таки не исполнить *своего* долга и, наоборот, может исполнять *свой* долг и все-таки не исполнить долга вообще. Мучить себя вследствие этого сомнениями, однако, никому не следует: различие между добром и злом ведь попрежнему существует, ответственность и долг, следовательно, также, и хотя человек не всегда может сказать, в чем именно долг другого человека, зато он всегда может сказать, в чем его собственный долг; между тем, и это было бы невозможно, не будь личность объединением общечеловеческого и индивидуального. Некоторые предполагают устранить сомнения тем, что придают долгу какое-то внешнее, определенное и неизменное значение, но это одно недоразумение: сомнение ведь касается не внешних отношений

человека, но внутренних отношений его к «общечеловеческому». Как отдельный индивидуум человек не олицетворяет в себе всего человечества, и требовать от него этого было бы абсурдом; если же человеку удастся олицетворить собою «общечеловеческое», то он является в одно и то же время и в «общечеловеческом» и индивидуальностью, а в таком случае долг, с его диалектическим значением, лежит в нем самом. Подобное положение не дискредитирует этическое мировоззрение, а, напротив, подтверждает его значение, тогда как, отвергнув это положение, приходится считать абстрактными и самое личность, и ее отношение к долгу, и даже бессмертие ее. Не уничтожается упомянутым положением и различие между добром и злом: сильно сомневаюсь, что найдется кто-нибудь, кто стал бы утверждать, что долг человека — делать зло. Правда, находятся люди, которые делают зло, но здесь другое, — они ведь все-таки стараются уверить и себя, и других, что поступают хорошо. Нельзя, разумеется, оставаться в таком заблуждении вечно; если эти люди и продолжают намеренно закрывать глаза на свое положение, то потому лишь, что они враги себе. < ... >

< ... > Здесь я прерву теоретические рассуждения о занимающем нас предмете, во-первых, потому, что не претендую на особенную компетентность в этой сфере и буду вполне доволен, если во мне признают, по крайней мере, порядочного практика; во-вторых же потому, что теоретические рассуждения отнимают очень много времени и места. Я не имею также намерения излагать тебе учение о долге вообще или по обычаю увещевать тебя, выясняя тебе все твои обязанности к Богу, к ближнему и к самому себе. Не хочу я этого не потому, что пренебрегаю подобным подразделением или считаю то, что мог бы сказать по этому поводу, значительно глубже и труднее для понимания, нежели прописная мораль

учебника Балле*, но потому, что, на мой взгляд, суть дела не в многообразии и сложности понятия «долг», а в интенсивности человеческого сознания или чувства долга. Постигая значение подобной интенсивности, личность достигает своей этической зрелости, и выполнение ею своего долга обуславливается уже само собою. Суть не в том, чтобы человек мог перечесть свои обязанности по пальцам, но в том, чтобы он раз навсегда проникся чувством долга вообще, чтобы видел в этом чувстве доказательство своего вечного значения как человека. Я отнюдь не имею в виду восхвалять здесь пресловутых «людей долга», так же как и не посоветую никому сделаться буквоедом, но это не мешает мне в то же время питать уверенность, что человек, не постигший значения долга во всей его бесконечности, может быть лишь плохим человеком. < ... >

Поясню вышесказанное примером, который возьму из впечатлений моего раннего детства. Мне было всего пять лет, когда меня отвели первый раз в школу. Подобное событие не может, без сомнения, не произвести на ребенка известного впечатления, вопрос однако в том — какого именно. Главную роль в таких случаях играет, обыкновенно, любопытство ребенка, возбужденное уже заранее смутными представлениями о том, что ожидает его в школе. То же было и со мной, но все впечатления, вынесенные мною из этого первого посещения школы, ступшевались перед одним главным: мне задали выучить к следующему разу десять строчек из учебника Балле, и этот урок овладел всем моим существом. Я обладал в детстве счастливой памятью, и урок дался мне очень легко. Сестра прослушала меня несколько раз и удостоверила, что я хорошо знаю его. Тем не менее, улегшись в постель, я еще раз ответил урок самому себе и заснул с твердым намерением протвердить его опять завтра ут-

* Балле, составитель детского учебника, содержащего наставление в правилах веры. — Прим. перев.

ром, для чего и встал в 5 часов. Все это так живо сохранилось у меня в памяти, точно происходило только вчера. Мне казалось тогда, что небо обрушится на землю, если я не выучу своего урока; с другой стороны, мне казалось, что если бы даже и небо обрушилось на землю, это ничуть не избавило бы меня от моей обязанности выучить урок. В те годы я имел еще мало понятия о долге вообще, — я еще не успел выучить наизусть всей книги Балле — долг являлся мне лишь в виде выполнения возложенной на меня обязанности — выучить свой урок, и все же из моего отношения к этой обязанности развилось и все мое последующее этическое воззрение на жизнь.

Страстное рвение маленького школьника, разумеется, вызывает у меня теперь улыбку, и все же я всегда скажу, что самым задушевным моим желанием является желание сохранить в себе такое страстно-серьезное отношение к своим обязанностям на всю жизнь. Правда, задача жизни становится с годами яснее, но главную роль в жизни человека продолжает играть: энергия — страсть. Возникновением упомянутого отношения к своим обязанностям я был всецело обязан моему отцу, и если бы даже не был обязан ему ничем иным, одного этого было бы достаточно, чтобы я чувствовал себя перед ним в неоплатном долгу. Главной задачей воспитания является поэтому не сообщение ребенку тех или других знаний, но пробуждение его сознания и энергии. Ты часто говоришь о счастье иметь светлый ум — никому не придет в голову оспаривать это; но я полагаю, что выработать в себе такой ум зависит от воли самого человека. Были бы желание, энергия, страсть, — а с ними человек достигнет всего. Возьмем, к примеру, молодую девушку: как бы глупа, жеманна, болтлива она ни была, стоит ей полюбить кого-нибудь искренно, и ты увидишь, как она разом поумнеет, с каким умом и находчивостью будет стараться узнать, отвечают ли ей взаимностью, и как, в

случае счастливого результата, вся она расцветает обаятельной женственной прелестью, а в случае несчастья обнаружит острую прозорливость и рассудительность.

Могу сказать, что на мою долю выпало в этом отношении счастливое детство; я вынес из него массу этических впечатлений. Позволяю себе поэтому немного остановиться на воспоминаниях из этого счастливого времени, связанного и с воспоминанием об отце. Последнее является самым дорогим для меня, и я воскрешаю его не даром; оно дает мне лишний повод подробнее разъяснить мою мысль, что важно вообще развить в себе самое чувство долга, а не взвалить на себя возможно большее число различных обязанностей. В тех же случаях, когда проводится последний взгляд, личность человеческая мельчает и портится. < ... > Как сказано, на мою долю выпало счастливое детство: на мне никогда не лежало слишком много обязанностей, но обыкновенно какая-нибудь одна, зато основательная. После двухлетнего пребывания в школе меня перевели в классическую гимназию... Началась новая жизнь, но мною по-прежнему руководило нравственное чувство долга, хотя свободы моей и не стеснял никто. Вращаясь в кругу товарищей, я с удивлением слушал их жалобы на учителей и еще с большим удивлением увидел, что одного из них даже взяли из гимназии вследствие ссоры его с учителем. Подобный случай легко мог повлиять на меня самым губительным образом, не будь я с ранних лет проникнут ясным сознанием долга. Я знал, что должен был учиться и учиться именно там, куда меня отдали; я смотрел на это как на свой непреложный и неизменный долг. Подобный взгляд обуславливался не только серьезным отношением к вопросу о моем образовании со стороны моего отца, но, как сказано, и моим собственным сознанием долга, так что, если бы даже отец мой умер, и заботы о моем воспитании пали на кого-нибудь другого, кого можно было бы уговорить взять меня из

гимназии, я бы никогда не осмелился и выразить такого желания: мне все казалось бы, что тень отца сама явится проводить меня в гимназию; отец настолько успел развить во мне чувство долга, что я никогда бы не мог простить себе нарушения его воли. Во всем остальном я пользовался полной свободой; от меня требовалось только посещение гимназии, самое же учение оставлялось на моей полной ответственности. Отдав меня в гимназию и снабдив всеми нужными учебниками, отец мой сказал только: «Вильгельм! В конце месяца ты должен занять третье место в классе». Я был избавлен от всяких нелепых требований со стороны отца; он никогда не спрашивал меня о моих уроках, не заставлял меня отвечать их ему, не заглядывал в мои тетради, не указывал мне времени или срока занятий или отдыха и никогда не усыплял моей ученической совести дружеским поглаживанием по головке и словами: «Ты, конечно, знаешь свои уроки», как это делают многие чадолюбивые родители. Если мне предстояло идти куда-нибудь, он ограничивался вопросом: «Есть ли у тебя время?»; решение же вопроса всецело предоставлял мне самому и никогда не начинал по этому поводу лишних разговоров. Я вполне уверен в глубоком участии, которое он принимал во всем, что касалось меня, но он никогда не давал мне заметить этого участия, желая дать мне возможность развиваться и зреть под собственной ответственностью. Повторяю, обязанности мои никогда не были особенно многочисленными, а, между тем, скольких детей портят именно тем, что взваливают на их слабые плечи целый ворох обязанностей! Зато я и вынес из моего детства глубокое убеждение в том, что существует нечто непреложное и неизменное, именуемое «долгом». В свое время и латинскую грамматику я учил с чувством и с толком, о каких теперь не имеют понятия; такое изучение ее не замедлило оказать на меня свое благотворное влияние, — так что если я вообще мало-маль-

ски способен мыслить философски, то обязан этим исключительно вышеупомянутому влиянию. Безусловное уважение к правилу, презрительный взгляд на исключения с их жалким существованием, справедливое гонение, которому они подвергались в моих тетрадах, где их беспощадно клеймили, — разве все это не могло послужить достаточной основой для любого философского учения? Глядя под тем же впечатлением на своего отца, я представлял его себе живым воплощением правил, все же остальное, приходившее извне и несогласное с его волей, причислял к жалким исключениям. На товарища своего, не поладившего с учителем, я поэтому тоже смотрел как на такое исключение, тем более, что история его наделала много шума.

Детский ригоризм, с которым я различал правила и исключения, как в грамматике, так и в жизни, хотя несколько и сгладился с годами, но тем не менее, жив во мне еще настолько, что я всегда могу выдвинуть его как орудие борьбы с тобою и тебе подобными — людьми, проповедующими, что вся суть в исключениях, что правила существуют лишь для того, чтобы ярче выделить исключения. < ... >

Итак, в мои намерения не входит подробное рассмотрение всего, что скрывается в понятии «долг»; конечно, если бы я хотел дискредитировать это понятие, истолковать его в отрицательном смысле, задача моя была бы очень легка, положительное же истолкование его, напротив, в высшей степени трудно и далее известных пределов даже невозможно. Поэтому я задался только целью выяснить, по мере возможности, абсолютное значение долга в связи с вечным значением, которое приобретает, благодаря должному отношению к нему, сама личность человеческая. Как скоро личность найдет себя сама, пройдя через горнило истинного отчаяния, выберет себя сама в абсолютном смысле, т. е. этически, и воистину раскается, она будет видеть свою жизненную зада-

чу в самой себе и сознательно возьмет на себя вечную ответственность за ее выполнение, т. е. постигнет абсолютное значение долга.

Посмотрим же, какую является жизнь человеку, вззирающему на нее с этической точки зрения. Ты и другие эстетики вообще большие охотники до классификации, или подразделения людей; вы охотно признаете за этическим взглядом на жизнь известное значение, одобряете людей, живущих ради исполнения долга, находите последнее вполне в порядке вещей, намекаете даже, что чем большее число людей живет исключительно ради исполнения долга, тем лучше, и зачастую встречаете таких простодушных добряков, которые находят в ваших речах смысл, несмотря на то, что он, как и вообще весь взгляд скептиков на жизнь, просто бессмысленны. Сами же вы не желаете иметь с этикой никакого дела, так как, по вашему мнению, это значило бы лишить свою жизнь всякого значения и прежде всего красоты; вы утверждаете, что все этическое слишком сильно расходится со всем эстетическим, и поэтому там, где появляется первое, нет уже места для второго. Допустив даже, что вы правы, допустив, что дело действительно обстоит таким образом, — я бы все-таки ни минуты не колебался в выборе, сознание само подсказало бы мне, что я должен выбрать. К такому сознанию приводить человека истинное отчаяние, через которое должен пройти всякий; если же этого не случится, если человек, и пережив отчаяние, все-таки не придет к такому сознанию, то, значит, отчаяние его не было истинным и он не выбрал себя самого в этическом смысле. Дело, однако, в том, что ничего подобного допустить нельзя, так как отчаяние означает не разрыв с эстетическим, а лишь известную метаморфозу: ничто не уничтожается в жизни человека, но лишь проясняется, получает новое, высшее освещение. Лишь этический взгляд на жизнь может сообщить

этой последней истинную красоту, правдивость, значение и устойчивость; лишь живя этически, человек ведет жизнь, полную красоты, правдивости, значения и уверенности; лишь в этическом взгляде на жизнь можно найти успокоение от мучительных сомнений в своих личных и чужих правах на жизнь и счастье. Хотя сомнения эти и затрагивают две совершенно различные области, они, как сказано, уничтожаются одним и тем же — этическим взглядом на жизнь, так как первоисточником их служит, в сущности, одно и то же чувство — самолюбие человека: человеку вообще свойственно предъявлять те же требования относительно себя самого, как и относительно других людей. И это имеет, по-моему, большое значение. Если б эстетик не был эгоистом, он бы должен был, в случае особенного счастья или милости к нему судьбы, прийти в отчаяние, так как ему пришлось бы сказать себе: «исключительное счастье, выпавшее на мою долю, не может уже выпасть на долю кого-либо другого, и никто не может также добиться его собственными усилиями». Ему бы вечно пришлось бояться вопросов людей о том, в чем он нашел свое счастье, так как исключительность его счастья должна была б убедить людей в недоступности его для них. Будь поэтому у такого счастливица побольше сочувствия к людям, он бы не успокоился до тех пор, пока не нашел бы иную высшую точку зрения, нежели эстетическая. Найдя же такую, человек перестал бы бояться говорить о своем счастье, так как всегда мог бы заключить свою речь таким выводом, который бы абсолютно примирил с ним всех и каждого, все человечество:

Но остановимся теперь на категории, на которую предъявляет свои исключительные требования эстетик, — на красоте. «Этическое отношение, к жизни лишает ее всякой прелести и красоты, — говоришь ты, — радость, счастье, беспечность и красота эстетической жизни заменяются суровой преданностью долгу, благонамеренной

добросовестностью, непрерывным и неустанным усердием». Если бы мы вели с тобою личную беседу, я попросил бы тебя дать мне определение прекрасного, которое бы и послужило исходным пунктом моего дальнейшего рассуждения; в данном случае мне, однако, приходится взять это на себя, и я воспользуюсь твоим обычным определением. Вот оно: «Прекрасное есть нечто самодовлеющее, существующее само по себе и для себя». В пример ты приводишь молодую, прекрасную, веселую, беспечную и счастливую девушку и говоришь: «В ней все гармония, все красота, она представляет собою совершеннейшее творение на земле, и глупо спрашивать, для чего она существует, — она существует сама по себе и для себя, ее цель в ней самой, в ее красоте». Не стану дразнить тебя возражениями или вопросами в роде того, что действительно ли полезно для молодой девушки существовать самой по себе и для себя, или не польстил ли ты тут самому себе, лаская себя уверенностью, что в случае, если бы тебе удалось развить свой взгляд на божественность существа такой девушки перед ней самой, она в конце концов впала бы в ошибку и поверила, что существует исключительно для того, чтобы слушать твои инсинуации? Прекрасна и самодовлеющая по-твоему и природа, и ты ополчаешься против каждого, кто стремится определить ее цель иначе. Не стану и здесь огорчать тебя замечанием, что природа как раз и существует не для себя самой, а для других. Говоря затем о поэзии и об искусстве вообще, ты восклицаешь вместе с поэтом: «*Procul, o procul este profani*»*,¹ разумея под профанами всех, кто унижает поэзию и искусство, ставя их цель вне их самих. Что касается поэзии и искусства, я напомним тебе ранее высказанный мною взгляд: не в них может человек найти полное примирение с жизнью. Кроме того, хватаясь за поэзию и искусство, ты теряешь из виду действительность, а о ней-

* Прочь удалитесь, непосвященные (лат.)

то собственно мы и ведем нашу речь. Возвращаясь же к этой действительности, ты, конечно, видишь и сам, что, применяя к жизни строгие требования искусства во всей их полноте, вряд ли много найдешь в жизни прекрасного, а поэтому и придаешь прекрасному иное значение. Красота, о которой ты говоришь, есть красота индивидуальная. Ты рассматриваешь каждого отдельного человека как малый момент целого, рассматриваешь согласно его индивидуальным свойствам и качествам, благодаря чему все, даже самое случайное и ничтожное в жизни, получает в твоих глазах особое значение, а сама жизнь — отпечаток красоты. Итак, ты смотришь на отдельного человека, как на момент. Но прекрасное, по твоим же собственным словам, существует само по себе и для себя, имеет свою цель в самом себе, а раз человек является только моментом, он уже имеет свою цель не в самом себе, а вне себя. Выходит, что если целое и является прекрасным, то нельзя сказать того же об отдельных частях его. Возьмем теперь твою собственную жизнь. Разве цель ее в ней самой? Я не берусь решать здесь вопрос, вправе ли вообще человек вести такую исключительно созерцательную жизнь, но положим, что так — ты существуешь только для того, чтобы созерцать все остальное; что же из этого следует? — То, что цель твоей жизни все-таки не в тебе самом, а вне тебя. Только в том случае, если отдельный человек, являясь моментом, олицетворяет в себе в то же время и целое, только в этом случае ты можешь рассматривать его жизнь с точки зрения красоты; раз же ты рассматриваешь ее так, то уже смотришь на человека с этической точки зрения, т. е. рассматриваешь его жизнь как проявление свободной воли. Напротив, какими бы особенными индивидуальными свойствами ни обладал отдельный человек, если смотреть на эти свойства с точки зрения необходимости, человек этот является только моментом, и жизнь его лишена красоты. Твое определе-

ние прекрасного, сводящееся к тому, что прекрасное имеет свою цель в самом себе, и приводимые тобою примеры такого самодовлеющего прекрасного: молодая девушка, природа, творения искусства, — все это, по-моему, одни иллюзии. Везде, где только речь идет о цели, должно подразумеваться и движение, — представляя себе цель, я в то же время представляю себе и движение; даже если я представляю себе человека у цели, я все-таки представляю себе движение, так как не забываю, что цели можно достигнуть лишь посредством движения. Тому же, что ты называешь прекрасным, очевидно недостает движения: прекрасное в природе прекрасно раз навсегда; то же придется сказать и относительно творений искусства: когда я рассматриваю их и проникаю моей мыслью их мысль, движение происходит в сущности во мне самом, а не в них. Поэтому ты можешь, пожалуй, быть правым, доказывая, что прекрасное имеет свою цель в самом себе, но вся беда в том, что ты применяешь это положение не так, как следует, вследствие чего оно и приобретает отрицательное значение, сводящееся к тому, что «прекрасное не существует ни для чего другого, кроме самого себя». Тебе нельзя также воспользоваться другим однозначным выражением, остановиться на том, что прекрасное, о котором говоришь ты, имеет свою внутреннюю, т. е. постоянную цель: раз ты скажешь это, ты должен будешь потребовать от прекрасного движения, истории, а этим уже перешагнешь за пределы природы и искусства и вступишь в область свободы, через нее же и в область этики.

Поставленное мною раз навсегда положение, что индивидуум имеет свою цель в самом себе, не должно истолковываться превратно, в том смысле, будто бы я ставлю индивидуума центром или полагаю, что индивидуум может удовлетворяться самим собою в абстрактном смысле. При абстрактном взгляде на жизнь и ее цели не может быть никакого движения. Индивидуум действи-

тельно имеет свою цель в самом себе, но эта внутренняя его цель — он сам, его «я», которое он стремится обрести и которое таким образом является не абстрактом, но абсолютной конкретностью. В своем стремлении обрести свое «я», в своем движении к цели индивидуум не может уже отнестись к миру отрицательно, — в таком случае его «я» стало бы абстракцией и осталось бы ею, а между тем оно должно, напротив, проясниться во всей своей конкретности; к этой же конкретности и принадлежат те факторы, посредством которых человек принимает в окружающей жизни деятельное участие. Исходным пунктом движения является, таким образом, собственное «я» индивидуума, конечной целью — то же самое «я», а ареной движения — внешний мир, окружающий индивидуума. В жизни такого индивидуума будет, следовательно, движение — и движение действительное: оно ведь обуславливается его (индивидуума) свободным выбором, а так как к тому же имеет постоянную цель, то жизнь данного индивидуума и можно рассматривать с точки зрения красоты. < ... >

Повторяю, лишь глядя на жизнь с этической точки зрения, рассматриваешь ее в то же время с точки зрения красоты; это положение я могу между прочим применить и к моей собственной жизни. Если ты скажешь мне, что такая красота невидима, я отвечу: в известном смысле это так, в другом — нет: ее можно видеть, она оставляет свои следы в истории; она, следовательно, видима — в том же смысле, в котором говорят: *laquere, ut videam te**. Я, пожалуй, соглашусь с тем, что я не вижу пока осуществления той красоты, за которую борюсь в жизни, но и то лишь опять-таки — в известном смысле; я могу прозреть ее своим духовным взором, если только захочу и если у меня хватит мужества захотеть — без мужества же нельзя увидеть ничего вечного, ничего прекрасного.

* Говори, чтобы я видел тебя (лат.).

Глядя на жизнь с этической точки зрения, я рассматриваю ее с точки зрения красоты, и жизнь становится для меня обильным источником этой красоты, а не скудным, каким она является в сущности для тебя. Мне поэтому не нужно рыскать, отыскивая ее, по всей стране, или гранить тротуары по улицам нашего города, не нужно много судить да рядить. Да у меня нет и времени для этого, — мой взгляд на жизнь, правда, радостен, но в то же время и серьезен, так что дела у меня всегда вдоволь. Если же у меня иногда и выдается свободный часок, я становлюсь у окошка и смотрю на людей, причем рассматриваю каждого из них с точки зрения красоты. Да, каждого, как бы ничтожен или незначителен он ни был: я ведь вижу в нем не только отдельного человека, но и известное воплощение общечеловеческого. Я вижу в нем индивидуума, имеющего свою собственную, определенную цель в жизни, цель, которая не находится в каком-нибудь другом человеке, а в нем самом, будь он хоть последним из последних. Он имеет эту цель в самом себе, он осуществляет свою задачу, свое назначение, он борется и побеждает — да, все это вижу я: мужественный человек не видит призраков, но видит, напротив, героев-победителей, тогда как трус не видит героев, а лишь одних призраков. Он должен победить — я уверен в этом, — и потому борьба его прекрасна. Я вообще не охотник бороться, по крайней мере, с другими людьми, но ты можешь быть уверенным, что за веру мою в торжество и победу прекрасного на земле я буду бороться на жизнь и на смерть; никто и ничто в мире не отнимет у меня этой веры; ее не выманят у меня мольбами, не вырвут силой, я не расстанусь с ней ни за что на свете, сулите мне взамен хоть весь мир: потеряв мою веру, я все равно потерял бы весь мир. Благодаря этой вере, я вижу красоту жизни, красоту, в которой нет ни малейшей примеси горечи или уныния, неразлучных с красотами природы или искусства, неразлучных даже с

вечной юностью богов прекрасной Греции; красота, которую я прозреваю своим умственным взором, радостна, победоносна и могуча, и она покорит весь мир! Эту красоту я вижу повсюду, даже там, где твой взор не видит ничего. Остановись на минуту у моего окна. Мимо проходит девушка. Помнишь, мы встретили ее как-то раз на улице. «Она не красива, — сказал ты, но, взглядевшись пристальнее, узнал ее и добавил, — несколько лет тому назад она была удивительной красавицей, царицей всех балов; потом с ней приключилась какая-то любовная история; что там вышло — не знаю, но она, как видно, приняла все это чересчур близко к сердцу, захирела, завяла, и всю красоту ее как рукой сняло. Одним словом, она была когда-то хороша, теперь не хороша, и дело с концом». Что значит смотреть на жизнь с точки зрения красоты! В моих же глазах эта девушка не только ничего не потеряла, но стала еще прекраснее прежнего. Твое воззрение на красоту жизни имеет большое сходство с той жизнерадостностью, которой отличались времена процветания застольных песенок, вроде следующей:

*Кто б согласился в мире жить,
Не будь в нем гроздий винограда?
Скажи, мудрец, к чему любить
И за страданье где награда?
Ты слышишь, жалкий род людской
От севера до юга стонет,
И все надежды рок хоронит,
Засыпав черною землей!
Скорей вина! Друзья, смелее!
Пусть будет весел шумный пир,
Мы будем пить, с вином скорее
Забудем этот скорбный мир*!*

Взглянем же теперь поближе на некоторые житейские отношения, особенно на те из них, в которых эстетическое воззрение сталкивается с этическим, и обсудим, действительно ли и в какой именно степени лишает по-

* Перевод Е.Морозова. - Прим. перев.

следнее вашу жизнь красоты или не придает ли оно ей скорее высшую совершеннейшую красоту? Возьму для примера первого встречного индивидуума; с одной стороны, он похож на большинство людей, с другой — он изображает собою известную определенную индивидуальность. Посмотрим на дело совершенно прозаически. Человек этот должен жить, т. е.: есть, пить, одеваться и т. д., иначе говоря, должен иметь средства к существованию. Обратись он за сведениями о том, как нужно вообще устроиться в жизни, к эстетика, последний не оставит его вопроса без ответа и, пожалуй, скажет: «Для того, чтобы устроиться мало-мальски сносно, одинокий человек должен располагать годовым доходом в 3.000; если он располагает 4.000 — проживет и их; вздумает же жениться, ему нужно по крайней мере 6.000. Деньги есть и будут *nervus rerum*^{*}, настоящим *conditio sine qua non*^{**}. Я хоть и восхищаюсь поэтическими описаниями скромной жизни бедняков и охотно читаю эти идиллии, но вести такую жизнь самому?... Нет, это скоро наскучит! Тот, кто принужден влачить подобное существование, не пользуется благами жизни и в половину против того, у кого есть деньги и кто спокойно и безмятежно может почитать упомянутые произведения поэтов. Деньги одно из неизменных условий жизни. Бедняк исключается из числа патрициев и навек остается плебеем. Итак, деньги имеют огромное и абсолютное значение, но из этого еще не следует, что всякий, у кого он есть, умеет пользоваться ими. Люди, постигшие это искусство, являются поэтому истыми избранниками среди патрициев»... К чему бы однако послужило подобное разъяснение нашему герою? Слушая эти мудрые сентенции, он бы чувствовал себя в положении воробья, которого заставляют танцевать торжественный полонез. Скажи же он эстетика: «Все это хорошо, да у меня не

* Нервом вещей (лат.).

** Необходимым условием (лат.).

только что 3.000 или 6.000 годового дохода, а и крепких сапог на ногах нет», — эстетик, вероятно, пожал бы плечами и ответил: «Это дело другое, тогда у вас в перспективе только рабочий дом». Впрочем, если у эстетика очень доброе сердце, он, пожалуй, еще раз позовет к себе беднягу и скажет ему: «Я не хочу обескуражить вас вконец, не указав вам на самые крайние средства, которыми не следует пренебрегать и которые следует испытать прежде, нежели окончательно распротиться с радостями жизни, перестать дышать полной грудью, надеть смирительную рубашку и т. п. Вот эти средства: постарайтесь жениться на богатой, попробуйте счастья в лотерею, эмигрируйте в Америку, посвятите несколько лет на то, чтобы накопить денег, или, наконец, постарайтесь попасть в милость к одинокому богачу — старику и сделаться его наследником. Теперь наши дороги расходятся, но разбогатеете, и вы всегда найдете во мне друга, который сумеет позабыть о том времени, когда вы были бедняком». Вычеркивать с таким холодным равнодушием из жизненного обихода бедняка всякую радость, — какое ужасное, бессердечное отношение к жизни! А так ведь относятся к ней все денежные мешки; по их мнению, без денег нет и радости в жизни. Если бы я вздумал смешать тебя с подобными людьми и приписать тебе упомянутые мысли или слова, я был бы сильно неправ перед тобою. С одной стороны, у тебя слишком доброе сердце, чтобы ты мог питать в себе такие мысли, с другой стороны, ты слишком сострадателен, чтобы высказать их, если бы даже они и были у тебя. Я не хочу сказать этим, что бедняк, не имеющий денег, нуждается в подобном сострадании, но, по-моему, первое и наименьшее требование, которое должно быть предъявлено человеку обеспеченному, это требование не гордиться своей обеспеченностью и не оскорблять людей, менее обеспеченных. Пусть себе человек будет гордым, Бог с ним; лучше, конечно, если бы он вообще

не гордился ничем, но раз это так — делать нечего, с этим еще можно помириться, лишь бы только он не гордился своим богатством: ничто так не унижает человека! Повторяю, ты не принадлежишь к упомянутым эстетикам, — ты только привык иметь деньги и умеешь ценить их, но никогда не оскорбляешь никого и даже помогаешь, где только можешь, так что твои проклятия бедности вызываются лишь симпатией к беднякам, а твои насмешки относятся не к самим людям, но к существующему порядку вещей, которым раз навсегда обусловлено материальное неравенство людей. «Прометей и Эпиметей, — говоришь ты, — были, несомненно, очень умны, тем удивительнее их недогадливость: излив на человека такие щедроты, они не наделили его в придачу деньгами!»... Да если бы ты присутствовал при этом случае, ты не замедлил бы выступить вперед с такой речью: «Добрые боги! Спасибо вам за все ваши щедроты! Но простите мне мою откровенность: вы плохо знаете жизнь и свет! Человеку вашему не быть счастливым, — ему недостает для этого еще одного: денег! Какой толк из того, что он создан господином природы, если у него нет времени властвовать над нею? На что это похоже, выталкивать такое совершенное творение на белый свет для того, чтобы оно металось в нем, как угорелое, гоняясь за куском хлеба? Можно ли так поступать с человеком?!»... И Бог знает, что бы ты наговорил им еще; раз попав на эту тему, ты вообще не скоро останавливаешься, — у тебя ведь неистощимый запас рассуждений, остроумных сравнений, замечаний, главное же — насмешек. Тебе, вероятно, не приходит на ум, что твое насмешливое отношение к серьезным вопросам может соблазнить кого-нибудь или нанести кому-нибудь непоправимый вред. Тебе не приходит в голову, что человек, и без того неохотно несущий бремя жизни, увлечется твоим страстным остроумием, твоими вызванными сочувствием к его судьбе насмешками и станет нести это

бремя еще с большим нетерпением и даже озлоблением? Не мешало бы тебе принять все это к сведению и быть осторожнее.

Итак, не у эстетика получит наш герой нужные ему сведения. Послушаем же, что ответил бы ему этик: «Долг каждого человека — в поте лица зарабатывать средства к жизни». Услышав такой ответ, ты, вероятно, сказал бы: «Долг! Долг! Старая и скучная история! Опять это вечное подтягиванье и урезыванье себя и своих потребностей!»... Потрудись, однако, припомнить, что у нашего героя нет денег, что бессердечный эстетик не нашел, чем поделиться с ним и что и у тебя самого нет лишних средств, чтобы обеспечить его будущее. Что же из этого следует? — То, что если герой наш не вздумает сидеть сложа руки и мечтать о том, что бы он сделал с деньгами, будь они у него, ему поневоле придется искать иного исхода, нежели указанный эстетиком. Ты должен также согласиться, что этик, указывая ему на долг, говорит вполне серьезно, а не обращается с ним, как с каким-то несчастным исключением, нуждающимся в утешении банальными фразами, в роде: «Что делать, такая уж ваша судьба, примиритесь с ней!».

Этик, напротив, видит исключение в эстетике, иначе бы он не сказал, что долг каждого человека трудиться; эстетик не трудится и не считает нужным трудиться, следовательно, он — исключение; быть же исключением, как сказано раньше, унижительно для человека. Поэтому и богатство, если посмотреть на дело с этической точки зрения, является унижением для человека, — всякое особое преимущество низводит человека в разряд исключений или унижает его. Держась этической точки зрения, человек не станет ни завидовать преимуществам других, ни гордиться своими собственными, ни, наконец, стыдиться их, так как будет видеть в них лишь выражение возложенной на него свыше ответственности. Если же этик, у которого наш герой нашел со-

вет, сам знает, что значит зарабатывать себе средства к жизни трудом, его слова приобретают тем больший вес. Вообще желательно, чтобы люди имели в этом отношении побольше мужества: ведь причиной того, что так часто слышатся эти громкие презренные речи о всемогуществе и мировом значении денег, является до некоторой степени недостаток этического мужества у людей трудолюбивых, но стесняющихся громко указывать на великое значение труда, а также недостаток у них этического убеждения в этом значении. Ведь если кто больше всего вредит браку, так это не обольстители, а трусливые супруги. То же и относительно труда. Упомянутые речи о деньгах не приносят еще такого вреда, как малодушие людей, которые то вменяют себе свое трудолюбие в заслугу, то вдруг начинают жаловаться на свою долю и говорить, что выше и лучше всего это все-таки быть независимым... Какого же уважения к жизни можно требовать от молодого человека, наслушавшегося от старших таких речей?

Вопрос о том, можно ли представить себе такой порядок вещей, при котором люди были бы избавлены от необходимости зарабатывать себе средства к жизни трудом, есть в сущности вопрос праздный, так как он касается воображаемой, а не данной действительности. Тем не менее он является попыткой умалить значение этического воззрения на жизнь. Если бы совершенство жизни выражалось отсутствием необходимости труда, тогда, разумеется, наиболее совершенною считалась бы жизнь избавленного от этой необходимости праздного человека; тогда долг человека трудиться был бы лишь печальной необходимостью, а вследствие этого и «долг» лишился бы своего «общечеловеческого» совершенного значения, сохраняя лишь одно обыденное, частное. Поэтому-то я с такой уверенностью и говорю, что отсутствие необходимости трудиться свидетельствует, напротив, о несовершенстве жизни: ведь чем ниже та ступень

развития, на которой стоит человек, тем меньше для него необходимости трудиться, наоборот, чем выше — тем сильнее выступает и эта необходимость. Долг человека зарабатывать себе средства к жизни трудом именно служит выражением общечеловеческого: с одной стороны, выражением общечеловеческой обязанности, с другой — свободы. Ведь именно труд освобождает человека, делает его господином природы; благодаря труду человек становится выше природы.

Или может быть необходимость зарабатывать себе средства к жизни трудом лишает жизнь красоты? — Этот вопрос опять заставляет нас вернуться к занимавшему уже нас выше вопросу о том, что следует подразумевать под красотой жизни. ... Прекрасное зрелище представляют полевые лилии, которые не трудятся, не прядут, а одеваются так, как не одевался и Соломон во всей славе своей. Прекрасное зрелище представляют и птицы небесные, которые не сеют, не жнут, а сыты бывают, и Адам с Евой в раю, но еще более прекрасное зрелище представляет человек, добывающий себе все необходимое своим трудом. Хорошо, если Провидение милосердно питает все живущее и заботится о нем, но еще лучше, если человек сам является как бы своим собственным Провидением. Тем-то ведь человек и велик, тем-то он и возвышается над всем остальным творением, что он может сам заботиться о себе. ... Итак, способность человека трудиться является выражением его совершенства в ряду других творений; высшим же выражением этого совершенства является то, что труд вменен человеку в долг.

И вот, если герой наш усвоит себе вышеприведенное воззрение, он не станет желать себе нежданного, негаданного богатства, которое бы свалилось на него с неба, не будет заблуждаться относительно цели и значения жизни, поймет, как прекрасно зарабатывать себе средства к жизни трудом, увидит в труде свидетельство чело-

веческого достоинства, поймет, что вечная праздность растения, которое не может трудиться, не совершенство, а недостаток. Он не будет также искать дружбы упомянутого богача эстетика, — он будет трезво смотреть на жизнь, будет ясно понимать, в чем именно заключается величие жизни и человека, и не позволит высокомерным денежным мешкам запугать себя мнимым значением богатства. Замечательно, я знавал многих людей, радостно признававших значение труда, довольных своим трудом, счастливых своим скромным материальным положением, но не имевших мужества сознаться в этом. Если заходил разговор о их потребностях, они всегда старались преувеличить их в сравнении с своими действительными, а также никогда не хотели сознаться в своем истинном трудолюбии, как будто нуждаться во многом или быть праздным копителем неба достойнее и почтеннее, нежели довольствоваться малым и трудиться! ... Как редко вообще можно встретить людей, которые бы спокойно и с достоинством сказали: я не делаю того-то или того-то потому, что мои средства не позволяют этого. Все они, напротив, поступают так, как будто у них совесть нечиста, и они боятся насмешливого напоминания о лисице и винограде. Таким образом и уничтожается или низводится к нулю значение истинных добродетелей: если люди не ценят умеренности и скромности, если думают, что умеренными и скромными заставляет быть одна необходимость, то зачем им и стараться быть такими? Между тем, разве нельзя быть умеренным и скромным, не имея возможности не быть таким, т. е. не имея богатства; или разве нужда искушает меньше, чем богатство?

Вернемся, однако, к нашему герою. Он теперь охотно возьмется за труд, но все-таки постарается, вероятно, как-нибудь избавиться от заботы о хлебе насущном. Я лично никогда не знал этой заботы; я всегда обладал до-

статком, хотя и должен до известной степени трудиться ради того, чтобы иметь средства к жизни. Итак, я не могу в этом случае сослаться на собственный опыт и все-таки с уверенностью скажу, что положение человека, вынужденного заботиться о хлебе насущном, имеет как свои темные, так и свои светлые стороны: оно и тяжело и трудно, но в то же время и имеет огромное, облагораживающее, воспитательное значение для человека. Между тем, я знавал людей, которых ни в каком случае нельзя было назвать трусами или слабохарактерными, которые отнюдь не воображали, что жизнь человеческая должна пройти легко и спокойно, без всякой борьбы, и которые чувствовали в себе мужество, силу и охоту бороться даже в тех случаях, когда другие падали духом, и все-таки эти люди часто говорили: «Боже избави нас от заботы о насущном хлебе, — ничто не душит до такой степени всех высших потребностей и стремлений человека!» Подобные отзывы в связи с наблюдениями над собственной жизнью наводят меня на мысль о невероятной лживости человеческого сердца. Люди мнят себя мужественными и способными выдержать опаснейшую борьбу в жизни, а с заботой о насущном хлебе не хотят бороться и в то же время хотят, чтобы победа в первой борьбе считалась более великой, нежели победа в последней! Объясняется подобное обстоятельство довольно просто: люди знают, что, выбирая более легкую, но в глазах толпы более опасную борьбу, принимая кажущееся за истинное, борясь и побеждая в этой борьбе, они становятся героями, героями совсем иного рода, нежели те, которые побеждают в той ничтожной и недостойной человека борьбе из-за насущного хлеба, — так по крайней мере судит толпа. Да, если кроме борьбы с жизнью из-за хлеба насущного приходится бороться еще с такими скрытыми внутри самого человека врагами, как трусость и тщеславие, то нечего и удивляться, что людям хочется избавиться от первой. Было бы, од-

нако, со стороны людей гораздо честнее, если бы они признались, что избегают этой борьбы именно из-за ее трудности и тяжести. Раз же это так, то и победа в этой борьбе тем прекраснее. Поэтому люди, не испытавшие сами борьбы из-за хлеба насущного, должны открыто признать каждого, ведущего ее, истинным героем, должны отдать ему хоть эту справедливость. И если человек будет смотреть на заботу о хлебе насущном, как на истинный подвиг чести, уже это одно значительно подвинет его вперед. В данном случае, как всегда и везде, вся суть в том, чтобы найти надлежащую верную точку зрения и, не теряя времени на бесплодные мечтания, уяснить себе свою жизненную задачу. Пусть задача эта, по видимому, мелочна, ничтожна, неприглядна и в высшей степени трудна, — надо помнить, что все эти обстоятельства лишь усложняют борьбу и придают большую ценность и красоту победе. Есть люди, которых украшает орден, и есть люди, которые украшают свой орден, — пусть же намотает себе это на ус каждый, кто, чувствуя в себе силы и охоту испытать себя в более великой и славной борьбе, принужден довольствоваться самой скромной и незавидной борьбой из-за насущного хлеба.

Высокое воспитательное значение последней борьбы в том именно и заключается, что награда так несоразмерно мала, или вернее отсутствует вовсе, и человек борется из-за одной только чести. Чем выше награда, из-за которой борется человек, тем меньше с его стороны заслуги: тем больше может он опираться на различные двусмысленные, волнующие каждого борца страсти. Честолюбие, тщеславие и гордость — все это силы, обладающие громадной упругостью и могущие поэтому подвинуть человека на многое. Тот же, кто борется из-за хлеба насущного, не может рассчитывать на эти силы: они скоро изменят ему, — какой же интерес может возбудить такая борьба в посторонних людях? Не имей в себе такой человек запаса иных сил, он был бы поэтому

скоро обезоружен и побежден; награда его уж слишком ничтожна — потратив и время и труд, измучившись и истомившись на работе, он, может быть, добился лишь самого необходимого для поддержания жизни и возможности продолжать ту же тяжелую, неприглядную трудовую жизнь. Я сказал, что борьба из-за насущного хлеба имеет огромное облагораживающее и воспитательное значение, и вот почему: она не позволяет человеку обманывать, обольщать себя самого. Если человек не будет придавать этой борьбе никакого высокого значения, то она действительно будет ничтожной борьбой, и он получит полное право жаловаться на свою печальную участь; но эта борьба оттого так и облагораживает человека, что невольно заставляет его — если только он сам не захочет убить в себе все хорошие чувства — видеть в ней именно подвиг чести; ведь чем меньше награда, тем больше чести для борца-победителя. Итак, хотя человек, по-видимому, и борется в данном случае только из-за куска хлеба, он борется в сущности и ради того, чтобы обрести себя самого, свое «я»; мы же все, кто не испытал подобной борьбы, но способны оценить ее истинное величие, будем, с позволения этого борца, почтительными зрителями, будем смотреть на него как на самого почетного члена общества. Как сказано, такой человек ведет двойную борьбу и, потеряв в одной, он может в то же время выиграть победу в другой. Так, если мы представим себе почти невозможное, то есть то, что все его попытки заработать себе кусок хлеба окажутся тщетными, это будет означать его поражение лишь в одной борьбе, тогда как в другой он в то же самое время может одержать прекраснейшую победу, и на эту-то победу, а не на ничтожную награду, которой лишился, он и устремит свой взор. Напротив, тот, кто имеет в виду одну награду, забывает о другой борьбе, и если не достигает этой награды, теряет все, а если достигает, то всегда более или менее сомнительным путем.

Да, какая другая борьба имеет такое высокое воспитательное значение! ... Сколько детского простодушия, сколько смирения и глубокой веры нужно иметь для того, чтобы суметь смотреть почти с улыбкой на все земные невзгоды и труды, с которыми должен бороться бессмертный дух ради тела, чтобы довольствоваться малым, добываемым с таким трудом, чтобы всегда и при всяких обстоятельствах чувствовать над собою охраняющую руку Провидения! Ведь легко только сказать, что величие Бога особенно проявляется в малом, но нужно иметь великую веру, чтобы воистину видеть это! Сколько нужно иметь любви к людям, чтобы, борясь с заботой о куске хлеба, суметь еще разделять радость счастливых и протягивать руку помощи несчастным! Какое нужно в этом случае питать искреннее и глубокое сознание, что ты с своей стороны делаешь все от тебя зависящее, сколько нужно иметь настойчивости и предусмотрительности! Какой другой враг настолько лукав и неутомим, как забота о хлебе насущном? ... От этого врага не отделаешься несколькими смелыми жестами, его не запугаешь никаким треском и шумом. Сколько нужно иметь ловкости и достоинства, чтобы уклоняться от его нападений и в то же время не бежать от него! Как часто приходится менять в борьбе с ним оружие — то выжидать, то упорствовать, то умолять — и с какой готовностью, радостью, легкостью и изворотливостью приходится делать это, если не хочешь быть побежденным! А между тем, время все идет, и борцу так и не удастся увидеть осуществления своих прекрасных надежд, исполнения желаний своей юности; зато он видит, как достигают всего этого другие. Эти другие собирают вокруг себя толпу, вызывают ее рукоплескания, а он... стоит на подмостках жизни одиноким артистом, у него нет зрителей! Людям некогда смотреть на него, и не мудрено: зрелище его борьбы — не получасовой фарс, его борьба — искусство высшего рода, которое не по плечу даже образован-

ной публике. Но он и не гонится за этим. «В двадцать лет, — скажет он, может быть, — и я мечтал о борьбе на видной арене, под взорами молодых красавиц, сочувствие которых помогало бы мне забывать трудности борьбы; теперь я возмужал и веду иную борьбу, но горжусь ею ничуть не меньше: теперь я требую иных судей, знатоков; теперь мне нужен взор, не знающий усталости, способный прозреть сокровенное, видящий все подробности и все опасности моей борьбы; теперь мне нужно чуткое ухо, способное внимать работе мысли, способное улавливать все движения, посредством которых лучшая часть моего существа высвобождается из пут соблазна. Вот какого Судию мне нужно! На Него-то и я устремляю свой взор, Его-то одобрение я ищу заслужить, хотя и не надеюсь на это. И если к устам моим приближается чаша страданий, я смотрю не на нее, а на Того, Кто мне подносит ее; я не устремляю взора на дно чаши, желая узнать, скоро ли я осушу ее, но на Того, из Чьих рук получаю я ее. С радостью беру я эту чашу и затем осушаю ее не за здоровье друзей, как на веселом пиру, когда пьешь сладкое вино, но за свое собственное; я пью всю горечь этой чаши до дна, не переставая радостно провозглашать свое здоровье, — я верю, что этим напитком воистину куплю себе вечное здоровье!»

Вот как следует, по-моему, смотреть на борьбу из-за куска насущного хлеба. Я не стану особенно приставать к тебе, требуя разъяснений относительно того, как именно и где разрешаешь ты вопрос: лишается ли, благодаря борьбе из-за хлеба насущного, жизнь человека своей красоты (исключая те случаи, когда человек сам захочет этого) или, напротив, приобретает отпечаток высшей красоты, но предоставляю этот вопрос на решение и усмотрение твоей собственной совести... Прибавлю к этому, что отрицать существование и смысл заботы о хлебе насущном — безумно, забыть о ней потому только, что она минует нас, — бессмысленно, если же че-

ловек ссылается вдобавок на свое мировоззрение — бессердечно или трусливо. Нет сомнения, что многие, многие люди не смотрят на заботу о хлебе насущном с надлежащей точки зрения или же видят в ней не то, что есть; поэтому высказать пожелание, чтобы они имели мужество прозреть или не ошибаться взором, подобно старцам, о которых говорится, что они глядели не на Небо, а на Сусанну, — значит пожелать им добра.

Этическое воззрение на жизнь, согласно которому труд является долгом человека, имеет двойное преимущество перед эстетическим. Во-первых, оно соответствует действительности и выясняет общую связь и смысл последней, тогда как эстетическое воззрение носит в себе отпечаток случайности и не объясняет ничего. Во-вторых, оно дает необходимый критерий, благодаря которому мы можем рассматривать самого человека с точки зрения истинного совершенства и истинной красоты. Упомянутые преимущества говорят за себя сами, и их более чем достаточно для настоящего случая; если же лаешь, я дам тебе в придачу пару-другую эмпирических замечаний — не потому, чтобы этическое воззрение нуждалось в них, а потому, что, может быть, ты извлечешь из них какую-нибудь пользу или поучение.

Один мой знакомый старичок имел обыкновение говорить, что очень полезно для человека научиться зарабатывать свой хлеб, и что это одинаково возможно как для взрослых людей, так и для детей, лишь бы не было упущено время, выбран надлежащий момент. Я со своей стороны не думаю, чтобы для молодого человека было полезно при первом же вступлении в жизнь взвалить себе на плечи заботы о хлебе насущном, но научиться зарабатывать свой хлеб следует заставить всякого. Столь восхваляемое независимое положение в жизни ведь часто оказывается опасной ловушкой: каждое желание может быть удовлетворено, каждая склонность развита, каждый каприз взлелеян до такой степени, что наконец

все страсти сплотятся в опасный заговор и погубят человека. Человек же, которому приходится работать, никогда не испытывает суетной радости обладания всем, чего душа просит, никогда не научится, опираться на свое богатство, удалять с дороги посредством денег всякое препятствие, покупать себе исполнение всех желаний; никогда не испытает горечи пресыщения, не соблазнится возможностью презрительно повернуться ко всему свету спиной и сказать, как Югурта: «Вот город; он продается, — нашелся бы покупатель!»; словом, он никогда не вкусит плода той жалкой мудрости, которая делает человека глубоко несчастным и несправедливым к ближним.

Поэтому я с большим нетерпением выслушиваю частые жалобы людей на то, что они, с их высокими душевными стремлениями и потребностями, принуждены работать, принуждены заботиться о хлебе насущном, и, признаюсь, даже желаю иногда появления какого-нибудь Гарун-аль-Рашида, который бы велел угостить этих «нытиков» за их жалобы некстати доброй порцией ударов по пяткам. Ты не принадлежишь к людям, принужденным зарабатывать себе пропитание, и я далек от мысли посоветовать тебе избавиться от своего состояния для того, чтобы поставить себя в такую необходимость, — подобные эксперименты бессмысленны и ни к чему не ведут. Но я скажу все-таки, что и ты в известном смысле должен трудиться над приобретением если не средств, то условий жизни; прежде всего ты должен вступить в борьбу и победить свою природную меланхолию. Ты не принадлежишь также и к числу упомянутых нытиков, — ты меньше всего склонен жаловаться и прекрасно умеешь затаить свои страдания в самом себе; берегись, однако, впасть в противоположную крайность, в тщеславное упорство, заставляющее тратить все силы на то, чтобы скрыть боль, вместо того, чтобы перенести и победить ее. < ... >

Итак, герой наш готов трудиться и не потому только, что это является для него *dira necessitas*^{*}, но добровольно, потому что он видит в этом высшую красоту и совершенство жизни. Но именно потому, что его готовность трудиться проистекает из его доброй воли, он и желает, чтобы его дело или занятие было *трудом*, а не *рабством*. Он требует для себя высшей формы труда, которую последний может принять, как в смысле отношения к самому трудящемуся, так и к другим людям, а именно — желает, чтобы труд этот доставлял ему личное удовлетворение и в то же время сохранял все свое серьезное значение. И в этом случае ему опять нужен совет. Обратиться за ним к мудрецу, доказывавшему необходимость обладания 3.000 годового дохода, герой наш сочтет пожалуй несовместимым со своим достоинством, но и к этику, несмотря на то, что этот вывел его из первого затруднения, он тоже навряд ли поспешит обратиться. Наш герой похож на большинство людей, он успел уже вкусить прелестей эстетической жизни и, хотя и не настолько неблагодарен, чтобы не оценить помощи этика, предпочтет все-таки попробовать счастья в другом месте, надеясь в глубине души на совет этика как на первый резерв. И вот он обращается к другому, более гуманному — к эстету. Так как праздная жизнь становится в конце концов бременем для всякого, то этот эстетик, может быть, тоже сочтет нужным сказать ему несколько слов о значении труда, прибавив однако, что труд не должен быть слишком тяжелым, а скорее приближаться к удовольствию: «Можно, например, найти в себе тот или другой благородный талант, выделяющий тебя из толпы обыкновенных людей, и серьезно взяться за его обработку; тогда жизнь получает для человека новый интерес и значение, — он занят, у него есть труд, в котором он может найти себе полное удовлетворение. Независимое же положение в жизни позво-

* Суровая необходимость (лат.)

ляет человеку заботливо взлелеять свой талант, оградить его от грубого прикосновения жизни и затем наслаждаться его высшим расцветом. На талант этот, разумеется, не следует смотреть как на доску, на которой можно вынырнуть из волн житейского моря, но как на крыло, которое может высоко поднять человека над миром; талант не «рабочая кляча», но «кровный скакун». К сожалению, у нашего героя не оказывается никаких таких благородных талантов, он просто человек, как и все. «Да, в таком случае, — скажет ему эстетик, — Вам остается только разделить участь толпы обыкновенных людей, быть простым чернорабочим в жизни. Не падайте, впрочем, духом, и такое существование в своем роде недурно, даже очень честно и похвально, — усердный труженик ведь полезный член общества. Я уже заранее радуюсь, представляя вас в этом положении: вообще ведь чем разнообразнее проявления жизни и ее представители, тем интереснее наблюдать их. Поэтому я, как и все эстетика, не люблю национальной одежды: что может быть скучнее, однообразнее зрелища целой толпы, одетой одинаково! Итак, пусть каждый делает свое дело в жизни по-своему, тем интереснее будет для нас, наблюдателей!». Подобное отношение к жизни и высокомерное подразделение людей, надо надеяться, рассердят нашего героя. К тому же эстетик придает слишком большое значение независимому положению людей в жизни, до которого нашему герою, как известно, далеко.

Может быть, он и тут еще не решится обратиться за советом к этику, а попытается искать его у кого-нибудь другого. Представим же, что он встречается с человеком, который скажет ему: «Да, надо трудиться, надо зарабатывать свой хлеб; так устроено в жизни раз навсегда». «А! — думает наш герой. — Теперь-то я попал на настоящего человека, мы с ним одного мнения!», — и внимательно прислушивается к его речам. «Да, надо зарабатывать свой хлеб; — продолжает тот, — так раз и навсегда

устроено в жизни, в этом, так сказать, ее оборотная сторона, изнанка. Человек должен спать 7 часов в сутки; это время потеряно для жизни, но иначе нельзя; затем работать — 5 часов в сутки; это время тоже потеряно для жизни, но делать нечего, приходится трудиться для того, чтобы доставать средства к жизни, к настоящей жизни, которую человек начинает жить, отбыв две упомянутые повинности. Труд может быть и скучным и бессодержательным, лишь бы давал человеку средства к жизни. Напротив, талант никогда не должен служить человеку источником заработка. Талант должно беречь, лелеять для самого себя, для услаждения своей собственной жизни. Человек холит свой талант, любит его, как мать дорогим дитя, воспитывает его, развивает. На это идут остальные 12 часов в сутки. Таким образом, человек 7 часов спит, на 5 часов лишается человеческого образа, остального же времени вполне достаточно, для того, чтобы он мог сделать свою жизнь не только сносной, но и прекрасной. К тому же, если мысли человека не участвуют в упомянутой утомительной пятичасовой работе, то он может сберечь их вполне свежими и сильными для своего излюбленного дела».

Что же? Наш герой оказывается опять ни при чем. Во-первых, у него нет таланта, которому бы он мог посвятить 12 часов в сутки; во-вторых, у него сложилось уже иное, более возвышенное воззрение на труд, отказаться от которого он не желает. ... И вот он решается опять прибегнуть к этике. Речь последнего коротка: «У каждого человека должно быть призвание». Больше ему сказать нечего: хотя этика сама по себе и есть понятие абстрактное, абстрактного призвания для всех людей не существует, а напротив, у каждого человека есть свое собственное. Этик, следовательно, не может указать нашему герою его призвание: для этого ему пришлось бы сначала обстоятельно изучить эстетические стороны личности нашего героя; да и в этом случае он бы, пожа-

луй, все-таки не решился сделать выбор за другого, — решаясь на это, он отрекся бы от своего собственного жизненного воззрения. Итак, этик может сказать нашему герою только то, что у каждого человека есть свое призвание, и что когда этот последний найдет его, он должен выбрать его этически—сознательно. Все, что говорил выше эстетик о талантах, есть, в сущности, скептическое и легкомысленное перетолкование того, что говорит теперь этик. Жизненное воззрение эстетика основывается исключительно на различиях: у некоторых людей, дескать, есть талант, у других нет; на самом же деле вся разница между людьми в том, что у одного больше, у другого меньше талантов, то есть разница только количественная, а не качественная. Воззрение эстетика вносит в жизнь разлад, которого нельзя устранить одним легкомысленным и бессердечным отношением к жизни. Этик, напротив, примиряет человека с жизнью, говоря, что у каждого есть свое призвание. Он не уничтожает упомянутых различий, но лишь указывает на то, что, несмотря на все различия, люди имеют нечто общее, делающее их равными друг другу, — призвание. Самый колоссальный талант есть также только призвание, т. е. не отличает человека от других людей, не ставит его вне условий действительности, но лишь теснее приобщает его к человечеству: талант — призвание, а призвание — нечто общечеловеческое. У каждого человека есть призвание; на этом основании самый ничтожный индивидуум обладает всеми правами человека, и его нельзя выделить из числа прочих людей, нельзя предоставить ему делить участь животных: он носит в себе печать общечеловеческого — свое призвание.

Этическое положение, согласно которому у каждого человека есть свое призвание, свидетельствует о существовании разумного порядка вещей, при котором каждый, если только захочет, займет свое место, выполнит свое общечеловеческое и, вместе с тем, индивидуальное

назначение. Что же, становится ли жизнь при этом воззрению на нее менее прекрасной? — Благодаря этому воззрению, радость перестает быть случайным уделом одних только случайных избранных (как это доказывает эстетик) и становится общим достоянием, открывает врата в блаженную олимпийскую обитель всем и каждому! Как же скоро на талант не смотрят как на призвание, т. е. не смотрят на него как на нечто общечеловеческое, тогда он является понятием абсолютно эгоистичным, а тот, кто основывает свою жизнь на таком таланте, усваивает себе взгляды и склонности хищника, грабителя. Для такого человека талант есть только талант, выше этого выражения он не знает ничего и в силу этого стремится во что бы то ни стало выдвинуть свой талант вперед. Отсюда вполне естественно, что такой человек склонен вообразить себя каким-то центром и требовать, чтобы все условия были приноровлены исключительно к успеху и процветанию его таланта, — эстетическое наслаждение талантом только в этом и заключается. Встреться же такой талант с другим однородным ему талантом, он вступит с ним в борьбу, и они борются между собой на жизнь и на смерть: их ведь не связывает ничто общечеловеческое, так как они не видят в своем таланте высшего, истинного значения, не считают его призванием.

Обратившись к этику, герой наш, следовательно, нашел, то искал: ему указали источник существования — труд, а в ответ на его требование для себя высшей формы труда выяснили ему высокое значение всякого труда в смысле призвания. Ведь являясь призванием каждого человека, труд является и призванием нашего героя, т. е. должен удовлетворить все его личные нравственные запросы, делая его равным каждому человеку. Большого он не требует. «Если мое призвание, мой труд и скром, — говорит он, — я все же могу быть верным ему и вследствие этого равным даже тому, чье призвание

имеет величайшее значение, и измени я своему призванию, я совершил бы такой же грех, как и человек с величайшим призванием».

Этическое воззрение на жизнь, согласно которому у каждого человека есть свое призвание, имеет таким образом двойное преимущество перед эстетическим, поддерживающим теорию о значении талантов. Во-первых, оно занимается выяснением не случайных явлений жизни, но общего закона ее, во-вторых, выясняет, что именно исполнение этого общего закона и придает ей высшую истинную красоту. Талант становится прекрасным лишь тогда, когда на него смотрят как на призвание, жизнь — прекрасной лишь тогда, когда каждый человек имеет свое призвание. < ... >

Итак, наш герой нашел для себя высшую форму, вернее высшее истолкование труда, нужное ему для личного своего удовлетворения; истолкование это: его труд — его призвание. Истолкование это является для него своего рода верительной грамотой на существование. Но теперь он хочет также, чтобы его труд имел значение и для других людей, иными словами, хочет «совершить нечто». Здесь ему опять грозит опасность заблудиться. Эстетик, например, скажет ему, что главное — сознавать в себе талант, совершить же или не совершить при этом что-нибудь — вопрос второстепенный. Затем герой наш может натолкнуться на человека, обладающего ограниченным практическим умом и воображающего, что он со своим бестолковым усердием совершает все, что только вообще можно совершить. Может он встретиться и с другим высокомерным эстетиком, который полагает, что совершить нечто — удел немногих избранных, что только некоторые великие таланты совершают нечто, все же остальные люди существуют по причине излишней производительности или расточительности природы. Ни один из поименованных людей, однако, не удовлетворит нашего героя своими объяснениями.

< ... > Пусть же он обратится к этику. Этик скажет: «Все, что совершает или может совершить каждый человек, — это делать свое дело в жизни». Так, если бы совершать что-либо могли, благодаря своим случайным преимуществам, лишь некоторые избранные жизни, то скептическое воззрение на жизнь действительно восторжествовало бы. Дело, однако, в том, что каждый человек совершает, в сущности, одинаково много. Я не проповедую здесь безразличного отношения к жизни, но хочу лишь предостеречь людей относительно неосторожного обращения со словом «совершать», которое всегда вызывает твои насмешки. Ты говоришь даже, что «изучал интегралы, дифференциалы и учение о пределах специально для того, чтобы иметь возможность вычислить, как много совершил для общего блага образованный труженик, писарь в адмиралтействе». Советую тебе однако направлять твои остроумные насмешки на тех, кто вечно носитя со своим «я» и выставляет его напоказ, а не употреблять их с целью исказить истинное значение понятий и слов.

Слово «совершать» обозначает отношение моей деятельности к чему-то, лежащему вне меня самого. Легко понять, что отношение это не во власти человека и что поэтому сказать: он «не совершает ничего» — можно с одинаковым правом и о человеке с величайшими талантами и о самом незначительном субъекте. Нечего искать в моих словах выражения недоверия к жизни, в них скрывается, напротив, признание моей собственной незначительности и уважение к значению всех людей вообще. Исполнить свое дело может одинаково хорошо и великий талант и самый незначительный человек, точно так же, как исполнить что-либо сверх того не в состоянии ни тот, ни другой. Совершить что-либо, следовательно, не во власти человека, но помешать себе совершить что-либо, — вполне. Итак, пусть каждый откажется от высокомерной мысли совершить что-либо, пусть не тра-

тит времени на тщеславные попытки и проверки себя, а просто и скромно делает свое дело; удастся ему совершить этим что либо — его счастье, пусть он радуется ему, но не ставит себе в заслугу. Пусть также никто не ропщет на судьбу, не отчаивается, если счастье это, так сказать, не дается ему в руки. Представим себе бук; его дело расти, пускать побеги, выгонять листья и доставлять людям приятную тень. И вдруг бы он сказал себе самому: «Сюда, где мне приходится расти, некому и незачем приходить; я вечно буду стоять один, к чему же мне расти, к чему выгонять листья, что я совершу этим?» — и перестал бы делать свое дело. А между тем, со временем пришел бы какой-нибудь путник и сказал: «Вот если бы это дерево было погуще, я мог бы отдохнуть в его тени!»! Каково было бы дереву слышать это, будь оно вообще в состоянии слышать?

Каждый человек может таким образом совершить нечто — каждый человек может делать свое дело. Дело одного человека может существенно разниться от дела другого, но это ничуть не изменяет самого положения вещей, на основании которого у всякого человека есть свое дело, и которое объединяет и равняет между собою всех людей. Поэтому даже тот, чье дело в жизни ограничивается развитием его собственной личности, даже он совершает в сущности не меньше всякого другого. «Но в таком случае, — скажут мне, пожалуй, — был прав и эстетик, высказавшийся за удовлетворение человека одним сознанием своего таланта?» — Нет; его ошибка состояла в том, что он остановился на эгоистическом определении сущности таланта, самовольно причислил себя к избранным, не хотел совершить «общечеловеческого», не смотрел на свой талант как на призвание. Подтверждаю поэтому высказанное мною убеждение ссылкой на любую молодую девушку: девушки, как известно, меньше всего предназначены совершать что-либо; пусть даже взятая нами в пример девушка будет несчастлива

в любви, пусть, следовательно, у нее отнимут последнюю возможность совершить что-либо, но пусть только она развивает свою личность, и — она делает свое дело, то есть совершает не меньше всякого другого.

Итак, слово «совершать» тождественно словам «исполнять свое дело». Вообрази же себе человека, движимого глубокими и искренними чувствами, которому никогда и в голову не приходит размышлять о том, должен ли он и удастся ли ему совершить что-либо — упомянутые чувства бьют в нем ключом и проявляются в деятельности сами собой. Пусть, например, он будет оратором, проповедником или чем тебе угодно. Он говорит не для толпы, не для того, чтобы совершить нечто, нет, затаенные в груди его дивные звуки сами собой рвутся на свободу и, лишь удовлетворяя их стремлению, может он чувствовать себя счастливым. Думаешь ли ты, что такой человек совершает меньше того, кто вырастает в своих собственных глазах при одной мысли о том, что он призван «совершить нечто», кто постоянно подогревает этой мыслью свою энергию? Возьми затем автора, никогда не думающего о том, будут ли у него читатели, или удастся ли ему «совершить что-либо» своим сочинением, но имеющего в виду одну истину, преследующего лишь выяснение истины, — совершит ли такой писатель меньше того, чье перо работает под непрерывным надзором и руководством мысли о том, что он совершает или намерен «совершить нечто»?

Странно однако в самом деле, что ни ты, ни я, ни сам герой наш, ни даже тот хитроумный эстетик не заметили, что и у нашего героя есть талант; но он у него есть, раз талант — призвание, а призвание есть у каждого человека. Выясняется это, впрочем, только теперь, когда герой усвоил себе верный взгляд на труд, на талант и на призвание. Да, вот как долго могут таиться в человеке не созревшие еще духовные способности; достигнув же известной точки развития, они проявляются сразу,

во всей своей силе. Эстетик скажет пожалуй: «Поздно! уж успели совратить человека; жаль!»... Этик же, напротив, скажет: «Хорошо, что случилось именно так: теперь можно надеяться, что талант не будет для него камнем преткновения; он поймет, что человеку не нужно ни независимого положения в жизни, ни пятичасового подневольного труда, чтобы сберечь свой талант от враждебных влияний, иными словами — отнесется к своему таланту как к призванию».

И вот герой наш трудится, зарабатывает себе средства к жизни, и этот труд вполне удовлетворяет его, доставляет ему удовольствие; он следует своему призванию, делает свое дело, одним словом — словом, наводящим на тебя ужас, — «имеет свой кусок хлеба». Не раздражайся, в устах поэта это звучит куда красивее: «вместо позолоченных пряников детства» он получил «честный кусок хлеба». Затем... А затем что? Ты улыбаешься, ты уже подозреваешь что-то и ужасаешься моей прозаичности. «Да, — говоришь ты, — остается только женить его; сделай одолжение! Я ничего не имею против такого благочестивого намерения! Удивительно, какая благоразумная последовательность соблюдается в жизни! Сначала «кусок хлеба», затем жена. Что до меня, то я лишь протестую против одного: пожалуйста, не величай своего клиента героем! До сих пор я все ждал, надеялся, не хотел еще махнуть на него рукой, но теперь... Извини, я вам не товарищ и не хочу больше слушать твоей истории! Человек, у которого есть верный кусок хлеба и жена, может быть очень почтенным господином, но, надеюсь, он не претендует на имя героя!» ... Итак, потвоему, чтобы заслужить имя героя, человек должен совершить что-нибудь необычное? В таком случае, перед тобой открывается блестящая перспектива! Представь, однако, что надо много мужества для того, чтобы решиться остаться обыкновенным человеком и делать самое обыкновенное дело; тот же, кто обнаруживает много

мужества, мне кажется, имеет все права назваться героем. Вообще при выдаче диплома на звание героя следует обратить внимание не столько на то, *что* совершает человек, сколько на то, *как* он это совершает. Один может покорить целые народы и царства и все-таки не быть, в сущности, героем, другой может выказать геройство, победить только самого себя. Один проявляет свое мужество в деяниях необычайных, другой — в самых обыкновенных. Вся суть в том, *как* он делает свое дело. Ты не станешь, конечно, отрицать, что герой наш уже проявил предыдущими своими поступками склонность быть не совсем обыкновенным человеком, и поэтому я еще не могу быть за него вполне спокойным. На этой склонности ты, вероятно, и основывал свою надежду на то, что он окажется в конце концов настоящим героем, а я по той же причине опасался, чтобы из него не вышло сумасброда. Я был к нему, таким образом, столь же снисходителен, как и ты, — я надеялся на него настолько, что с самого начала назвал его «героем», хотя и не раз боялся, что он окажется недостойным этого титула. Если же мне удастся женить его, я спокойно и радостно сдам его с рук на руки жене. Он вполне заслужил своей предыдущей строптивостью, чтобы его отдали под особый надзор. Надзор этот как раз и возьмет на себя его жена, и все пойдет хорошо: стоит ему только выказать поползновение быть необыкновенным человеком, жена живо вернет его на надлежащую дорогу, и ему таким образом удастся заслужить имя героя без всякого шума. Женив моего героя, я могу и покончить с ним, если, впрочем, он сам не почувствует ко мне особенного влечения и дружбы, на которые я охотно отвечу под условием, что он будет продолжать свое геройское шествие по пути жизни. Он увидит тогда во мне верного друга, и наши отношения не будут лишены известного значения. С тем, что ты к этому времени окончательно махнешь на него рукой, он, вероятно, сумеет примириться

тем легче, что сам почувствует, насколько было бы неестественно и потому подозрительно твое участие к нему после того, как он не оправдал твоих надежд и женился. Мне же останется только поздравить его с таким счастьем, какого от души желаю всем женатым людям.

Мы несколько поторопились предупредить события. У тебя еще довольно времени питать твои надежды, а у меня — мои опасения, — герой наш еще не женат! Являясь человеком, как и все, и имея поэтому склонность ко всему необыкновенному, он к тому же несколько неблагодарен и опять пойдет, пожалуй, за советом к эстетике. Разумеется, он постарается как-нибудь замаскировать свою неблагодарность: «Этик действительно помог мне уяснить мои обязанности к самому себе; ему обязан я и своим серьезным воззрением на труд, которое облагораживает и скрашивает мою жизнь. Но что до любви, я желал бы следовать свободному влечению сердца — любовь и строгие требования этики мало гармонируют; любовь относится уже к чудной, полной свободы, непринужденности и красоты, области эстетики».

Видишь, мне еще придется порядком повозиться с нашим героем. Он, видимо, даже не вполне понял предыдущие уроки. Он все еще думает, что этика исключает эстетику, хотя сам же должен был сознаться, что этическое воззрение придало его жизни красоту. < ... >

Хотя ты никогда, ни устно, ни письменно, не отвечал на мое предыдущее письмо*, но, вероятно, все-таки не забыл его содержание и того, как я старался выяснить в нем этико-эстетическое значение брака: именно этическое начало и делает брак эстетическим выражением любви. Ты, конечно, согласишься с тем, что если я мало-мальски сумел выяснить этот вопрос тебе, то сумею, в случае надобности, выяснить его и нашему герою. Он, как сказано, обратится к эстетике, но уйдет от него скорее с

* «О браке» — первая статья второй части «Или-или» — Прим. перев

отрицательными, нежели с положительными познаниями, т. е. не узнает, что ему нужно делать, а узнает только, чего делать не нужно. И недолго захочет он быть свидетелем вероломства обольстителя, прислушиваться к его сладко-льстивым речам, но скоро научится презирать его искусство, увидит этого лжеца насквозь, поймет, что он только притворяется любящим и вечно подкрашивает свои чувства, которые, может быть, и были бы правдой, если бы он действительно принадлежал всем сердцем одной избраннице; поймет, что он лжец вдвойне, так как обманывает и свою жертву, и ту, которой по праву должна была бы принадлежать его любовь! Да, герой наш научится презирать этого лжеца, воображающего, что только он один умеет наслаждаться любовью, что только в его наслаждении есть красота; научится презирать этого дерзкого насмешника, желающего превратить любовь в легкую и веселую забаву. На минуту его насмешки, может быть, и оледенят кровь в жилах нашего героя, но скоро струя истинного чувства вновь заставит забиться его сердце, и он осознает, что это чувство — жизненное начало его души, главная артерия его организма, что тот, кто перерезал ее у себя, — мертв и без погребения, и не воскреснет. Наш герой позволит себе увлечься учением скептицизма лишь на весьма короткое время и недолго будет убаюкивать себя рассуждениями вроде того, что «все на свете суeta, что время все изменяет, что не на чем остановиться в жизни и что поэтому нечего и утруждать себя, нечего стараться составить себе определенный план жизни или намечать определенную цель» и т. д. Отрицательные стороны его природы — лень и трусость, правда, охотно отзовутся на эти рассуждения и вполне готовы будут укрыться под удобным и таким привлекательным на людской взгляд плащом скептицизма, но, вдумавшись в эти рассуждения поглубже, он увидит, что ими прикрывается сладострастный лицемер, и научится презирать их. Он поймет,

что смотреть на любовь как на какое-то загадочное и непроизвольное чувство, оправдывать себя словами: «я не виноват, что разлюбил, чувство не во власти человека» — значит оскорблять любовь и прекрасное. Такое же оскорбление и поругание увидит он в желании эстетика любить не всей душой, но только частицей ее, считать любовь только моментом и в то же время овладевать всем существом другого. То же оскорбление увидит он и в желании изображать из себя притом какое-то загадочное существо, облекать себя какой-то таинственностью. Он увидит то же оскорбление и поругание в желании эстетика обладать сотней рук, чтобы иметь возможность прижимать к своей груди сотни возлюбленных разом; у человека лишь одна грудь, и он должен желать прижать к ней лишь одну избранницу. Он увидит оскорбление и поругание в той легкости и случайности, с какою связывает эстетик свою жизнь с жизнью женщины, в его взгляде на эту связь, как на нечто временное и условное, которое в случае нужды всегда можно изменить или прямо уничтожить. Он считает невозможным, чтобы существо, любимое им, могло измениться иначе, как к лучшему, и верит, что сила любви может исправить даже изменения к худшему. Он сознает, что дань, платимая любви, подобна священному налогу древних, вносившемуся особой монетой; все богатства мира не в состоянии заменить самой малой дани, если будут представлены в монете с фальшивой чеканкой.

И вот герой наш выходит на верную дорогу, — он перестал разделять веру закоснелых эстетиков в непроизвольность и загадочность чувства любви, слишком будто бы нежного и эфирного для того, чтобы на него можно было наложить цепи долга. Он удовлетворяется объяснением этика, говорящего ему, что долг каждого человека — сделаться семьянином, и верно понимает это объяснение, понимает, что человек грешит лишь в тех

случаях, если произвольно уклоняется от этого долга, так как уклоняется тогда от выполнения общечеловеческой задачи или назначения. Далее этого этик не может уже вести нашего героя: указать последнему, на ком ему следует жениться, он не в состоянии, — для этого нужно более подробное знакомство с личностью героя. Да и в случае такого знакомства этик все-таки не рискнул бы оказать давление на выбор другого человека, — этим он нарушил бы свою теорию о свободе выбора. Когда же герой наш сделает свой выбор сам, этическое отношение к любви санкционирует последний и возвысит самое любовь. Этическое же отношение к любви окажет нашему герою известное содействие и при самом выборе, поможет ему избавиться от слепой веры в судьбу или случай; между тем, чисто эстетическое отношение к любви не только содействует, но прямо затрудняет выбор, так как эстетический выбор в сущности не выбор, а бесконечное выбираение.

«Да, человека, с такими превосходными принципами можно смело пустить вперед одного, — говоришь ты, — от него позволительно ожидать всего великого!» Я согласен с тобой и надеюсь, что его принципы выдержат твоё глумление. И все же нам с ним остается миновать еще один подводный камень прежде, чем он достигнет верной пристани. Видишь ли, герой наш узнал от человека, мнение которого ставит очень высоко, что, готовясь соединиться брачными узами на всю жизнь, надо быть чрезвычайно осторожным в выборе, найти необыкновенную девушку, т. к. ее необыкновенные качества именно и послужат надежным ручательством за будущее. Не начинаешь ли ты снова надеяться на нашего героя? Я, по крайней мере, начинаю снова опасаться за него.

Разберем же этот вопрос по существу. Ты вот говоришь, что в безмолвной чаще леса обитает нимфа, чудное существо, девушка. Хорошо; пусть же она появится в Копенгагене или в Нюрнберге, подобно Каспару Га-

узери, — дело ведь не в месте действий, а в самом действии, то есть в ее появлении перед очами героя. «Вот это так подруга жизни!» — скажет он. Предоставляю тебе затем дополнить остальное: ты ведь отлично сумел бы написать роман под заглавием «Нимфа, необыкновенное существо, чудная лесная дева» в *pendant* к известному роману «Урна уединенной долины». Итак, положим, что она появилась, и наш герой оказался тем счастливецом, которому она дарит свою любовь. Согласиться ли нам на это? С моей стороны препятствий, пожалуй, нет — я ведь женат. Но ты как раз оскорбишься, что тебе предпочли такого обыкновенного человека. Прими, однако, участие в моем клиенте, согласись, что лишь таким путем он может еще оправдать твои надежды — стать героем, и потому не мешай его счастью. Посмотрим же теперь, насколько будут прекрасны его любовь и брак. Основанием как его любви, так и брака служит ведь то обстоятельство, что его возлюбленная — единственная в своем роде девушка во вселенной. Вся суть, следовательно, в ее исключительности, сулящей ему, как он воображает, необыкновенное счастье, и в этом-то воображении его, собственно говоря, и заключается самое счастье. Не раздумает ли он поэтому жениться на ней? В самом деле, дать подобной любви такое обыденное вульгарное выражение, как брак — не унизительно ли? Более того, не дерзко ли вообще требовать от двух таких необыкновенных влюбленных банального вступления в брак, как будто они только на то и годятся, чтобы увеличить собою огромное число супружеских пар или чтобы о них можно было сказать, как и о всякой другой чете: они женаты?! ... Ты найдешь, пожалуй, подобные размышления вполне основательными и со своей стороны присоедилишь разве возражения в роде того, что не следовало бы вообще такой необыкновенной девушке доставаться такой бездарной посредственности, как наш герой, что будь он, напротив, таким же необыкновенным

субъектом, как она (или таким, как ты?), все пошло бы как следует, и нельзя было бы даже представить себе более совершенных любовных отношений.

Оказывается, таким образом, что герой наш – опять в критическом положении. Все единогласно говорят, что его возлюбленная необыкновенная девушка; я сам, женатый человек, скажу слова *донны Клары*: «Молваничего на этот раз не преувеличила, и прелестная Прециоза — чудо создания!» Немудрено в таком случае увлечься призрачной прелестью необыкновенных отношений к такой необыкновенной девушке и упустить из виду общечеловеческую задачу. А между тем, герой наш ведь уже узнал от этика, что брак не только не лишает жизнь красоты, но, напротив, придает ей высшую красоту. В самом деле, разве брак отнимает что-либо у него, уменьшает красоту или уничтожает какое-либо из исключительных достоинств ее? — Ничуть... Брак только учит его смотреть на все это как на случайные и несущественные обстоятельства, пока он не вступит в самый брак, пока не обратит всех этих исключительных достоинств в средство достижения или осуществления общечеловеческой задачи. Этическое воззрение на любовь и брак учит его, что лишь брачные отношения являются абсолютным выражением любви, что, лишь благодаря им, любовь ведет человека к осуществлению общечеловеческой задачи. Брак, правда, лишает его суетного удовольствия сознавать себя необыкновенным человеком, но зато доставляет ему действительную радость — быть обыкновенным человеком, олицетворять собою общечеловеческое. Брак восстанавливает в его глазах гармонию всего существующего, учит его быть довольным жизнью, радоваться ей, тогда как противоположное отношение к любви из желания быть необыкновенным человеком, т. е. исключением, приводит только к неминуемому столкновению с жизнью, основывая свое счастье на необыкновенном, он поневоле стал бы

смотреть на свою обыденную жизнь как на мучение. Кроме того, будь даже такое счастье действительным, а не воображаемым, и тогда его следовало бы назвать скорее несчастьем, так как оно ставит человека в исключительное перед другими людьми положение, благодаря чему если его жизнь и приобретает красоту случайную, то утрачивает зато красоту истинную. Наш герой поймет все это и вновь осознает истину слов этика: «долг каждого человека — жениться»; осознает и то, что брак придает жизни высшую, истинную красоту и значение. Пусть в таком случае ему достанется в супруги чудо создания, он не будет уже основывать своего счастья на исключительности ее натуры, хотя и от души будет радоваться ее красоте, прелести, богатству ее чувств и ума: «В главном, — скажет он себе, — мое положение не отличается от положения всякого другого человека, — вся суть ведь в самом браке, который один является абсолютным выражением любви». Или пусть ему достанется девушка, менее богато одаренная природой, он все-таки будет радоваться своему счастью; «Хотя она и уступает другим женщинам во многом, — скажет он, — я все-таки счастлив, так как вся суть в самом браке». Он не будет уже так пристрастен ко всему исключительному, ко всему необыкновенному, и поймет, что как не существует абстрактного призвания для всех людей, а у каждого есть свое, так не существует и абстрактного брака. Этик поэтому может сказать ему, что он должен жениться, но не может сказать, на ком именно. Этическое отношение к любви поможет, следовательно, нашему герою уяснить общечеловеческое значение упомянутых исключительных достоинств невесты, и он сам уже займется уяснением себе различных оттенков и особенностей в исполнении общечеловеческого долга.

Этическое воззрение на любовь имеет таким образом много преимуществ перед всяким эстетическим, — оно обращает внимание человека на общее, а не на случай-

ное; оно показывает не то, каким образом может быть счастлива отдельная чета людей необыкновенных, но каким образом может достигнуть счастья каждая супружеская чета. Оно рассматривает брак как нечто, имеющее абсолютное значение в жизни; оно не принимает упомянутых исключительных свойств или достоинств героя и героини за гарантию счастья, но относится к ним как к задачам или долговым обязательствам человека; словом, оно смотрит на любовь с точки зрения истинной красоты и свободы.

Так вот, герой наш живет своим трудом, в котором видит к тому же свое призвание, так что работает весело и охотно и вполне довольствуется своим положением среди других людей: делая свое дело, он совершает то, что вообще только мог бы пожелать совершать на этом свете. Кроме того, он женат, доволен своим семейным очагом, и время идет для него незаметно и весело; ему даже непонятно, что время может быть для человека бременем или врагом его счастья; напротив, время кажется ему истинной благодатью и в этом отношении он считает себя в большом долгу у своей подруги жизни. Кстати, я, кажется, забыл сказать, что не он был тем счастливецом, которому досталась лесная нимфа, — ему пришлось удовольствоваться более обыкновенной девушкой, т. е. такой, какая была ему под пару. Тем не менее он очень счастлив — он сам сознается мне в этом — и думает, что так оно пожалуй и лучше: как знать, может быть, та задача оказалась бы ему не по силам? Так легко ведь испортить всякое совершенство! Теперь зато он полон мужества, доверия к жизни, надежды и даже энтузиазма; он с восторгом говорит, что вся суть в браке, что в брачных отношениях скрыта сила, которая может подвинуть девушку на все великое и прекрасное; и жена его, при всей своей скромности, того же мнения. Да, юный друг мой, на свете творится много удивительного: я, например, и верить не хотел, что существует на свете

такая чудо-девушка, о которой говорил ты, теперь же почти стыжусь своего неверия: ведь эта — та самая обыкновенная девушка, со своей великой верой в свою миссию, и есть то чудо создания; ее вера дороже золота и всех сокровищ мира. В одном отношении я, однако, остаюсь при своем неверии: такого чуда создания не найдется в уединенной чаще леса.

Ну что же, разве ты откажешь теперь моему герою в праве зваться героем? Разве мужество, с которым он не боится верить в возможность превратить самую обыкновенную девушку в чудо создания, не дает ему этого права? Особенно благодарен герой мой своей жене за то, что время получило для него теперь такое прекрасное значение, так как приписывает это до известной степени именно браку, в чем согласен с ним, как женатый человек, и я. Достанься же ему та прекрасная лесная нимфа, и не женись он — ему пришлось бы опасаться, что их любовь вспыхивала бы лишь время от времени, озаряя своим чудным блеском отдельные мгновения и оставляя между ними тусклые промежутки. Они, может быть, чувствовали бы желание видеть друг друга лишь тогда, когда их свидание обещало быть полным особого значения; случись же им хоть раз потерпеть в этом смысле неудачу, ему пришлось бы бояться, что их отношения грозят обратиться в ничто. Скромный же брак, вменяя мужу с женой в обязанность видеть друг друга ежедневно, и в богатстве и в бедности, придает их отношениям ту простоту и законченность, в которых и заключается, по мнению нашего героя, особая прелесть брака. Прозаические брачные отношения скрывают в себе столько поэзии, что не только освещают и согревают собою отдельные моменты жизни, но и всю жизнь, наполняют гармонией даже самые бедные содержанием минуты жизни. Я, со своей стороны, вполне разделяю мнение моего героя относительно того, что брак имеет преимущество не только перед одинокой жизнью, но и

перед всякой чисто эротической связью. Преимущество брака перед последней только что доказано моим новым другом, о первом же я скажу несколько слов сам. Каким бы светлым умом ни обладал человек, как бы ни был он трудолюбив, предан идее, и для него выдаются в жизни минуты, когда время кажется ему чересчур длинным. Ты вообще постоянно насмехаешься над слабой половиной рода человеческого, и я уже не раз просил тебя прекратить эти насмешки, теперь же прибавлю: недаром говорится: «Мудрец, поучись мудрости у муравья», — каким бы несовершенным существом ты ни считал молодую девушку, поучись у нее искусству заставлять время лететь стрелою — она настоящий виртуоз в этом искусстве. Она, может быть, не имеет надлежащего понятия о строгом и последовательном труде, какое имеет мужчина, но она никогда не бывает праздной, а всегда занятой, и время никогда не кажется ей длинным. Я говорю это по опыту. Бывает иногда (теперь все реже и реже, потому что я стараюсь противодействовать такому настроению, из желания выполнить долг семьянина — быть, по возможности, человеком одного возраста со своей женой), что на меня находят минуты какого-то меланхолического самосозерцания. В такие минуты я смотрю на свой труд с вялым равнодушием; мне не хочется ни продолжать работу, ни отдохнуть, ни развлечься; меланхолия угнетает мою душу, я становлюсь точно двумя десятками лет старше, становлюсь точно чужим самому себе и своей семье; я по-прежнему сознаю, что моя семейная жизнь прекрасна, но смотрю на нее как будто иными глазами, чем обыкновенно, — мне чудится, что я какой-то старик, что моя жена — моя младшая сестра, ведущая счастливую семейную жизнь, и что я сижу у нее в гостях... В такие минуты я близок к тому, чтобы начать тяготиться временем. Будь моя жена мужчиной, с ней легко могло бы случиться то же, что и со мной, и мы оба замерли бы в этом настроении; но она

женщина и умеет ладить со временем. Чем объяснить это умение, особым ли совершенством женского существа или несовершенством; тем ли, что женщина вообще более земное существо, чем мужчина, или тем, что она, напротив, находится в большей гармонии с вечностью? — Отвечай, ты ведь философ! Так вот, стоит мне в такую минуту взглянуть на свою жену, и мои глаза уже не отрываются от нее: легкой, юношеской походкой ходит она по всему дому, всегда занятая, всегда находящая себе новую работу; я мысленно следую за ней всюду, участвую в ее работе и в конце концов вновь обретаю самого себя, время опять приобретает для меня прежнее значение, минуты опять летят стрелою. Что собственно такое делает моя жена, я при всем желании сказать не могу, хоть убей меня — не могу; это останется для меня вечной загадкой. Я знаю, что такое значит работать до поздней ночи у письменного стола, устать так, что еле можешь разогнуть спину, знаю, что значит думать, что значит находиться в состоянии полного умственного изнеможения, что значит лениться — все это я знаю, но что значит и в чем состоит искусство быть занятым так, как моя жена, остается для меня загадкой. Она никогда не выглядит усталой, хотя и никогда не остается без дела; посмотреть со стороны — ее занятия как будто игра, удовольствие для нее, или как будто игра — все ее занятия. Не думай, однако, чтобы ее занятия имели что-либо общее с времяпрепровождением праздного холостяка, упражняющегося от нечего делать в различных кунштюках. Кстати, о холостяках: я предвижу конец твоей юности и скажу, что не мешало бы и тебе подумать о занятиях, которыми бы можно было наполнить праздные дни и часы; поучиться, например, играть на флейте или заняться изобретением какого-нибудь остроумного прибора для чистки трубок? ... Не хочется, впрочем, и говорить о таких вещах; все подобное наводит на меня скуку, зато мне никогда не наскучит говорить о моей

жене. Я не могу объяснить, что собственно она делает в доме, но она делает все с такой же грациозностью и милой непринужденностью и легкостью, с какой птичка поет свою песенку, — с последней-то лучше всего, я думаю, и сравнить все ее дела — и все-таки ее умение быть постоянно занятой кажется мне каким-то волшебством. К этой-то волшебнице я и прибегаю зачастую как к единственному якорю спасения. Устав работать и соскучившись в своем кабинете, я прокрадываюсь в дегскую, сажусь в уголок и начинаю втихомолку наблюдать за моей женой; я не говорю ни слова, из боязни помешать ей: хотя ее занятия и выглядят игрой, она отдается им с таким достоинством и тактом, которые невольно внушают уважение. Вообще жена моя далеко не похожа на «волчок», который вечно вертится и жужжит на весь дом, исполняя семейную симфонию», — как ты характеризуюешь некую госпожу Янсен.

Да, мой милый мудрец, женщина — природный виртуоз и разрешает проблемы, над которыми сходила с ума добрая сотня философов, самым простым и, в то же время, донельзя грациозным образом. Одна из таких проблем относится к зависимости человека от времени, и что же? Женщина справляется со временем, не задумываясь. Я далеко еще не старый семьянин, но мог бы написать об упомянутом искусстве женщины разрешать всевозможные проблемы хоть целую книгу. Ограничусь, впрочем, тем, что расскажу тебе небольшую историйку, которая кажется мне особенно характерной.

... Где-то в Голландии жил ученый-ориенталист, человек женатый. Раз как-то он не явился к столу, хотя уже было время обедать, и его звали несколько раз. Жена ждала, ждала, и все напрасно; она знала, что он дома и что у него никого нет, и потому ничем не могла объяснить себе его отсутствия. Наконец она не вытерпела и пошла в кабинет сама. Что же она видит? — Муж сидит у письменного стола один-одинешенек, углублен-

ный в свои вокабулы. Я живо рисую себе эту сцену. Она подходит к нему, наклоняется, кладет свою руку на его плечо, заглядывает в книгу, затем переводит свой взор на него и говорит: «Что же ты не идешь обедать, дружок?». Ученый, может быть, и не расслышал хорошенько, что она сказала, но, увидав ее лицо перед собою, торопливо отвечает: «Ах, душа моя, мне не до обеда! Никогда еще не встречал я такого странного слова! А между тем это моя собственная книга, прекрасное голландское издание! Эта проклятая точка над этой гласной изменяет весь смысл и способна свести меня с ума!». Жена смотрит на него с полуласковой, полуукоризненной улыбкой, недоумевая, как может какая-нибудь ничтожная точка нарушить домашний порядок, и говорит: «Есть из-за чего волноваться! Дунь на эту точку, и дело с концом!». И предание утверждает, что дело у этой женщины не расходилось со словом: она как сказала, так и сделала, дунула на точку и... точка исчезла! Необъяснимая точка оказалась соринкой табаку. Ученый поспешил к столу, радуясь исчезновению точки, а еще более — догадливости своей жены.

Нужно ли выводить тебе мораль этой истории? Если бы упомянутый ученый не был женат, он бы, пожалуй, не только сошел с ума сам, но свел бы за собой и многих других ориенталистов, — я не сомневаюсь, что он поднял бы страшный переполох в литературе... Да, стоит только представить себе, что вышло бы, не будь он женат и будь он тем эстетиком, который, обладая всеми условиями для наслаждения жизнью, явился бы вдобавок счастливым обладателем любви лесной нимфы, чуда создания. Он не женился бы потому, что считал бы и свои и ее чувства слишком аристократическими для такого плебейского установления, как брак. Он построил бы для своей возлюбленной целый дворец, обставил бы его со всей утонченностью роскоши, обуславливающей наслаждение, и посещал бы ее лишь в известные дни и ча-

сы, по ее желанию... Отправляясь на свидание, он из эротического кокетства шел бы по знакомой дорожке пешком, а его камердинер ехал бы за ним в коляске, нагруженной драгоценными дарами для красавицы. И вот однажды он натолкнулся бы в своих ученых изысканиях на такую точку. Он смотрел бы на нее, смотрел, смотрел, но объяснить себе ее появления не мог. Между тем настала бы минута свидания с возлюбленной, и он бросил бы свою работу в сторону, стараясь отогнать и самую мысль о ней, — как же явиться перед возлюбленной с наморщенным челом, с мыслью о чем-либо ином, кроме ее красоты и их любви? Он облекся бы своей обычной любезностью, был бы даже любезнее и увлекательнее, чем когда-либо, так как в голосе его звучала бы сила скрытой страсти, так как он должен бы был бороться с неприятным воспоминанием и силою вызывать на свое чело сияние радости. Но вот блеснит луч рассвета, он целует ее в последний раз, садится в карету и — чело его мгновенно омрачается. Опять эта точка! Вот он является домой. Ставни в кабинет закрыты, свечи зажжены, и он как был, даже не раздеваясь, садится к письменному столу и опять смотрит на необъяснимую точку с тем же результатом. Да, у него была бы возлюбленная, которую он любил бы, быть может, даже боготворил бы, которую он мог бы посещать в те минуты, когда его душа полна силы и страсти, но у него не было бы жены, которая бы пришла к нему в кабинет и позвала его обедать, у него не было бы супруги, которая бы уничтожила досадную точку одним дуновением своих уст.

Вообще женщина обладает природным талантом и удивительным даром объяснять все земные, конечные явления и загадки с неподражаемой виртуозностью. Когда был создан мужчина, он очутился господином и царем природы, все неисчислимы богатства и сокровища которой ждали одного мановения его руки, но он не знал, что делать с ними и на что ему все это. Он видел

все земное своим телесным взором, но его духовный взор как бы подымал его над всем этим, и оно исчезало для него; ему стоило, казалось, сделать один шаг, и он оставил бы все земное далеко позади себя. И вот он стоял посреди ликующей природы такой растерянный, задумчивый и, несмотря на всю внушительность своей фигуры, комичный: как ни улыбнуться при виде богача, не знающего, что делать со своим богатством? С другой стороны, его положение можно было назвать даже трагическим, так как он не видел из него никакого исхода. Но вот была создана женщина. Она ничуть не затруднилась вопросом, что ей нужно и можно было делать, она сразу знала, за что ей взяться, и без всяких проволочек, подготовок и приготовлений немедленно приступила к делу. Это было первое утешение, ниспосланное человеку. Она приблизилась к мужчине, детски-радостная, детски-невинная, прелестная и трогательная; она приблизилась с единственной целью утешить его, облегчить его душевное томление и тоску, причины которых она не понимала и уничтожить которые и не считала себя в силах; она хотела только помочь ему скоротать тяжелый срок земного испытания. И что же? Ее непритязательное утешение стало для мужчины величайшей радостью в жизни, ее невинное умение коротать время скрасило ему жизнь, ее детская игра придала его жизни глубочайший смысл. Женщина понимает все земное, начиная с глубочайших причин и кончая мелочами, поэтому она так и прелестна, поэтому-то каждая женщина прелестна, поэтому-то она так очаровательна, как ни один мужчина, так счастлива, как не может и не должен быть ни один мужчина, поэтому-то она находится в такой гармонии со всем бытием, в какой никогда не находится мужчина. Можно сказать, таким образом, что ее жизнь счастливее жизни мужчины: умение удовлетворяться земным, конечным бытием, может сделать человека счастливым, стремление к бесконечному — нико-

гда. Можно сказать также, что она является существом более совершенным, нежели мужчина: уметь объяснить хоть что-нибудь — все больше, нежели уметь только гоняться за объяснениями. Женщина объясняет и отвечает на все вопросы, касающиеся земного, конечного существования, мужчина только гоняется за ответами на вопросы о бесконечном. Так оно и должно быть, и у каждого из них есть свои печали и горести: женщина рождает в болезнях детей, мужчина страдает, рождая идеи. Но женщина не знает страха сомнений и мук отчаяния, выпадающих на долю мужчины, не потому, что совсем чужда идей, а потому, что получает их, так сказать, из вторых рук. И вот именно потому, что женщина объясняет таким образом значение всего земного, конечного, она играет в жизни мужчины важнейшую роль, исполненную глубочайшего значения, но не внешнего, а внутреннего, как роль корня, который прячется в тиши и глубине земли. Вот почему я так и ненавижу все эти безобразные речи об эмансипации женщины. Боже избави нас от осуществления этой нелепости. Не могу сказать тебе, с какой болью я останавливаюсь на мысли о возможности ее, не могу высказать, с каким страстным озлоблением, с какой ненавистью отношусь к дерзким ее проповедникам. К величайшему моему утешению эти умники не «мудры, как змии», но в большинстве случаев круглые дураки, пустая болтовня которых не может принести серьезного вреда. ... Да, если бы змий мог ввести дочь Евы в новое искушение, мог возбудить в ней желание испробовать вкусный на вид, но отравленный внутри плод эмансипации, если бы зараза эта распространилась дальше и коснулась, наконец, моей жены — моей любви, моей радости, моего утешения и прибежища, корня моей жизни, — тогда мое мужество было бы сломлено вконец, свободная сила и страсть души уничтожены, смяты, и мне оставалось бы только воссесть посреди площади и плакать, — плакать без конца, как

плакал тот художник, любимое творение которого обезобразили настолько, что он не мог даже вспомнить, что же оно изображало.

Но нет, этого не должно, не может быть, — сколько бы ни старались дурно направленные умы и глупые люди, не имеющие никакого представления о том, что значит быть мужчиной, о его преимуществах и недостатках и никакого понятия о совершенстве, кажущейся такой несовершенною женщины! Найдется ли хоть одна женщина, которая была бы настолько ограничена, тщеславна и пуста, чтобы поверить в возможность стать более совершенным существом, если она постарается возможно ближе подойти к типу мужчины, исказив свой собственный; возможно ли, чтобы нашлась такая, которая бы не поняла, насколько она, напротив, проиграет, если поддастся искушению? ... Ни один обольститель не подготавливает более глубокого падения женщины, чем эти проповедники эмансипации, — стоит женщине хоть чуть поддаться их убеждениям и она — вполне в их власти, она не может уже быть для мужчины ничем, кроме добычи его страстей, — тогда как прежде могла быть для него всем. Эти проповедники и сами не знают, что творят; не умея быть истинными мужчинами и вместо того, чтобы научиться этому, они стараются испортить и женщин... — оставаясь какими-то полулюдьми сами, они хотят обратить в таких же уродов и женщин.

Но пора нам вернуться к моему герою. Как сказано, он вполне заслужил свой титул; тем не менее я предпочту в будущем называть его другим, более дорогим для меня именем — моим другом. Я назову его своим другом вполне искренне и, в то же время, еще с большим удовольствием назову себя его другом. Видишь, жизнь снабдила его даже таким «предметом роскоши», как друг! Ты, может быть, думал, что я обойду дружбу молчанием, не стану выяснять ее этического значения, ты по-

лагаешь, пожалуй, что дружба и не имеет никакого этического значения, сиречь не входит в область моего рассуждения, посвященного вопросам этики. Тебя может также удивить то обстоятельство, что я только теперь завожу речь о дружбе, тогда как дружба — первая мечта юности, и никогда душа так не жаждет дружбы, как именно в первую лучшую пору юности; по-твоему, мне, конечно, следовало бы начать речь о дружбе пораньше, прежде, чем «мой друг» успел связать себя священными узами брака. Я мог бы в свою очередь ответить тебе, что обстоятельства жизни сложились для моего друга вообще несколько необычно, и что ему до сих пор еще не приходилось испытывать такого влечения к другому человеку, которое бы можно было назвать дружбой. Затем я мог бы прибавить, что это обстоятельство как нельзя больше мне на руку, так как я намерен был заговорить о дружбе лишь под конец, далеко не признавая за ней такого этического значения, как за браком. Подобный ответ мог бы, однако, показаться тебе неудовлетворительным: можно ведь возразить, что подобное стечение обстоятельств в жизни моего друга — простая случайность и вовсе не может считаться обязательным или вообще нормальным. Поэтому я считаю своим долгом дать по этому поводу более подробное объяснение. Ты сам — «наблюдатель» и поэтому согласишься, конечно, со справедливостью моего вывода; мой же вывод таков, что индивидуальное различие людей особенно резко сказывается в том, когда именно они начинают чувствовать потребность в дружбе — в период ранней юности или в более зрелый возраст. Более поверхностные натуры не особенно затрудняются «познанием самих себя», скоро находят или обретают свое «я» и сразу же пускают его в обращение как ходячую монету; обращение это и есть дружба. Натурам более глубоким, не так-то легко обрести свое «я»; пока же они не обретут его, они не могут и желать; чтобы кто-нибудь предложил им дружбу, на

которую им еще нечем ответить. Подобные натуры, с одной стороны, слишком углублены в самих себя, с другой стороны, являются слишком внимательными наблюдателями, чтобы быть еще способными на дружбу. Поэтому и мой друг не проявил ничего ненормального или предосудительного, если до сих пор не чувствовал потребности в друге. Теперь он женат, и вопрос усложняется; могут ведь спросить: нормально ли, что влечение к дружбе не предшествует, а только сопровождает брак? Прибегнем опять к нашим наблюдениям. С тем, кто ищет дружбы в слишком раннем возрасте, нередко случается, что он, познав радости любви, находит дружбу слишком бледной и несовершенной связью, порывает ее и отдается исключительно любви. С тем, кто слишком рано вкусил сладости любви, бывает наоборот: купив благодаря своему легкомыслию опыт слишком дорогою ценою, изверившись в прочности и собственных и женских чувств, он становится несправедливым к прекрасному полу, отказывается от любви и выбирает одну дружбу.

Оба эти примера следует считать отступлениями от общечеловеческой нормы, и мой друг не принадлежит ни к первой, ни ко второй из упомянутых категорий: он не испытал юношеского влечения к дружбе прежде, чем узнал любовь, но и не вкусил слишком рано незрелых, а потому вредных плодов последней. В настоящей своей любви он нашел самое полное и самое глубокое удовлетворение, но именно потому, что он теперь, так сказать, абсолютно успокоился в любви, для него и явилась возможность испытать иные отношения, которые также могут иметь для него в своем роде прекрасное и глубокое значение.

И вот, научившись, именно благодаря браку, сознавать, как прекрасно иметь друга или друзей, он ни на минуту и не колеблется признать за дружбой ее истинное этическое значение. Опыт жизни и без того значительно ослабил его веру в справедливость воззрений эс-

тетиков, брак же стер и последние следы этой веры. Он не чувствует более поползновения идти с завязанными глазами за эстетиками, но прямо обращается к этику, который и учит его, что и на дружбу следует смотреть исключительно с этической точки зрения, — иначе она теряет всякое значение.

Не будь мой друг так верно настроен, я бы в наказание отправил его к тебе, и, слушая твою запутанную речь, он наверное сбился бы с толку. Ты относишься к дружбе, как и ко многому другому: твоей душе до такой степени недостает этической сосредоточенности, что от тебя вполне возможно услышать два совершенно противоположных отзыва об одной и той же вещи. Твои отзывы, таким образом, как нельзя больше подтверждают справедливость того положения, что сентиментальность и бессердечие одно и то же. Если послушать твои речи, когда ты, под влиянием известного настроения, с увлечением называешь дружбу божественно прекрасным духовным союзом юных, родственных между собой душ, можно, пожалуй, испугаться за тебя: как бы такая сентиментальность не погубила твоей молодой жизни! В другое время тебя по твоим речам можно принять за старого практика, изведавшего всю пустоту и бессодержательность жизни по опыту. «Друг, — говоришь ты, — вещь довольно загадочная; он, как туман, виден лишь на расстоянии: только после того, как тебя постигнет несчастье, ты узнаешь, что у тебя был друг». Легко видеть, что в основе последнего суждения о дружбе лежит совершенно иное воззрение, нежели в основе первого. В первом случае ты имел в виду интеллектуальную дружбу, духовное влечение друг к другу, сродство взглядов, убеждений, идей; теперь ты имеешь в виду дружбу практическую, взаимопомощь в минуты житейских невзгод. Как то, так и другое воззрение основано на истине, но если нельзя найти для них общей точки соглашения, то остается только придти к твоему же заключительному вы-

воду, извлекаемому тобою отчасти из каждого упомянутого воззрения в отдельности, отчасти из них обоих вместе, т. е. из их взаимного внутреннего разлада; вывод этот: дружба — вздор.

Абсолютное условие дружбы — в единстве мировоззрения. Обладая таким мировоззрением, человеку не нужно основывать дружбу на смутных влечениях и необъяснимых чувствах или симпатиях, а вследствие этого ему и не грозит опасность таких нелепых перемен, благодаря которым сегодня у него есть друг, завтра нет. Нельзя, конечно, вполне отрицать значение необъяснимых симпатий, — одно сродство идей или солидарность мировоззрений не обуславливает еще дружбы, но и основывать ее исключительно на каких-то загадочных симпатиях тоже нельзя. Истинная дружба всегда сознательна, чем и отличается от пустой мечтательности.

Итак, неизменным условием истинной дружбы является единство, цельность мировоззрения, — притом мировоззрения положительного, а не отрицательного характера. Такого рода положительное воззрение и соединяет меня с моим новым другом, почему мы и можем смотреть друг на друга совершенно серьезно, а не со сдержанным смехом, как древние авгуры, которых роднило между собой отрицательное отношение к религии и жизни. Ты, наверное, хорошо понимаешь, что именно хочу я сказать этим, так как твоя любимая мечта — «найти родственную душу, с которой можно было бы смеяться надо всем». По-твоему, «жизнь тем и страшна, что мало кто постигает все ее ничтожество; если же и находятся такие, из них опять-таки редкий настолько сумеет поддержать в себе хорошее расположение духа, чтобы смеяться надо всем». Ты, впрочем, не особенно горюешь и о том, что мечта твоя не сбывается: «смеяться над ничтожеством жизни должен, собственно говоря, один, который и является истинным пессимистом; найдись же таких много, это послужило бы явным доказа-

тельством того, что мир еще не окончательно опустел или стал негодным». С этого пункта мысль твоя летит уже без удержа. Ты утверждаешь, что «и насмешка — лишь неполное и несовершенное выражение настоящего издевательства над жизнью, которое должно в сущности выразиться в полной серьезности. Самым совершенным издевательством над миром была бы проповедь глубочайшей нравственной истины не мечтателем, а скептиком, в чем и нет ничего невозможного: никто лучше скептика не сумел изложить положительных основ такой истины, беда только, что он сам не верит в нравственность и истину. Будь такой скептик лицемером, его издевательство обратилось бы против него самого; будь он скептиком-мучеником, который сам, может быть, более всех желал бы верить в свою проповедь, издевательство его было бы объективным или самоиздевательством самого мира: скептик этот проповедовал бы ведь учение, которое могло бы дать объяснение всему, послужить к успокоению и умиротворению умов всего человечества, но было бы бессильно просветить ум своего собственного создателя. Ну, а вот если б нашелся человек, у которого хватило бы ума как раз настолько, чтобы скрыть свое сумасшествие, он свел бы с ума и весь мир!» Разумеется, человеку с подобным мировоззрением мудро найти себе родственную дружескую душу! Или, может быть, ты — член мистического общества *Συμπαρανεχρωμενοι**? Может быть, ты и тебе подобные составляете особый союз друзей, взаимно считающих друг друга как раз настолько умными, чтобы уметь скрыть свое сумасшествие?!

... В Греции жил мудрец, которому была присвоена особая честь считаться одним из семерых мудрецов, если бы их было четырнадцать. Если не ошибаюсь, его звали Мисон. У одного из древних писателей мы находим следующее краткое сообщение о нем: «О Мисоне

* Умершие вместе (греч.). Эд.: «соучастники в смерти».

рассказывают, что он был мизантропом и смеялся наедине с самим собою. Если же кто-нибудь спрашивал, что именно причиною его смеха, он отвечал: “Именно то, что я один”». Как видишь, у тебя есть предшественник, и ты напрасно будешь добиваться чести попасть в число семи мудрецов, хотя бы их было даже двадцать один, – Мисон вечно будет стоять у тебя на дороге. Это, впрочем, не так еще важно, но ты и сам, вероятно, поймешь теперь, что тому, кто смеется наедине, невозможно иметь друга, ибо последний будет думать, что первый постоянно желает избавиться от его присутствия, чтобы иметь возможность смеяться над ним за глаза. Вот почему разве черт один может быть твоим другом. Я почти готов просить тебя принять мои слова в буквальном смысле, — о черте ведь тоже говорят, что он смеется наедине с самим собою. Подобное отчуждение от мира кажется мне просто отчаянием, и я без ужаса подумать не могу, что человек, проживший такую жизнь на земле, окажется таким же одиноким и в ином мире.

Повторяю, дружба требует от друзей положительного мировоззрения, но последнее немыслимо без этической основы. Правда, довольно часто встречаешь в наше время «людей с системой», которые, однако, лишены всякого этического чувства; но зато у них нет никакого мировоззрения, создавай они себе хоть целую сотню систем. Появление таких людей в наше время, когда все понятия вообще так спутаны, легко объяснить тем, что человека посвящают в великие тайны жизни: прежде, чем в малые. Этическая основа мировоззрения является, таким образом, исходной точкой для дружбы, и только с этой точки зрения дружба имеет значение и носит в себе красоту. < ... >

Если же рассматривать дружбу как связь, вызываемую необъяснимой, бессознательной, взаимной симпатией, то самым полным выражением ее явится привязанность двух попугаев—неразлучников, которые даже не пе-

реживают друг друга. Подобные отношения прекрасны лишь в природе, но не в духовном мире. Дружба людей должна основываться на солидарности мировоззрений и не может поэтому уничтожиться даже со смертью: умерший друг будет по-прежнему жить в сердце другого, как светлый и идеальный образ. Стоит же нарушиться этой солидарности еще при жизни, и дружба уничтожается, несмотря ни на что. Тот, кто смотрит на дружбу с этической точки зрения, смотрит на нее поэтому как на долг. На этом основании я мог бы сказать, что долг каждого человека — иметь друга. Тем не менее, я предпочту другое выражение, которое яснее указывает на этическое значение как дружбы, так и всех других отношений, о которых была речь в предыдущем, а также ярче оттеняет разницу между этическим и эстетическим отношением к жизни: «Долг каждого человека иметь открытую душу». Писание учит нас, что каждый должен умереть и предстать на суд, где откроются не только все его дела, но и все помыслы. Этика же учит, что все значение действительной жизни сводится к тому, чтобы человек всегда был готов раскрыть свою душу перед всем миром; если же он будет жить иначе, грядущее разоблачение сокровенного будет для него истинной карой. Эстетик не хочет признать этого требования, относится к действительной жизни с каким-то презрением и вечно играет с людьми в прятки или в загадки. Но такое отношение к жизни влечет за собою возмездие, — человек становится наконец загадкой и для себя самого, в погоне за объяснением которой и погибает. Вот почему также все мистики, отвергающие упомянутое требование этика, встречаются в жизни с соблазнами и затруднениями, неизвестными другим людям: мистики ведь отвергают требования и смысл действительной жизни, им открывается какой-то другой мир, и они живут как бы раздвоенной жизнью; но тому, кто уклоняется от борьбы с явлениями действительной жизни, предстоит бороться с призраками.

* .

На этом собственно я и должен кончить. Я отнюдь не имел в виду выступить в роли учителя нравственности, я хотел только выяснить, каким образом этическое начало не только не лишает жизнь какого-либо оттенка красоты, но, напротив, придает ей истинную и совершенную красоту. Этическое начало сообщает жизни человека внутренний мир, устойчивость и уверенность, так как человек постоянно слышит внутри себя его голос: *quos petis, hic est**; этическое начало спасает душу от расслабляющей ее бесплодной мечтательности и делает ее здоровой и сильной, учит человека не придавать чересчур много значения случайным явлениям жизни и чересчур верить в счастье, учит человека радоваться и в счастье (эстетик не может даже этого: счастье для него лишь нечто бесконечно относительное) и в несчастье.

Смотри на все, написанное мною, как на безделицу, как на примечания к детскому учебнику Балле, — это ничуть не изменит самого дела, не отнимет у этого письма его значения, которого, надеюсь, ты не станешь отрицать. Или, может быть, тебе покажется, что я присвоил себе в этом случае не принадлежащие мне права и неуместно примешал к делу свое общественное положение, выступив, по обыкновению, как судья, а не в качестве заинтересованной в споре стороны? Я охотно отказываюсь от всяких притязаний, я даже не считаю себя по отношению к тебе противной стороной: соглашаясь, что ты вполне можешь явиться уполномоченным представителем эстетики, я далек от мысли считать себя таковым же со стороны этики. Я вообще не более, как свидетель, и, говоря о значении моего письма, имею в виду лишь то значение, какое придается всякому свидетельскому показанию, а тем более показанию человека, говорящего на основании личного опыта. Итак, я свидетель, и вот тебе мое показание *in optima forma*.

* Вот оно, чего ты ищешь (лат.).

Я занимаю должность судьи и исполняю все, входящие в круг моей должности, обязанности, я доволен своим призванием, верю, что оно соответствует моим способностям и всему складу моей личности; знаю, что оно требует от меня приложения всех моих сил. Работая над собою, стараясь совершенствоваться в исполнении своего дела, я чувствую, что совершенствуюсь в то же время и сам по себе лично. Я люблю свою жену и счастлив в семейной жизни; колыбельная песня, которую напевает моя жена, звучит в моих ушах мелодичнее всякой арии, хотя я и не думаю считать свою жену певицей; я не зажимаю ушей от криков моей малютки, радостно слежу за развитием старшего сына и весело и бодро смотрю в его будущее, не волнуясь от напрасного нетерпения, сознавая, что впереди еще много времени, что долго еще мне ждать, и находя известные радости в самом ожидании. Дело мое имеет значение для меня самого, и смею думать, что оно не лишено его и в глазах других людей, хотя и не в состоянии измерить этого значения. Меня радует то, что личная жизнь других людей имеет для меня значение, и желаю и надеюсь, что моя в свою очередь имеет значение для тех, с кем я схожусь в воззрениях на жизнь. Я люблю свою родину и не могу представить себе, чтобы я мог чувствовать себя вполне хорошо и жить полною жизнью в чужой стране. Я люблю родной язык, — он выпускает на волю мою мысль; я нахожу, что он дает мне возможность высказывать все, что только я вообще имею сказать. Жизнь получает таким образом в моих глазах столько значения, что я чувствую себя вполне удовлетворенным ею. При всем том я живу еще иною высшей жизнью, и когда я ощущаю ее влияние в моей земной и семейной жизни, тогда я чувствую себя на вершине счастья, тогда творческие силы человеческого духа сливаются для меня с высшей благодатью. Итак, я люблю жизнь, я нахожу ее прекрасной и надеюсь, что меня ожидает в будущем жизнь еще более прекрасная...

Вот тебе мое свидетельское показание. Если бы я вообще мог призадуматься над тем, давать ли мне его, то единственно из сожаления к тебе, из боязни, не слишком ли больно будет тебе слышать о том, что жизнь может быть такою прекрасною, при такой внутренней пустоте? Выслушай, однако, мое показание, — нужды нет, если тебе и в самом деле будет больно слушать его: в нем ты можешь также обрести утешение, — оно обладает одним ценным качеством, которого, к сожалению, недостает твоей жизни, — правдивостью, и ты вполне можешь положиться на него.

В последнее время мне часто случалось говорить о тебе с моей женой. Она очень благоволит к тебе, что, впрочем, и неудивительно и о чем мне, пожалуй, не было нужды и говорить тебе: ты не только мастер нравиться, если захочешь, но и мастерски подмечаешь, удалось ли тебе это. Что до меня, то я вполне сочувствую этому благоволению, — мою ревность не так-то легко возбудить, да и, говоря правду, ревность была бы с моей стороны совсем не простительным чувством, не потому, что я, как, может быть, думаешь ты, слишком горд для этого и предпочитаю немедленно «отплатить тою же монетой», т. е. заставить ревновать себя, но потому, что моя жена слишком мила для этого. Я и не боюсь за нее. Да, уж в этом-то отношении я осмелюсь сказать, что самому Скрибу пришлось бы отчаяться в возможности «опозитизировать» наш прозаический брак. Я, конечно, не отрицаю, что Скриб — сильный талант, но не стану также отрицать и того, что он злоупотребляет своими дарованиями. Разве он не старается внушить молодым женам, что верная, положительная супружеская любовь не в силах внести в жизнь никакой поэзии, что брачная жизнь была бы прямо нестерпимой, если не позволять себе рассчитывать на маленькие интрижки на стороне? Разве он не доказывает, что грешки прелюбодеяния ничуть не мешают женщине оставаться по-прежнему милой и очаро-

вательной? Разве он не дает понять, что только случайность может открыть эти тайные грешки женщины, и что поэтому каждая женщина вполне может рассчитывать скрыть все следы, — стоит ей только заpastись лукавством героинь самого Скриба? Разве не старается он всевозможными способами напугать женатых людей, указывая им на самых добродетельных с виду женщин, на которых не могло, по-видимому, лежать ни единого пятнышка подозрения и которые тем не менее грешили втихомолку? Разве он не доказывает всю тщетность и бесполезность «самых верных» средств и способов охраны семейного счастья, не доказывает мужьям неразумности безграничного доверия к женатым?... И несмотря на все это, Скрибу угодно еще изображать всех мужей какими-то тяжелыми сонными жвачными животными, несовершенными существами, которые сами виноваты в грехах своих жен. Или, может быть, Скриб так скромн, что не дерзает и предположить, будто кто-нибудь может извлечь из его пьес какое-нибудь поучение? В противном случае он должен ведь предвидеть, что каждый женатый человек скоро придет к тому заключению, что его положение отнюдь не из приятных и легких, что его жизнь беспокойнее и тревожнее жизни любого полицейского сыщика, и что ему, следовательно, остается только принять к сведению средства утешения, предлагаемые Скрибом, поискать в свою очередь развлечений на стороне и признать, что брак существует для того лишь, чтобы отнять у интимнейших отношений обеих сторон оттенок скучной добродетели и сделать их пикантными.

Оставим, однако, Скриба в покое; воевать с ним не мое дело. Не могу, впрочем, не думать с некоторой гордостью, что я, маленький незначительный человек, превращаю своим браком знаменитого писателя Скриба в лжеца. Может быть, правда, моя гордость только «гордость нищего», может быть она лишь доказательство того, что я человек обыкновенный, натура самая непоэтическая...

Итак, моя жена очень любит тебя, — и я тем более склонен разделять ее чувство, что оно, как я знаю, основывается отчасти на ее знании и понимании твоих слабостей. Она отлично видит, что одним из главных твоих недостатков является до известной степени недостаток в твоей натуре женственности: ты слишком горд, чтобы уметь отдаваться кому или чему бы то ни было. Эта гордость отнюдь не вводит мою жену в искушение, потому что, по ее мнению, истинное влечение и состоит именно в умении отдаваться. Потому-то, несмотря на все благоволение моей жены к тебе, мне часто приходится защищать тебя против нее.

Ты, пожалуй, не веришь? — Повторю, что это так. Она утверждает, что ты в своей гордости пренебрегаешь людьми, а я пытаюсь объяснить ей, что если ты и пренебрегаешь людьми, то не в обыкновенном, конечном смысле, а в ином, высшем, и что только беспокойное стремление души твоей к бесконечному заставляет тебя быть несправедливым к людям. В моем супружестве тоже не обходится, следовательно, без споров, и главной причиной их являешься именно ты. С таким положением дела можно еще, впрочем, помириться, и я от души желаю, чтобы тебе никогда не пришлось стать причиной более серьезных столкновений какой-либо супружеской четы. Ты, однако, можешь сам разрешить наш спор с женой. Не думай, что я собираюсь вторгнуться в сокровенные уголки твоей души, я хочу только предложить тебе один вопрос, на который ты, по-моему, свободно можешь ответить: скажи мне раз и навсегда откровенно: действительно ли ты смеешься, когда остаешься один на один с самим собою? Ты понимаешь, что я хочу сказать, понимаешь, что вопрос не в том, смеешься ты иногда или даже часто, когда ты остаешься один, но в том, находишь ли ты удовольствие в этом горьком одиноком смехе? — Если нет, то я выиграл и сумею убедить в этом и мою жену.

Я не знаю наверное, действительно ли ты посвящаешь время уединения одному смеху, но скажу, что это казалось бы мне более чем странным: хотя развитие твоей жизни и совершается в таком направлении, что ты можешь чувствовать влечение к уединению, но, как я смею предполагать, не с намерением смеяться. И все же даже самое поверхностное наблюдение над твоей жизнью показывает, что она рассчитана не по обыкновенному масштабу. Ты, по-видимому, отнюдь не удовлетворяешься избитой колеей жизни, но скорее стремишься проложить свои собственные тропинки. Известное влечение ко всему необыкновенному, чудесному еще легко можно простить молодому человеку, но совсем иначе следует отнестись к делу, если влечение это принимает преобладающий характер, если молодой человек относится к необыкновенному как к чему-то нормальному и действительному. Такому заблудшему надо непременно крикнуть: *respice finem** и объяснить, что слово *finis* означает не смерть (труднейшая задача, поставленная человеку, не смерть ведь, но жизнь), что для всякого наступает минута, когда он должен начать жить серьезно, что поэтому в высшей степени опасно для человека разбрасываться так в мечтах, — жизнь не даст ему даже времени опомниться и сосредоточиться в себе как следует, так что подгоняемый ею он впопыхах упустит из виду многое и в конце концов вместо того, чтобы сделаться необыкновенным человеком, сделается просто дефектным экземпляром человека. < ... >

Порядка ряда я выскажу здесь кстати свое воззрение на необыкновенного человека. Истинно необыкновенным человеком является истинно обыкновенный человек. Чем более живым воплощением общечеловеческого является в своей жизни человек, тем более он заслуживает имени необыкновенного человека; чем же больше

* Заглядывай в конец (лат)

уклоняется он от общечеловеческого, тем более можно считать его несовершенным, — он хоть, пожалуй, и будет необыкновенным человеком, но в дурном смысле.

А если и в самом деле человек, приступая к осуществлению поставленной ему, как и всякому другому, задачи — выразить своей индивидуальной жизнью общечеловеческое встречает затруднения, если ему покажется, что это общее заключает в себе какое-нибудь такое требование, которого он не в силах исполнить своей жизнью, что же ему остается делать? — Если в его мозгу мелькает блуждающим огоньком высокомерное эстетическое воззрение на жизнь, отводящее первое место в ней исключениям, то он обрадуется этому обстоятельству, сразу почувствует свое превосходство в качестве такого исключения или человека необыкновенного и ребячески возгордится этим, подобно соловью, у которого в крыле выросло красное перо, какого нет у других соловьев. Но если душа его облагорожена любовью к общечеловеческому, если он любит жизнь и бытие, как он поступит тогда?

Прежде всего он постарается хорошенько вдуматься в данное обстоятельство, проверить, сколько в нем истины, и таким путем узнает, что человек сам бывает иногда виноват в своем несовершенстве (в невозможности осуществить общечеловеческое), что несовершенство это является плодом его собственной трусости и лени, которые помогают ему примириться с несовершенством, превращая общее в частное или относясь к нему лишь как к абстрактной возможности. Между тем общее ведь и не существует само по себе, а лежит в самом человеке, в энергии его сознания, и от человека самого зависит, видеть в частном общее или только частное. Ввиду всего этого такой человек, может быть, пожелает проверить свое несовершенство на опыте. Он ведь понимает, что если и опыт его окончится неудачей, то истина выразится тем ярче. Если, однако, он имеет при этом в виду ща-

дить себя, стараясь выбирать попытки полегче, ему лучше и не начинать никаких попыток, за которые приходится иногда платиться слишком дорого. Не желая обманывать самого себя, он начнет поэтому свои опыты с того, что превратит частное в общее, будет видеть в нем нечто большее, нежели простое проявление случая, будет видеть в нем проявление общего, придаст частному значение общего. Так, замечая, что попытка его осуществить упомянутое требование общечеловеческого все-таки не удастся, он постарается заставить себя смотреть на дело так, что будет ощущать боль, причиняемую ему только неудачею достигнуть, посредством исполнения этого частного требования, общего, а не самого частного. Он будет и вообще ревниво следить за собой, не допускать в этом отношении никакой путаницы или недоразумения, не позволять себе никогда огорчаться ничем частным: удары, наносимые частным, слишком легки, чтобы воистину любящий и уважающий себя человек мог предпочесть их; такой человек должен слишком серьезно любить общее, чтобы предпочесть ему частное из желания выйти из борьбы с жизнью целым и невредимым. Но в то же время он остережется и насмеяться над бессильным воздействием частного, постарается не смотреть на дело легкомысленно, хотя частное, если смотреть на него только, как на частное, отчасти и побуждает к этому. Поступая же так, как сказано, он может смело идти навстречу ударам и толчкам жизни, — если сознание его и будет потрясено ими, оно все-таки никогда не поколеблется.

Случись теперь, что то требование общего, которого ему не удалось осуществить, было именно тем, к чему он чувствовал наибольшее влечение, он, — если только он обладает мужественным и великодушным сердцем — в известном смысле даже порадуется этому и скажет: «Я боролся при самых неблагоприятных условиях, я боролся против власти частного, я потерял в этой борьбе то,

что было для меня дороже всего и наконец в довершение всего превратил частное в общее. Правда, все это только усиливает тяжесть моего положения, но в то же время и подкрепляет мое сознание, придавая ему энергию и ясность». После такого опыта человек считает себя уже свободным от волнения упомянутого требования общечеловеческого, но ни на минуту не усомнится в значении сделанного им шага, – он ведь сам способствовал грандиозности и бесповоротности своего поражения, так как знал свою слабую сторону и сам нанес себе удар, которого не в силах было нанести ему частное, если бы он смотрел на него как на частное.

Итак, он убедился, что не может выполнить всех требований, которые предъявляет к нему общечеловеческое, что есть одно, которое ему не под силу, но не считает, что может теперь махнуть на это дело рукой, – сознание собственного несовершенства порождает в его душе глубокую печаль. Он будет радоваться счастьем тех, кому выпало на долю осуществить не доступное ему требование общего, он, может быть, лучше их самих будет понимать, как прекрасна их жизнь, но за себя самого он все-таки будет печалиться, не трусливо и малодушно, но глубоко и искренно, говоря: «Я все-таки люблю общее, и, если на долю других выпало счастье свидетельствовать о нем полным его осуществлением, я свидетельствую о нем своей печалью, и чем она глубже, тем более значения в моем свидетельстве». Печаль его, следовательно, прекрасна — она выражение, проявление общечеловеческого в душе, она приобщает его к общечеловеческому.

Но и здесь еще не конец душевным испытаниям такого человека, чувствующего, что он взял на себя гяжелую ответственность... Он постоянно будет повторять себе, что, отказавшись в силу невозможности осуществить данное требование общечеловеческого, он поставил себя вне общего, лишил себя всякого руководства,

опоры, успокоения — всего, что дает человеку принадлежность к общему и очутился одиноким, — исключением, лишенным чьего-либо сочувствия... Но подобное сознание не сделает его трусливым или унылым, он твердо и бодро пойдет своей одинокой дорогой, — он ведь доказал свою правоту своей печалью. У него не будет никаких сомнений относительно своего поступка, он всегда может выяснить свою правоту, во всякое время дня и ночи, его не смутит, не собьет с толку никакой шум, никакое временное затмение ума. Он постоянно будет ощущать тяжесть выпавшего на его долю испытания; общее — строгий наставник для того, кто уклоняется от выполнения его требований, оно постоянно стоит над ним с мечом Дамокла и грозно спрашивает: «Почему ты хочешь быть вне меня?»... И хотя человек отвечает, что он не виноват в этом, общее все-таки считает его виновным и продолжает неумолимо настаивать на своем требовании.

Да, не раз и не два придется человеку вновь и вновь проверить себя, вновь и вновь убедиться в своей правоте и затем уже только продолжать свой путь не оглядываясь, почерпая успокоение в завоеванном столь дорогою ценой убеждении, которое он выразит приблизительно следующими словами: «В конце концов я верю в существование Высшего Непогрешимого Разума и надеюсь на Его милосердие и справедливость ко мне. Ничего вообще нет ужасного в том, что человек должен понести кару за содеянную им неправду; было бы, напротив, куда ужаснее, если бы он мог совершить неправду безнаказанно: ничего нет ужасного и в том, что человек может в страхе и трепете очнуться от своего заблуждения, было бы, напротив, ужасно, если бы он так очерствел в своем заблуждении, что совсем не смог очнуться»...

Так вот через какое чистилище должен пройти необыкновенный человек, и вот почему людям не следо-

вало бы так завидовать ему и стремиться быть необыкновенными людьми; им бы следовало знать, что положение необыкновенного человека включает нечто совершенно иное, нежели одно капризное удовлетворение своего произвольного тщеславия.

Тому, кто с болью убедился в том, что он — человек необыкновенный и благодаря своей печали вновь приобщился к общему, — тому, может быть, придется испытать лишь ту радость, что именно то самое обстоятельство, которое причинило ему боль и умалило его в его собственных глазах, поможет ему вновь воспрянуть духом и стать необыкновенным человеком в лучшем смысле этого слова. Потеряв в отношении широты общего кругозора, он зато выиграет в искренности и сосредоточенности своего воззрения на жизнь. — Нельзя ведь назвать необыкновенным человеком каждого, кто с грехом пополам выражает своей жизнью общечеловеческое, — это равнялось бы возвеличению всего тривиального; прежде всего нужно спросить: какое участие принимает в этом его личность, как велика интенсивность внутренних сил его души. Вот такой интенсивностью и будет обладать упомянутый выше человек по отношению к выполнению доступных ему требований общечеловеческого. Поэтому печаль его мало-помалу исчезнет, и в душе восстановится гармония: он поймет, что совершил все, что было в пределах его индивидуальной возможности. Ему хорошо известно, что каждый человек развивается свободно, но знает также, что человек не создает себя самого из ничего, а берет свое конкретное «я» как готовую личную задачу. Он понимает затем, что в известном смысле каждый человек является исключением, сознает, что о каждом можно сказать с одинаковой справедливостью, что он в одно и то же время изображает собою и общечеловеческое и исключение, и это-то осознание окончательно примиряет его с жизнью и своей ролью в ней.

Вот тебе мой взгляд на необыкновенного человека. Я слишком искренно и глубоко люблю жизнь, люблю в самом себе человека, чтобы считать путь к достижению положения необыкновенного человека легким или свободным от искушений. Повторяю поэтому, что истинно необыкновенный человек в лучшем смысле этого слова, все-таки должен всегда согласиться, что наивысшее совершенство — в полном олицетворении собою общечеловеческого, в восприятии в себя всего общего.

Так прими же мой привет и уверение в моей дружбе. Хотя наши отношения, собственно, еще и нельзя назвать дружбой в истинном смысле этого слова, я употребляю его в надежде, что мой юный друг когда-нибудь возмужает и даст мне возможность стать его другом на деле. Будь же уверен в моем неизменном участии к тебе. Прими привет и от той, которую я так люблю и чьи мысли скрываются в моих мыслях; прими как наш общий привет, так и отдельный привет от нее, ее обычный ласковый, сердечный привет!

Ты был у нас всего несколько дней тому назад, но, вероятно, и не подозревал, что я опять готовлю тебе такое обширное послание. Я знаю, что ты не любишь затрагивать свою внутреннюю жизнь в разговорах, потому и предпочел написать тебе и потому же никогда не заговорю с тобой об этом письме, — пусть оно останется между нами. Но я желал бы, чтобы оно не заставило тебя изменить своих отношений ко мне или к моему семейству. Я знаю, что ты прекрасно умеешь скрывать все, что пожелаешь, и прошу тебя в этом случае за нас обоих. Я никогда не хотел вторгаться в твою внутреннюю жизнь и прекрасно могу любить тебя по-прежнему на расстоянии, хотя мы и часто видимся. Ты слишком замкнутая натура, чтобы я мог надеяться подействовать на тебя разговорами, на письма же возлагаю серьезные

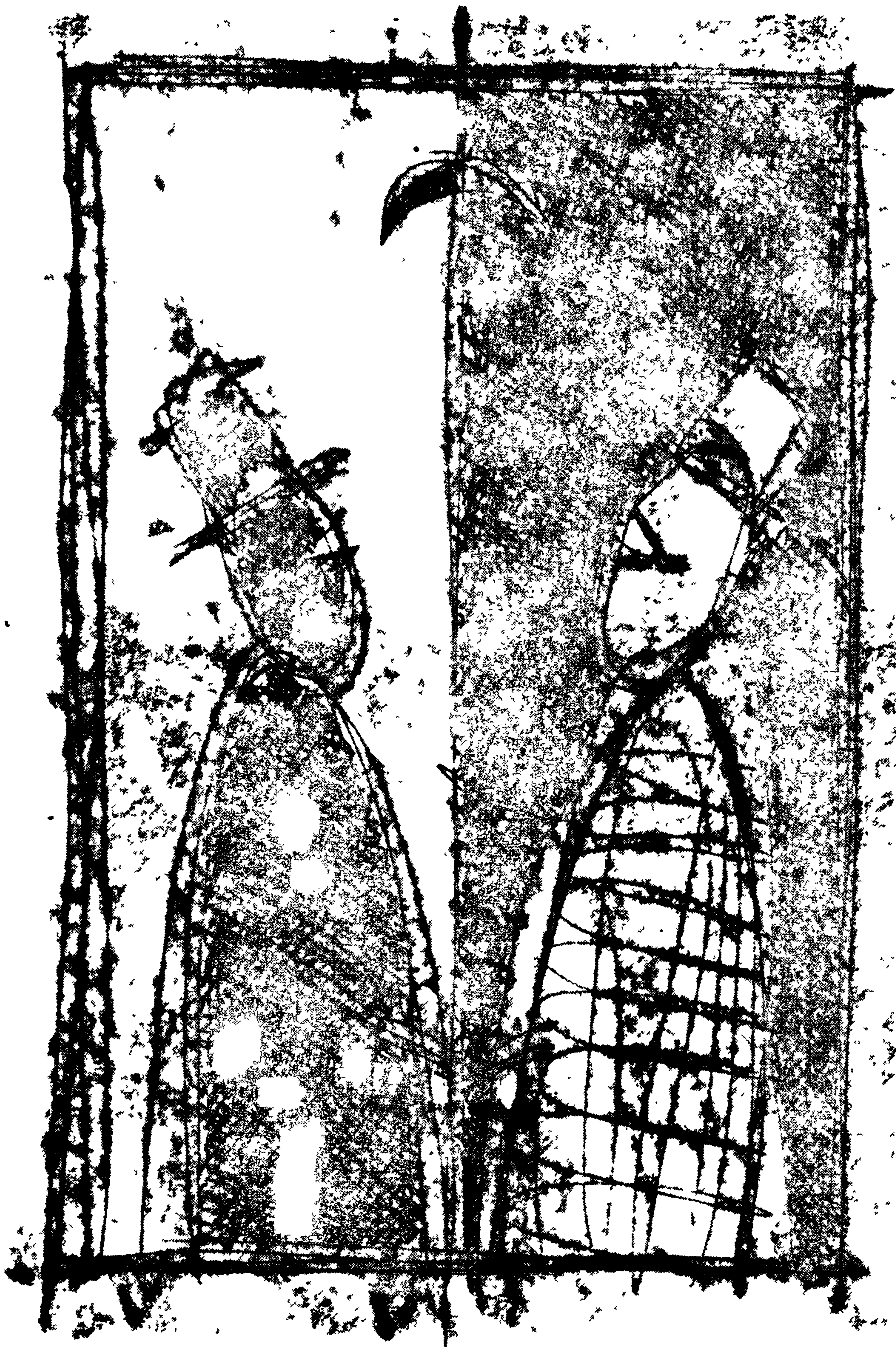
надежды, — они не пропадут бесследно, заставят тебя, может быть, приняться за внутреннюю, скрытую от глаз посторонних работу, за разработку своей личности, я же буду довольствоваться сознанием, что и я участвую в этом деле своей тайною лептою.

*

Итак, наши письменные сношения остаются тайной, почему я и соблюдаю все формальности — желаю тебе всего хорошего, как будто мы живем за тридевять земель друг от друга, хотя и надеюсь видеть тебя своим гостем так же часто, как и до сих пор.



приложения



Лев Шестов

КИРКЕГАРД — РЕЛИГИОЗНЫЙ ФИЛОСОФ*

До последнего времени Сёрен Киркегард был совсем неизвестен во Франции: даже в литературных и философских кругах о нем ничего не знали. Сейчас же интерес к нему и во Франции сильно возрос: многие из его книг уже переведены на французский язык, в философских и общелитературных журналах о нем появилось немало статей, его идеи все больше и больше привлекают к себе внимание французских образованных людей. Но все-таки до настоящего времени найдется еще немало людей во Франции, которые едва ли слышали его имя. А меж тем, в других странах влияние Киркегарда на философскую и богословскую мысль огромно. В особенности в Германии, где Киркегарда «открыли» еще в конце прошлого столетия. Знаменитый теолог Карл Барт весь вышел из Киркегарда. В значительной степени можно сказать то же и о более выдающихся современных философах Германии — Ясперсе и Гейдеггере: посредственно или непосредственно, их мысль держится в орбите идей Киркегарда. Литература о Киркегарде в Германии разрослась безмерно: его изучают, как изучают классиков. Но скажу теперь же: Киркегард один из самых сложных и трудных мыслителей. Тру-

* 5 лекций прочитанны по-французски в *Radio-Paris* осенью 1937 г. и опубликованы в следующих журналах: по-французски: *Lees Chairs de Radio-Paris*, 15-12-37; по-русски: *Русские Записки*, № 3, 1938.

ден он, главным образом, необычной и совершенно непривычной для нашего мышления манерой ставить философские вопросы. Сложность его тоже своеобразна: главным образом смущает и запутывает читателя то, что он сам называет «непрямым высказываниями»: самые дорогие свои мысли он в такой же мере показывает, как и скрывает, и от читателя требуется огромное напряжение всех его душевных сил, крайняя сосредоточенность внимания, чтобы разыскать под часто умышленно противоречивыми и запутанными утверждениями то, чем жил и за что всю жизнь боролся Киркегард. Свою философию он назвал экзистенциальной — это значит: он мыслил, чтобы жить, а не жил, чтобы мыслить. И в этом его отличие от профессиональных философов, для которых их философия является просто «специальностью», такой же, какой бывают всякие другие специальности — филология, астрономия, математика, — специальностью, не имеющей никакого отношения и никакой связи с их жизнью. Это однако не значит, что жизнь Киркегарда богата внешними, всем видными и для всех интересными событиями. Наоборот, к событиям, ознаменовавшим эпоху, в которую он жил, он никакого отношения не имел. В его книгах, как и его многочисленных дневниках вы не встретите даже упоминания о революции 48 года, хотя ему в эту пору было уже 35 лет, и она совпала с разгаром его литературной деятельности. Киркегард как бы жил вне истории или, если угодно, — и для понимания Киркегарда это имеет огромное значение — у него была своя собственная история, безразличная для всех, но давшая ему совершенно необычайный материал для мышления.

I

Сёрен Киркегард родился 5 мая 1813 года в Копенгагене, от второго брака его отца, Михаила Киркегарда, с его бывшей служанкой Анной Лунд. Теперь же отмечу, что этот брак был несколько поспешным: Михаилу Киркегарду нужно было, как говорят, покрыть грех. Это обстоятельство сыграло большую роль в истории духовного развития сына, который еще в ранней юности узнал, что строгий и набожный отец его вскоре

после смерти первой жены, поддался искушению. Но еще большее значение для Киркегарда имел другой факт из жизни его отца. Когда [Михаилу] Киркегарду было всего одиннадцать лет, он был отдан родителями, очень бедными крестьянами, на работу к пастухам, тоже очень бедным людям, которые сами жили в очень трудных условиях и всячески эксплуатировали отданного в их полное распоряжение ребенка. И вот, в один ненастный, холодный, дождливый осенний день, когда ему пришлось голодному, полуодетому, замученному непосильной работой, с раннего утра пасти овец в одной из суровых и неприютных долин Ютландии, несчастный мальчик пришел в отчаяние и, взбежавши на холм, проклял Бога. Старик Киркегард до смерти (он умер 82 лет) не мог этого забыть: он видел в этом преступление против Св. Духа и бесконечно мучился этим, считая себя осужденным на вечную гибель. И не только себя — все свое потомство. Он не умел или не хотел скрыть этого от своих детей, и юный Сёрен уже знал, что он обременен тяжелым наследственным грехом. Таким образом, два события, происшедших задолго до появления на свет Сёрена Киркегарда, оказались решающими в его жизни. Надо думать, что здесь кроется разгадка того исключительного по своей решимости и сосредоточенности напряжения, с которым экзистенциальная философия трактует заброшенную всеми библейскую тему первородного греха и падения человека.

Воспитание Киркегарда вначале было, конечно, всецело в руках отца и носило строго религиозный характер. Но все же он был отдан в школу, которую окончил в 1830 году, и потом поступил в университет для изучения теологии. Пока жил его отец, занятия Сёрена в университете, к великому огорчению старика, шли плохо: сына отвлекали от теологии другие интересы — он много бывал в обществе, посещал театр и т. д. — вел, как выражаются, рассеяную жизнь и всем близким казалось, что он никогда не добьется университетского диплома. Когда умер в 1838 году — в возрасте 82 лет — отец, никто уже и не сомневался, что Сёрен не сдаст экзамены. Но, вопреки общему мнению, он уже в 1840 году сдал экзамен с отличием и, кроме того, незадолго до экзаменов получил диплом *magister artium*. Но хотя он обладал всеми нужными учеными степе-

нями — и, между прочим, степенью кандидата теологии (соответствующего немецкому доктору теологии), — он ни разу не занимал должности пастора, ни какой-либо иной должности, на которую его диплом давал ему право — до смерти оставался «частным» человеком или, как он сам выражался, «частным мыслителем». В год окончания университета произошла его помолвка с молодой девушкой — Региной Ольсен, которой было всего 17 лет и которую он знал с детства. Но через год — 10 октября 1841 года, он, без всякого повода, порвал с невестой — к великому негодованию как его близких, так и близких его невесты и всего Копенгагена. Копенгаген сто лет тому назад был большой деревней: все обыватели знали дела всех обывателей, и ни на чем не основанный разрыв Киркегарда с невестой сделал его притчей во языцех в городе. Регина Ольсен была потрясена неслыханно; она не понимала и не могла понять, чем был вызван неожиданный поступок Киркегарда. Но еще больше был потрясен и раздавлен своим поступком Киркегард. Его разрыв с невестой — для всех нас факт второстепенный, ничтожного значения — приобрел для него размеры великого исторического события. И не будет преувеличением, если мы скажем, что характер его философии определился именно тем, что по воле судьбы ему пришлось такой незначительный факт испытать как историческое событие — как «землетрясение», выражаясь его собственными словами. Что заставило его порвать с Региной Ольсен? И в дневниках своих, и в книгах он непрерывно говорит от своего имени, и от имени вымышленных лиц о человеке, которому пришлось порвать со своей возлюбленной — но он же постоянно строжайше возбраняет будущим читателям его допытываться истинной причины, которая принудила его сделать то, что для него (равно, как и для невесты) было труднее и мучительнее всего. Больше того, он не раз говорит, что в своих писаниях он сделал все, чтоб сбить с толку любопытствующих. И тем не менее, надо сказать, что он вместе с тем сделал все, чтобы его тайна не ушла с ним в могилу. В своих книгах и в дневниках он повторяет: «если б у меня была вера, я бы никогда не покинул Регины Ольсен». Слова загадочные: какое отношение может иметь вера, как мы все привыкли понимать это слово, к тому, жениться или не жениться? А меж тем сказывается

великая правда и великое прозрение Киркегарда. Об этом мы подробнее будем говорить, когда будет излагаться религиозная философия его. Пока скажу, что литературная деятельность Киркегарда началась — если не считать его кандидатской диссертации (она называется «Что такое ирония?») — с разрыва его с невестой, т. е. с 1841 года, когда ему было 27 лет. Книги, большие и малые, статьи, назидательные речи, дневники следуют друг за другом с изумительной быстротой — в 15 лет, которые ему осталось жить (он умер 11 ноября 1855 г.), написанное им составило 28 томов — 14 [томов] сочинений, 14 — дневников. Первая его книга называется «Все или ничего», и уже одно заглавие свидетельствует о том направлении, какое приняла мысль Киркегарда. Столь же характерно и название его второй книги: «Страх и Трепет» и приложенного к ней полубеллетристического, полуфилофского произведения — «Повторение». В первой речь идет о жертве Авраама, во второй — о книге Иова. Через 9 лет после появления «Страх и Трепета» он сам напишет в дневнике своем: «Ужас должен охватить человека пред мрачным пафосом, проникающим эту книгу». То, что он говорит о «Страхе и Трепете», можно сказать обо всех его сочинениях, обо всем, что он писал. И в книге «Что такое страх», и в «Болезни к смерти», и в «Упражнениях в христианстве», и в его речах «Жало в плоть», «Какая разница между апостолом и пророком», «В праве ли человек ради истины отдать себя на растерзание», равно как и в тех книгах, которые своим заглавием не выдают своего содержания, как «Этапы жизненного пути», «Философские крохи» и т. д. — во всем что он писал, чувствуется тот неслыханно мрачный и тяжелый пафос, который сам Киркегард отметил в «Страхе и Трепете». То же нужно сказать и о дневниках его. И чем старше он становится, тем грознее и ужаснее становится его пафос. Соответственно этому и в писаниях его все больше и больше нарастает вызов современности. Он борется сразу на два фронта: с одной стороны, с умозрительной философией, с ее представителем — Гегелем, который в его время был властителем дум в Европе, с другой стороны — с церковью и духовенством, со всем «христианским миром», который, как он писал, «убил Христа». Особенно резки и безудержны были его последние выступления в небольшом журнале, заполнявшемся им самим и называв-

шемся «Мгновение». Он открыто заявлял, что духовенство и все те, которые принадлежат к церкви, предают Христа и что тот, кто хочет быть христианином, обязан выйти из церкви. К тому же времени относится и его статья о епископе Мюнстере, много лет подряд возглавлявшем датскую церковь. Мюнстер был духовником отца Киркегарда, он один только умел вносить некоторый мир в душу измученного неизбывными воспоминаниями о своих тяжких грехах старика. Мюнстер был, в сущности, и воспитателем самого Сёрена, которого он знал с раннего детства и который никогда не пропускал ни одной его воскресной проповеди. Вся Дания считала его своим духовным вождем и благоговела перед ним. Пока Мюнстер жил — Киркегард не задевал его. Но когда 30 января 1854 года Мюнстер умер и его зять, профессор Мартензен, известный ученый и философ (гегелианец), в надгробной речи назвал его «свидетелем истины», — Киркегарда прорвало и он написал и опубликовал статью «Был ли епископ Мюнстер свидетелем истины?», в которой с резкостью, даже для него самого исключительной, настаивал на том, что Мартензен не вправе был говорить того, что он сказал, что Мюнстер не был свидетелем истины. Эта статья, как и его статьи о церкви, вызвала, конечно, всеобщее негодование и возмущение.

Но самому Киркегарду оставалось уже недолго жить. — 2 октября 1855 года он упал — от истощения сил — на улице, его перенесли в госпиталь, где он и скончался через два месяца. При жизни своей Киркегард пользовался известностью в Дании, но за границей его совсем не знали. Однако и в Дании ему приходилось печатать свои сочинения за свой счет, и хотя расходы по печатанию и окупались продажей книг, но доходов его книги ему не давали. Он мог существовать только благодаря оставленному ему отцом небольшому состоянию. Но так как он не хотел держать свои деньги в процентных бумагах, считая, что, согласно Библии, взимать проценты — грех, то к его смерти почти все его средства пришли к концу: осталась только небольшая сумма, которой едва хватило на скромные похороны.

II

Прежде чем перейти к изложению философии Киркегарда, важно отметить, что он был очень начитанным и всесторонне образованным человеком. В оставшейся после него библиотеке, которая заключала в себе около 2.200 томов — наряду с сочинениями греческих философов (в оригинале), средневековых мистиков, отцов церкви, новейших немецких философов (у него было полное собрание сочинений Гегеля и почти все, что древние писали о Сократе), мы находим многочисленные сочинения католических теологов, теософические сочинения Якова Беме, Сведенборга и Баадера, а вместе с тем огромное количество книг по литературе — Шекспир, Байрон, Шелли, Гете и немецкие романтики и т. д. Я упоминаю об этом, главным образом, затем, чтобы предупредить, что обычные соображения, накопленные в течение веков здравым смыслом и человеческой мудростью, были Киркегарду так же известны, как и тем, кто не хочет следовать за ним и предпочитает идти по широкой, протоптанной дороге мысли. Если все-таки он пошел по иному пути, то не потому, что не был достаточно осведомленным человеком или не понимал того, что побуждает людей думать так, как думают все. Он все знал и все понимал — знал лучше и понимал глубже, чем другие. И тем не менее, или, вернее, именно потому он пошел своим, столь необычным и столь чуждым для всех путем. Платон (устами своего несравненного учителя Сократа) возвестил миру: «нет большего несчастья для человека, как сделаться мисологосом, т. е. ненавистником разума». Также Платон, а вслед за ним и Аристотель учили: начало философии есть удивление. Если бы нужно было в нескольких словах формулировать самые заветные мысли Киркегарда, пришлось бы сказать: самое большое несчастье человека — это безусловное доверие к разуму и разумному мышлению, начало же философии есть не удивление, как полагали древние, а отчаяние. Во всех своих произведениях он на тысячи ладов повторяет: задача философии в том, чтоб вырваться из власти разумного мышления и найти в себе смелость (только отчаяние и дает человеку такую смелость) искать истину в том, что все привыкли считать парадоксом и абсурдом. Там, где по свидетельству нашего

опыта и разумения, кончаются все возможности, где, по нашему пониманию, мы упираемся в стену абсолютно невозможного, где со всей очевидностью выясняется, что нет никакого исхода, что все навсегда кончено, что человеку нечего уже делать и не о чем думать и остается только глядеть и холодеть, где люди прекращают и должны прекратить всякие попытки исканий и борьбы, там только, по мнению Киркегарда, начинается истинная и подлинная борьба — и в этой борьбе задача философии.

*Aimes-tu les damnés, connais-tu l'irrémissible?** — со всех страниц Киркегарда глядит на нас этот страшный вопрос Бодлера. Киркегард преклонялся перед Сократом. «Вне христианства, — писал он последние годы своей жизни в дневнике, — Сократ единственный в своем роде». Но что может сказать нам, что может сказать самому себе мудрейший из людей пред лицом непреодолимого, пред лицом преданных на вечное осуждение людей! Сократ научил думать Платона и всех нас, что разум может выручить человека из всякой беды и что ненависть к разуму есть величайшее несчастье. Но пред непреодолимым — разум бессилен и, не желая признаваться в своем бессилии, он призывает к покорности, на которой строит свою этику, присвоившую себе право и власть предавать людей на вечную гибель. Оттого и Паскаль уже так вызывающе говорил о нашем бессильном разуме и жалкой морали. Это и толкнуло его на столь ошеломляющее и потрясающее решение — отречься от разума и всего того, что разум, возомнивший себя высшим жизненным началом, дает человеку. Отсюда и его *je n'approuve que ceux qui cherchent en gémissant*** — в противоположность всеми признанными методам разыскания истины, которые нам представляются как бы предвечно сросшимися с самой природой мышления. Мы ценим только объективное, бесстрастное искание. Истина, по нашему неискоренимому убеждению, дается только тому, кто, забывши и себя и ближних, и весь мир, вперед изъявляет свою готовность принять все, что она принесет с собою. В этом смысл завета Спинозы: *non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere*: не смеяться, не плакать, не проклипать, а понимать. Дано ли нам выбирать

* Любишь ли ты проклятых, знакомо ли тебе то, что не заслуживает прощения? (франц.).

** Я лишь с теми, кто ищет, стеная (франц.).

между Спинозой и Паскалем? Можно ли допустить, что страстное *chercher en gémissant** Паскаля в большей степени обеспечит нам истину? Или даже что бесстрастное «понимание» по рукам и ногам связывает человека, парализует его мысль и навсегда отрезывает его от последней истины, от того, что в Писании называется «единым на потребу»? История уже давно ответила на этот вопрос. Паскалевское *s'abêtir*** , как и его *chercher en gémissant*, сданы нами в кунсткамеру, где хранятся редкие и по-своему любопытные, но никому не нужные вещи. Нами владеет объективная истина, с которой не смеют спорить и пред которой преклоняются даже верующие люди. Но можно ли считать приговор истории последним и окончательным?

Я напомнил о Паскале в надежде, что через Паскаля легче будет подойти к Киркегарду. В небольшой, но замечательной по искренности, глубине и силе выражения философской повести «Повторение», которая приложена к его книге «Страх и Трепет», Киркегард пишет: «вместо того, чтобы (в трудную минуту) обратиться за помощью ко всемирно знаменитому философу, к *professor'у publicus ordinarius* (т. е. к Гегелю), мой друг (Киркегард почти всегда, когда ему нужно выразить свои задушевные мысли, говорит от третьего лица) ищет прибежища у частного мыслителя, который знал сперва все, что было лучшего в жизни и которому пришлось потом из жизни уйти — к библейскому Иову... Иов, сидя на пепле и скребя черепками струпья на своем теле, бросает беглые замечания, почти намеки. И здесь мой друг думает найти, что нужно. Здесь истина выразится убедительнее, чем в греческом симпозионе» (т. е. у Сократа, Платона и всех великих философов, которые до и после Платона и Аристотеля создавали и формировали эллинскую мысль). Противопоставление Иова — Гегелю и Платону, т. е. всей древней и новой философии — это величайший вызов всей нашей культуре, но в этом заветная мысль Киркегарда, проходящая через все его произведения. Отсюда и вытекло то, что он называет *экзистенциальной* философией, долженствующей, по учению Киркегарда, придти на смену философии умозрительной или спекулятивной. «Трудности умозрения, — поясняет он в своем дневнике, — растут по мере того,

* Искать, стелая (франц.)

** Глупеть (франц.)

как приходится экзистенциально осуществлять то, о чем спекулируют. Но в общем в философии (и у Гегеля и у других) дело обстоит так же, как и у всех людей в жизни: в своем повседневном существовании они пользуются совсем другими категориями, чем те, которые они выдвигают в своих умозрительных построениях, и утешаются совсем не тем, что они так торжественно возвещают».

Спекулятивная философия и спекулятивные философы, которых Киркегард всегда насмешливо называет спекулянтами, оторвали человеческую мысль от корней бытия. Гегель уверенно, точно его устами говорит сама истина, заявляет в своей логике: «Когда я мыслю, я отрекаюсь от всех своих субъективных особенностей, углубляюсь в самую вещь, и я дурно мыслю, если прибавлю хоть что-нибудь от самого себя». Не только Гегелю, всем нам так представляется, все мы убеждены, что условием постижения истины является готовность человека отречься от самых значительных, самых жизненных интересов своих и принять все, что открывается ему его умным зрением, его разумом, как бы оно ни было ужасно и отвратительно. «В философии, — читаем мы у того же Гегеля, — религия получает свое оправдание. Мышление есть абсолютный судья, перед которым содержание религии должно оправдать и объяснить себя». И тут Гегель опять-таки говорит не от своего имени, он только дает выражение тому, что думали все люди («всемство», как говорил Достоевский). Если религиозная истина не может оправдаться перед разумом, который сам не имеет нужды ни пред кем оправдываться, — она этим самым обличает свою несостоятельность и обрекает себя на смерть. Киркегард и сам прошел через Гегеля: в молодости он, как и все почти его сверстники, был всецело в его власти. Свое внутреннее противление философии Гегеля он долго истолковывал, как «неспособность понять великого человека», и с ужасом в душе рассказывал об этом «позоре и несчастье своем». При этом он ясно давал себе отчет, что за Гегелем стоит греческий симпозион, и, в последнем счете, ему придется начать борьбу не только с Гегелем, но восстать против Платона, Аристотеля, против самого Сократа. Иначе говоря, поднять вопрос о непогрешимости человеческого разума. Правы ли были греки, правы ли современные философы, — усматривая в разу-

ме единственный источник истины? Прав ли был Гегель, возвестивший, что все действительное разумно и все разумное действительно и, что против действительного — как бы страшно оно ни было — негде и не у кого, а, стало быть, и не нужно искать защиты, что его можно и должно принять таким, какое оно есть? Гегель, отвечает Киркегард, «обоготворил действительность» и видел в этом свою заслугу и свою силу, на самом же деле тут сказалась его слабость, вялость его духовного существа. У Гегеля не возникло даже сомнения в правильности его приемов разыскания истины, как не возникают они у подавляющего большинства людей. «Люди, — пишет Киркегард, — как это само собой собою разумеется, не понимают истинно страшного», закрывают на него глаза и «берут жизнь такой, какая она есть, как ее все понимают и принимают». Но можно ли назвать такое отношение к жизни философией? Есть ли это мышление? Не наоборот ли? Не значит ли, что человек, отвернувшийся от жизненных ужасов — будь то прославленный *professor publicus ordinarius* или рядовой обыватель — что такой человек отказался и от философии и от мышления? «Человеческая трусость, — заявляет Киркегард, — не может вынести того, что нам имеют поведать безумие и смерть». Оттого он покидает признанного всеми Гегеля и идет «к частному, — как он выражается, — мыслителю», — к библейскому Иову. Идет не затем, чтоб в качестве постороннего наблюдателя любоваться великолепными вспышками гнева многострадального старца или наслаждаться несравненными образами одной из «наиболее, — как он говорил, — человеческих книг Св. Писания». На это способен был и Гегель — да кто уже только ни восхищался книгой Иова! Киркегард, который в противоположность «всемству», нашел или принужден был найти в себе мужество, чтобы прислушаться к тому, что нам рассказывает безумие и смерть, идет к Иову, как к мыслителю, идет за истиной, от которой отгородился Гегель, укрывшись в оазисе своей философской системы. Гегель не хочет, не может услышать ни Киркегарда, ни Иова: их устами говорят безумие и смерть, которым не дано оправдаться перед разумом. Людям, выброшенным из жизни, нет места в «системе» Гегеля, умозрительная философия отворачивается от них, забывает об их существовании. Киркегард взывает: «Что за сила, которая отняла у

меня мою честь и мою гордость, да еще так бессмысленно? Неужели я нахожусь вне покровительства законов?». Но разве Гегель может хоть на минуту усомниться в том, что отдельный человек находится вне покровительства законов? Для умозрительной философии совершенно самоочевидно, что отдельный человек, т. е. существо, возникшее во времени, должно во времени иметь и конец, и что законы вовсе не затем установлены, чтоб оберегать столь преходящее существование. И сила о которой говорит Киркегард, отнюдь не есть сила бессмысленная, а осмысленная, разумная, ибо, как и мы сейчас слышали, все действительное — разумно. Задача же и обязанность, даже назначение человека — и Киркегард не вправе требовать для себя никаких привилегий — в том, чтоб постичь эту великую, навеки неизменную истину, с мудрым спокойствием принять ее и покориться своей судьбе. Это было известно и друзьям Иова, которые сделали все возможное, чтобы своими речами помочь ему подняться на должную нравственную высоту. Но чем больше и пламеннее говорили его друзья, тем больше распалялся Иов. Такое же действие производило на Киркегарда чтение произведений Гегеля. Долго не решался он восстать против прославленного учителя и властителя дум его собственной юности. «Только дошедший до отчаяния ужас, — пишет Киркегард в своем дневнике, — пробуждает в человеке его высшее существо». Иов тоже только тогда, когда открывшийся ему ужас человеческого существования превзошел всякое воображение, отважился вступить в великую и последнюю борьбу с самоочевидностями.

III

Последнюю главу я закончил словами Киркегарда, которые никогда при чтении его произведений не следует забывать — если хочешь проникнуть в существо его философии: «только дошедший до отчаяния ужас пробуждает в человеке его высшее существо». Оттого книга Иова, самая человеческая, по мнению Киркегарда, книга из всей Библии, так неудержимо влекла его к себе. Оттого он принял неслыханное по дерзновению и для нас ни с чем несообразное решение проти-

вопоставить Иова-мыслителя Гегелю и греческому симпозиону. Иов ведь тоже только тогда, когда постигшие его ужасы и несчастья превзошли всякое воображение, решился бросить вызов всем нашим непререкаемым истинам. Вот как рассказывает об этом в своем «Повторении» Киркегард. «Не тогда проявляется величие Иова, когда он говорит: Бог дал, Бог взял. Он так говорил вначале, но потом больше этого не повторял». «Величие Иова в том, что пафос его свободы нельзя разрядить льстивыми посулами и обещаниями». «Иов доказывает широту своего мирозерцания той непоколебимостью, которую он противопоставляет коварным ухищрениям и подходам этики». Все, что Киркегард говорит об Иове, можно сказать и о нем самом. А вот заключение, в котором Киркегард заявляет: «Иов благословен. Ему вернули все, что у него было, и даже вдвойне. И это называется повторением... Когда оно наступает? Когда оно наступило для Иова? — Когда всяческая мыслимая для человека несомненность и вероятность говорит о невозможности». И этому повторению, по глубокому убеждению Киркегарда, «суждено сыграть важную роль в новой философии, новая философия будет учить, что — вся жизнь есть повторение». Новая философия, т. е. философия экзистенциальная. Начинается эта философия тогда, когда всякая мыслимая для человека возможность и вероятность говорит о полной безысходности, т. е. о конце, и когда философия умозрительная умолкает. Для Гегеля, для участников греческого симпозиона тут нечего делать — нечего ни начинать, ни продолжать. Они не хотят и не смеют противиться указаниям и велениям разума. Они целиком во власти убеждения, что разуму и только разуму, дано определять границы возможного и невозможного. Они не смеют даже и вопроса себе поставить о том, откуда пришла к ним эта непоколебимая уверенность во всевластности разума. Это им кажется равносильным готовности поставить на место разума нелепость и бессмыслицу. Можно решиться на такой шаг? Может человек пожертвовать своим разумом? Забыть предостережение божественного Платона, что величайшее несчастье, какое может приключиться с человеком — это если он станет мисологосом, т. е. ненавистником разума? Но разве тут дело идет о жертве? Оказывается, что Платон не все предусмотрел. Разум точно нужен, очень

нужен нам. В обыкновенных условиях нашего существования он помогает нам справиться с трудностями и даже с очень большими трудностями, встречающимися на нашем жизненном пути. Но бывает так, что разум приносит человеку величайшие беды, что из благодетеля и освободителя он превращается в тюремщика и палача. Отречься от него вовсе и не значит пожертвовать чем-либо. Тут может быть лишь один вопрос: как сбросить с себя эту ненавистную власть? И даже того больше: человек совсем перестает спрашивать, словно чуя, что уже в самих вопрошаниях скрывается уступка безмерным притязаниям открываемых нам разумом истин. Иов не спрашивает: он кричит, плачет, проклиная (не Иова ли имел в виду Паскаль, когда говорил: *je n'approuve que ceux qui cherchent en gémissant?*), словом неистовствует, и назидательные речи пришедших его утешать друзей вызывают в нем припадки бешенства. Он видит в них лишь выражение человеческого равнодушия и человеческой трусости, которые не могут вынести вида выпавших на его долю ужасов и прикрывают свое предательство высокими словами морали и мудрости. Разум «бесстрастно» свидетельствует о конце всяких возможностей, этика всегда по пятам следующая за разумом, приходит со своими патетическими увещаниями и назидательными речами о том, что человек обязан покорно и кротко нести свой жребий, как бы страшен он ни был. У Киркегарда, как у Иова, один ответ на это: надо убить, надо уничтожить отвратительное чудовище, которое узурпировало себе право от имени разума выносить приговоры живому человеку и от имени морали требовать от него, чтобы он считал вынесенные приговоры навеки нерушимыми и святыми. «О, мой незабвенный благодетель, — пишет Киркегард, — многострадальный Иов, можно ли мне придти к тебе не за тем, чтобы предать тебя или проливать над тобой притворные слезы? У меня не было твоих богатств, не было семерых сыновей и трех дочерей... Но и тот может все потерять, кто обладает немногим, и тот может все потерять, кто теряет возлюбленную, и тот оказывается покрытым гнойниками и струпьями, кто потерял свою честь и свою гордость, и с этим — силу и смысл жизни».

Уже по этим поневоле беглым замечаниям и по приведенным кратким отрывкам из «Повторения», можно отчасти до-

гадаться, какую огромную и важную задачу поставил себе никому при жизни неизвестный датский магистр теологии. От прославленного философа Гегеля, от знаменитых мудрецов древнего и нового времени, он ушел к частному мыслителю Иову, от ученых трактатов — к Св. Писанию. Паскалевская *chercher en gémissant* противопоставляется как метод разыскания истины тем методам, которыми пользовались до сих пор лучшие представители философского мышления. «Вопли Иова» не являются, как нас всех приучили думать, только воплями, т. е. бесцельными, бессмысленными, не для кого не нужными и для всех докучными криками. Для Киркегарда в этих воплях открывается новое измерение мышления, он чувствует в них действительную силу, от которой, как от иерихонских труб, должны валиться крепостные стены. Это основной мотив экзистенциальной философии. Киркегард не хуже других знает, что для философии умозрительной, как и для здравого смысла, философия экзистенциальная есть величайшая нелепость. Но это не останавливает, это вдохновляет его. В мышлении открывается как бы новое измерение. На весах Иова скорбь человеческая оказывается тяжелее, чем песок морской, и стоны погибающих опровергают очевидности. Когда всякая мыслимая для человека несомненность и вероятность говорит о невозможности, тогда начинается новая, уже не разумная, а безумная борьба о возможности невозможного. Эта борьба и есть то, что Киркегард называет экзистенциальной философией — философией, ищущей истины не у Разума с его ограниченными возможностями, а у не знающего границ Абсурда.

От Иова путь Киркегарда идет к тому, кто в Писании называется отцом веры — к Аврааму и его страшной жертве. Вся книга «Страх и Трепет» — самое заглавие которой взято из 2-го псалма, посвящена Аврааму. Уже с Иовом было трудно, очень трудно: каких усилий стоило Киркегарду его решимость противопоставить слезы и проклятия Иова спокойному и трезвому мышлению Гегеля! Но от Авраама потребовалось больше, много больше, чем от Иова. Иову его беды были посланы внешней силой, Авраам сам заносил нож над своим сыном. От Иова люди бегут, и даже этика, чувствуя свое бессилие помочь ему, незаметно от него отстраняется. От Авраама же люди не бежать должны, а ополчиться против него: Авра-

ам — величайший преступник но вместе с тем и несчастнейший из людей: он теряет сына, надежду и опору старости, и вместе с тем, как Киркегард, свою честь и гордость.

Кто такой этот таинственный Авраам и что это за загадочная книга, в которой дело Авраама не заклеено позорным именем, как бы это следовало сделать, а возвеличено и прославлено в поучение и назидание потомству? Киркегард бесстрашно заявляет: «Авраам своим поступком переходит границы этического. Его *telos* (греческое слово, значащее цель) лежит выше, вне этического. Озираясь на эту цель, он отстраняет этическое». Как мог осмелиться Аврам, как смеет кто бы то ни было посметь отстранять этическое? «Когда я думаю об Аврааме, — пишет Киркегард, — я как бы совершенно уничтожаюсь. Каждое мгновение я вижу, какой неслыханный парадокс составляет содержание жизни Авраама, каждое мгновение что-то отталкивает меня от него, и мысль моя, при все ее напряжении, в парадокс проникнуть не может». И дальше он прибавляет: «я могу вдуматься и понять героя, в Авраама же моя мысль проникнуть не может. Как только я пытаюсь подняться на его высоту, я сейчас падаю так как то, что мне открывается, является парадоксом. Но я оттого не понижаю значения веры, наоборот: для меня вера есть высшее, что дано человеку, и я считаю нечестным, что философия ставит на место веры что-то другое». И, наконец: «я глядел в глаза страшному и не боялся, не дрожал. Но я знаю, что, если я даже противостою мужественно страшному, мое мужество не есть мужество веры, но есть сравнительно с последним ничто. Я не могу осуществить движение веры: я не могу закрыть глаза и без оглядки броситься в бездну Абсурда».

Соответственно этому он все силы направляет против нашей этики и того, что мы называем объективной истиной. «Если этическое есть высшее, — пишет он, — то Авраам погиб». С другой стороны: «суеверие приписывает объективности власть головы Медузы, превращающей субъективность в камень». В объективности умозрительной философии он видит ее основной порок. «Люди, — пишет он, — стали слишком объективными, чтобы обрести вечное блаженство: вечное блаженство состоит в страстной, бесконечной, личной заинтересованности. И от этого отказываются, чтоб стать объективными:

объективность выкрадывает из души и ее страсть и ее бесконечную личную заинтересованность. И такая бесконечная заинтересованность есть начало веры». «Если я от всего отрекаюсь (как того требует умозрительная философия, которая, выявляя конечность и преходящность всего, что нам дает жизнь, мнит таким образом освободить человеческий дух), — пишет Киркегард по поводу жертвы Авраама, — это еще не вера, это только покорность. Это движение я делаю собственными силами. И если я этого не делаю, то лишь из трусости или по слабости. Но веруя, я не от чего не отрекаюсь. Наоборот, через веру я все приобретаю: если у кого есть вера с горчичное зерно он может сдвигать горы. Нужно чисто человеческое мужество, чтобы отречься от конечного ради вечного. Но нужно парадоксальное и смиренное мужество веры, чтобы в силу Абсурда владеть всем конечным. Это и есть мужество веры. Вера не отняла у Авраама его Исаака. Через веру он его получил». Можно было бы привести сколь угодно цитат из Киркегарда, в которых выражается та же мысль. «Рыцарь веры, — заявляет он, — настоящий счастливец, владеющий всем конечным». Киркегард превосходно видит, что такого рода утверждения являются вызовом всему, что нам подсказывает наше естественное мышление. Оттого он ищет покровительства не у разума с его всеобщими и необходимыми суждениями, к которым так страстно стремится умозрительная философия, а у Абсурда, т. е. у веры, которую разум наш квалифицирует, как Абсурд. Он знает по своему собственному опыту что «верить против разума есть мученичество». Но только такая вера, которая не ищет и не может найти у разума оправдания, есть по Киркегарду, вера Св. Писания. Она лишь дает человеку надежду преодолеть ту жестокую необходимость, которая через разум вошла в мир и стала в нем господствовать. Когда Гегель превращает Истину Писания, истину Откровения в истину метафизическую, когда вместо того, чтоб сказать, что Бог принял образ человека или что человек был создан по образу и подобию Божию, он возвещает, что «основная идея абсолютной религии — единство человеческой и божественной природы», он убивает веру. Смысл этих гегелевских слов тот же, что и смысл слов Спинозы: «Бог действует только по законам природы и никем не принуждает».

ся». И содержание человеческой абсолютной религии сводится опять же к положению Спинозы: вещи не могли никаким иным способом и ни в каком ином порядке быть созданы Богом, чем они были созданы. Спекулятивная философия не может существовать без идеи Необходимости: она ей нужна, как воздух человеку, как рыбе — вода. Оттого истины опыта, как выразился Кант, так раздражают наш разум. Они твердят о свободном, божественном *fiat* и не дают настоящего, т. е. нудящего, принуждающего знания. Но для Киркегарда принуждающее знание есть мерзость запустения, есть источник первородного греха, через свое «будете, как боги, знающими» искушитель привел к падению человека.

IV

Мы говорили о вере Авраама. Авраам решился на дело, потрясающее человеческое воображение: занес нож над единственным сыном, над своей надеждой, над отрадой старости. Нужны, конечно, огромные силы для этого: недаром и сам Киркегард сказал, что Авраам отстранил этическое. Авраам верил. Во что он верил? «Даже в то мгновение, — пишет Киркегард, — когда нож блеснул в его руках, Авраам верил, что Бог не потребует от него Исаака. Пойдем дальше. Допустим, что он действительно заклал Исаака — Авраам верил. Он верил не в то, что где-нибудь в ином мире он найдет блаженство (как учит основанная на нашем разуме этика). Нет, здесь, в этом мире, — подчеркивает Киркегард, — он будет еще счастлив. Бог может дать ему другого Исаака. Бог может вернуть к жизни закланного сына. Авраам верил в силу Абсурда: человеческий расчет для него давно кончился». И чтоб рассеять всякие сомнения, как он понимал веру Авраама и смысл его поступка, он и собственное дело приобщает к библейскому повествованию. Разумеется, делает это он не прямо и не открыто. О таких вещах люди не говорят открыто, Киркегард и подавно: для этого он и придумал свои не прямые высказывания. При случае, между прочим, он скажет: «что такое для человека его Исаак, это каждый решает сам и для себя», но смысл и конкретное значение этих слов можно разгадать только, прослушав выдуманый им

рассказ о бедном юноше, полюбившем царскую дочь. Для всех совершенно очевидно, что юноше не видать царевны, как своих ушей. Обыкновенный здравый смысл, как и высшая человеческая мудрость (в конце-концов между здравым смыслом и мудростью принципиальной разницы нет), равно советуют ему бросить мечту о невозможном и добиваться возможного: вдова богатого пивовара для него самая подходящая партия. Но юноша, точно его что-то ужалило, забывает и здравый смысл и божественного Платона, и вдруг, совсем как Авраам, бросается в объятия Абсурда. Разум отказался дать ему царскую дочь, которую он предназначил не для него, а для царского сына, и юноша отворачивается от разума и пытается счастья у Абсурда. Он превосходно знает, что в обыденной повседневной жизни царит глубочайшая уверенность, что царская дочь никогда ему не достанется. «Ибо, — пишет Киркегард, — разум прав: в нашей долине скорби, где он является господином и хозяином, это было и останется невозможностью». Он знает тоже, что дарованная богами людям мудрость, рекомендует в таких случаях, как единственный выход из создавшегося положения, спокойную покорность неизбежному. И он даже проходит через эту покорность — в том смысле, что дает себе — со всей ясностью, на какую способна человеческая душа, отчет в действительном. Иному, — поясняет Киркегард, — пожалуй представится более соблазнительным убить в себе желание обладать царской дочерью, обломать, так сказать, острие скорби. Такого человека Киркегард называет рыцарем покорности и находит даже слова сочувствия по его адресу. И все же, заявляет он, «чудесно обладать царской дочерью, и рыцарь покорности, если он это отрицает, лжец», и его любовь не была настоящей любовью. Рыцарю покорности Киркегард противопоставляет рыцаря веры. «Через веру, говорит этот рыцарь себе, через веру ты получишь царскую дочь». И еще раз повторяет: «все же, как чудесно получить царскую дочь». Рыцарь веры, единственно счастливый: он господствует над конечным, в то время как рыцарь покорности здесь только пришелец и чужак. Но тут же он признается: «и все же на это дерзновенное (движение) я не способен. Когда я пытаюсь проделать его — голова у меня идет кругом, и я тороплюсь укрыться в скорбь покорности. Я могу плавать, но для этого мистичес-

кого парения я слишком тяжеловесен». А в дневниках его мы читаем: «если бы у меня была вера, Регина Ольсен осталась бы моей». Почему же человек, который так страстно, так безумно рвется к вере не может ее обрести? Отчего не может он пойти за Авраамом и бедным юношей, полюбившим царскую дочь? Отчего он отяжелел и не способен к парению? Отчего на его долю выпала покорность и ему отказано в последнем дерзании? Это нас подводит к учению Киркегарда о первородном грехе и о грехе вообще, которое у него теснейшим образом связано с пониманием библейской веры. Для Киркегарда «понятие противоположное греху есть не добродетель, а свобода» и вместе с тем «понятие противоположное греху есть вера». Вера, только вера, освобождает от греха человека. Вера, только вера, может вырвать человека из власти необходимых истин, которые овладели его сознанием, после того, как он отведал плодов запретного дерева. И только вера дает человеку мужество и силы, чтоб смотреть прямо в глаза безумию и смерти и не склоняться безвольно пред ними. «Представьте себе, — пишет Киркегард, — человека, который со всем напряжением испуганной фантазии вообразил себе нечто неслыханно ужасное, такое ужасное, что вынести его совершенно невозможно. И вдруг это действительно встретилось на его пути, стало его действительностью. По человеческому разумению, гибель его неизбежна... Но для Бога все возможно. В этом состоит борьба веры: безумная борьба о возможности. Ибо только возможность открывает путь к спасению. В последнем счете остается одно: для Бога все возможно... И только тогда открывается дорога вере. Верят только тогда, когда человек не может открыть уже никакой возможности. Бог значит, что все возможно и что все возможно, значит Бог. И только тот, чье существо так потрясено, что он становится духом и постигает, что все возможно, только тот подошел к Богу». И в дневнике Киркегарда 1848 года мы читаем замечательную запись: «Для Бога все возможно: эта мысль есть мой лозунг в глубочайшем смысле этого слова и приобрела для меня значение большее, чем я мог сам когда-нибудь думать. Ни на минуту я не позволю себе дерзновенно вообразать, что раз я не вижу никакого выхода, то и для Бога выхода нет. Ибо свою жалкую фантазию и все прочее в таком роде смешивать с возможностями, ко-

торыми располагает Бог, есть гордыня и отчаяние». Вы видите, как далек Киркегард от того представления о вере, какое имеет большинство людей. Вера не есть доверие к тому, что нам внушают родители, старшие, наставники, вера есть огромная, рождающаяся в глубинах человеческого духа сила, готовая и способная в борьбу, даже тогда, когда все говорит нам, что борьба заранее обречена на неудачу. Киркегарда, конечно, вдохновляет евангельское обетование: если у вас будет вера с горчичное зерно... для вас не будет ничего невозможного. И он, вспоминая слова пророков и апостолов о том, что мудрость человеческая есть безумие перед Господом, решается на великую и последнюю борьбу — борьбу с человеческим разумом, поскольку разум хочет быть единственным и окончательным источником истины. Оттого он, как я уже говорил, отвернулся от Гегеля и греческой философии и пошел за истиной к невежественному Иову и невежественному Аврааму. И с каждой новой книгой, он все страстнее и безудержнее нападает на разум. Ссылаясь на Послание к Рим. (XIV. 23) он пишет: «все, что не от веры — есть грех. В этом один из основных принципов христианства: понятие противоположное греху есть не добродетель, а вера». Киркегард это неустанно повторяет, равно как он повторяет, что, чтоб приобрести веру, нужно отречься от разума. В последних своих произведениях он выражается следующим образом: «вера — противоположна разуму, вера живет по ту сторону смерти». Но что такое вера, о которой рассказано в Писании? Ответ Киркегарда: «вера значит именно это: потерять разум, чтоб обрести Бога». Еще раньше в связи с Авраамом и его жертвой Киркегард писал: «какой невероятный парадокс — вера! Парадокс может превратить убийство в святое, угодное Богу дело. Парадокс возвращает Аврааму его Исаака. Парадокс, которым (обычное) мышление не может овладеть, ибо вера именно там и начинается, где (обычное) мышление кончается». Отчего кончается? Потому что для обычного мышления тут начинается область невозможного: невозможно, чтоб сыноубийство был угодным Богу делом, невозможно, чтоб кто-либо (хотя бы и сам Бог) вернул к жизни убитого Исаака. Но Киркегард обо всем этом думает иначе. «Отсутствие возможности, — пишет он, — обозначает, что либо все стало необходимым, либо что все стало обы-

денным. Обыденность, тривиальность не знает, что такое возможность. Обыденность допускает только вероятность, в которой сохранились лишь крохи возможности, но что все это (т. е. невероятное и возможное) возможно, ей и на ум не приходит и она не помышляет о Боге. Обыденный человек (будет ли он кабатчиком или министром) лишен фантазии и живет в сфере ограниченного банального опыта: как вообще бывает, что вообще возможно, что всегда было... Обыденность вообразила, что она изловила возможность или засадила ее в сумасшедший дом»... Причем под обыденностью отнюдь не следует разуметь пивовара и философию пивовара: обыденность везде, где человек еще полагается на свои силы, на свой разум (Гегель и Аристотель, при несомненной гениальности их, не выходят за пределы обыденности), и кончается лишь там, где начинается отчаяние, где разум показывает со своей очевидностью, что человек стоит пред невозможным, что все для него кончено и навсегда, что всякая дальнейшая борьба бессмысленна, т. е. там и тогда, когда человек испытывает свое полное бессилие. Киркегарду, как никому, пришлось до дна испить ту горечь, которую приносит человеку сознание своего бессилия. Когда он говорит, что какая-то страшная власть отняла у него честь и его гордость, он имеет в виду свое бессилие. Бессилие, которое привело к тому, что, когда он прикасался к любимой женщине, она превращалась в тень. Бессилие, которое привело к тому, что все действительное для него превращалось в тень. Как это случилось? Что это за страшная власть, власть, которой дано так опустошить человеческую душу? В дневник свой он заносит — и не раз, а несколько раз: «если бы у меня была вера, я не ушел бы от Регины Ольсен». Это уже не непрямое высказывание, в роде тех, которые он делал от имени героев своих повествований — это уже непосредственное свидетельство человека о самом себе. Киркегард испытал отсутствие веры, как бессилие и бессилие, как отсутствие веры. И в этом страшном опыте узнал то, чего большинство людей даже и не подозревает: отсутствие веры есть выражение бессилия человека, и бессилие человека выражается отсутствием веры. Это объясняет нам его слова о том, что «противоположное понятию греху — не добродетель, а вера». Добродетель — мы уже слышали это от него, — держится соб-

ственными силами человека: рыцарь покорности сам добывает, что ему нужно и, добывши, находит душевный мир и упокоение. Но освобождается ли таким образом человек? Все, что не от веры, есть грех, вспоминает Киркегард загадочные слова апостола. Стало быть, мир и спокойствие рыцаря покорности есть грех? Стало быть, Сократ, принявший так спокойно, на удивление его учеников и всех последующих поколений людей, из рук тюремщика чашу с ядом, был грешником? Лучший, мудрейший из людей удовольствовался положением рыцаря покорности, принял свое бессилие пред необходимостью, как неизбежное, а поэтому и нравственно обязательное, и за несколько часов до смерти поддерживал назидательными речами мир и спокойствие в душах учеников своих. Можно ли идти, спрашивает Киркегард, дальше Сократа? Через много сотен лет после Сократа, знаменитый стоик Эпиктет, верный духу своего несравненного учителя, писал, что начало философии есть сознание бессилия пред Необходимостью. Для Эпиктета, как и для Сократа, это сознание есть вместе с тем, и конец философии или, точнее, философская мысль всецело определяется убеждением человека в его абсолютном бессилии пред царствующей в мире необходимостью.

Сократовская добродетель не спасает человека от греха. Добродетельный человек есть рыцарь покорности. Он испытал весь позор и ужас, которые связаны с бессилием, и на этом остановился. Дальше двинуться нельзя. Почему он остановился? Откуда пришли эти некуда и нельзя? Их, отвечает Киркегард, принес человеку его разум, источник всего нашего знания и всей нашей морали. Но не находится ли сам разум, когда он воображает, что он является единственным источником истины и морали, во власти какой-то враждебной силы, так заморозившей его, что случайное и преходящее представляется ему непреодолимым и вечным? И этика, внушающая человеку, что покорность судьбе есть высшая добродетель, не находится ли она в таком же положении, как и разум? И она заморожена таинственными чарами: там, где она сулит человеку блаженство и спасение, его ждет гибель. Это и есть парадокс, это и есть Абсурд, который был скрыт от Сократа, но который открыт в Св. Писании — в повествовании книги Бытия о дереве познания добра и зла и падении первого человека.

V

Грехопадение, которому посвящена Киркегардом одна из наиболее замечательных книг его — «Что такое страх?», — тревожило человеческую мысль самых отдаленных времен. Все люди чувствовали, что в мире не все благополучно и даже очень неблагополучно и делали огромные и напряженнейшие усилия, чтоб выяснить, откуда пришло это неблагополучие. И нужно сказать, что греческая философия, равно как и философия других народов, не исключая народов Дальнего Востока, на поставленный вопрос давала ответ прямо противоположный тому, который мы находим в повествовании книги Бытия. Один из первых великих греческих философов, Анаксимандр, в сохранившемся после него отрывке, говорит: «откуда пришло отдельным существам их рождение, оттуда, по необходимости приходит к ним и гибель. В установленное время они несут наказание и получают возмездие друг от друга за свое нечестие». Эта мысль Анаксимандра проходит через всю древнюю философию: появление единичных вещей, главным образом, конечно, живых *сущест*в и по преимуществу людей, рассматривается как преступное, нечестивое дерзновение, справедливым возмездием за которое является смерть и уничтожение. Идея о том, что рождение неизбежно влечет за собой уничтожение, есть исходный пункт античной и всей европейской философии — она же, повторю, неотвязно стояла пред основателями религий и философии Дальнего Востока. Естественная мысль человека во все времена и у всех народов безвольно, точно заколдованная, останавливалась пред роковой Необходимостью, занесшей в мир страшный закон о смерти, неразрывно связанной с рождением всего, что появилось и появляется. В самом существовании человека разум открыл что-то недолжное — порок, болезнь, грех, и, соответственно этому, мудрость требовала преодоления в корне этого греха, т. е. отречения от бытия, которое, как имеющее начало, осуждено предвечным законом на неизбежный конец. Греческий катарзис, т. е. нравственное очищение — имеет своим источником убеждение, что непосредственные данные сознания, свидетельствующие о неизбежной гибели всего рождающегося, открывают нам всемирную, вечную, неизменную и навсегда непреодолимую

истину. Действительное, настоящее бытие нужно искать не у нас и не для нас, а там, где власть закона о рождении и уничтожении кончается, т. е. там, где нет и не бывает уничтожения. Отсюда и пошла умозрительная философия. Открывающийся умному зрению закон о неизбежной гибели всего возникающего и сотворенного представляется нам навеки присутствующим всему бытию: греческая философия в этом была так же непоколебимо убеждена, как и мудрость индусов, и мы, которых отделяют от греков и индусов тысячелетия, так же неспособны вырваться из власти этой самоочевиднейшей истины, как и те, которые впервые ее обнаружили и нам показали.

Только книга книг, т. е. Библия, в этом отношении составляет загадочное исключение. В ней рассказывается прямо противоположное тому, что люди усмотрели своим умным зрением. Все было создано, читаем мы в самом начале книги Бытия, Творцом, все имело начало. Но это не только не рассматривается, как условие ущербности, недостаточности, порочности и греховности бытия, но в этом залог всего, что может быть хорошего в мироздании. Иначе говоря, творческий акт Бога есть источник, и при том единственный, всего хорошего. Вечером каждого дня творения, Господь, оглядываясь на сотворенное Им, говорил: «добро зело», а в последний день, оглядев все, Им созданное, увидел Бог, что все добро зело. И мир и люди (которых Бог благословил), созданные Творцом и потому именно, что они были Им созданы, были совершенными и не имели никаких недостатков: зла в сотворенном мире не было, не было и греха, от которого зло началось. Зло и грех пришли после. Откуда? И на этот вопрос Писание дает определенный ответ. Бог насадил в эдемском саду, среди прочих деревьев, дерево жизни и дерево познания добра и зла. И сказал первому человеку: плоды от всех деревьев можете есть, но плодов от дерева познания не касайтесь, ибо в тот день, когда коенетесь их, смертью умрете. Но искушитель — в Библии он назван змеем, который был хитрее всех, созданных Богом зверей, — сказал: «нет, не умрете, но откроются глаза ваши, и вы будете, как боги знающими». Человек поддался искушению, вкусил от запретных плодов, глаза его открылись, и он стал знающим. Что ему открылось? Что он узнал? Открылось ему то, что открылось греческим философам и индусским муд-

рецам: божественное «добро зело» не оправдало себя, в сотворенном мире не все добро, в сотворенном мире — и именно потому, что он сотворен — не может не быть зла и, притом много зла и зла нестерпимого. Об этом свидетельствует нам с непререкаемой очевидностью наш разум и все, что нас окружает — «непосредственные данные сознания»; и тот, кто смотрит на мир открытыми глазами, тот, кто «знает», иначе об этом судить не может. С того момента, когда человек стал знающим, иначе говоря, вместе со знанием и через знание, вошел в мир грех, а за грехом зло и все ужасы нашей жизни. Так по Библии. Пред нами, людьми 20-го столетия вопрос стоит также, как он стоял пред древними: откуда грех, откуда все ужасы жизни? Есть ли порок в самом бытии, которое как сотворенное, как имеющее начало, неизбежно, в силу предвечного, ничему и никому (даже Богу) неподвластного закона, должно быть обременено несовершенствами, вперед обрекающими его на гибель, или грех и зло в «знании», в открытых глазах, в «умном зрении», т. е. от плодов запретного дерева? Гегель, впитавший в себя всю европейскую мысль за 25 веков ее существования, без всякого колебания утверждает: змей не обманул человека, плоды дерева познания стали источником философии для всех будущих времен. И нужно сказать: исторически Гегель прав. Плоды с дерева познания, действительно, стали источником философии, источником мышления для всех будущих времен. Философы — причем не только языческие, но философы еврейские и христианские, опиравшиеся на Библию и считавшие Библию боговдохновенной книгой, — все хотели быть знающими и ни за что не соглашались отречься от плодов запретного дерева. Грех не пришел от плодов дерева познания: от познания не может придти ничего дурного. Откуда у людей такая уверенность, что от знания не могло придти зло? Такого вопроса никто не ставит. Никому и на ум не приходит, что истину можно искать и найти в Писании. Истину нужно искать только в собственном разуме — и только то, что разум признает истиной, есть истина. Не змей, а Бог обманул человека.

Киркегард жил в эпоху, когда Гегель был властителем дум в Европе. И он, конечно, не мог не чувствовать себя всецело во власти гегелевской философии. Гегель, повторяя то, чему

двадцать пять веков учила философия, возвестил, что все действительное разумно, иными словами, что все ужасы действительности должны быть приняты и одобрены человеком. Но когда Киркегарду, по воле судьбы, пришлось с этими ужасами столкнуться, испытать их, он понял глубину и потрясающий смысл библейского повествования о падении первого человека. Веру, определявшую отношение твари к Творцу и знаменовавшую собой ничем не ограниченную свободу и беспредельные возможности, люди променяли на знание, на рабскую зависимость от мертвых и мертвящих вечных принципов. Знание не привело человека к свободе, как то провозглашает умозрительная философия, знание закрепило нас, отдало на поток и разграбление вечным истинам. Но как это произошло? Как мог невинный человек соблазниться плодами дерева познания добра и зла и поверить искушителю, обещавшему ему, что, вкусив от запретных плодов, он «сравняется с Богом»? В своей книге «Что такое страх?» Киркегард, подходя к вопросу о падении невинного человека, пишет: «В состоянии невинности мир и спокойствие, но вместе с тем есть что-то иное: не смятение, не борьба — ведь бороться-то не из-за чего. Но что же это такое? — Ничто. Какое действие имеет Ничто? — Оно пробуждает страх. В том и заключается тайна невинности, что она есть в то же время и страх». Что же такое этот страх перед Ничто? И тут опыт Киркегарда, прорывающийся через все запрещения, налагаемые на нашу мысль разумом и моралью, открывает поразительные вещи: «Страх этот, — рассказывает он, — можно сравнить с головокружением. Кто принужден заглянуть в раскрывшуюся пред ним бездну, у того кружится голова. И страх (невинного человека) есть головокружение свободы... От этого головокружения свобода валится на землю. Дальше этого психология уже не может ничего сказать. Но в этот момент все меняется и, когда свобода вновь поднимается, она видит, что она виновата... Страх есть обморок свободы. Психологически говоря, грехопадение всегда происходит в обмороке». Киркегард с напряженной сосредоточенностью поглощен рассмотрением открывающегося ему Ничто и связи Ничто со страхом. «Если мы спросим, — пишет он в другом месте той же книги, — что является предметом страха, то ответ будет один: Ничто. Страх

и Ничто всегда сопутствуют друг другу. Но как только вступает в свои права реальность свободы и духа, Страх исчезает. Что, собственно, есть Ничто в стране язычников? Оно есть Рок. Рок есть единство Необходимости и Случайности. Это получило свое выражение в том, что судьба представляется слепой; кто слепо идет вперед, тот продвигается в такой же степени необходимо, как и случайно. Необходимость, которая себя не осознает, является по отношению к ближайшему моменту, случайностью. Рок есть Ничто Страха». Самый гениальный человек, объясняет дальше Киркегард, не в состоянии своими силами преодолеть идею Рока. Наоборот, говорит он: «Гений повсюду открывает судьбу и тем глубже, чем он более глубок... В том именно и сказывается природная мощь гения, что он открывает рок, но в этом и его бессилие». И он заключает свои размышления такими вызывающими словами: «такое гениальное существование, несмотря на свой блеск, красоту и огромное историческое значение, есть грех. Нужно мужество, чтоб понять это, и кто не научился искусству утолять голод тоскующей души, тот едва ли поймет это. И все-таки — это так».

Киркегард на все лады варьирует высказанные в приведенных сейчас отрывках мысли, которые кульминируют в его утверждении, что страх перед Ничто приводит к обмороку свободы, что утративший свободу человек обессиливает и в своем бессилии принимает Рок за всемогущую необходимость и тем более убеждается в этом, чем проницательнее его ум и чем могущественнее его дарование. Киркегард целиком принимает библейское сказание о падении первого человека. Гений, величайший гений, пред которым все преклоняются и которого все считают благодетелем человеческого рода, которого ждет бессмертная слава в потомстве, именно потому что он гений, что он доверяется всецело своему разуму, что он своим зорким и недремлющим оком проникает в последние глубины существующего, — есть великий грешник, грешник *par excellence*. Сократ в тот момент, когда он открыл в мире всеобщие и необходимые истины, являющиеся и доныне условием возможности объективного знания, Сократ вновь повторил преступление Адама. Он вкусил от плодов познания, и пустое Ничто обернулось для него в Необходимость, превращающую, как голова Медузы, всякого, кто взглянет на нее, в камень. И он да-

же не подозревает значения того, что он делает, как не подозревал и наш праотец, когда он принял из рук Евы столь соблазнительные на вид плоды. В произнесенных искусителем словах «будьте, как боги, знающие добро и зло» таилась казавшаяся непреодолимой сила Ничто, парализовавшая свободную до того волю человека. Киркегард это еще формулирует в таких словах: «Для Бога все возможно. Сказать Бог — значит сказать, что все возможно. Для фаталиста — все Необходимо. Необходимость есть его Бог: это значит, что нет Бога». Киркегард отверг греческую идею о власти Необходимости, принесенной в мир разумом. В этом и смысл его слов: «Чтоб обрести Бога, нужно отречься от разума». Он отверг и греческую идею о том, что этическое — есть высшее, равно как и их уверенность, что свобода есть возможность выбора между добром и злом. Такая свобода есть свобода падшего человека — есть рабство. Истинная свобода есть возможность. Возможность спасения там, где наш разум говорит, что все возможности кончились. И только вера, одна вера дает человеку силы и смелость взглянуть в лицо безумию и смерти. Умозрительная философия покоряется неизбежному, экзистенциальная его преодолевает, для экзистенциальной философии необходимость превращаться в немощее Ничто. В этом убеждении источник учения Киркегарда. Ибо, если над необходимостью, как ее понимали греки, никто не властен, то над грехом, совершенным человеком, властен Бог. «Бог послал в мир своего единственного сына, — учит Лютер, — возложил на него все грехи, говоря: ты — Петр, тот, который отрекся, ты — Павел, насильник и богохульник, ты — Давид, прелюбодей, ты — грешник, съевший яблоко в раю». Разум — этого постичь не может, наша этика этим возмущается. Но Бог выше этики и выше нашего разума. Он берет на себя наши грехи и уничтожает ужасы жизни.

Пауль Тиллих

КИРКЕГОР КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ

ЗА девять лет, в течение которых я наблюдаю развитие теологии в Америке, я заметил, что интерес к творчеству Киркегора и влияние его мысли на старое и молодое поколение теологов возросли. Этот процесс обусловлен как внутренними, так и внешними причинами. Я бы хотел сказать несколько слов и о тех, и о других.

I

Наименее важной внешней причиной стало прибытие в США многих европейских мыслителей, которые в течение последних десятилетий, проведенных ими в Европе, подверглись мощному воздействию, оказанному творчеством Киркегора на континентальную философию и теологию. На них в большой мере повлияла так называемая «экзистенциальная» позиция, которую Киркегор выразил в наиболее радикальной и вызывающей форме. И они не могут так просто отделаться от этой позиции, даже если бы попытались. Другой и более важной причиной возросшего интереса к Киркегору во всех англоговорящих странах стало появление в течение последних нескольких лет большинства его работ по-английски. Таким образом большая часть его работ доступна сегодня американскому студенту. Помимо переводов произведений Киркегора, в последнее время появилось несколько важных и необходимых

для изучения его наследия исследований. Если мы взглянем внимательно в список трудов Киркегора, то мы сразу обнаружим, что прежде всего он был практическим религиозным писателем, который хотел поучать, «наставлять в христианстве», побуждать к «самоизучению» и содействовать новому пониманию библейских текстов. Такие его произведения неопределимы для проповедников, но не только они, потому что «гомилетические» компоненты можно обнаружить во всех его книгах. Другая группа его произведений — психологические работы; психологию при этом следует понимать как диалектическое описание некоторых основополагающих элементов человеческого существования, таких как «страх», «отчаяние», «индивидуальность», «меланхолия» и т. д. Никогда еще конечность и греховность человека не подвергались столь глубокому психологическому анализу. Третью группу составляют этические работы Киркегора, в которых он проводит различие между эстетической и этической позициями, ставит нас перед «либо-либо» и ведет через «стадии жизненного пути» и «повторения» к ситуации этического и религиозного выбора. К этой группе относится ряд его самых замечательных работ. Они свидетельствуют о том, в какой мере Киркегор жил на границе между разными областями и стадиями человеческого существования. Две его в основе своей философские книги — «Философские крохи» и «Окончательный ненаучный постскриптум» — два главных источника идеи «экзистенциального мышления». Они лежат в основе современной «философии существования».

II

Однако существуют не только внешние, но и внутренние причины того, что значение Киркегора в американской теологии и философии возрастает. Интеллектуальная ситуация, в которой около ста лет тому назад возникло представление об экзистенциальном мышлении, стала понятной благодаря тому развитию, которое получила западная цивилизация начиная со второго десятилетия двадцатого века. Американская теология стала восприимчивей к тем идеям, которые, как ка-

залось, имели значение только для европейского континента, а точнее — для Центральной Европы.

Одна из таких идей — необходимость «экзистенциального мышления» в теологии и философии.

Слово «экзистенциальный», полное особого смысла у Киркегора и в так называемой «философии существования», не имеет похожих коннотаций в английском. Поэтому, возможно, краткое объяснение того, каким образом этот термин приобрел свое сегодняшнее значение, было бы небесполезным. Старое схоластическое развитие между тем, «что есть» и тем, «чем это является», другими словами — между сущностью и существованием, составляет основу такого особого использования слова «существование». В Боге, в отличие от всех конечных существ, нет различия между сущностью и существованием, считали схоласты. Когда Гегель превратил мир в самораскрытие Бога, он отказался от различения сущности и существования и для конечного бытия: конечное находится в диалектическом тождестве с бесконечным, а сотворенность человека преодолевается в совершенной философии. На такое метафизическое высокомерие, которое явилось глубочайшим выражением рационального гуманизма, ополчилось целое поколение мыслителей; особенно мощным их выступление было в период между 1840 и 1850 годами. Упомяну лишь Шеллинга (в поздний период его жизни), Фейербаха, Маркса и Киркегора. Они и многие другие настаивали на существовании разрыва между сущностной природой человека и его действительной ситуацией. Они нанесли удар по предполагаемому единству между бесконечным и конечным со всех сторон: Фейербах — с антропологической, Маркс — с социологической, Киркегор — с этической позиции. И все они сделали это во имя существования, противопоставленного сущности. Таким образом, экзистенциальное мышление — это мышление, которое сознает конечность и трагедию всякого человеческого существования, в том числе, и человеческой мысли. Для Киркегора это означает, что человеческая мысль не может быть обособлена от его этического существования, а это делает беспристрастную позицию невозможной, так как требует страсти и решений по отношению к истине. (Подобным же образом Маркс отрицал, что теория может быть обособлена от практического существ-

вованя человека, потому что такое представление требует, чтобы мир изменялся в то самое время, когда он осмысливается). Слово «экзистенциальный», таким образом, обозначает мышление в сфере этических решений, политического радикализма, предельной захваченности, то есть обозначает мышление, происходящее со страстью и заинтересованностью. Я приведу высказывание Фейербаха, которое наиболее ясно выражает общую позицию экзистенциальных мыслителей: «Не стремись быть философом в противовес своему бытию человека — не думай как мыслитель — думай как живое, реальное существо — думай в существовании» («Основные положения философии будущего»); близость такой позиции к американскому прагматизму, например, Уильяма Джемса, очевидна. Для Киркегора Сократ — величайший пример экзистенциального философа: «... Сократическое незнание, которого Сократ придерживался со всей страстностью своего существа, было выражением принципа, согласно которому вечная истина соотносена с существующим индивидом» («Постскриптум»). Каждое слово этой цитаты пронизано антирационалистической и антигуманистической страстью Киркегора.

В окружающем мире произошло нечто такое, что вызвало протест экзистенциального мышления, направленный как против идеалистического, так и натуралистического идеализма: победа подавляющего механизма технического производства и то дегуманизирующее воздействие, которое это оказало на все индустриальное общество. Наиболее важным последствием стало то, что Ницше назвал «смертью Бога», а именно исчезновение христианского опыта и христианских символов из массового сознания западной цивилизации. Утрата «объективного» мира как осмысленной реальности предполагает возникновение «экзистенциальной» субъективности. Экзистенциальная позиция могла проявиться как попытка изменить невыносимый объективный мир с помощью революционной трансформации, основанной на страстной субъективности его главных жертв, — таков путь Маркса. Либо она могла проявиться как попытка избавиться от гнета рациональной объективности с помощью страстной воли высших человеческих существ, — таков путь Ницше. Либо она могла проявиться как уединение страстного религиозного индивида в своем духовном центре

с целью обнаружить там то, что невозможно обнаружить где-либо в объективном мире — предельный смысл жизни, Бога — таков путь Киркегора. Идеи этих людей стали реальностью мировой истории лишь в первой половине XX века, в то время как во второй половине XIX века они не оказывали никакого воздействия. Причина такого запоздания очевидна: лишь с началом нашего столетия истинный характер нашей исторической эпохи и свойственных ей противоречий стали всем заметны, в то время как на протяжении XIX века власть техники и ее оптимистическое истолкование продолжали возрастать.

III

Таков всемирно-исторический контекст, в котором нужно рассматривать Киркегора как экзистенциального мыслителя. Он не просто отдельно взятая личность. Его невозможно понять, исходя лишь из его протестантского наследия, либо из его индивидуального характера, либо из его философской позиции. Он представляет ту ситуацию, в которой находится западная цивилизация как целое. Он, подобно многим пророческим душам XIX столетия, предваряет и, предваряя, способствует формированию ситуации XX столетия. Им всем была свойственная смесь духовного ужаса, пророческого гнева, меланхолической покорности, этической страсти, интеллектуальной агрессивности. Всех их бросало от исступленной надежды к мучительному отчаянию. Любое из этих качеств можно обнаружить у Киркегора. Однако историческая ситуация — это лишь место, где следует искать гениальную личность. Сама эта личность трансцендирует ситуацию и творит нечто, что важно для любой исторической эпохи. Моей задачей было рассмотреть не истину, содержащуюся в мысли Киркегора, а почву, из которой эта истина произрастает.

КОММЕНТАРИИ

НАСЛАЖДЕНИЕ И ДОЛГ

Книга «Наслаждение и долг», составленная и озаглавленная переводчиком — П. П. Ганzenом, — результат его авторской интерпретации первой большой работы Киркегора «Или-Или» («*Enten-Ellet*»), вышедшей в Копенгагене в 1843 г.

Петр Ганzen (Hansen; 1846–1930), первый и до последнего времени едва ли не единственный русский переводчик Киркегора с датского (когда эта книга готовилась, вышел в свет том новых комментированных переводов трех философско-теологических трактатов Киркегора, подготовленный Сергеем Исаевым, — см. *Библиографию* в настоящем издании), сам датчанин по происхождению, не был ни философом, ни литератором. Он был известен, в первую очередь, как автор работ по статистике и социологии и пропагандист скандинавской культуры в России. Сам и вместе с женой (Анной Васильевой-Ганzen) П. Ганzen переводил на русский язык произведения Х.-К. Андерсена, Г. Ибсена, К. Гамсуна, Ю. Ли, А. Стриндберга, Л. Хольберга, А. Г. Эленшлегера и др., а также издавал альманахи скандинавской литературы «Северные сборники» и «Фиорды». Кроме того, Ганzen переводил русскую прозу на датский (в частности, «Обыкновенную историю» И. Гончарова, с которым был знаком и переписывался).

Впервые представляя русскому читателю отдельные «статьи» из первой книги Киркегора (*Афоризмы эстетики* // Вестник Европы. — 1886. — Май; *Гармоническое развитие эстетических и этических начал в человеческой личности* // Северный Вестник. — 1888. — Сентябрь-Декабрь) и составляя затем из них и «Дневника Обольстителя» книгу «Наслаждение и долг», Ганzen (отчасти, в духе времени — ср. многочисленные переложения и адаптации европейской философии, популярные в конце XIX и в начале XX) упростил весьма сложную авторскую композицию и идейную структуру «Или-Или»

(одиннадцать статей в двух книгах), и свел ее к жесткой оппозиции эстетического, заключенного в «Афоризмах...» и «Дневнике...», и этического воззрений («Гармоническое развитие...»). Тем самым он предложил своему читателю весьма поверхностную иерархию «наслаждения» и «долга», утратив при этом философскую многозначность оригинального текста, связанную с темами статей, не вошедших в его книгу. Таким образом, мир Киркегора в интерпретации Ганзена исчерпывается эстетической и этической стадиями, причем последняя безусловно выше первой и носит окончательный и абсолютный характер. В оригинальной же философии Киркегора эстетическое и этическое воззрения в равной степени, но по разному, недостаточны, и эта их недостаточность, обозначенная в «Или-Или», восполняется религиозной стадией, анализ которой дается в последующих работах, в первую очередь, в «Страхе и трепете»*. Следовательно, современный читатель, обращаясь к воспроизводимому нами (с некоторыми изменениями и дополнениями редакционного характера) петербургскому изданию 1894 года, получает не столько собственно Киркегора, сколько русского Киркегора, причем отмеченного характерными чертами кануна отечественного декаданса. Комментаторы ганзеновского перевода неоднократно отмечали его смысловые и литературные недостатки (см. например, предисловие к публикации «Дневника Обольстителя» в альманахе «Скандинавия»), но цель настоящего издания была не в том, чтобы познакомить читателя с научно выверенными аутентичными текстами Киркегора-философа (как это делает С. Исаев в своем сборнике); мы хотели лишь напомнить о первой попытке русского прочтения Киркегора и введения его имени в научный оборот (последнее, безусловно, П. Ганзену вовсе не удалось). Следует лишь добавить, что и сегодня, через 150 лет после появления «*Enten-Eller*», во многом несовершенное ганзеновское «переложение» остается, к сожалению, единственным русским переводом «Или-Или», причем, переводом непосредственно с датского.

*

История появления книги «*Enten-Eller*» (Kjøbenhavn, 1843) достаточно широко освещена в литературе (см. *Библиографию* в настоящем издании) и подробно останавливаться на ней нет необходимости. После защиты магистерской диссертации «Об иронии...» это была первая крупная работа Киркегора, содержащая в свернутом виде все начала его будущей философии. Непосредственно написанию книги предшествовал разрыв помолвки Киркегора с невестой, Региной Ольсен, — событие, которое определило всю его дальней-

* См об этом у Льва Шестова (например, работа, помещенная в настоящем издании), а также: *Гайдено, 1970*. — С 219-222 и далее. Все эти тонкие нюансы оригинала совершенно утрачиваются в русском переложении. См. также С 181-183, в частности, место, непосредственно касающееся перевода Ганзена.

шую судьбу. В книгах Киркегора (в первую очередь, в «Или-Или» и «Страхе и трепете») многие исследователи усматривают развернутый философский и теологический комментарий к этой личной драме. Сам автор неоднократно давал повод к такой интерпретации своих произведений, в таких работах, как «Точка зрения на мою писательскую деятельность» и «О моей деятельности как писателя» (соответственно, 1849 и 1851) он относил «Или-Или» к группе эстетических сочинений (наряду со «Страхом и трепетом», «Повторением», «Понятием страха», «Философскими крохами», «Этапами жизненного пути»), противопоставляя ее религиозным произведениям: «Жизнь и власть любви», «Христианские речи» и пр. Для хронологии и идеологии «Или-Или» важно также, что Киркегор писал ее непосредственно после возвращения из Германии и окончательного разрыва с шеллингиански-гегельянской традицией (см. примечание к С. 10 настоящего издания и статью Льва Шестова)

Необходимо указать на некоторые структурные особенности оригинального текста «*Enten-Eller*», которые не нашли адекватного отражения в ганзеновском переложении. Полное оригинальное название книги: «*Enten-Eller Et Livs Fragment*» (в сокращенном виде оно известно в русской традиции и как «Или-Или», и как «Либо-Либо», и как «Одно из двух») — «Или-Или. Фрагменты жизни» — имеет подзаголовок: «Издано Виктором Эремита. Часть первая, содержащая записки г-на А. Часть вторая, содержащая записки г-на В.: Письма к А.». Часть первая состояла из восьми статей: «Диалогата», «Стадии эротического переживания» (с подзаголовком «Музыкально-эротическое»), «О трагизме античном и трагизме современном», «Сумеречные размышления» (с подзаголовком «Психологические этюды»), «Несчастнейший», «Первая любовь», «Севооборот» и «Дневник оболыстителя»; вторая — из трех: «О браке», «Гармоническое развитие...», «Ультиматум» (в *Предисловии* Ганзена — «О греховности человеческой»). В духе романтической поэтики и следуя своему излюбленному принципу значимо зашифрованного авторства, Киркегор скрылся за сложной системой псевдонимов. «Издатель» Виктор Эремита (лат. «Одинокий Победитель») в своем *Предисловии* излагает традиционную историю «находки» им публикуемых бумаг в случайно купленном бюро и по характеру текстов разделяет их на «эстетические» и «этические», приписав первые некоему «г-ну А», а вторые — «г-ну В.». При этом «издатель» высказывает предположение, что обе части принадлежат перу одного автора, именующего себя в одном случае Йоханнесом, а в другом — ассесором Вильгельмом. Для «издателя», впрочем, важна не идентификация авторства и связанная с этим интрига, а этический и философский выбор, который предстоит сделать читателю (таким образом Киркегор с самого начала переводит весьма беллетризованный текст, включающий в себя эпистолярный роман, в разряд сугубо философской литературы).

В «*Enten-Eller*», как и в большинстве других «эстетических» произведений, Киркегор использовал сложную систему эпиграфов и жанровых дефиниций. Первая часть открывалась эпиграфом из «Ночных размышлений» Э. Юнга (*Night thought*, IV, 629): «*Er da Fornuftten alene dobt, / Ere Lidenskaberne Hedninger?*»*. Немецкие комментаторы полагают, что, поскольку Киркегор не читал Юнга по-английски, он перевел эти строки с немецкого. На титульном листе «*Διαψαλματα*» мы находим слова «*ad se ipsum*»**, — название известного философско-этического трактата Марка Аврелия, — выполняющие здесь функцию как эпиграфа, так и жанрового самоопределения. П. Ганзен оставляет в своем переводе лишь один эпиграф к «*Διαψαλματα*» — стихи П. Пелиссона. Статьи второй части отдельных эпиграфов не имели; эпиграф из Р. Шатобриана, предваряющий в «Наслаждении и долге» «Гармоническое развитие...», в оригинале предпослан всей второй части.

*

Итак, в оригинале книгу открывало Предисловие Виктора Эремита. Первая статья первой части у Киркегора носила название «*Διαψαλματα*» (в переводе Ганзена она переименована в «Афоризмы эстетика») — искусственно образованное множественное число от греч. *διαψαλμα* (досл.: «через псалмы») — словесно-музыкального жанра в роде интерлюдии, отделяющей чтение одного псалма от другого; известен в синагогальной и церковной традициях. Большая часть «диапсалм» не вошла в «Наслаждение и долг», порядок расположения оставшихся нарушен и подчинен композиционной логике переводчика, восстановить которую комментаторам не удалось.

В своем сокращенном переложении Ганзен пожертвовал важным для Киркегора развитием традиционных тем и мотивов европейского романтизма (Дон Жуан, Агасфер, Фауст) и некоторыми композиционными началами, существенными в построении «Или-Или». Так, например, он снял контекст «Дневника...», в результате чего исчезли аллюзии, важные для восприятия образов Йоханнеса и ассесора Вильгельма (в книгу не вошли: статья «Стадии эротического переживания» с разбором моцартовского «Дон Жуана», необходимым для дальнейшего сопоставления стихийной чувственности донжуановского типа и духовного обольстителя из «Дневника...»; статья «Психологические этюды»***, включающая сравнительный анализ «демонической чувственности» Дон Жуана и Фауста; статья «Севооборот», содержащая программу «разнообразия в наслаждениях» и прямо оппонирующая статьям «О браке» и «Гармоническое развитие...» etc.).

* Суть ли страсти проявления языческой души, / А разум единый крещен? (дат.)

** Наедине с собой, к самому себе (лат.).

*** «Силуэты», по П. Гайденко.

Роман в письмах «Дневник Обольстителя» («*Førførerens Dagbok*») завершал первую часть книги и выступал в качестве своеобразного практического воплощения эстетического воззрения. Эта часть в наибольшей степени связана с автобиографическими мотивами (символика имен и топографических названий связана с реалиями копенгагенской жизни автора; датировка писем, по мнению немецких комментаторов, проецируется на развитие романа с Региной Ольсен, что находит подтверждение в дневниковых записях Киркегора, самое биографическая интрига достаточно подробно и точно воспроизведена в истории взаимоотношений Йоханнеса* и Корделии, однако с мотивировками, противоположными тем, что известны из дневников, т. е. этико-религиозное переживание реального автора замещено эстетическим переживанием его литературного персонажа-«двойника»**).

С другой стороны, по замыслу автора, текст «Дневника...» должен был вызывать у читателя ассоциации различного характера, как со статьями, окружавшими его в книге, так и с широким литературным контекстом, актуальным для читателя, принадлежащего романтической традиции. Достаточно указать, что заглавные буквы подписи героя в письмах к Корделии (*D. J. — Din Johannes* — по-датски: «твой Йоханнес») — анаграмма Дон Жуана (собственно, тезки персонажа, с которым Дон Жуан весьма сложно и значимо соотносится)***. Как мы уже отметили, в тексте Ганзена все эти параллели и аллюзии улавливаются весьма слабо.

«Гармоническое развитие...», хотя и в меньшей степени, нежели «Дневник обольстителя», связано с некоторыми фактами биографии Киркегора. Так, образ ассессора Вильгельма, равно как и образ Эстетика из первой части, предполагает сходство с реальным персонажем — копенгагенским знакомцем Киркегора, судебным чиновником Петером-Вильгельмом Якобсеном (*Jacobsen, 1799–1849*), известным в Дании эрудитом, историком и романистом. По имеющимся данным можно судить, что портрет «этика», созданный Киркегором, весьма близок к реальному облику Якобсена.

Текст «Гармонического развития...», изъятый Ганзеном из своего логического контекста, также подвергся некоторым сокращениям; в частности, сняты фрагменты, непосредственно связанные со статьями, не вошедшими в «Наслаждение и долг» («Первая любовь», «О браке»). Впрочем, первая редак-

* Образ которого, впрочем, по мнению некоторых комментаторов, мог быть связан с соучеником Киркегора по Копенгагенскому университету П.-Л. Мюллером (*P.-L. Møller, 1814-1865*), известным литературным критиком и автором стихов, считавшихся в копенгагенском обществе эротическими.

** О романтическом мотиве «двойничества» в поэтике Киркегора в связи с его «косвенным методом изложения» и параллелях между автором и персонажами см. *Гайдено 1970*. — С. 44–84, 138–140, 181–185 и др.

*** Эта двусмысленная отсылка к моцартовскому Дон Жуану характерна для большинства героев и многих псевдонимов Киркегора.

ция ганзеновского перевода этой статьи (она публиковалась в «Северном вестнике» в сентябрьской — декабрьской книжках 1885 г под названием «Эстетические и этические начала в развитии личности» и с подзаголовком «Письмо семьянина к эстету из сочинения “Одно из двух”, изданного под псевдонимом *Виктор Эремит*, в Копенгагене, в 1848 году Перевод с датского») существенно отличается от варианта, вошедшего в книгу и свидетельствует о том, что переводчик все же видел и смысловую, и стилистическую ценность сложной киркегоровской композиции «Или-Или» как целого

*

Книга Киркегора–Ганзена не была замечена читающей публикой ни в 90-е, ни в 900-е годы, хотя во многом оказалась созвучной неоромантическим и «протоэкзистенциалистским» настроениям раннего русского декаданса. Вероятно, это отчасти было связано с достаточно резким диссонансом между интонациями автора и переводчика, принадлежавших к совершенно различным культурным рядам. Знакомство русских философов с Киркегором относится уже к 20-м годам, когда они (в первую очередь, Лев Шестов) под влиянием Э. Гуссерля и молодого М. Хайдеггера обратились к немецким переводам киркегоровских книг. При этом, как можно судить по статьям и книгам Шестова, во многом чрезвычайно близкого Киркегору, «Или-Или» по-прежнему не привлекало их внимания, а о существовании русского переложения никто не вспоминал. До последнего времени, таким образом, для русского философского читателя Киркегор оставался «немецким Киркегором», массовый же читатель был знаком лишь с популярной брошюрой В. Быховского и несколькими исследованиями, в большей или меньшей степени насыщенными цитатным материалом. Ситуацию изменил (и весьма кардинально) лишь выход уже упомянутого здесь тома переводов С. Исаева, включающий в себя «Страх и трепет», «Понятие страха» и «Болезнь к смерти». Предлагаемое нами издание, естественно, не ставит перед собой таких фундаментальных задач, какие решались переводчиком и издателями «Страх и трепета» и должно лишь выступить как характерное дополнение или своего рода маргиналия к научной публикации наследия датского философа

Приводимые ниже комментарии призваны помочь неспециалисту проникнуть в весьма герметичный мир ранней киркегоровской философской прозы и восполнить насколько это возможно некоторые несовершенства ганзеновского переложения. При этом мы опирались преимущественно на немецкую и французскую исследовательскую и комментаторскую традиции, а также на давно написанную, но до сих пор единственную в своем роде книгу П. П. Гайденко (см. *Библиографию*).

Предисловие переводчика...

Стр. 10

...в 1841 году получил степень магистра философии... — По окончании курса на теологическом факультете Копенгагенского университета в 1840 г. Киркегор защитил диссертацию «О понятии иронии» («*Om Begrebet Ironi*») с подзаголовком: «Рассмотренное с постоянным обращением к Сократу».

Побывав затем несколько раз в Германии... — Киркегор ездил в Германию в конце 1841 — начале 1842 годов специально для того, чтобы слушать в Берлинском университете новый курс Фр. Шеллинга по «Философии откровения». Как замечает А. Ахутин в комментарии к книге Шестова о Киркегоре (см. *Шестов 1992*), лекции, в большей степени способствовали разочарованию Киркегора в немецкой классической философии, и именно отсюда берут начало его полемические выпады против Фихте, Гегеля и Шеллинга. Курс не был им дослушан до конца (см. письмо брату Петеру от 27.02.42: «Шеллинг пустословит нестерпимо»). И далее: «Я, видно, слишком стар, чтобы слушать лекции, а Шеллинг слишком стар, чтобы их читать. Все его учение о потенциях свидетельствует о глубочайшей импотенции». — *Schelling F. Philosophie der Offenbarung. 1841/42. / Anhang III (Dokumente zu Schellings erstem Vorlesungszyclus in Berlin...)*. — Frankfurt a. M. — 1977. — S. 456. / Пер. с нем. А. Ахутина).

...по выражению Брандеса... — П. Ганзен пользовался книгой Г. Брандеса «*Sören Kirkegaard*» (1877; см. *Библиографию* в настоящем издании) — одним из первых исследований биографии и творчества Киркегора. Впрочем, попытка популяризации Киркегора, предпринятая Брандесом, не была удачной; по мнению современных исследователей (*Гайденко 1970*), «убогость этого анализа по содержанию можно сравнить разве что с поверхностным и до пошлости вульгарным изложением философских идей датского мыслителя его соотечественником Геральдом Геффдингом*» (С. 140).

Но отвлеченные истины гегелевского учения... — Гегель как мыслитель, который никогда не пытается «экзистенциально осуществить то, о чем спекулирует», не удовлетворял Киркегора уже в студенческие годы. Позднее Киркегор практически все свои произведения строил, оппонировав гегельянству. Подробнее литературу, посвященную рецепции гегелевской философии в творчестве Киркегора см. в *Библиографии* к настоящему изданию: *Шестов 1964*, С. 133-140; *Шестов 1991*, а также: *Ans 1956*; *Bense 1948*; *Collins 1943 etc.*

*

* См. *Höffding G. Sören Kirkegaard als Philosoph.* — Stuttgart. — 1896

Афоризмы эстетика

Стр. 15:

Grandeur, savoir, renommee... — в качестве эпиграфа Киркегор использует эпиграмму Поля Пелиссона (Pellisson-Fontanier, 1624-1693), французского поэта-академика. Киркегору она была известна из Лессинговых «Замечаний об эпиграмме».

... *в медном быке Фалариса* — см. Luc. Phalaris, I, 1.

Стр. 18:

... *пример — Свифт...* — источник этого афоризма — сочинение К.-Ф. Флегеля (Flögel) «История комической литературы» («*Geschichte der komischen Literatur*», 1788).

Вот что говорит, например, д-р Гартли... — цитата, следующая далее (в оригинале по-немецки) также заимствована из «Истории...» Флегеля (Т. I., С. 50). Гартли, Дэвид (Hartley, 1705-1707) — английский врач и философ.

Корнелий Непот рассказывает... — см. Eumenes V, 4 ff.

Стр. 19:

Драма Эленшлегера... (сноска) — Эленшлегер Адам Готтлоб (Øhlenschlaeger, 1779-1850) — датский поэт и драматург. «Аладдин» — драма из сб. «Поэтические произведения» (1805).

Стр. 20:

Предание говорит, что Пармениск... — Пармениск — философ-пифагореец, посещавший Лейбайдейскую (трофонийскую) пещеру, в которой давал оракулы Трофоний (см. Zenob. 3, 61). Грубый фетиш в виде неотделанного полена, находившийся на острове Делос — древнейшее изображение богини Лето (см. Athen. XIV, 614).

... *цепь, которою сковали волка Фенриса...* — волк-дракон Фенрис в скандинавских источниках обычно именуется Фенрир. Сюжет о цепи Глейпнир, которую для него по просьбе богов сковали карлики см. в «Младшей Эдде». Датские комментаторы в качестве ближайшего источника реминисценций Киркегора из скандинавских мифов указывают сб. «*Nordiske Folks Overtroe, Guder, Fabler og Helte*» (Kjobenhavn, 1800). См. также: *Grundvig. Nordens Mythologie*.

Стр. 21:

Я, может быть, и постигну истину... — ср. 1 Тим. 2, 4: «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Немецкие комментаторы усматривают здесь полемику с положениями метафизики И.-Г. Фихте, согласно которому, познание истины предполагает познание душевного блаженства (*ein seliges Leben in Gott*).

...открывшего новые пятна на Юпитере... — речь идет о тени, которую отбрасывают спутники Юпитера. Первым ее в 1665 г. наблюдал французский астроном Жан Доминик Кассини-ст. (Cassini, 1625-1712), открывший вращение Юпитера.

Стр. 22:

Du bist vollbracht... — источник цитаты не установлен.

Стр. 23:

... на Локи хоть яд непрерывно капал... — сюжет о наказании Локи находим в «Перебранке Локи» (*Lokasenna*) из «Старшей Эдды» (II). См. прим. к С. 20 настоящего издания.

Стр. 24:

... у меня, как у новголландского зайца... — Новой Голландией в тогдашней Европе называли Австралию. Под «новголландским зайцем» Киркегор здесь имеет в виду кенгуру.

Стр. 25:

Зачем я не родился в бедной семье... — в оригинале речь идет о квартале копенгагенской бедноты *Nyboder*.

...младенцев в Элизиуме... — см. Verg. Aen. VI, 426-429:

Тут же у первых дверей он плач протяжный услышал:

Горько плакали здесь младенцев души, которых

От материнской груди на рассвете сладостной жизни

Рок печальный унес во мрак могилы до срока.

(пер С Ошерова)

Стр. 30:

... как взор Линцея... — Линцей Афетид, двоюродный брат Диоскуров, отличался небывалой остротой зрения, позволявшей ему видеть под землей и водой (см. Apollod. III, 10, 3).

Стр. 31:

Скептик — μεμαστιγμενος — в данном контексте Киркегор отсылает читателя к греческому переводу Книги Иова (15, 2), где это слово употребляется как обозначение божественного наказания.

Стр. 32:

... размышления странствующего схоластика... — ср. с «*fahrender Scholasticus*», т. е. Мефистофелем, из «Фауста» И.-В. Гете (Ч. I, сц. «Рабочая комната Фауста» — первое явление Мефистофеля).

Стр. 34:

Я готов дать за нее свое первородство... — см. Быт. 25, 33.

«*Когда беды и несчастья обрушиваются на человека...*» — пастор произносит здесь проповедь на тему псалма 90 (см. Пс. 90, 4: «Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его»).

Стр. 35:

Маг Вергилий... — немецкие комментаторы находят источник этого сюжета в своде немецких народных книг о «маге Вергилии» (см. *Simrock. Eine schone Historie von der Zauberer Virgilius*).

Стр. 37:

...как и Апис... — описание египетского мифа о рождении божественного быка Аписа см. Herod. II, 153 и III, 27-28.

Стр. 38:

... в бессмертной увертюре... — имеется в виду увертюра из «Дон Жуана» В. А. Моцарта.

Стр. 39:

Клоун выскочил предупредить публику — подобный случай действительно имел место в одном из театров Петербурга. в нач. 40-х г. г.; см. трактовку афоризма у П. Гайденко: «...клоунада в понимании Шлегеля адресовалась публике, сам автор только казался клоуном, но не был им в действительности; у Киркегора ироник — прежде всего сам себе клоун... Ирония Киркегора не приносит освобождения, а косность и несвобода публики не дает возможности иронику перестать быть клоуном и стать самим собой» (Гайденко 1970, С. 76-77).

Стр. 40:

«*Mit einem Kind, dass göttlich, wenn du schweigst...*» — стихи Апулея из «Амура и Психеи» (см. Met. IX) Киркегор цитирует в немецком переводе Й. Керейна Гиссена (1834). Ребенок Психеи и Эроса — Наслаждение (*Voluptas*).

Я кричу (этому меня научили греки...) — ср. с тезисом стоиков о самосохранении как первом естественном побуждении человека.

Стр. 41:

... они — уже достояние вечности... — ср. со значимым для Киркегора Спинозианским положением о познании вещей с точки зрения вечности (*sub specie aeternitatis*) — как необходимых модусов (*aeternus modus*) божественной субстанции (Этика, V, 40).

ДНЕВНИК ОБОЛЬСТИТЕЛЯ

Стр. 51:

...*excerbatio cerebri*... — здесь Киркегор использует выражение из письма к своему постоянному корреспонденту Эмилю Бозену от 17 июля 1838 года (см. Pap. II A 801), где применяет его к себе.

Стр. 54:

...я «обнимаю облако»... — сюжет связан с мифом об Иксионе, царе лапифов в Фессалии, домогавшегося любви Геры—Юноны. Зевс создал ее образ из облака, от соединения которого с Иксионом рождаются кентавры (см. Apollod. epit. I, 20: Pind. Pyth. II, 21-48).

Стр. 56:

... стихотворение, принадлежащее... Гете... — Киркегор цитирует Гете («Jery und Bately, ein Singspiel») по изданию 1828 г. (Stuttgart, Bd. XI, P. 10), находившемуся в его домашней библиотеке.

Стр. 57:

Был богатый человек... — см. 2 Цар. 12.

Стр. 59:

... новеллу Тика... — имеется в виду новелла Людвиг Тика (Tieck, 1773-1853) «Дикая англичанка» («Die wilde Engländerin») из сб. «Чудесный замок» (Das Zauberschloss. — Berlin, 1853). Киркегор знакомился с произведениями немецких романтиков сразу после публикации в современной немецкой периодике.

Стр. 60:

...на основании положений Кювье... — Жорж Кювье (Cuvier, 1769–1832) — французский естествоиспытатель, основатель сравнительной анатомии., «основные положения» которой (в т. ч. метод корреляции и реконструкции строения ископаемых животных, который имеет в виду Йоханнес) изложены им в десяти томах «Исследований...» («Recherches sur les ossements fossiles»); отдельные тома 4-го издания этого труда, пользовавшегося большой популярностью, (Paris, 1834-1836) были в библиотеке Киркегора.

Стр. 64-65:

... опаснее, чем «geradeaus» в фехтовании... маркируешь... in quarto... выпадаешь in secundo... — французские фехтовальные термины. Geradeaus — прямой выпад; in quarto, in secundo — пози-

ции, которые занимают фехтовальщики во время боя (соответственно, четвертая — защиты и вторая — нападения).

Стр. 66:

... *Все существующее разумно...* — один из многочисленных полемических выпадов Киркегора против гегелевской философии; ср. известный тезис из Предисловия к «Философии права»: «*Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig*». См. также возражения Гегеля против извращенного понимания его трактовки действительности (Прим к. § 6 «Логики» и др.).

Стр. 67:

На выставке... тысячи молоденьких девушек... — в оригинале итальянская цитата из «Дон Жуана» В. А. Моцарта (I, 16 — слова Донны Анны: «Он является туда, где кишмя кишит молоденькими девушками»).

Стр. 70:

... *поймать облако вместо Юноны...* — см. прим. к С. 52.

... *Иосиф от жены Потифара...* — См. Быт. 39, 12.

Стр. 72:

... *как горный дух на вздыбленной скале* — в оригинале *Klinterkonge* (дат.). — возможно, аллюзия на народную драму Й.-Л. Хейберга «Гора эльфов» («*Elverhøj*»); ср. акт I, сц. 4.

Alcedo ispida — альбатрос; как считали древние, он вьет себе гнезда прямо в море, на воде.

... *на голубом мундире жандарма...* — в оригинале речь идет о зеленом цвете накидки, который ассоциируется у Йоханнеса с зеленой униформой санитаров Фредерик-госпиталя в Копенгагене.

Стр. 76:

Nox et hiems ... omnist inest — Ovid. Ars amoris, II, 235.

Стр. 77:

Прециозы не так редки среди цыган... — аллюзия на лирическую драму П. А. Вольфа «Прециоза» (1821, музыка М. фон Вебера).

Стр. 81:

... *Психеи, носимой зephyрами...* — у Апулея (см. Met. IX) Психея дуновением Зефира была перенесена в чудесный дворец влюбленного в нее Эроса.

Стр. 83:

Подобно Каину, я изгоняюсь от сего места... — См. Быт. 4, 12.

Стр. 84:

Иосиф, истолковав сон Фараону... — см. Быт. 41, 32: «А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинное слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие».

Стр. 86:

Так звали младшую дочь Лира... — см. В. Шекспир, «Король Лир», акт I, сц. I: «А что Корделии сказать? Ни слова / Любить безгласно» (пер. Б. Пастернака). Киркегор здесь прибегает к своего рода «обнажению приема», поскольку именно из текста шекспировской трагедии было заимствовано имя героини романа, прототипом которой была Регина Ольсен. Возможно, для Киркегора значима была игра имен в соотношении с персонажами Шекспира — не Регина-Регана, но Корделия.

Стр. 87:

... учится стряпать в Королевской кухне... — в Копенгагене до 1860 г. девушки из состоятельных буржуазных семей обучались кулинарному искусству на кухнях при королевском дворе.

Стр. 93:

...и говорю, как Фигаро... — см. П.-О. Бомарше, «Женитьба Фигаро», акт II, явл. 2: «Сюзанна: Уж по части интриг на него можно положиться. **Фигаро**: Две, три, четыре интриги зараз, и пусть они сплетаются и переплетаются. Я рожден быть царедворцем» (пер. Н. Любимова).

Стр. 95:

... принцесса из народной сказки... — в оригинале речь идет о старинной песне «Herr Medelvold» из сб. «Udvalgte danske Viser fra Middelalderen» (1813). Принцесса, игравшая на золотой арфе, звалась Зидзелиль.

Стр. 103:

Терпение — надо хорошенько опутать ее моей сетью... — в оригинале здесь неточная латинская цитата из Овидия: «*quod antea fuit impetus, nunc ratio est*» (ср. Remedia Amoris, 10: «*Et quod nunc ratio est, impetus ante fuit*»); излагая метод обольщения Йоханнеса, Ганзен вновь снимает цитаты, которые чрезмерно «акдемизируют», по его мнению, текст книги.

Стр. 108:

...«*zu Grunde gehen*» — специфически гегелевский термин, означающий здесь «движение к основанию» (см., например, Werke, IV. — S. 157).

Стр. 112:

А вот идет интересное трио... — В оригинале неточная немецкая цитата из стихотворения Й. фон Эйхендорфа (Eichendorff, 1788-1857) «За городом» (*Vor der Stadt / Ausgewählte Werke*, I. — S. 21):

Der eine ist verliebt gar sehr,
Der andre wär' es gerne

Киркегор, видимо, пользовался берлинским изданием 1837 года («Gedichte») и цитировал эти же стихи в одном из писем к Регине Ольсен (см. Briefe. — S. 24).

Стр. 116:

Не надо мне студента... — веселая норвежская песенка, взята Киркегором из сб. «Brage og Idun, et nordisk Fjærdingaaen skrift» (II, 1839, 445). В оригинале по-норвежски:

Og jeg vil ikke have en Student,
Som ligger og læser om Naten,
Men jeg vil have en Officer,
Som gaaer med Fjer udi Hatten.

Harmonia prostabilita — «предустановленная гармония» — термин Г. В. Лейбница (Leibniz, 1646-1716), введенный им в 1696 г. В соответствующих разделах «Монадологии» (§§ 51, 78) Лейбниц учил о божественном установлении взаимного соответствия монад, в т. ч. соответствии души и тела.

Стр. 121:

Non formosus erst... — см. Ovid. Ars amoris, II, 123 (Улисс на острове Калипсо).

Стр. 122:

... *словам одной старинной песни...* — Киркегор цитирует здесь старинную датскую песню «Монах идет по лугу» («Munken gaar i Enge»).

... *все выше и выше...* — в оригинале по-немецки: «*über und über*», что позволяет предположить обращение к философской сфере, связанное обычно у Киркегора с употреблением немецких оборотов. Французские комментаторы находят здесь иронический намек на системотворчество немецких философов-идеалистов.

Стр. 123-124:

на стихотворениях ли Шиллера... на балладах Бюргера... — «Жалоба девушки» — Песнь Теклы из драмы И. Ф. Шиллера «Пикколомини» (акт III, сц. 7); «Ленора» (1773) — известная баллада Г. А. Бюргера (Bürger, 1747-1794) на сюжет о мертвом женихе. Виль-гельм — персонаж баллады, мертвый жених Леноры.

...ей стало как-то unheimlich... — Ганзен перевел «*unheimlich*» как «жутко»; мы восстановили немецкое написание оригинала в связи с теми коннотациями, которые это слово (не имеющее у Киркегора терминологического значения, хотя и отмеченное в других его работах) получило в послекиркегоровской экзистенциалистской литературе и, в частности, у М. Хайдеггера.

Стр. 127:

...ex cosensus gentium... — одно из киркегоровских определений «анонимности общества». В специальном смысле — термин раздела католического катехизиса, трактующего проблему бытия Бога.

Стр. 133:

... душа умирающего в последнюю минуту... — ср. с метафорой упряжки-души из Платонова «Федра» (246b): «...душе предстоит мучиться и крайне напрягаться» (Phaedr, 247b — пер. А. Егунова).

Стр. 134:

... почти ясновидящим, как взор умирающих... — ср. мотив предсмертного ясновидения в описании смерти Сократа у Платона: «Ведь для меня уже настало то время, когда людию собенно бывают способны пророчествовать, — когда им предстоит умереть» (Apolog., 39c, — пер. М. Соловьева), а также с распространенным в античности представлением о профетических способностях умирающих: предсказание Патроклom гибели Гектору (Hom. II. XVI, 851), Гектором — Ахиллу (II. XXII, 358) и проч. Ср. также трактовку предсмертных предсказаний в трактате Цицерона «О гадании» (I, 30).

Стр. 138:

... балаганный рецензент Тропп — персонаж водевиля датского драматурга Й.-Л. Хейберга (Heiberg, 1791-1860) «Рецензент и зверь» (*Recensenten og Dyret*, 1826); комический тип «вечного студента».

Стр. 141:

... особенно рекомендуется Овидием... — см. Amores, I, 577, 578, а также 606 («Пальцами стана коснись, ногу ногою задень», — пер. М. Гаспарова).

Стр. 142:

Auf heimlich erröthender Wange — источник цитаты не установлен.

Стр. 155:

... как Рахиль украдала сердце Лавана... — см. Быт. 31, 19-20, 30, 34 («И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана Арамеянина, потому что не известил его, что удаляется» и проч.). Любопытно, что в тексте оригинала речь идет не о Рахили — жене Иакова, а о Ребекке — его матери. Разумеется, Киркегор не мог допустить подобной ошибки и переводчик, исправив автора, помешал ему продемонстрировать лишний раз, что светски образованный Йоханнес нетверд в священной истории.

Стр. 159:

Молодая же девушка, по словам предания... — имеется в виду героиня народной песни, послужившей основой баллады Й. Баггее-на (Baggesen) «Агнета из Хольмгарда» (Danske Vaerker, 1828, 358) и драматической поэме Г. Х. Андерсена «Агнета и морское чудище», премьера которой состоялась Королевском Датском театре в 1843 г.

Стр. 162:

... будь вы какой-нибудь... семинарист... — в оригинале речь идет о комическом викарии, персонаже рассказов Й.-Л. Хейберга.

Стр. 164:

... была некогда нимфа Кардея... — Кардея (Карна) — римское календарное божество, страж дверей и порога; смотрела в двух направлениях, за что римляне именовали ее также Постворта и Антеворта. Сюжет состязания ее с Янусом, который имеет в виду Киркегор, см. у Овидия (Fasti VI, 101).

Стр. 165:

... играет какую-то шведскую песню... — песня шведского поэта Х. Беллмана «Mark hur var skugga», популярная в Дании 30-40-х г. г. XIX в. (см. Skaldestycken, I-II. — Stockholm, 1814).

Стр. 166:

... говорят, что преступники обзываются к молчанию... — см. Sallust. Catilina, 22

Стр. 168:

... как Эол — бури... — см. Hom. Od., X, 2.

Стр. 170:

... государство, разделившееся в самом себе... — см. Мар. 3, 24 («Если царство разделится в самом себе, не может устоять царство то»), а также Лук. 11, 17.

Стр. 171:

Иаков, заключивший с Лаваном условие... — см. Быт. 30, 31-34.

Стр. 172:

Есть старинная картина... — Киркегор имеет в виду настенную роспись, открытую во время раскопок в Геркулануме (в настоящее время в одном из музеев Неаполя): «Тесей, покидающий Ариадну на острове Наксос». Трактовка известного мифа в этой росписи отличается от традиционной (см., например, Hug. Fab. 42-43), согласно которой Ариадну с о-ва Наксос похищает (с помощью Посейдона) влюбленный в нее Дионис.

Стр. 173:

Что может быть лучше... Коршунова леса... — в оригинале речь идет об идиллической деревушке Нёддебо (Nöddebo) на севере Зеландии, рядом с которой находился большой Коршунов лес (*Gribskov*), где Киркегор любил бывать, когда выезжал из Копенгагена.

Стр. 176:

У меня остался лишь голос мой... — ср. сюжет о безответной любви нимфы Эхо к Нарциссу (Ovid. Met. III, 359-401: «... лишь звук живым у нее сохранился» — пер. С. Шервинского).

Стр. 183

...проект о назначении особой комиссии... — в оригинале «эстетик» упоминает журнал «*Politivennen*», в котором в 1837 г. (вып. 86) была опубликована пьеса «Служанка вчера и сегодня», откуда Киркегор и позаимствовал рассуждения Йоханнеса о туалетах современных служанок.

Стр. 185:

... милое, нетронутое дитя природы — в оригинале Йоханнес говорит: «прекрасная αὐτάρχεια», т. е. «прекрасная самодостаточность», «самоудовлетворенность», «независимость», иронически перенося, тем самым, на служанку Марию идеал стоической этики (согласно Хрисиппу, «αὐτάρχεια есть состояние, которое удовлетворяется необходимым и которое способно приводить жизнь к должному», — SVFIII frg. 272, Arnim).

Стр. 186:

Мертвая буква действует иногда сильнее живого слова... — этот тезис содержит очевидный выпад против учения епископа Н.-Ф.-С. Грундтвига (Grundtvig, 1783-1872), известного датского поэта, проповедника, основателя секты «грундтвигианцев». Суть учения его состояла в отстаивании приоритета «живого слова», лежащего в основании Церкви, перед книжной традицией и критикой Библии. Из *Дневников* Киркегора явствует, что еще будучи студентом, он критически относился к концепции Грундтвига.

Стр. 188:

Соломон говорит... — см. Прит. 24, 26 («В уста целует, кто отвечает словами верными»). Киркегор пользовался немецким переводом Лютера, где это место дано следующим образом: «*Eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuss*».

Стр. 189:

...читая у Платона известное место о любви... — см. Phaedr 231-234e («Речь Лисия»), 237b-241d («Первая речь Сократа») *etc.* В оригинале прямо указывается на текст «Федра».

Один из древних писателей говорит... — в оригинале: «римляне говорят», поскольку имеется в виду латинское выражение «*repetet ab ore magistri*».

Стр. 190:

... как музыка колосса Мемнона — колосс Мемнона — одна из двух фигур, воздвигнутых при фараоне Аменхотепе III в Фивах Египетских и считавшаяся изображением эфиопского царя Мемнона, сына богини Эос. Поврежденная во время землетрясения статуя издавала на рассвете звук, который воспринимался как приветствие Мемнона своей матери Эос (Paus. I, 42, 3).

... упоминаемом еще Овидием... — см. *Arg amoris*, II, 153-155 («Жен мужа и жены мужей пусть ссорами гонят, / Словно меж ними в суде длится неконченный спор. / Это — супружества часть, в законном приданное браке...» — *пер. М. Гаспарова*).

... одним из даров, заключающихся в поясе Венеры... — дар обольщения. По Гомеру (см. II. XIV, 214-221), Афродита обладала поясом, заключающем «все обаяния»: «любовь и желанья, шепот любви, изъяснения, льстивые речи» (*пер. Н. И. Гнедича*) и проч.

Стр. 193:

...если заснешь, положив голову на лесной холм, то увидишь во сне виллису... — Киркегор имеет в виду песню Матушки Карен

(«*Jeg lagde mit Hoved til Elverhoj...*») из драмы Й.-Л. Хейберга «Гора эльфов» (см. прим. к С. 70 настоящего издания).

Jacta est alea — слова Цезаря, сказанные им, согласно исторической традиции, перед тем, как отдать войску приказ выступить из Галлии и перейти через пограничную реку Рубикон, что означало объявление гражданской войны римскому сенату (см. Svet. Caesar, 32).

Стр. 175:

«*Oderint, dum metuant*» — цитата из трагедии «Атрей» римского поэта Луция Акция (Accius, 170 г. до н. э. — 90 до н. э.). Киркегор приводит ее по Светонию (Caligula, 30).

Стр. 198:

Она похожа теперь на Афродиту... — в оригинале: «на Анадиомену». Анадиомена («Появившаяся на поверхности моря») — одно из прозвищ Афродиты.

Стр. 199:

... между Пирамом и Фисбой — см. Ovid. Met. IV, 64 (55-166).

Стр. 201:

...компрометирующего знака... — см. Horat. Od. II, 8.

Стр. 203:

Я оставляю правоверным весь Магометов рай... — в оригинале аллюзия на сюжет датской легенды об охоте короля Вальдемара (J. M. Thieles «Danske Folkesagn», I, 90).

«*Бытие для другого*» — *Sein fur Anderes* — категория гегелевской философии (см. Наука логики, 1; Энциклопедия философских наук, 1 [Логика], §§ 84-111). Когда «эстетик» применяет к женщине эту категорию, он имеет в виду различие между женщиной как непосредственно природным началом (субстанцией) и мужчиной как началом рациональным по преимуществу (рефлексией).

Стр. 205:

... навел на Адама сон... — см. Быт. 2, 21.

Стр. 206:

...изображений Весты... — см. Ovid. Fasti, VI, 292 (295-298).

... женщина ведь вообще похожа на цветок... — возможно, здесь аллюзия на стихотворение Г. Гейне «*Du bist wie eine Blume*» («Ты как цветок...»).

Стр. 208:

... в рассказах о девушках... — «эстетик» подразумевает сюжет «Принцессы Турандот» («*Geschichte des Prinzen Kalaf und der Prinzessin Turandot*») из сборника арабских сказок («*Erzählungen und Märchen*», Prenzlau, 1825), вошедших в моду в первой четверти XIX века в среде европейских романтиков.

Какой-то сказочный «Синяя Борода»... — Киркегор был знаком с этим сюжетом в немецкой версии Л. Тика («*Der Blaubart, ein Märchen in fünf Akten*»).

Стр. 211:

Представьте себе женщину... — два следующих абзаца в оригинале представляли собой очерк этико-эстетического идеала Йоханнеса, насыщенный многочисленными литературными и мифологическими аллюзиями, которые переводчик опустил.

Стр. 212-213:

... в одном таинственном историко-филологическом уголке — см. Nitch. Dictionnaire Mythologique, II. — S. 148.

... я согласен с Эврипидом... — см. Eur. Med. V, 250.

... подсматривать за ней в купальне... — см. Apollod. III, 4, 4.

... Церлина... — персонаж Моцартового «Дон-Жуана».

Стр. 214:

... тайна силы Самсона была в его волосах... — см. Суд. 13-16.

Лети, моя орлица, лети — в оригинале скрытая цитата из стихотворения Хр. Винтера «*Flyv, Fugl, flyv over Furesoens Vande...*» из его поэтического сборника 1828 г.

...огорчился бы, как Пигмалион... — см. Ovid. Met. X, 243.

Стр. 216:

...гоготание капитолийских гусей... — см. Liv. V, 47, 4.

Стр. 215:

Алфей влюбился... в нимфу Арефузу — см. Paus. V, 7, 2-3.

Стр. 218:

Не мудрено, что Гретхен спрашивала Фауста о вере... — см. Гете, Фауст, часть I, сц. «Сад Марты» (ст. 3058 и далее): «Ты в церковь не ходил который год? / Ты в бога веришь ли? ... Так ты не веришь, значит? ... А присмотреться — свет Христов / Тебя затронул очень мало» (пер. Б. Пастернака).

Стр. 220:

... немецкий перевод известной сказки *Апулея*... — См. прим. к С. 37 настоящего издания.

Стр. 221:

... мы читали, что некогда жило на земле поколение... — аллюзия на речь Аристофана из Платонова «Пира» (189 С — 193 Е).
... *ассірію отен*... — см. Cic. De divinat I, 103.

Стр. 222:

Если Электрион забывался... — неточность переводчика; в оригинале речь идет об Алектрионе (греч. «петух»), слуге Ареса, стоявшем на страже во время встреч своего господина с Афродитой. Он должен был будить их до наступления утра, но однажды проспал, за что и был превращен Аресом в петуха. См. Nitsch, I, S. 535.

Стр. 223:

... превратиться с горя в гелиотроп... — см. Ovid. Met. IV, 234.
... *Нептун для одной нимфы*... — имеется в виду нимфа Кенида, возлюбленная Посейдона (Нептуна), превращенная им в мужчину — лапифа Кенея. См. Ovid. Met. XII, 458-531.

*

Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал

Стр. 227:

Les grandes passions sont solitaires... — в оригинале цитата из Ф. Р. де Шатобриана служит эпиграфом ко всей второй части «Или-Или» («Из бумаг В»).

Стр. 231:

... подобно ... легиону изгнанных бесов... — см. Мар. 5, 9; Лук. 8, 30.
... как евреи ходили кругом Иерихона... — Ис. Нав. 6, 1-19.

Стр. 234:

Минута эта ... в отвлеченном смысле... — в оригинале речь идет о минуте или мгновении («*Öieblik*» по-датски, «*Augenblick*» по-немецки, — так, в киркегоровском смысле причастности настоящего

вечному использует это слово М. Хайдеггер) в контексте Платонова «Парменида» — «теперь» или «вдруг» как граница между «было» и «будет» (см. Plat. Parm. 152). Для Киркегора это понятие стоит в ряду Платонова же «припоминания» и Гегелева «опосредования» и используется в «Страхе и трепете» и «Повторении» для описания момента экзистенциальной трансценденции («... вечное, которого до тех пор не было, в это мгновение стало быть», — пер. Л. Шестова). См. комментарий А. Ахутина в: Шестов 1992. — С. 264-265, Прим. 5, а также: Исаев 1993. — С. 355, Прим. 48; С. 378, Прим. 12.

Стр. 236:

В сказках говорится... — сюжет заимствован Киркегором из сборника Вольфа («*Mythologie der Feen und Elfen vom Ursprunge dieses Glaubens bis auf die neusten Zeiten*». — I. — Weimar, 1828. — S. 153).

Стр. 238:

... возмутительным соблазном, нелепостью... — в оригинале аллюзия на слова апостола Павла: «А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1, 23).

... чем-то вроде рук железной девы... — имеется в виду средневековое орудие пыток, «*cette demoiselle*».

... vanitas vanitatum [et omnia] vanitas... — см. Еккл. 1, 2.

So zieh' ich hin in alle Ferne... — фрагмент стихотворения И. В. Гете «Свободомыслие» («*Freiheit*») из «Западно-восточного дивана» («Книга певца»).

Стр. 240:

... подобно Катону... — имеется в виду призыв М. Порция Катона Старшего (т. н. Цензора — 234-149 до н. э.) «*Ceterum censeo Carthaginem esse delendam*» («Карфаген должен быть разрушен»), повторявшийся им на каждом заседании Сената (Plut. Cato XXVII).

... и обрѣтешь весь мир... — см. Матф. 16, 26: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?». Ср. также обращение к этому же месту далее на С. 239 и С. 290.

Стр. 239:

... character indelebilis... — аллюзия на термин католического богословия — атрибут крещения.

Стр. 245:

... как маленькое испанское «s»... — звук «s» имеет некоторые специфические особенности произнесения в испанском языке (подобно русскому «тсс», обозначающему призыв к тишине).

Стр. 248:

... *считаться с деяниями двух различных родов...* — в оригинале оговоренная аллюзия на текст из Апокалипсиса: «...и дела их идут вслед за ними» (см. Откр. 14, 13).

Стр. 249:

Во всех этих рассуждениях... — здесь и далее скрытая полемика с философией истории Гегеля, пародирование и игра с его терминологией («заклинатели духов всемирной истории», «необходимость и свобода»). Вместе с тем, Киркегор формулирует здесь и начала своей философии личности, противопоставляя ее философии как таковой (гегелевскому идеализму, в первую очередь).

Стр. 251:

...*глаза ведь редко бывают сыты...* — имеется в виду пословица, которую Киркегор полностью приводит в «*Διαψαλματα*» (см. «Афоризмы эстетика», С. 30 настоящего издания).

Стр. 261:

...*повелителя Рима Нерона...* — Фрагмент о Нероне достаточно автономен в структуре «Гармонического развития...» и исключительно важен в контексте позднейших работ Киркегора (в особенности, «Страха и трепета» и «Понятия страха»). В «личной мифологии» Киркегора фигура Нерона занимает свое место рядом с Агасфёром, Дон Жуаном, Фаустом *etc.* — как своеобразное воплощение демонического эстетизма. Тем самым киркегоровский Нерон оказывается еще одним стадийным вариантом «эстетика» или, шире, «романтического человека»: «При рассмотрении очень емкого образа Нерона нельзя не заметить, что, по существу, эстетик-романтик Гофман — тот же Нерон, и разница между ними состоит, пожалуй, только в том, что первый заливал кровью подданных подвалы своих дворцов, а второй — страницы своих романов*. Оба стремились к наслаждению, и оба боялись самих себя: только кошмары первого сублимировались в том, что он терзал реальных людей, тогда как второй терзал порождения собственной фантазии» (Гайденко 1970, С. 146, см. также С. 145-153, где подробно рассматривается фрагмент о Нероне). Киркегоровский анализ духовной структуры Нерона можно сопоставить с исследованием феномена властолюбия у И.-Г. Фихте

* О биографической и духовной близости многих персонажей Киркегора к судьбе Гофмана и некоторых других литераторов-романтиков (в первую очередь, Гельдерлина, в контексте жизни которого читатели-современники «Или-Или» могли воспринимать киркегоровскую критику «культы томления и меланхолии»), а также о зависимости «метода псевдонимов» от стилистики гофмановской прозы см цитируемое сочинение Гайденко, С. 130-140 — Прим. ред

времен *Reden an die deutsche Nation* (см. *Вышеславцев Б. Этика Фихте*. — М., 1914. — С. 366-367 и далее), с той разницей, что Фихте избирает в качестве модели Наполеона. Характеристики Нерона, приводимые Киркегором («непостижимая улыбка», «страх», вкус к преступлению ради зрелища, склонность к игре с эпикурейскими и циническими идеями *etc.*) восходят к Светонию и Тациту.

Стр. 265:

... *желания Калигулы...* — см. Svet. Caligula 30.

Стр. 266:

... *повод фарисейски благодарить Бога...* — см. Лук. 18, 11: «Фарисей став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь...».

Что же такое меланхолия? — критика меланхолии с точки зрения «сознательного просветления», будучи своего рода апофатическим изложением оснований этической стадии, направлена против *quasi*-эпикурейского (и, отчасти, романтического) идеала непосредственности, отстаиваемого в первой части в афоризмах и рассуждениях «эстетика».

Стр. 275:

...*как евангельские работники...*» — см. Матф. 20, 3.

Стр. 280:

...*застольной речью на греческом симпозионе...* — имеется в виду традиция греческих философских пиров (*symposion*) и застольных речей-симпосий, образцы которых дает платоновский «Пир», сочинения Ксенофонта, Плутарха и проч.

Стр. 281:

... *сказку Музеуса...* — Иоганн Карл Август Музеус (*Musäus*, 1735-1787) — немецкий писатель. Сюжет, который приводит ассессор Вильгельм (в оригинале по-немецки), взят из сборника «Народные сказки немцев» (1782-1786; см. издание, которым пользовался Киркегор: *Volksmärchen der Deutschen*. — Gotha, 1787. — I. — S. 164), представляющего собой обработки народных преданий в духе Виланда. К сборникам Музеуса в дальнейшем постоянно обращались немецкие романтики: Э. Т. А. Гофман, Л. Тик, А. Шамиссо.

Стр. 283:

... *per mare* — см. Hor. Epist. I, 1, 46.

Стр. 285:

Но дух... не позволяет долго шутить с собою... — в оригинале парафраз евангельского текста: «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится человекам...» (см. Матф. 12, 31; также Лук. 12, 10).

Стр. 290:

... женщина, предлагавшая Тарквинию... — этой женщиной была Куманская сивилла; предание о покупке у нее первым царем Рима Тарквинием Древним (Priscus; 615-758 г. г. до н. э.) Сивиллинных книг см. у Дионисия Галикарнасского (Dion. Halic. IV, 62).

Стр. 292:

Ты не раз говорил... — См. соответствующие места в «Афоризмах эстетика»: «Что такое поэт?..» и «Сопrotивляться — бесполезно...» (соответственно С. 15 и С. 25 настоящего издания).

... эти божественные образы среди жизненной суеты — ср. слова Алкивиада о Сократе из Платонова «Пира» (см. Conv. 216e).

Стр. 293:

... всякое мышление начинается с сомнения... — представление о сомнении как исходном пункте философии принадлежит Р. Декарту: «... если истинно, что я сомневаюсь,.. то равным образом истинно, и то, что я мыслю; да и чем иным может быть сомнение, как не неким родом мышления?» (Разыскание истины посредством естественного света // Соч. в 2-х т. т. — М., 1989. — Т. 1. — С. 172, пер. С. Шейнман-Топштейн) и т. д. Это представление впоследствии развивается в философии Канта и, особенно, Гегеля (в «Энциклопедии философских наук», «Науке логики» и, специфическим образом, в «Философии религии») который и выступает в киркегоровском тексте под именем «новейшей философии» (см. также прим. к С. 281 настоящего издания). Другой объект киркегоровской критики — датские гегельянцы, в первую очередь Х.-Л. Мартенсен (Martensen, 1808-1884). Наступающее на этической стадии «истинное отчаяние» Киркегор противопоставляет картезиански-гегельянскому философскому сомнению как подлинное основание личности мнимому.

Стр. 294:

... некоторые немецкие философы... — Киркегор имеет в виду Гегеля и его последователей (см. Гайденко 1970. — С. 137: «...Обычно философом Киркегор без дальнейших разъяснений называет Гегеля, подобно тому как в средние века называли философом Аристотеля, не считая нужным уточнять имя, — в Дании 40-х годов в лице

Гегеля выступал не философ, а сама философия.»). Любопытно, что далее Киркегор говорит о гегельянстве как о своего рода квиетизме (С. 289) в связи в его трактовкой «царства законов» как «спокойного» отображения мира, отделяя тем самым позицию «этика» от позиции не только «эстетика», но и «философа».

... они живут в отчаянии — отчаяние «философа», как и отчаяние эстетика не является с точки зрения «этика» подлинным отчаянием, которое может открыть личности путь к религиозному переживанию и тем самым — к высшей, религиозной, стадии, отменяющей равно и эстетическую и этическую (т. е. собственно и «наслаждение» и «долг»). Переход от этической стадии к религиозной (от «рыцаря самоотречения» к «рыцарю веры») рассматривается в более поздних работах Киркегора — «Страхе и трепете», «Понятии страха», «Философских крохах», «Болезни к смерти» и проч.

Стр. 305:

... в Писании сказано... — Ср. Матф. 12, 36 («Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда»). См. также Матф. 12, 31; Лук. 12, 10.

Стр. 306:

... я охотно признаю за философами право утверждать... — *... философы говорят...* — здесь один из существенных моментов эпистемологической полемики Киркегора с немецким идеализмом, поскольку проблема Абсолюта (и личности), как и проблема противоречия свободы и необходимости стоит в центре философской системы Гегеля. В конечном счете, гегелевскому представлению (в трактовке Киркегора) о том, что абсолют выбирает индивида («мое мышление об абсолютe — самомышление абсолютa во мне») в «Или-Или» противопоставлена идея свободного выбора личности: «...только абсолютно выбирая себя самого, я познаю себя самого в своем абсолютном и бесконечном значении, — я сам — абсолют, и только самого себя могу выбрать абсолютно, вследствие чего и становлюсь свободной, сознательной личностью». Выбор между необходимостью, обусловившей мышление и явление абсолютa, и свободой, которая обуславливает добро, решается в пользу свободы, которая позволяет и принуждает личность различать добро и зло (в отличие от гегелевского диалектического снятия).

Стр. 307:

Добро обуславливается... свободой... — подробнее философский контекст и интерпретацию этого положения см.: *Гайденко 1970*. — С. 165-167, в т. ч. сноску на С. 166-167. Ср. также с платоновской концепцией недобровольного зла (Prot. 345d).

Стр. 315:

... как *Нарцисс*... — см. Ovid. Met. III, 407ff.

Стр. 316:

... «случайные встречные ... оседлый гражданин мира...» — в оригинале цитата из стихотворения датского врача Э. Франкенау:

Er liig en flygtig Ven,
Son paa en Reise man möder

Стр. 318:

... своего учителя *Скриба*... — Скриб, Эжен (Scribe, 1791-1861) французский драматург, популярный в эпоху Луи-Филиппа водевиллист и комедиограф. Будучи одним из создателей т. н. «хорошо сделанной драмы», он в своих сочинениях травестировал основные ценности романтической эстетики с точки зрения «человека улицы Сен-Дени», что и заставляет киркегоровского «этика» обвинять его в «глумлении над сентиментальностью людей» *etc.* Для Киркегора Скриб в своем роде был не менее важной фигурой, нежели Моцарт или Гете, и представлял особое — низовое, но влиятельное — качество эстетизма. В первой части «Или-Или» Скрибу была посвящена отдельная статья — «Первая любовь» (по названию его одноименного водевиля — «Les premières amours», 1825).

Стр. 319:

... время ведь пожирает своих детей... — своих детей, будущих богов-олимпийцев пожирал титан Кронос (см. Hes. Theog. 154-182 и далее; Apollod. I, I, 5). Народная этимология сближала имя Кроноса с именем Хроноса, олицетворявшего время.

Стр. 322:

Во времена древней Греции... — ассесор Вильгельм имеет в виду этическое учение и образ жизни киников и, отчасти, стоиков (см., например, Diog. Laert. VI, 240-260 p.; VII *etc.*).

Стр. 326:

... слова пророка *Самуила*... — См. 1 Цар. 15, 22 («Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов»).

Стр. 327:

... свое святое *святых*... — в оригинале по-гречески: ἅδὲ τοῦ.
... сказано в *Писании*... — см. Матф. 10, 37 («Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня...»).

Стр. 328:

... *Людвига Блакфельда*... — вымышленный персонаж; в оригинале его письмо приводилось в виде сноски к основному тексту.

Стр. 332:

...*вся жизнь — одна сплошная сцена*... — в оригинале аллюзия не на известную сентенцию Шекспира, как мог бы предположить читатель русского переложения (в частности, и из-за следующей затем цитатой из «Гамлета»), а на происходящую из известной басни Эзопа поговорку «*Nic Rhodus, his salta*» («Здесь Родос — здесь и прыгай!»); жизнь каждого человека, таким образом, предполагает, по «этике», необходимость реализации здесь и сейчас. В переложении Ганзена возникают новые коннотации, отчасти смещающие смысл сентенции.

Стр. 333:

Напомню тебе здесь определение... — ср. с «самоопределением» Бога в Ветхом Завете: Я есть тот, кто есть (Сущий) — Исх. 3, 14.

Стр. 334:

Как противоположность эстетическому мировоззрению ... — поскольку речь идет не только и не столько о Скрибе, здесь необходимо отметить существенное расхождение этических воззрений ассесора Вильгельма (и, отчасти, самого Киркегора) с кантовской этикой «Критики практического разума» (ср., например: «Каждая вещь в природе действует по законам. Только разумное существо имеет волю или способность поступать согласно представлению о законах, т. е. согласно принципам. Так как для выведения поступков из законов требуется разум, то воля есть не что иное, как практический разум». — Кант И. Соч. — М., 1964. — Т. 4 (1). — С. 250). Подробнее о различии между киркегоровской и кантовской этикой см. *Гайдено* 1970, С. 167-180.

Стр. 337:

...*гоняясь за обманчивыми миражами*... — почти все рассуждения ассесора Вильгельма о различии «этика» и «эстетика» переведены Ганзеном чрезвычайно вольно и конспективно, с утратами существенных оттенков смысла, игры слов, *etc.* В частности, здесь в оригинале аллюзия на евангельский текст: «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!» (см. Матф. 23, 24).

Стр. 335:

...*познай себя самого*... — в оригинале *γινῶθι σαυτόν* — надпись, высеченная на фронтоне храма Аполлона в Дельфах; согласно Платону, основной тезис гносеологии Сократа (см., напр., *Phaedr* 230a).

Стр. 338:

... как Адам — по Писанию — познал Еву... — см. Быт. 4, 1.

Стр. 339:

... начала существенные и случайные... — в оригинале латинское схоластическое обозначение этой оппозиции: «*inter et enter*».

Стр. 340:

ката δύωσις — оборот, встречающийся в естественнонаучных трактатах Аристотеля (см. «Физика», «О небе» и проч.).

... огонь, виденный Моисеем... — см. Исх. 3, 2.

...среди гуситов были сектанты... — т. н. «адамиты».

Стр. 345:

... учебника Балле — в оригинале «катехизис Балле». Балле (Valle, 1744-1816) — датский епископ, церковный писатель.

... пресловутых «людей долга»... — в оригинале речь идет о «людях Гренаа» — т. н. «*Molboer*» — жителях маленького селения Гренаа в ютландской провинции Молс, пользовавшихся в Дании славой людей недалеких, но верных своему долгу. Их имя стало нарицательным, нечто в роде «беотийцев» у греков.

Стр. 352:

«*Procul o procul este profani*» — см. Verg. Aen. VI.

Стр. 357:

Кто б согласился в мире жить... — застольная песня И. Багтесена.

Стр. 360:

Прометей и Эпиметей... — Киркегор обыгрывает этимологию имен «культурных героев» древнегреческого пантеона: Прометей — «мыслящий прежде», «предвидящий»; Эпиметей — «мыслящий после», «крепкий задним умом» (см. Hes. Theog. 507-511 etc.).

Стр. 363:

... полевые лилии, которые не трудятся, не прядут... — см. Лук. 12, 27, 24.

Стр. 364:

... напоминания о лисице и винограде... — по мнению французских комментаторов, Киркегор (или, скорее, ассесор Вильгельм), обращаясь к сюжету известной басни Эзопа, подразумевает под «лисицей» себя самого.

Стр. 370:

... *они глядели не на Небо, а на Сусанну...* — сюжет о Сусанне и старцах Киркегор заимствует из апокрифических приложений к каноническому тексту Книги пророка Даниила, содержащихся в греческих переводах Библии (см. Дан. 13, 9, 12).

Стр. 371:

... *и сказать, как Югурта...* — Югурта (Jugurta, 160-104 до н. э.) — царь Нумидии, после многолетней войны с Римом (Югуртинская война, 111-105 до н. э.) был пленником проведен в триумфе Г. Мария; казнен на Капитолии. Цитируемые слова сказаны им о Риме, известном продажностью сената, аристократии и городского плебса (см. Sallust. Jugurta 35).

Стр. 372:

... *является для него dira necessitas* — см. Hor. Od. III, 24, 6.

Стр. 376:

... *открывает врата в блаженную олимпийскую обитель...* — в оригинале аллюзия на слова Кинейя о римском сенате: «собрание царей» (см. Plut. Pyrrhus, 19). В переводе Ганзена это противопоставленное аристократии собрание царей, чьим достоянием должна стать радость, превратилось во «всех и каждого».

Стр. 377:

... *все же остальные люди..* — в оригинале *numerus* — «множество» — реминисценция из Горация (Epist. 1, 2, 27).

... *расточительности природы...* — в оригинале Киркегор говорит о «расточительности Творца», а не «природы».

Стр. 381:

... *в устах поэта...* — ассесор Вильгельм цитирует фрагменты стихотворения Й. Багтесена «Приобретение».

Стр. 382:

... *покорить целые народы и царства...* — см. Прит. 16, 32.

Стр. 383:

... *на мое предыдущее письмо...* — весь следующий далее абзац Ганзен перевел конспективно и переработал текст, выпуская все отсылки к пьесе Скриба «Первая любовь» и одноименной статье первой части «Или-Или».

Стр. 385:

...подобна священному налогу у древних... — речь идет о выкупе для поддержки святилища (половина сикля), согласно Второй Книге Моисеевой, установленном Богом, среди прочего, на горе Синай (см. Исх. 30, 12-16).

Стр. 386-387:

... подобно Каспару Гаузеру... — загадочный найденыш, появившийся в Нюрнберге в 1828 г. История его жизни и таинственной смерти достаточно долго занимала общественное мнение Европы и послужила источником авантюрно-романтических сюжетов.

... к известному роману... — «Урна уединенной долины», роман немецкого писателя середины XIX в. Л. Ф. фон Бильдерберка.

Стр. 388:

... слова донны Клары... — персонаж драмы П. Вольфа «Прециоза» (см. прим. к С. 72 настоящего издания).

Стр. 392:

... мудрец, поучись мудрости у муравья... — в оригинале «Соломон, поучись мудрости у муравья» (см. Прит. 6, 6: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым»). Здесь и далее Ганзен заменяет обращение к Соломону обращением к «мудрецу»

Стр. 395:

Эта проклятая точка... — в семитских системах письменности не употребляются знаки, обозначающие гласные. В некоторых текстах (например, в Библии) для прояснения смысла используются т. н. огласовки (вокализмы).

Стр. 397:

... духовный взор как бы подымал его над всем этим... — см. греческую этимологию слова *ἀνθρώπος* («человек», «мужчина»): «тот, кто смотрит вверх». Ср. также миф о том, что Прометей создал людей смотрящими в небо, подобно богам (Ovid. Met. I, 81-88).

Стр. 398:

... эти умники не «мудры, как зми»... — см. Быт. 3, 1.

... воссесть посреди площади и плакать... — ср. Иов. 2, 8.

Стр. 401:

... как древние авгуры... — Катон говорил об этрусских гарусниках (прорицателях), что они не могут без смеха смотреть друг другу в глаза; см. Cic. De divinat. II. 51; De nat. deor. I, 71.

Стр. 404:

... *член мистического общества Συμπαρασπυρομενον* — французские комментаторы связывают появление этого греческого слова на титульных листах трех статей первой части («О трагизме античном и трагизме современном», «Сумеречные размышления» и «Несчастнейший») и в тексте «Гармонического развития...» с поэмой Лукиана (см. Dial. mor. 2, 1) и словами апостола Павла об «омертвелости» Авраама и об «умерших в вере»: см. Евр. 11, 12, 13.

В Греции жил мудрец... — Мисон, сын тирана Стримона, родом из Хен на Эге — один из полуполюгендарных греческих семи мудрецов; древний писатель — Аристоксен из Тарента (4 в. до н. э.); Киркегор приводит его сообщение по Диогену Лаэртию (I, 107-108).

Стр. 405:

...*посвящают в великие тайны жизни...* — в оригинале: «в великие мистерии, прежде малых» — реминисценция из диалога Платона «Горгий» (см. 497c), где речь идет об Элевсинских (Великих) и Афинских (Малых) мистериях (говоря о посвящении в Великие мистерии, прежде Малых, Сократ у Платона осуждает презрение к постепенности познания и стремление сразу перейти к обобщениям).

Стр. 406:

Тот, кто смотрит на дружбу с этической точки зрения... — в своем переводе этого фрагмента Ганзен снимает прямые отсылки к Аристотелевой «Этике» (VIII, 9, 11) и кантовскому категорическому императиву, которые в оригинале включают суждение «этика» в более широкий философско-полемиический контекст.

Писание учит нас... — см. 2 Кор. 5, 10.

Стр. 407:

...*quos petis, hic est...* — см. Hor. Epist. I, 11, 29.

Стр. 416:

...*человек может в страхе и трепете...* — см. Филип. 2, 12: «... со страхом и трепетом совершайте свое спасение...». Идею «пробуждения» человека к спасению, обретения веры в «страхе и трепете» становится для Киркегора главной в следующих его работах философско-теологического характера, начиная со «Страха и трепета» и «Повторения», изданных в том же 1843 г. См. Шестов 1992, предисловие и комментарии С. Исаева к Кьеркегор 1993 и проч.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Лев Шестов

Киркегард — религиозный философ

Текст публикуется по изданию: *Лев Шестов. Умозрение и откровение. Религиозная философия Владимира Соловьева и другие статьи* /Изд первое. — Париж: YMCA-Press, 1964. — С. 233-258.

Предлагаемая вниманию читателя статья Льва Исааковича Шестова (1866— 1938) составлена им на основании пяти лекций, прочитанных по-французски в *Radio-Paris* осенью 1937 года (т. е. уже после окончания книги «Киркегард и экзистенциальная философия» и ее выхода в свет во французском переводе) и представляет своеобразное резюме шестовских занятий Киркегором*. Впервые она была опубликована по-французски в *Les Cahiers de Radio-Paris* (15.12 1937) и по-русски в журнале «Русские Записки» (№3, 1938) В посмертном издании — книге «Умозрение и откровение» — эта статья дополняла анализ экзистенциальной философии Киркегора, данный Шестовым в статье «Гегель или Иов» (ранняя редакция первой главы книги о Киркегоре) и соседствовала с заметками о философии М. Бубера, К. Ясперса и проч. Для большинства русских читателей именно шестовские статьи из «Умозрения и откровения» (вместе со статьей С. Аверинцева из «Философской Энциклопедии» и различными по уровню и задачам, но равно сыгравшими свою роль книгами Б. Быховского и П. Гайденко) были первым шагом к столь популярному у нас в 70-е годы экзистенциализму и киркегоровской «теологии абсурда». Поскольку настоящее издание посвящено, в первую очередь, рецепции Киркегора (в том числе, и профессиональной русской философией), публикация старой работы Шестова кажется вполне уместным здесь комментарием — в равной степени как к религиозно-этической концепции Киркегора, так и к ее интерпретации в России рубежа XIX и XX веков

Стр. 423:

Карл Барт весь вышел из Киркегарда — Карл Барт (*Barth*; 1886—1968) испытал влияние Киркегора в период работы над Комментариями к «Посланию к Римлянам (*Römerbriefe*, 1918) и способствовал его известности среди европейских (в первую очередь, немецких философов). По признанию Барта, его путь лежал «через Киркегарда к Лютеру и Кальвину, к Павлу и Иеремии» (*Barth K. Das Wort Gottes und die Theologie (Aufsatzsammlung)*. — München, 1924. — S. 133, 164; перевод А. Ахутина — см. комментарий к изданию: *Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная философия*. — М., 1992. — С. 256).

* В 1928 году Шестов впервые познакомился с его работами по совету Э. Гуссерля, а в 1932 читал в Сорбонне курс «Достоевский и Киркегард» и с тех пор обращался к Киркегору постоянно. Более подробное освещение проблемы «Шестов и Киркегор» см. в Примечаниях А. Ахутина к изданию *Шестов 1992* — С. 239-246.

... можно сказать то же и о Ясперсе и Гейдеггере — К. Ясперс рассматривал философию Киркегора (в одном ряду с философией Ницше) в книге *Vernunft und Existenz* (Groningen, 1935). Критическому разбору последней Шестов посвятил статью «Sine effusione sanguinis: О философской честности», впоследствии вошедшую в сб. «Умозрение и откровение».

В работах М. Хайдеггера раннего периода содержатся скрытые аллюзии и прямые отсылки к текстам Киркегора. Зависимость экзистенциализма Хайдеггера от идей Киркегора казалась совершенно очевидной его современникам (Э. Гуссерлю, на мнение которого ссылался Шестов (что сомнительно), М. Буберу и др.). См. также: *Przywara E. Das Geheimnis Kierkegaards*. — München-Berlin, 1929.

Литература о Киркегарде в Германии разрослась безмерно — с начала 900-х г. г. Киркегор стал одним из самых популярных в Германии философов; именно немецкие философы представили Киркегора всему миру. За сравнительно короткий срок сочинения Киркегора выдержали несколько изданий; в том числе, были выпущены в свет академические собрания сочинений, дневников и писем (см. *Библиографию* в настоящем издании).

Стр. 425:

... написанное им составило 28 томов — Шестов читал и цитировал Киркегора по немецким изданиям 900-х — 20-х г. г. (*Gesammelte Werke* / Hrsg. von H. Gottsched und Chr. Schrempf. — Bd. I–XII. — Jena, 1909–1922; *Die Tagebücher* / Ausg. und übers. von Th. Haecker. — Bd. I–II. — Innsbruck, 1923; *Leben und Walten der Liebe*. — Jena, 1924; *Ausgewählte christliche Reden* / Übers. von J. von Reincke. — Giessen, 1909). В статье речь идет о следующих сочинениях Киркегора: *Enten-eller* (Шестов переводит название как «Все или ничего» в соответствии с принятой традицией), *Frýgt og Bæven, dialektisk Lyrik af Johannes de Silentio* («Страх и трепет, диалектическая лирика Йоханнеса Молчальника», 1843), *Gjentagelsen, et Forsøg i den eksperimenterende Psykologi af Constantin Constantinus* («Повторение, попытка экспериментальной психологии Константина Констанциуса», 1843), *Begrebet Angest, en simpel paapegende Overvejelse i Retning af det dogmatiske Problem om Arvesynden af Vigilius Hafniensis* («Понятие страха, психологическое исследование Вигилием Хафниенсисом [Сторожем Копенгагенским] проблемы наследственного греха, 1844), *Sygdommen til Døden... af Anti-Climacus* («Болезнь к смерти — изложение Анти-Климакусом христианской психологии ради наставления и пробуждения», 1849), *Einübung in Christentum* («Упражнения в христианстве», 1850) *Stadier paa Livets Vei Studier af Forsskjellige udg. Hilarius Bogbinder* («Стадии жизненного пути, этюды различных авторов, изданные Хиларием Переплетчиком», 1845), *Filosofiske Smaller eller en Smule Filosofi*,

af *Johannes Climacus* (Философские крохи, или немного философии Йоханнеса Климакуса, 1844) и пр.

Стр. 426:

... *статья о епископе Мюнстере* — конфликт с епископом Мюнстером (Münster, ум. 1854) начался у Киркегора давно: его теологическая и философская позиция были направлены впрямую как против Мюнстера (руководителя датской церкви и ее официального идеолога), так и против Мартенсена, родственника Мюнстера и его «гегельянского интерпретатора» (в прошлом — университетского учителя Киркегора). Со своей стороны, Мюнстер резко выступал по поводу публикаций Киркегора, в частности, назвал «Упражнения в христианстве» «неблагодарной игрой в христианство» (*Rohde* — S. 141). Как указывает А. Ахутин, «именование Мюнстера “свидетелем истины” возмутило Киркегарда потому, что слово это для христиан значит — “засвидетельствовавший своей кровью”, т. е. “мученик” (*ὁ μάρτυς, martyr*). Сознают себя свидетелями Истины апостолы... В точном же смысле слова свидетелем может быть лишь Иисус Христос...» (см. Прим. 8 к С. 41 в *Шестов 1992* — С. 263).

Стр. 427:

Платон... возвестил всему миру... — см. Phæd. 89d: «*Μὴ γενώμεθα, ἢ δ' ὥς, σοφολογοί, ὥσπερ οἱ σοφάνθρωποι γινόμενοι ὥς οὐκ ἔστις, ἔφη, ὅτι ἄν τις μεζόν τούτου κακὸν πάθει ἢ λόγους σοήσας*» («Чтобы нам не сделаться ненавистниками всякого слова, как иные становятся человеконенавистниками, ибо нет большей беды, чем ненависть к слову [разуму]» — пер. С. Маркиша).

... *начало философии есть удивление* — см. Theatet 155d; Met. I 2, 982b 11–20.

Стр. 428:

Aimes-tu les damnés, connais-tu l'irremissible — ср. Цветы зла, LIV («Непоправимое», 1855).

... *Je n'approuve que ceux qui cherchent en gémissant* — см. Pensee, fr. 421, Brunschvicg; ср. традиционный русский перевод Долгова: «... Одобрять же могу только с воздыханием ищущих истину» (*Паскаль Б. Мысли II, I* — Киев, 1994).

... *смысл завета Спинозы...* — см. *Спиноза Б. Политический трактат*, I, § 4 («... Я постоянно старался не осмеивать человеческих поступков, не огорчаться ими и не клясть их, а понимать »).

Стр. 437:

... *когда Гегель... возвещает* — см. *Философия религии*, II, 3, АЗ.

... смысл Спинозы... — см. Этика, I, 17.

Стр. 443:

... Эпиктет... писал — см. Diat I

Стр. 444:

... Анаксимандр... говорит — Simplic., Phys. 24, 13 — DK 12 A9; B1: ср. перевод А. Лебедева: «А из каких [начал] вещам рождение, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды [ущерба] в назначенный срок времени» (см. Фрагменты ранних греческих философов. — Ч. I. — М., 1989. — С. 127). Ср. также комментарий А. Ахутина к соответствующему месту в книге «Киркегард и экзистенциальная философия» (Шестов 1992. — С. 248–249, Прим. 3), связывающий шестовскую трактовку изречения Анаксимандра со словами Мефистофеля из I части «Фауста» Гёте:

... Denn alles, was entsteht,
Ist wert daß es zugrundegeht;
Drum besser wärs, daß nichts entsunde*,

См. также: Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра / Разговор на проселочной дороге. — М., 1991.

Стр. 446:

... Гегель... утверждает — см. Философия религии. — Т. 2. — С. 106–107 (ср.: «Змей говорит, что Адам станет равным богу, и бог подтверждает, что это действительно так, что это познание ведет к богоподобию». — там же, С. 108).

*

Пауль Тиллих

Киркегор как экзистенциальный мыслитель

Перевод публикуется по изданию: *Tillich Paul. Kierkegaard as existential thinker // Union Review. — Vol. IV. — Dec., 1942. — P. 5-7.*

Небольшая статья, которой мы завершаем наше издание, — один из немногих текстов, в которых Тиллих непосредственно высказывает свое отно-

* ... Ибо все, что возникает,
Заслуживает гибели,
Посему лучше было бы ничему не возникать (нем.).

шение к философской концепции Киркегора, его личности и породившей его философской ситуации. Вторая половина 30-х годов и, особенно, 40-е годы были временем открытия Киркегора американской интеллигенцией (см. Библиографию в настоящем издании) и особенно пристального внимания к проблемам, которые через некоторое время послужат основанием экзистенциалистского бума. Внешним поводом к этому послужила эмиграция в США крупнейших европейских философов и теологов после прихода к власти в Германии нацистов. Именно их сочинения (в том числе, написанные уже по-английски) и привлекли внимание американцев к философскому учению, вполне соответствовавшему настроениям времен Второй мировой войны. Главным пропагандистом идей Киркегора в Америке был Карл Барт, но Пауль Тиллих, занимавший особую позицию по отношению к бартианству, также испытывал потребность дать свою рецепцию киркегоровской философии. В 1942 г. он публикует две статьи; одна из них посвящена достаточно узкой проблеме английских переводов Киркегора (*Kierkegaard in English // American-Scandinavian Review*. — XXX. — 1942. — P. 254-257), вторую мы предлагаем вниманию читателей.

БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения Киркегора

Киркегор Сёрен. Эстетические и этические начала в развитии личности / Пер. с дат. П. Ганзена. — Северный вестник. — 1885. — № № 1,3,4.

Киркегор Сёрен. Афоризмы эстетика / Пер. с дат. П. Ганзена // Вестник Европы. — Май. — 1886.

Киркегор Сёрен. Наслаждение и долг / Пер. с дат. П. Ганзена. — СПб., 1894.

Киркегор Сёрен. Наслаждение и долг / Пер. с дат. П. Ганзена / 2-е изд. под ред. В. Чалидзе. — Нью-Йорк, 1982.

Киркегор Сёрен. Дневник обольстителя / Пер. с дат. П. Ганзена // Скандинавия: Литературная панорама. — Вып. 2. — М., 1991.

Киркегор Сёрен. Несчастнейший / Пер. не указ. // Северные сборники. — Кн. 4. — СПб., 1908.

Киркегор Сёрен. Страх и трепет / Пер. не указ. // 22: Иерусалим. — Москва — № № 4, 5.

Киркегор Сёрен. Страх и трепет / Под ред. В. Чалидзе. — Нью-Йорк, 1982.

Киркегор Сёрен. Страх и трепет (фрагменты) / Пер. с нем. и вст. ст. С. Нарского // Философские науки. — 1991. — № 6.

Киркегор Сёрен. Болезнь к смерти / Пер. с дат., послесл. и коммент. С. Исаева // Этическая мысль. — Т. 2. — М., 1990.

Киркегор Сёрен. Страх и трепет / Пер. с дат., вст. ст. и коммент. Н. Исаевой и С. Исаева под общ. ред. С. Исаева. — М., 1993.

*

Elterladte Papirer / Udg. af H.P. Barford og Hermann Gottshed. — Kjøbenhavn, 1869–1881.

Samlede Vøerker / Udg. af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange. Bd. 1-14. — Kjøbenhavn, 1920–1936.

Breve og aktstykker vedrorende Sören Kierkegaard / Udg. af Niels Thulstrup: 2 Bd. — Kjøbenhavn, 1953–1954.

Papirer / Udg. af P.A.Heiberg, Victor Kuhr, Einer Torsting: 20 Bd. (II Bd. mit Zusatzbanden). — Kjøbenhavn, 1909–1948.

*

Sören Kierkegaards samlede Werke / Unverkürzt herausgegeben v. H. Gottsched und Chr. Schrempf. 12 Bd. — 1909–1924.

Sören Kierkegaard. Ges. Werke. 36 Abteilungen in 26 Einzelbänden / Heraus. und übers. v. E. Hirsch u. a. — Düsseldorf–Köln, 1952–1962.

Religiöse Reden / Ins Deutsche übers. v. Theodor Häecker. — München, 1922 (4 Aufl. — 1950).

Das Evangelium der Leiden: Christliche Reden / Übers. von W. Kuetemeyer. — München, 1933 (2 Aufl. — 1936).

Gebete / Hg. und eingeleit. v. Walter Rest. — Köln., 1957.

Religion der Tat. Kierkegaards Werke in Auswahl / Deutsch v. Eduard Geismar und Rudolf Marx. — Leipzig, 1930.

Die Leidenschaft des Religiösen. Eine Auswahl aus Kierkegaards Schriften und Tagebüchern. — Stuttgart, 1953.

Die Tagebücher. In 2 Bd. ausgew. und überss. v. Th. Häecker. — Innsbruck, 1923; (4 Aufl. / in I Bd. — München, 1953).

So spricht Kierkegaard. Aus seinen Tage- und Nachtbüchern ausgew. und überss. und mit einer Einl. hg. v. R. Dollinger. — Berlin, 1930.

Christentum und Christenheit. Aus Kierkegaards Tagebüchern ausgew. und überss. v. Eva Schlechta. — München, 1957.

Briefe / Ausgew., überss. und mit einem Nachwort vers. von Walter Böehlich. — Köln und Öltzen, 1955.

Kierkegaards Verhältnis zu seiner Braut / Briefe und Aufzeich. aus seinem Nachlass. hg. v. H. Lund. — Leipzig, 1904.

Sören Kierkegaard und Regine Olsen. Briefe, Tagebüchblätter und Dokumente / Ausgew. und überss. v. G. Niedermeyer. — München, 1927.

Existenz im Glauben. Aus Dokumenten, Briefen und Tagebüchern / Übers., ausgew. v. L. Richter. — Berlin, 1956.

*

Selections from the Writings of Kierkegaard / Transl., with an introduction., by L. M. Hollander. — University of Texas, 1923.

A Kierkegaard Anthology / By R. Bretall. — Princeton, 1946.

Either/Or: A Fragment of Life / Vol. I: transl. by D. F. & L. M. Swenson; Vol. II: transl. by W. Lowrie. — Princeton, 1944. (2nd ed. — 1959.)

Fear and Trembling. A Dialectical Lyric by Johannes De Silentio / Transl. by R. Payne. — Oxford, 1939.

Fear and Trembling / Transl. by W. Lowrie. — Princeton, 1941 (2nd ed. — 1954.).

*

Ou bien... Ou bien... / Trad. du danois par F. et O. Prior et H. Guignot, intr. de F. Brandt. — Paris, 1988.

Библиографические издания

Fairhurst S.J. Sören Kierkegaard: A Bibliography // Modern Schoolman. — XXI. — 1953. — P. 19-22.

Himmelstrup J. (ed.) Sören Kierkegaard: International bibliografi. — Copenhagen, 1962 (in English and Danish).

Höhlenberg J. Sören Kierkegaard. — London, 1954.

Nielsen E.O. Kierkegaard: Bidrag til en Bibliografi. — Kjøbenhavn, 1951.

Minear P. S. and Morimoto P. Sören Kierkegaard and the Bible: An Index // Princeton Theological Seminary — 1953.

Сборники, исследования, монографии, статьи

Мир Киркегора / Под ред. А. Фришмана. — М., 1994.

Асмус В.Ф. Лев Шестов и Киркегард // Философские науки. — 1972. — № 4. — С. 72-80.

Быховский Б.Э. Кьеркегор. — М., 1972.

Гайденко П.П. Трагедия эстетизма: Опыт характеристики мирозерцания Сёрена Киркегора. — М., 1970.

Долгов К.М. От Киркегора до Камю. — М., 1991.

Исаев С.А. Кьеркегор как создатель экзистенциальной диалектики // Вестник МГУ. — 1980. — Сер. 7. — №5.

Исаев С.А. Теология смерти: Очерки протестантского модернизма. — М., 1991.

Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная философия: Глас вопиющего в пустыне. — Париж, 1939.

Шестов Л. Гегель или Иов // Умозрение и откровение. — Париж, 1964. — С. 133-140.

Шестов Л. Киркегард — религиозный философ // Умозрение и откровение. — С. 233-258.

*

Adorno T. W. On Kierkegaard's Doctrine of Love // Studies in Philosophy and Social Science. — VIII. — 1940. — P. 413-29.

- Adorno T.W.* Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen. — Frankfurt am Main, 1962.
- Allen E.L.* Kierkegaard. His life and thought. — London, 1935.
- Allen E. L.* Introduction to Kierkegaard // Durham University Journal. — XXXVI. — 1943-44.
- Amundsen V.* Sören Kierkegaards ungdom. Hans Sloegt og hans religiøse udvikling. — Kjøbenhavn, 1912.
- Anz W.* Kierkegaard und der deutsche Idealismus. — Tübingen, 1956.
- Barthold A.* Zur theologischen Bedeutung Sören Kierkegaards. — Halle, 1880.
- Bain J. A.* Sören Kierkegaard: His Life and Religious Teaching. — London, 1935.
- Bense M.* Hegel und Kierkegaard. Eine prinzipielle Untersuchung. — Köln und Krefeld, 1948.
- Bense M.* Sören Kierkegaard. — Hamburg, 1942.
- Berberich G.* La notion metaphysique de la personne chez Kant et Kierkegaard. — Fribourg, 1942.
- Blackham H. J.* Six Existential Thinkers. — New York, 1952.
- Böhlin T.* Kierkegaard und das religiöse Denken der Gegenwart. — München, 1923.
- Böhlin T.* Kierkegaards dogmatische Anschauung in ihrem geschichtlichen Zusammenhang. — Gütersloh, 1927.
- Böhlin T.* Sören Kierkegaards Leben und Werden. — Gütersloh, 1925.
- Bonifazi C.* Christendom Attacked. — London, 1953.
- Brackett R. M.* Kierkegaard: A Protest // America. — Vol. 92. — 1955. — P. 380-82.
- Brandes G.* Sören Kierkegaard. — Kjøbenhavn, 1877.
- Brandes G.* Kierkegaard und andere Skandinavische Persönlichkeiten. — Dresden, 1924.
- Brandt F.* Den unge Sören Kierkegaard. — Kjøbenhavn, 1929.
- Brandt F.* The Great Earthquake in Sören Kierkegaard's Life // Theoria. — 1949. — P. 38-53.
- Bretall R. W.* Kierkegaard: A Critical Survey // Examiner. — XXI. — 1939.
- Brinkschmidt E.* Sören Kierkegaard und Karl Barth. — Neukirchen-Vluin, 1971.
- Brophy L.* Sören Kierkegaard: the Hamlet in Search for Holiness // Social Justice Review. — XLVII. — 1955. — P. 291-292.
- Broudy H. S.* Kierkegaard's Levels of Existence // Philosophy and Phenomenological Research. — I. — 1940. — P. 294-312.
- Burk J. N.* Kierkegaard, the Man of Ruthless Faith // Concert Bulletin of the Boston Symphony. — 1954-1955. — P. 321-27.
- Channing-Pearce M.* The terrible crystal. Studies in Kierkegaard and modern Christianity. — London, 1940.

- Channing-Pearce M.* Repetition: a Kierkegaard Study // *Hibbert Journal*. — XLI. — 1943. — P. 361-64.
- Channing-Pearce M.* Sören Kierkegaard: A Study. — London, 1945.
- Chestov L.* Kierkegaard et la philosophie existentielle. — Paris, 1936.
- Clive G.* The Sickness Unto Death in the Underworld: a Study in Nihilism // *Harvard Theological Review*. — LI. — 1958. — P. 135-167.
- Collado J.-A.* Kierkegaard y Unamuno. La existencia religiosa. — Madrid, 1962.
- Collins J.* Kierkegaard's critique of Hegel. — New York, 1943.
- Collins J.* The Mind of Kierkegaard. — Chicago, 1953.
- Collins J.* The Relevance of Kierkegaard // *Commonweal*. — LXII. — 1955. — P. 493-442.
- Croxall T.H.* Kierkegaard Studies. — London, 1948.
- Croxall T.H.* Kierkegaard commentary. — London, 1956.
- Daab A.* Ironie und Humor bei Kierkegaard — Heidelberg, 1926.
- Dempf A.* Kierkegaards Folgen. — Leipzig, 1935.
- Demson D.* Kierkegaard's Sociology, with Notes on Its Relevance to the Church // *Religion in Life*. — XXVII. — 1958. — P. 257-265.
- Diem H.* Die Kirche und Sören.Kierkegaard // *Zwischen den Zeiten*. — 1931. — Jg. 9.
- Diem H.* Die Existenzdialektik von Sören Kierkegaard. — Zöllikon-Zürich, 1950.
- Diem H.* Philosophie und Christentum bei Sören Kierkegaard. — München, 1929.
- Diem H.* Sören Kierkegaard. Spion im Dienste Gottes. — Frankfurt am Main, 1957.
- Dupre L.* Kierkegaard as theologian. — London-New York, 1963.
- Durkan J.* Kierkegaard and Aristotel // *Dublin Review*. — 213. — 1943. — P. 136-48.
- Emmet D.* Kierkegaard and the Existential Philosophy // *Philosophy*. — XVI. — 1941. — P. 257-271.
- Fabro C.* Trà Kierkegaard e Marx. Per una Definizione dell' essistenza. — Firenze, 1952.
- Fasel O. A.* Observations on Unamuno and Kierkegaard // *Hispania*. — XXXVIII. — 1955. — P. 443-450.
- Fischer F.K.* Die Nullpunkt-Existenz. Der Gestellt an der Lebensform Sören Kierkegaard. — München, 1933.
- Fleissner E. M.* The Legacy of Kierkegaard // *The New Republic*. — 133. — 1956 — P. 16-19.
- Fox M.* Kierkegaard and Rabbinic Judaism // *Judaism*. — II. — 1953. — P. 160-169.
- Friedmann R.* Kierkegaard. — Taunton, 1949.
- Fulford F. W.* Sören Aabye Kierkegaard: A Study. — Cambridge, 1911.
- Geismar E.* Sören Kierkegaard. — Gütersloh. — 1925.

Geismar E. Sören Kierkegaard. Seine Lebensentwicklung und Wirksamkeit als Schriftsteller. — Göttingen, 1929.

Geismar E. Lectures on the Religious Thought of Sören Kierkegaard / With an introd. by David Swenson. — Minneapolis, 1937.

Gemmer A., Messer A. Sören Kierkegaard und Karl Barth. — Stuttgart, 1925.

Gerdes H. Das Christusbild Sören Kierkegaards. Vergleichen mit der Christologie Hegels und Schleiermachers. — Düsseldorf-Köln, 1960.

Gilg A. Sören Kierkegaard. — München, 1926.

Graef H. Prophets of Gloom // Catholic World. — № 182. — 1956. — P. 202-206.

Grimault M. Kierkegaard par lui-même. — Paris, 1962.

Häecker Th. Sören Kierkegaard und die Philosophie der Innerlichkeit. — Esslingen, 1913.

Häecker Th. Vorwort zum **Pfahl im Fleisch**. — Innsbruck, 1914.

Häecker Th. Der Begriff der Wahrheit bei Sören Kierkegaard. — Innsbruck, 1932.

Häecker Th. Der Buckel Kierkegaards. — Zürich, 1947.

Halevi J. L. Kierkegaard and the Midrash // Judaism. — IV. — 1955. — P. 13-28.

Hansen K. Sören Kierkegaard: ideens digter. — Kjøbenhavn, 1954.

Heiberg P. A. En episode i Sören Kierkegaards liv. — Kjøbenhavn, 1912.

Heiberg P. A. Kierkegaards religiøse udvikling. — Kjøbenhavn, 1925.

Heinecken M. J. The Absolute Paradox in Sören Kierkegaard // University of Nebraska (Diss.), 1942.

Heinecken M. J. The Moment before God. — Philadelphia, 1956.

Heiss R. Die Großen Dialektiker des XIX Jahrhunderts. Hegel, Kierkegaard, Marx. — Köln-Berlin, 1963.

Helwæg H. Sören Kierkegaard. Ein psychiatrisk-psychologik studie. — Kjøbenhavn, 1933.

Henriksen A. Methodos and results of Kierkegaard studies in Scandinavia. // Public. of the Kierkegaard Society. — I. — Copenhagen, 1951.

Henriksen A. Kierkegaards romaner. — Kjøbenhavn. — 1954.

Henriksen A. Kierkegaard's Reviews of Literature // Orbis Litterarum. — X. — 1955. — P. 75-83.

Heschel A. J. A Passion for Truth. — 1973.

Hess M. Wh. The Death of Sören Kierkegaard // Catholic World. — № 182. — 1955. — P. 92-98.

Heywood Th. J. Kierkegaard on the Existence of God // Review of Religion. — XVIII. — 1953. — P. 18-30.

Himmelstrup J. Kierkegaards Sokratesauffassung. — Neumünster, 1927.

Hirsch E. Kierkegaard-Studien, Bd. I-II. — Gütersloh, 1933.

Höche G. R. Die Welt als Labyrinth. — Hamburg, 1957.

Hoffding H. Sören Kierkegaard als Philosoph. — Stuttgart, 1896.

- Hoffmann R.* Kierkegaard et la certitude religieuse. — Genf, 1907.
- Höhlenberg J.* L'oeuvre de Sören Kierkegaard. Le chemin du solitaire. — Paris, 1960.
- Höhlenberg J.* Sören Kierkegaard. — Basel, 1949.
- Hölm S.* Sören Kierkegaards Geschichtsphilosophie. — Stuttgart, 1956.
- Hölmer P. L.* Kierkegaard and Ethical Theory // Ethics. — LXII. — 1953. — P. 157-170.
- Hölmer P. L.* On Understanding Kierkegaard // Orbis Litterarum. — X. — 1955. — P. 93-106.
- Hubben W.* Four prophets of our destiny. — New York, 1952.
- Jancke R.* Das Wesen der Ironie. — Leipzig, 1929.
- Jaspers K.* Vernunft und Existenz. — Groningen, 1935.
- Jaspers K.* Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze. — München, 1951.
- Jaspers K.* The Importance of Kierkegaard // Cross Currents. — II. — 1952. — P. 5-16.
- Jensen Ch.* Kierkegaards religiøse udvikling. — Kjøbenhavn, 1898.
- Johnson H. A.* Kirkegaard and Sartre // American-Scandinavian Review. — XXXV. — 1947. — P. 220-225.
- Johnson H., Thulstrup N.* The Kierkegaard Critique. — New York, 1962.
- Jolivet R.* Introduction à Kierkegaard. — Paris, 1946.
- Jolivet R.* Les doctrines existentialistes de Kierkegaard à Sartre. — Paris, 1948.
- Jolivet R.* Kierkegaard. — Paris, 1958.
- Jön F. S.* Kierkegaard. Det levda livets tankare. — Stockholm, 1955.
- Kässner R.* Sören Kierkegaard. — 1949.
- Kaufman W.* Kierkegaard // Kenyon Review. — Vol. XVII. — 1956. — P. 182-211.
- Klemke E. D.* Logicality Versus Alogicality in the Christian Faith // Journal of Religion. — XXXVIII. — 1958. — P. 107-115.
- Koch K.* Sören Kierkegaards og Emil Boesen. — Kjøbenhavn, 1901.
- Korner R.* Kierkegaard's Either/Or Today // Union Review. — VI. — 1944.
- Kuhn H.* Begegnung mit dem Nichts. — Tübingen, 1950.
- Kunneth W.* Die Lehre von der Sünde. Dargestellt an dem Verhältnis der Lehre Kierkegaards zur neuesten Theologie. — Gütersloh, 1927.
- Kunzli A.* Die Angst als abendländische Krankheit. Dargestellt am Leben und Denken Sören Kierkegaards. — Zürich, 1948.
- Larson C. W. R.* Kierkegaard and Sartre // Personalist. — XXXV. — 1954. — P. 128-136.
- Leendertz W.* Sören Kierkegaard. — Groningen, 1913.
- Lehmann E.* Sören Kierkegaard. — Berlin, 1913.
- Levy G. E.* Sören Kierkegaard's Significance as a «Corrective» // Colgate-Rochester Divinity School Bulletin. — XIX. — 1942.

- Lombardi F.* Kierkegaard. — Firenze, 1936.
- Lorentz E.* Über die sogenannten ästhetischen Werke von Sören Kierkegaards. — Leipzig, 1892.
- Löwith K.* Kierkegaard und Nietzsche, oder philosophische und theologische Überwindung des Nihilismus. — Frankfurt am Main, 1933.
- Löwith K.* Von Hegel zu Nietzsche. — Zürich-Wien, 1941.
- Löwith K.* On the Historical Understanding of Kierkegaard // Review of Religion. — XVII. — 1943. — P. 227-241.
- Lowrie W.* A Short life of Kierkegaard. — New York, 1961.
- Lowrie W.* Kierkegaard: Vol. I-II. — New York, 1962.
- Lund H.* Erindringer fra Hjemmet. — Kjøbenhavn, 1909.
- Lund H.* Kierkegaards Verhåltis zu seiner Braut. — Leipzig, 1904.
- Mackey L.* Kierkegaard and the Problem of Existential Philosophy // Review of Metaphysics. — IX. — 1956. — P. 404-419, 569-588.
- Malantschuk G.* Kierkegaard and the Totalitarians // American-Scandinavian Review. — XXIX. — 1946. — P. 246-248.
- Malantschuk G.* Kierkegaard's Thought. — 1971.
- Magnussen R.* Kierkegaard set udefra. — Kjøbenhavn, 1942.
- Martin H. V.* The Prophet of the Absolute. — Madras, 1942.
- Martin H. V.* Kierkegaard's Attack on Christendom // Congregational Quarterly. — XXIV. — 1947. — P. 139-144.
- Martin H. V.* The Wings of Faith. — London, 1950.
- Martin H. V.* Kierkegaard. The melancholy Dane. — London, 1950.
- Masi G.* La Determinazione della possibilita dell' esistenza in Kierkegaard. — Bologna, 1949.
- McInerney R.* Ethics and Persuasion: Kierkegaard's Existential Dialectic // Modern Schoolman. — XXXIII. — 1956. — P. 219-239.
- Merlan P.* Toward the Understanding of Kierkegaard // Journal of Religion. — XXIII. — 1943. — P. 77-90.
- Mesnard P.* Kierkegaard, sa vie, so oeuvre avec un expose de sa philosophie. — Paris, 1960.
- Mesnard P.* Le vrai visage de Kierkegaard. — Paris, 1948.
- Minear P. S.* Thanksgiving as a Synthesis of the Temporal and the Eternal // Anglican Theological Review. — XXXVIII. — 1956. — P. 4-14.
- Mittenzwei J.* Das Musikalische in der Literatur. — Halle, 1962.
- Mohring W.* Ibsen und Kirkegaard. — Leipzig, 1928.
- Monrad O.P. S.* Kierkegaard. Sein Leben und sein Werk. — Jena, 1909.
- Moore W. G.* Kierkegaard and His Century // Hibbert Journal. — XXXVI. — 1938. — P. 568-582.
- Münch Ph.* Die Haupt- und Grundgedanken der Philosophie Sören Kierkegaards in kritischer Beleuchtung. — Dresden, 1902.
- Niedermeyer G.* Sören Kierkegaards philosophischer Werdegang. — Leipzig, 1909.

- Niedermeyer G.* S.Kierkegaard und die Romantik. — Halle, 1962.
- Nielsen Chr.* Der Standpunkt Kierkegaards innerhalb Religions-psychologie. — Erlangen, 1911.
- Nigg W.* Sören Kierkegaard. — Bern, 1942.
- Patrick Denzil G.* Pascal and Kierkegaard. — London & Redhill, 1942.
- Paul W. W.* Faith and Reason in Kierkegaard and Modern Existentialism // Review of Religion. — XX. — 1956. — P. 149-163.
- Paulsen A.* S.Kierkegaard. Deuter unserer Existenz. — Hamburg, 1955.
- Perpeet W.* Kierkegaard und die Frage nach einer Ästhetik der Gegenwart. — Halle, 1940.
- Perry E.* Was Kierkegaard a Biblical Existentialist? // Journal of Religion. — XXXVI. — 1956. — P. 17-23.
- Petersen F.* Kierkegaards kristendomsforkyndelse. — Oslo, 1877.
- Pivcevic E.* Ironie als Daseinsform bei Kierkegaard. — Gütersloh, 1960.
- Przywara E.* Das Geheimnis Kierkegaards. — München-Berlin, 1929.
- Radermacher H.* Kierkegaards Hegelverständnis. — Cologne, 1956.
- Rehm W.* Kierkegaard und der Verführer. — München, 1949.
- Reinhardt K.F.* The Existentialist revolt. — Milwaukee, 1952.
- Rest W.* Indirekte Mitteilung als bilderes Verfahren dargestellt am Leben und Werk Sören Kierkegaards. — Münster, 1937.
- Richter L.* Begriff der Subjektivität bei Kierkegaard. Beitrag zur christlichen Existenzdarstellung. — Würzburg, 1934.
- Ritter J.* Zum Problem der Existenzphilosophie. — Istanbul, 1954.
- Rodemann W.* Hamann und Kierkegaard. — Gütersloh, 1922.
- Rohde P. S.* Kierkegaard in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. — Hamburg, 1960.
- Rohve P. P.* Sören Kierkegaard. — Berlin, 1959.
- Romain W. P.* Kierkegaard ou l'esprit d'Elseneur. — Paris-Lyon, 1955.
- Roos H. S.* Sören Kierkegaard and Catholicism. — Philadelphia, 1954.
- Roos H.* Kierkegaard et le catholicisme. — London, 1955.
- Roos K.* Kierkegaard og Goethe. — Kjøbenhavn, 1955.
- Rosenberg P. A.* Sören Kierkegaard. Hans liv, hans personlighed og hans forfatterskab. — Kjøbenhavn. — 1898.
- Rubow P.V.* Kierkegaard og hans samtidige. — Kjøbenhavn, 1950.
- Ruttenbeck W.* Sören Kierkegaard. Der christliche Denker und sein Werk. — Berlin, 1929.
- Sack M.* Die Verzweiflung. Eine Untersuchung ihres Wesens und ihrer Entstehung. — Kallmunz, 1930.
- Sawatzki G.* Das Problem des Dichters als Motiv in der Entwicklung Sören Kierkegaards bis 1841 (Diss.). — Danzig, 1935.
- Schrempf Chr.* Sören Kierkegaard. Eine Biographie. — Jena, 1927-1928.
- Schröer H.* Die Denkform der Paradoxalität als theologisches Problem. — Göttingen., 1960.

Schuerpp G. Das Paradox des Glaubens. Kierkegaards Anstöße für die christliche Verkündigung. — München, 1964.

Seiber F. Der Begriff der Mitteilung bei Sören Kierkegaard (Diss.). — Würzburg, 1938.

Slok J. Die Anthropologie Sören Kierkegaards. — Kjøbenhavn, 1945.

Soper D. W. Kierkegaard — The Danish Jeremiah // Religion in Life. — XIII. — 1944. — P. 522-535.

Stucki P.-A. Le christianisme et l'histoire d'après Kierkegaard. — Basel, 1963.

Swenson D. F. The Anti-Intellectualism of Kierkegaard // Philosophical Review — XXV — 1916. — P. 567-586.

Swenson D. F. The Existential Dialectic of Sören Kierkegaard // Ethics. — XLII. — 1939. — P. 309-328.

Swenson D. F. Something about Kierkegaard. — Minneapolis, 1945.

Swenson D. F. Kierkegaardian Philosophy in the Faith of a Scholar. — Philadelphia, 1949.

Taylor M.C. Journeys to Selfhood: Hegel and Kierkegaard. — 1980.

Thomas J.H. Subjectivity and Paradox. — Oxford, 1957.

Thome R. Kierkegaard's Philosophy of Religion. — Princeton, 1948.

Thulstrup N. Katalog over Kierkegaards Bibliotek. — Kjøbenhavn, 1957.

Thulstrup N. Kierkegaardiana. Vol. I-III. — Kjøbenhavn, 1955-1959.

Thust M. Das Marionettentheater Sören Kierkegaards // Zeitwende. — 1925. — Jg. 1.

Thust M. Kierkegaard: Der Dichter des Religiösen. — München, 1931.

Tillich P. Kierkegaard as Existential Thinker // Union Review. — IV — 1942. P. 5-7.

Tillich P. Kierkegaard in English // American-Scandinavian Review. — XXX. — 1942. — P. 254-257.

Tweedy D. F. The Significance of Dread in the Thought of Heidegger and Kierkegaard: Dissertation abstract. — Boston University, 1954.

Ussher A. Journey Through Dread. — London, 1954.

Vetter A. Frömmigkeit als Leidenschaft. — Freiburg-München, 1963.

Voight F.A. Sören Kierkegaard im Kämpfe der Romantik, der Theologie und der Kirche. — Berlin, 1928.

Vogt A. Das Problem des Selbstseins bei Heidegger und Kierkegaard (Diss.). — Giessen, 1936.

Wagener F. Die romantische und dialektische Ironie. — Arnsherg, 1931.

Wahl J. Études Kierkegaardiennes. — Paris., 1949.

Webb C. C. J. À-propos de Kierkegaard // Philosophy. — 1943. — P. 68-74.

Weiland J. Philosophy of Existence and Christianity. Kierkegaard's and Jaspers' Thoughts on Christianity. — Assen (the Netherl.), 1951.

Weltzer C. Peter og Søren Kierkegaard: Vol. I-II — Kjøbenhavn, 1936.

Whittemore R. C. Of History, Time, and Kierkegaard's Problem // Journal of Religious Thought. — XI. — 1954. — P. 134-155.

Wild J. Kierkegaard and Classical Philosophy // Philosophical Review. — XLIX. — 1940. — P. 536-551.

Wild J. Kierkegaard and Contemporary Existentialist Philosophy // Anglican Theological Review. — XXXVIII. — 1956. — P. 15-32.

Wyschogrod M. Kierkegaard and Heidegger: The Ontology of Existence. — London, 1954 (also New York, The Humanities Press, 1954).

